Варлам ШАЛАМОВ

Варлам

ШАЛАМОВ



собрание
сочинений
в *шести*
томах

2

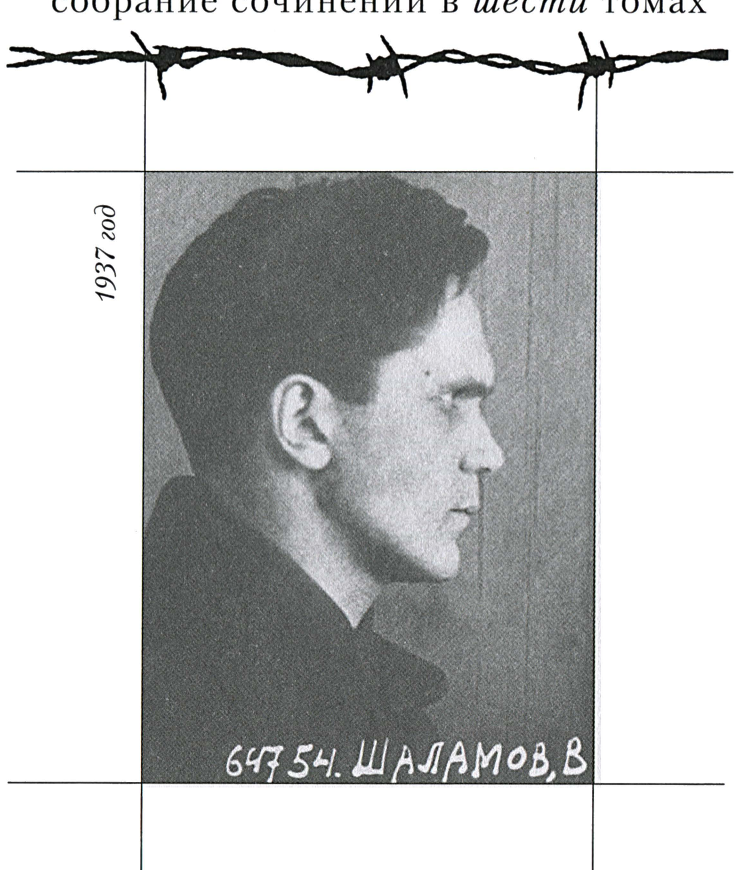
2

Варлам
ШАЛАМОВ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

Варлам ШАЛАМОВ

собрание сочинений в *шести* томах



БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

Варлам **ШАЛАМОВ**

собрание сочинений



том второй

ОЧЕРКИ ПРЕСТУПНОГО МИРА

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

ПЕРЧАТКА, ИЛИ КР-2

АННА ИВАНОВНА
Пьеса

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»



УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус)6
Ш18

Оформление художника
С. Любаева

Составитель
И. Сиротинская

Шаламов В. Т.
Ш18 Собрание сочинений: В 6 т. + т. 7, доп. Т. 2: Очерки преступного мира; Воскрешение лиственницы; Перчатка, или КР-2; Анна Ивановна: Пьеса / Сост., подгот. текста, прим. И. Сиротинской. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. — 512 с.

ISBN 978-5-4224-0699-9 (т. 2)
ISBN 978-5-4224-0697-5

Во второй том собрания сочинений Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982) вошли пьеса «Анна Ивановна» и рассказы из сборников: «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2», описывающие реалии колымской жизни и представляющие вниманию читателя целую галерею характеров заключенных, надзирателей и представителей лагерной власти.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4224-0699-9 (т. 2)
ISBN 978-5-4224-0697-5



Очерки преступного мира

ОБ ОДНОЙ ОШИБКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Художественная литература всегда изображала мир преступников сочувственно, подчас с подобострастием. Художественная литература окружила мир воров романтическим ореолом, соблазнившись дешевой мишурой. Художники не сумели разглядеть подлинного отвратительного лица этого мира. Это — педагогический грех, ошибка, за которую так дорого платит наша юность. Мальчику 14–15 лет простительно увлечься «героическими» фигурами этого мира; художнику это непростительно. Но даже среди больших писателей мы не найдем таких, кто, разглядев подлинное лицо вора, отвернулся бы от него или заклеймил его так, как должен был заклеймить все нравственно негодное всякий большой художник. По прихоти истории наиболее экспансивные проповедники совести и чести, вроде, например, Виктора Гюго, отдали немало сил для восхваления уголовного мира. Гюго казалось, что преступный мир — это такая часть общества, которая твердо, решительно и явно протестует против фальши господствующего мира. Но Гюго не дал себе труда посмотреть — с каких же позиций борется с любой государственной властью это воровское сообщество. Немало мальчиков искало знакомства с живыми «мизераблями» после чтения романов Гюго. Кличка «Жан Вальжан» до сих пор существует среди блатарей.

Достоевский в своих «Записках из Мертвого дома» уклоняется от прямого и резкого ответа на этот вопрос. Все эти Петровы, Лучки, Сушиловы, Газины — все это, с точки зрения подлинного преступного мира, настоящих блатарей — «асмодеи», «фраера», «черти», «мужики», то есть такие люди, которые презираются, грабят-

ся, топчутся настоящим преступным миром. С точки зрения блатных — убийцы и воры Петров и Сушилов гораздо ближе к автору «Записок из Мертвого дома», чем к ним самим. «Воры» Достоевского такой же объект нападения и грабежа, как и Александр Петрович Горянчиков и равные ему, какая бы пропасть ни разделяла дворян-преступников от простого народа. Трудно сказать, почему Достоевский не пошел на правдивое изображение воров. Вор ведь — это не тот человек, который украл. Можно украсть и даже систематически воровать, но не быть блатным, то есть не принадлежать к этому подземному гнусному ордену. По-видимому, в каторге Достоевского не было этого «разряда». «Разряд» этот не карается обычно такими большими сроками наказания, ибо большую массу его не составляют убийцы. Вернее, во времена Достоевского не составляли. Блатных, ходивших «по мокрому», тех, у кого рука «дерзкая», было не так много в преступном мире. «Домушники», «скокари», «фармазоны», «карманники» — вот основные категории общества «урок» или «уркаганов», как называет себя преступный мир. Слово «преступный мир» — это термин, выражение определенного значения. Жулик, урка, уркаган, человек, блатарь — это все синонимы. Достоевский на своей каторге их не встречал, а если бы встретил, мы лишились бы, может быть, лучших страниц этой книги — утверждения веры в человека, утверждения доброго начала, заложенного в людской природе. Но с блатными Достоевский не встречался. Каторжные герои «Записок из Мертвого дома» такие же случайные в преступлении люди, как и сам Александр Петрович Горянчиков. Разве, например, воровство друг у друга — на котором несколько раз останавливается, особо его подчеркивая, Достоевский, — разве это возможная вещь в блатном мире? Там — грабеж фраеров, дележ добычи, карточная игра и последующее скитание вещей по разным хозяевам-блатарям в зависимости от победы в «стос» или «буру». В «Мертвом доме» Газин продает спирт, делают это и другие «целовальники». Но спирт блатные отняли бы у Газина мгновенно, карьера его не успела бы развернуться.

По старому «закону», блатарь не должен работать в местах заключения, за него должны работать фраера. Мясниковы и Варламовы получили бы в блатном мире презрительную кличку «волжский грузчик». Все эти «мослы» (солдаты), «баклушины», «акулькины мужья»,

все это вовсе не мир профессиональных преступников, не мир блатных. Это просто люди, столкнувшиеся с негативной силой закона, столкнувшиеся случайно, в потемках переступившие какую-то грань, вроде Акима Акимовича — типичного «фраерюги». Блатной же мир — это мир особого закона, ведущий вечную войну с тем миром, представителями которого являются и Аким Акимович, и Петров, вкупе с восьмиглазым плац-майором. Плац-майор блатарям даже ближе. Он богом данное начальство, с ним отношения просты, как с представителем власти, и такому плац-майору любой блатной немало наговорит о справедливости, о чести и о прочих высоких материях. И наговаривает уже не первое столетие. Угреватый, наивный плац-майор — это их открытый враг, а Акимы Акимовичи и Петровы — их жертвы.

Ни в одном из романов Достоевского нет изображений блатных. Достоевский их не знал, а если видел и знал, то отвернулся от них как художник.

У Толстого нет никаких впечатляющих портретов этого сорта людей, даже в «Воскресении», где внешние и иллюстрирующие штрихи наложены так, что художнику за них отвечать не приходится.

Сталкивался с этим миром Чехов. Что-то было в его сахалинской поездке такое, что изменило почерк писателя. В нескольких послесахалинских письмах Чехов прямо указывает, что после этой поездки все написанное им раньше кажется пустяками, недостойными русского писателя. Как и в «Записках из Мертвого дома», на острове Сахалин оглупляющая и растлевающая мерзость мест заключения губит и не может не губить чистое, хорошее, человеческое. Блатной мир ужасает писателя. Чехов угадывает в нем главный аккумулятор этой мерзости, некий атомный реактор, сам восстанавливающий топливо для себя. Но Чехов мог только всплеснуть руками, грустно улыбнуться, указать мягким, но настойчивым жестом на этот мир. Он тоже знал его по Гюго. На Сахалине Чехов был слишком мало, и для своих художественных произведений до самой смерти он не имел смелости взять этот материал.

Казалось бы, биографическая сторона творчества Горького должна бы дать ему повод для правдивого, критического показа блатных. Челкаш — несомненный блатарь. Но этот вор-рецидивист изображен в рассказе с той же принудительной и лживой верностью, как и ге-

рои «Отверженных». Гаврилу, конечно, можно толковать не только как символ крестьянской души. Он ученик уркагана Челкаша. Пусть случайный, но обязательный. Ученик, который, быть может, завтра будет «порченым штымпом», поднимется на одну ступень лестницы, ведущей в преступный мир. Ибо, как говорил один блатной философ, «никто не рождается блатным, блатными делаются». В Челкаше Горький, сталкивавшийся с блатным миром в юности, лишь отдал дань тому малограмотному восхищению перед кажущейся свободой суждения и смелостью поведения этой социальной группы.

Васька Пепел («На дне») — весьма сомнительный блатной. Так же, как и Челкаш, он романтизирован, возвеличен, а не развенчан. Несколько внешних, верных черт этой фигуры, явная симпатия автора приводят к тому, что и Пепел служит недоброму делу.

Таковы попытки изображения Горьким преступного мира. Он также не знал этого мира, не сталкивался, повидимому, с блатными по-настоящему, ибо это, вообще говоря, затруднительно для писателя. Блатной мир — это закрытый, хотя и не очень законспирированный орден, и посторонних для обучения и наблюдения туда не пускают. Ни с Горьким-бродягой, ни с Горьким-писателем никакой блатной по душам не разговорится, ибо Горький для него прежде всего — фраер.

В двадцатые годы литературу нашу охватила мода на налетчиков. «Беня Крик» Бабеля, леоновский «Вор», «Мотькэ Малхамовес» Сельвинского, «Васька Свист в переплете» В. Инбер, каверинский «Конец хазы», наконец, фармазон Остап Бендер Ильфа и Петрова — кажется, все писатели отдали легкомысленную дань внезапному спросу на уголовную романтику. Безудержная поэтизация уголовщины выдавала себя за «свежую струю» в литературе и соблазнила много опытных литературных перьев. Несмотря на чрезвычайно слабое понимание существа дела, обнаруженное всеми упомянутыми, а также и всеми не упомянутыми авторами произведений на подобную тему, они имели успех у читателя, а следовательно, приносили значительный вред.

Дальше пошло еще хуже. Наступила длительная полоса увлечения пресловутой «перековкой», той самой перековкой, над которой блатные смеялись и не устают смеяться по сей день. Открывались Болшевские и Люберецкие коммуны, 120 писателей написали «коллектив-

ную» книгу о Беломорско-Балтийском канале, книга издана в макете, чрезвычайно похожем на иллюстрированное Евангелие. Литературным венцом этого периода явились погодинские «Аристократы», где драматург в тысячный раз повторил старую ошибку, не дав себе труда сколько-нибудь серьезно подумать над теми живыми людьми, которые сами в жизни разыграли несложный спектакль перед глазами наивного писателя.

Много выпущено книг, кинофильмов, поставлено пьес на темы перевоспитания людей уголовного мира. Увы!

Преступный мир с гуттенберговских времен и по сей день остается книгой за семью печатями для литераторов и для читателей. Бравшиеся за эту тему писатели разрешали эту серьезнейшую тему легкомысленно, увлекаясь и обманываясь фосфорическим блеском уголовщины, наряжая ее в романтическую маску и тем самым укрепляя у читателя вовсе ложное представление об этом коварном, отвратительном мире, не имеющем в себе ничего человеческого.

Возня с различными «перековками» создала передышку для многих тысяч воров-профессионалов, спасла блатарей.

Что же такое преступный мир?

<1959>

ЖУЛЬНИЧЕСКАЯ КРОВЬ

Как человек перестает быть человеком?

Как делаются блатарями?

В преступный мир приходят и со стороны: колхозник, отбывший за мелкую кражу наказание в тюрьме и связавший отныне свою судьбу с уголовниками; бывшие стиляги, уголовные деяния которых приблизили их к тому, о чем они знали лишь понаслышке; заводской слесарь, которому не хватает денег на удалые гулянки с товарищами; люди, которые не имеют профессии, а хотят жить в свое удовольствие, а также люди, которые стыдятся просить работу или милостыню — на улице или в государственном учреждении — это все равно, и предпочитают отнимать, а не просить. Это дело характера, а зачастую примера. Просить работу — это тоже очень мучительно для больного, уязвленного самолюбия осту-

пившегося человека. Особенно подростка. Просить работу — унижение не меньшее, чем просить милостыню. Не лучше ли...

Дикий, застенчивый характер человека подсказывает ему решение, всю серьезность и опасность которого подросток просто не в силах, не может еще оценить. У каждого человека в разное время его жизни бывает необходимость решить что-то важное, «переломить» судьбу, и большинству это важное приходится делать в молодые годы, когда опыт мал, а вероятность ошибок велика. Но в это время также мала и рутина поступков, а велика смелость, решительность.

Поставленный перед трудным выбором, обманутый художественной литературой и тысячей обывательских легенд о таинственном преступном мире, подросток делает страшный шаг, после которого подчас нет возврата.

Потом он привыкает, озлобляется окончательно сам и сам начинает вербовать молодежь в ряды этого проклятого ордена.

В практике этого ордена есть одна важная тонкость, вовсе не замечаемая даже специальной литературой.

Дело в том, что этим подземным миром правят потомственные воры — те, у которых старшие родственники — отцы, деды или хотя бы дяди, старшие братья были уркаганами; те, которые выросли с раннего детства в блатных традициях, в блатном ожесточении ко всему миру; те, которые не могут променять своего положения на другое по понятным причинам; те, чья «жульническая кровь» не вызывает сомнения в своей чистоте.

Потомственные воры и составляют правящее ядро уголовного мира, именно им принадлежит решающий голос во всех суждениях «правилок», этих «судов чести» блатарей, составляющих необходимое, крайне важное условие этой подземной жизни.

Во время так называемого раскулачивания блатной мир расширился сильно. Его ряды умножились — за счет сыновей тех людей, которые были объявлены «кулаками». Расправа с «раскулаченными» умножила ряды блатного мира. Однако никогда и нигде никто из бывших «раскулаченных» не играл видной роли в преступном мире.

Они грабили лучше всех, участвовали в кутежах и гулянках громче всех, пели блатные песни крикливей всех, ругались матерно, превосходя всех блатарей в этой тонкой и важной науке сквернословия, в точности

имитировали блатарей и все же были только имитаторами, только подражателями.

В сердцевину блатного мира эти люди допущены не были. Редкие одиночки, особенно отличившиеся — не своими «героическими подвигами» во время ограблений, но усвоением правил блатного поведения, участвовали иногда в «правилках» высших воровских кругов. Увы — они не знали, что сказать на этих правилках. При малейшем столкновении, а каждый блатарь — весьма истеричная особа, — чужакам напоминали их «чуждое» происхождение.

— Ты — порчак! А открываешь хавало! Какой ты вор? Ты волжский грузчик, а не вор! Ты — олень самый настоящий!

«Порчак», то есть «порченый фраер» — фраер, который уже перестал быть фраером, но еще не стал блатарем («Это еще не птица, но уже не четвероногое» — как говорил Жак Паганель у Жюля Верна). И «порчак» терпеливо сносит оскорбления. «Порчаки» не бывают, конечно, хранителями традиций воровского мира.

Для того чтобы быть «хорошим», настоящим вором, нужно вором родиться; только тем, кто с самых юных лет связан с ворами, и притом с «хорошими, известными ворами», кто прошел полностью многолетнюю науку тюрьмы, кражи и блатного воспитания, достается решать важные вопросы блатной жизни.

Каким ты видным грабителем ни будь, какая тебя ни сопровождает удача, ты всегда останешься чужаком-одиночкой, человеком второго сорта среди потомственных воров. Мало воровать, надо принадлежать к этому ордену, а это дается не только кражей, не только убийством. Вовсе не всякий «тяжеловес», вовсе не всякий убийца — только потому, что он — грабитель и убийца — занимает почетное место среди блатарей. Там есть свои блюстители чистоты нравов, и особо важные воровские секреты, касаемые выработки общих законов этого мира (которые, как и жизнь, меняются), выработки языка воров, «блатной фени», — дело только блатарской верхушки, состоящей из потомственных воров, хотя бы там были только карманники.

И даже к мнению мальчика-подростка (сына, брата какого-нибудь видного вора) блатной мир будет прислушиваться больше, чем к суждениям «порчаков» — пусть они будут хоть Ильями Муромцами в грабительском деле.

И «марьян» — женщин блатного мира — будут делить в зависимости от знатности хозяина... Их получат сначала обладатели «голубой крови», а в последнюю очередь — «порчаки».

Блатари немало заботятся о подготовке своей смены, о выращивании «достойных» продолжателей их дела.

Страшный мишурный плащ уголовной романтики ярким маскарадным блеском привлекает юношу, мальчика, чтобы его отравить своим ядом навсегда.

Этот фальшивый блеск стекляруса, выдающего себя за алмаз, повторен тысячей зеркал художественной литературы.

Можно сказать, что художественная литература вместо того, чтобы заклеймить уголовщину, сделала обратное: подготовила почву для расцвета ядовитых ростков в неопытной, неискушенной душе молодежи.

Юноша не в силах сразу разобраться, разглядеть истинное лицо уркаганов — а потом бывает уже поздно, он оказывает содействие ворам, сблизившийся с ними любой, даже самой малой, близостью — уже заклеймен и обществом, а со своими новыми товарищами связан на жизнь и смерть.

Существенно и то, что в нем самом уже копится личная озлобленность, появляются личные счеты с государством и его представителями. Ему кажется, что его страсти, его личные интересы приходят в неразрешимый конфликт с обществом, с государством. Ему кажется, что он платит слишком дорого за свои «проступки», которые государство называет не проступками, а преступлениями.

Его манит и извечная тяга юности к «плащу и шпаге», к таинственной игре, а здесь «игра» не шуточная, а живая кровавая игра, по своей психологической напряженности не идущая ни в какое сравнение с постными «Учениками Иисуса» или «Тимуром и его командой». Творить зло гораздо увлекательней, чем творить добро. С застучавшим сердцем входя в это воровское подполье, мальчик рядом с собой видит тех людей, которых боятся его папа и мама. Он видит их кажущуюся независимость, ложную свободу. Хвастливое их вранье мальчик принимает за чистую монету. В блатарях он видит людей, которые бросают вызов обществу. Вместо нелегкого добывания трудовой копейки юноша видит «щедрость» вора, «шикарно» разбрасывающего ассигнации после удачного грабежа. Он видит, как пьет и гуляет вор, и

эти картины разгула далеко не всегда отпугивают юношу. Он сравнивает скучную, повседневную, скромную работу отца и матери с «трудом» воровского мира, где надо быть, кажется, только смелым...

Мальчик не думает о том, сколько чужого труда и чужой человеческой крови награбил и тратит, не считая, этот его герой. Там есть всегда водка, «план», кокаин, и мальчику дают выпить, и восторг подражания охватывает его.

Среди своих сверстников, бывших товарищей, он замечает некоторое отчуждение, смешанное с боязнью, и по наивности своей детской принимает это отношение за уважение к себе.

А главное — он видит, что все боятся воров, боятся, что любой может зарезать, выколоть глаза...

В «шалман» является какой-нибудь Иван Корзубый из тюрьмы и тысячи рассказов приносит с собой — кого он видел, кто за что и на сколько осужден — все это опасно и пленительно.

Юноша видит, что люди живут, обходясь без того, что бывает постоянной заботой в семье.

Вот юноша пьян по-настоящему, вот он уже бьет проститутку — бабу он должен уметь бить! — это одна из традиций новой жизни.

Юноша мечтает об окончательной шлифовке, окончательном приобщении к ордену. Это — тюрьма, которой он приучен не бояться.

Старшие его берут «на дело» — на первых порах стоять где-нибудь «на вассере» (на страже). Вот уже и взрослые воры ему доверяют, а вот он ворует и сам, и сам «распоряжается».

Он быстро усваивает манеры, непередаваемой наглости усмешку, походку, выпускает брюки на сапоги особым напуском, надевает крест на шею, покупает шапку-кубанку на зиму, «капитанку» — летом.

В первую же свою тюремную отсидку он татуируется новыми друзьями — мастерами этого дела. Опознавательный знак его принадлежности к ордену блатарей, как каиново клеймо, навечно нанесен синей тушью на его тело. Много раз после будет он жалеть о наколках, много крови испортят они блатарю. Но все это будет после, много после.

Он давно уже овладел «блатной феней», воровским языком. Он бойко услуживает старшим. В поведении своем мальчик боится скорее недосолить, чем пересолить.

И дверь за дверью открывает блатной мир перед ним свои последние глубины.

Вот он уже принимает участие в кровавых «правилках», «судах чести», и его, как и всех остальных, заставляют «расписаться» на трупе удавленного по приговору блатного суда. Кто-то сует ему в руки нож, и он тычет ножом в еще теплый труп, доказывая свою полную солидарность с действиями своих учителей.

Вот он и сам убивает по приговору старших указанного ему «предателя», «суку».

Среди блатных вряд ли есть хоть один человек, который не был бы когда-либо убийцей.

Такова схема воспитания молодого блатаря из юноши чужого мира.

Проще воспитываются представители «голубой крови», потомственные блатари или те, что никакой жизни, кроме воровской, не знали и не собирались ее знать.

Не нужно думать, что эти люди, из которых и выходят идеологи и вожди блатного мира, эти принцы жульнической крови, воспитываются каким-то особенным, тепличным способом. Отнюдь нет. Их никто не оберегает от опасностей. Просто на их пути к вершинам или, вернее, к наиболее глубоким ямам блатного дна стоит меньше препятствий. Их путь проще, скорее, безоговорочней. Им раньше верят, раньше дают воровские поручения.

Но много лет юный блатарь, хотя бы его предками были самые влиятельные вельможи воровской среды, трется около взрослых бандитов, им боготворимых, бегает им за папиросами, подносит «огонька» прикурить, таскает «ксивёнки» — записки, всячески услуживает. Много лет проходит, пока его возьмут на кражу.

. . . .

Вор — ворует, пьет, гуляет, развратничает, играет в карты, обманывает фраеров, не работает ни на воле, ни в заключении, кровавой расправой уничтожает ренегатов и участвует в «правилках», вырабатывающих важные вопросы подземной жизни.

Он хранит блатные тайны (их немало), помогает товарищам по ордену, вовлекает и воспитывает юношество и следит за сохранением в суровой чистоте воровского закона.

Кодекс несложен. Но за столетия он оброс тысячами традиций, святых обычаев, мелочное выполнение которых

тщательно блюдется хранителями воровских заветов. Блатари — большие талмудисты. Для того чтобы обеспечить наилучшее выполнение воровских законов, время от времени устраивают великие, повсеместные подпольные собрания, где и выносятся решения, диктующие правила поведения применительно к новым условиям жизни, производятся (вернее, утверждаются) замены слов в вечно меняющемся воровском лексиконе, «блатной фене».

Все люди мира, по философии блатарей, делятся на две части. Одна часть — это «люди», «жулье», «преступный мир», «урки», «уркаганы», «блатари», «жуки-куки» и т. п.

Другая — фраера, то есть «вольные». Старинное слово фраер — одесского происхождения. В «блатной музыке» прошлого столетия много жаргонных еврейско-немецких слов.

Другие названия фраеров — «штымпы», «мужики», «олени», «асмодеи», «черти». Есть «порченые штымпы», близкие к блатарям, и «битые фраера» — знакомые с делами блатного мира, разгадавшие их хотя бы частично, опытные; «битый фраер» — это значит опытный, произносится это с уважением. Это — разные миры, и не только тюремная решетка разделяет их.

«Мне говорят, что я подлец. Хорошо, я — подлец. Я подлец, и мерзавец, и убийца. Но что из этого? Я не живу вашей жизнью, у меня жизнь своя, у нее другие законы, другие интересы, другая честность!» — так говорит блатарь.

Ложь, обман, провокация по отношению к фраеру, хотя бы к человеку, который спас блатаря от смерти, — все это не только в порядке вещей, но и особая доблесть блатного мира, его закон.

Хуже чем наивны призывы Шейнина к «доверию» преступному миру, доверию, за которое уже заплачено слишком большой кровью.

Лживость блатарей не имеет границ, ибо в отношении фраеров (а фраера — это весь мир, кроме блатарей) нет другого закона, кроме закона обмана — любым способом: лестью, клеветой, обещанием...

Фраер и создан для того, чтобы его обманывали; тот, который настороже, который имел уже печальный опыт общения с блатарями, называется «битым фраером» — особая группа «чертей».

Нет границ, нет пределов этим клятвам и обещаниям. Баснословное количество всяких и всяческих на-

чальников, штатных и нештатных воспитателей, милиционеров, следователей ловилось на немудреную удочку «честного слова вора». Наверное, каждый из тех работников, в обязанности которых входит ежедневное общение с жульем, много раз попадался на эту приманку. Попадался и дважды, и трижды, потому что никак не мог понять, что мораль блатного мира — другая мораль, что так называемая готтентотская мораль с ее критерием непосредственной пользы — невиннейшая по сравнению с мрачной блатарской практикой.

Начальники («начальнички», как их зовут блатари) неизменно оказывались обманутыми, одураченными...

А тем временем в городах с непонятным упорством возобновляли насквозь фальшивую и вредную пьесу Погодина, и новые поколения «начальничков» проникались понятиями о «чести» Кости-капитана.

Вся воспитательная работа с ворами, на которую ухлопали миллионы государственных денег, все эти фантастические «перековки» и легенды Беломорканала, давно ставшие притчей во языцех и предметом досужих острот блатарей, вся воспитательная работа держалась на такой эфемерной штуке, как «честное слово вора».

— Подумайте, — говорит какой-нибудь специалист по блатному миру, «начитанник» Бабеля и Погодина, — ведь Костя-капитан не то что дал честное слово исправиться. Меня, старого воробья, на этой мякине не проведешь. Я не такой уж фраер, чтобы не понимать, что дать честное слово им ничего не стоит. Но ведь Костя-капитан дал «честное слово вора». Вора! Вот ведь в чем штука. Уж этого своего слова он не сдержать не может. Его «аристократическое» самолюбие этого не допустит. Он умрет от презрения к самому себе, нарушившему «честное слово вора».

Бедный, наивный начальник! Дать честное слово вора фраеру, обмануть его, а затем растоптать клятву и нарушить ее — это воровская доблесть, предмет хвастливых россказней где-нибудь на тюремных нарах.

Много побегов было облегчено, подготовлено благодаря вовремя данному «честному слову вора». Если бы каждый начальник знал (а знают это только начальники, умудренные многолетним опытом общения с «капитанами»), что такое клятва вора, и по достоинству ее оценил — крови, жестокостей было бы гораздо меньше.

Но, может быть, мы ошибаемся, когда пытаемся связать два этих разных мира — «фраеров» и «уркаганов»?

Может быть, законы чести, морали действуют в мире «жулья» по-своему и мы просто не вправе адресоваться в мир блатарей с нашими моральными мерками?

Может быть, «честное слово вора», данное не фраеру, а «вору в законе», — есть настоящее честное слово?

Это и есть тот романтический элемент, который волнует юношеское сердце, который как бы оправдывает, вносит дух некоей, хотя и своеобразной, «моральной чистоплотности» в воровской быт, в отношения людей внутри этого мира. Быть может, подлость есть понятие разное для мира фраеров и для блатного общества? Душевными движениями уркаганов управляет, дескать, свой закон. И только встав на их точку зрения, мы и поймем, и даже признаем де-факто специфичность воровской морали.

Так не прочь думать и некоторые блатари поумнее. Не прочь и в этом вопросе «запудрить мозги» простаков.

Любая кровавая подлость в отношении фраера оправдана и освящена законами блатного мира. Но в отношении к своим товарищам вор, казалось бы, должен быть честен. К этому зовут его блатные скрижали, и жестокая расплата ждет нарушителей «товарищества».

Здесь та же театральная рисовка и хвастливая ложь с первого до последнего слова. Достаточно посмотреть поведение законодателей блатных мод в трудных условиях, когда под руками мало фраерского материала, когда приходится вариться в собственном соку.

Вор покрупнее, «авторитетнее» (слово «авторитет» в большом ходу среди воров — «заимел авторитет» и т. п.), физически сильнее держится угнетением воров поменьше, которые таскают ему пищу, ухаживают за ним. И если приходится кому-то идти работать, то на работу посылаются свои же товарищи послабее, и теперь от них, этих своих товарищей, блатная верхушка требует того же, что требовала раньше от фраеров.

Грозная поговорка «умри ты сегодня, а я завтра» начинает повторяться все чаще и чаще во всей своей кровавой реальности. Увы, в блатарской поговорке нет никакого переносного смысла, никакой условности.

Голод заставляет блатаря отнимать и поедать порции своих менее «авторитетных» друзей, посылать их в экспедиции, имеющие очень мало общего с правильным выполнением воровских законов.

Везде рассылают грозные записки — «ксивы» с просьбами о помощи, и если есть возможность зарабо-

тать кусок хлеба, а украсть нельзя — те, что помельче, идут работать, «пахать». Их посылают на работу так, как на убийство. За убийство расплачиваются вовсе не главари, главари только приговаривают к смерти. Убивают мелкие воры, под страхом собственной смерти. Убивают или выкалывают глаза (весьма распространенная «санкция» в отношении фраеров).

В трудном положении воры также доносят лагерным начальникам друг на друга. О доносах же на фраеров, на «Иван Иванычей», на «политиков» и говорить нечего. Эти доносы — путь к облегчению жизни блатаря, предмет его особой гордости.

Рыцарские плащи слетают, и остается подлость как таковая, которой проникнута философия блатаря. Логическим образом эта подлость в трудных условиях обращается на своих товарищей по ордену. В этом нет ничего удивительного. Подземное уголовное царство — мир, где целью жизни ставится жадное удовлетворение низменнейших страстей, где интересы — скотские, хуже скотских, ибо любой зверь испугался б тех поступков, на которые с легкостью идут блатари.

(«Самый страшный зверь — человек» — распространенная блатная присказка опять-таки в буквальности, в реальности.)

Представитель такого мира не может выказать духовной твердости в положении, угрожающем смертью или длительными физическими мучениями, он и не проявляет этой твердости.

Было бы большой ошибкой думать, что понятия «пить», «гулять», «развратничать» одинаковы с соответствующими понятиями фраерского мира. Увы! Все фраерское выглядит крайне целомудренно в сравнении с дикими сценами блатарского быта.

В больничную палату к блатарям — больным (симулянтам и аггравантам, конечно) добирается (то ли по вызову, то ли по собственному почину) какая-либо зататуированная проститутка или «городушница», и ночью (пригрозив дежурному санитару ножом) возле этой новоявленной святой Терезы собирается компания блатарей. Все, кто имеет «жульническую кровь», могут принять участие в этом «удовольствии». Задержанная, не смущаясь и не краснея, объясняет, что «пришла выручить ребят — ребята попросили».

Блатари все — педерасты. Возле каждого видного блатаря вьются в лагере молодые люди с набухшими

мутными глазами: «Зойки», «Маньки», «Верки» — которых блатарь подкармливает и с которыми он спит.

В одном из лагерных отделений (где не было голодно) блатари приручили и развратили собаку-суку. Ее прикармливали, ласкали, потом спали с ней, как с женщиной, открыто, на глазах всего барака.

В возможность обыденности подобных случаев не хотят верить из-за их чудовищности. Но это — быт.

Был женский прииск, многолюдный, с тяжелой «каменной» работой, с голодом. Блатарю Любову удалось попасть туда на работу.

«Эх, славно пожил зиму, — вспоминал блатарь. — Там, ясное дело, все за хлеб, за паечку. И обычай, уговор такой был: отдаешь пайку ей в руки — ешь! Пока я с ней, должна она эту паечку съесть, а что не успеет — отбираю обратно. Вот я утром паечку получаю — и в снег ее! Заморожу пайку — много ли баба угрызет замороженного-то хлеба...»

Трудно, конечно, представить, что человеку может прийти в голову такое.

Но в блатаре и нет ничего человеческого.

В лагере дают на руки заключенным кое-какие деньги, какой-то остаток после оплаты «коммунальных услуг» в виде конвоя, брезентовых палаток на шестидесятиградусном морозе, тюрем, пересылок, обмундирования, питания. Остаток мизерен, но все же он — призрак денег. Масштабы смещены, и даже ничтожная «зарплата» — 20—30 рублей в месяц — вызывает интерес у заключенных. На 20—30 рублей можно купить хлеба, много хлеба — разве это не важная мечта, сильнейший «стимул» во время тяжелой многочасовой работы в забое, работы на морозе и в голоде и в холоде. Интересы людей сужены, но интересы не стали менее сильными, когда люди стали полулюдьми.

Заработную плату, получку, платят раз в месяц, и в этот день блатари обходят все фраерские бараки, заставляя отдавать деньги — в зависимости от совести «рэкетиров», или половину, или все. Если не отдают добровольно, то все отнимается насильно, с побоями — ломом, кайлом, лопатой.

На эти заработки охотников и без блатарей много. Часто бригады с хорошей продовольственной карточкой, бригады, которые лучше питаются, предупрежде-

ны бригадиром, что денег получать рабочие не будут, что деньги пойдут десятнику или нормировщику. А если не согласны, то и карточки будут плохие, тем самым арестанты обрекаются на голодную смерть.

Поборы «начальничков» — нормировщиков, бригадиров, смотрителей — повсеместное явление.

Грабежи, совершаемые блатарями, встречаются всюду. Рэкет узаконен и никого не удивляет.

В 1938 году, когда между начальством и блатарями существовал почти официальный «конкордат», когда воры были объявлены «друзьями народа», высокое начальство искало в блатарях орудие борьбы с «троцкистами», с «врагами народа». Проводились даже «политзанятия» с блатарями в КВЧ, где работники культуры разъясняли блатарям симпатии и надежды властей и просили у них помощи в деле уничтожения «троцкистов».

— Эти люди присланы сюда для уничтожения, а ваша задача — помочь нам в этом деле, — вот подлинные слова инспектора КВЧ прииска «Партизан» Шарова, сказанные им на таких «занятиях» зимой в начале 1938 года.

Блатари ответили полным согласием. Еще бы! Это спасало им жизнь, делало их «полезными» членами общества.

В лице «троцкистов» они встретили глубоко ненавидимую ими «интеллигенцию». Кроме того, в глазах блатарей это были «начальнички», попавшие в беду, начальники, которых ждала кровавая расплата.

Блатари при полном одобрении начальства приступили к избиениям «фашистов» — другой клички не было для пятьдесят восьмой статьи в 1938 году.

Люди покрупнее, вроде Эшбы, бывшего секретаря Северо-Кавказского крайкома партии, были арестованы и расстреляны на знаменитой «Серпантинке», а остальных добивали блатари, конвой, голод и холод. Велико участие блатарей в ликвидации «троцкистов» в 1938 году.

«Бывают же случаи, — скажут мне, — когда вор, если ему оказать поблажку, держит свое слово и — незримо — обеспечивает “порядок” в лагере».

— Мне выгоднее, — говорит начальник, — чтоб пять-шесть воров не работало вовсе или работало где хотело, — зато остальное лагерное население, не оби-

жаемое ворами, будет работать хорошо. Тем более что конвоя не хватает. Воры обещают не красть и следить за тем, чтобы все остальные заключенные работали. Правда, в части выполнения норм этими остальными гарантий воры не дают, но это уж дело десятое.

Случаи такой договоренности между ворами и местным начальством не так уж редки.

Начальник не стремится к точному выполнению правил лагерного режима, он облегчает свою задачу, и облегчает значительно. Такой начальник не понимает, что он уже пойман ворами «на крючок», что он уже «на крючке» у воров. Он уже отступил от закона, делая поблажку ворам из расчета ложного и преступного — потому что фраерское население лагеря обрекается начальником во власть воров. Из этого фраерского населения у начальника найдут защиту только бытовики, осужденные по служебным и бытовым преступлениям, то есть казнокрады, убийцы и взяточники. Осужденные же по пятьдесят восьмой статье защиты не найдут.

Эта первая поблажка ворам легко приводит начальников в более тесное общение с «преступным миром». Начальник берет взятку — «борзыми щенками» или деньгами, — тут дело решается опытностью дающего, жадностью получающего. Воры — мастера давать взятку. Тем легче, щедрее это делается, что вручаемое — приобретено кражей, грабежом.

Дается тысячный костюм (блатари и носят, и хранят очень хорошие «вольные» вещи именно для взятки в нужных случаях), обувь какая-нибудь замечательная, золотые часы, значительная сумма денег...

Не берет начальник, «смажут» его жену, приложат всю энергию для того, чтобы «начальничек» только взял раз и два. Это — подарки. У «начальничка» ничего не попросят взамен. Ему будут давать и благодарить. Попросят позже — когда «начальничек» будет опутан воровскими сетями покрепче и будет бояться разоблачения перед высшим начальством. Такое разоблачение — угроза веская и легко осуществимая.

Честное же слово вора в том, что никто ничего не узнает, — это ведь клятва вора фраеру.

Кроме всего прочего, обещание не воровать — это обещание не воровать заметно, не грабить — и только. Не будет же начальник отпускать воров в воровские

экспедиции (хотя и такие случаи бывали). Воровать воры будут все равно, ибо это их жизнь, их закон. Они могут пообещать начальнику не воровать у себя на прииске, не обкрадывать лагерную обслугу, не обкрадывать лагерные ларьки, охрану, но все это — лживо. Найдутся старшие, которые охотно разрешат своих товарищей от такого рода «присяги».

Если дано обещание не воровать — это значит, что рэкет будет сопровождаться более грозным запугиванием, вплоть до угроз убийством.

В тех лагерных отделениях заключенные живут хуже всего, бесправней всего, голоднее всего, меньше зарабатывают и хуже едят, где воры командуют нарядчиками, поварами, надзирателями и самими начальниками.

Примеру начальников следовал и лагерный конвой.

Не один год конвой, сопровождающий заключенных на работу, «отвечал» за выполнение плана. Эта ответственность была не вполне настоящей и деловой, а вроде ответственности профсоюзников. Однако, подчиняясь воинскому приказу, конвоиры требовали от заключенных работы. «Давай, давай» — стало привычным возгласом не только в устах бригадиров, смотрителей и десятников, но и конвоиров. Конвоиры, для которых это было лишней нагрузкой, кроме чисто охранных дел, не очень одобрительно встретили новые неоплачиваемые свои обязанности. Но приказ есть приказ, и в ход чаще пошел приклад, выбивая «проценты» из заключенных.

Вскоре — хочу думать, что эмпирически, — конвой нашел выход из положения, несколько затрудненного настойчивыми производственными приказами конвойного начальства.

Конвоиры выводили партию (в которой всегда были смешаны «политики» с ворами) на работу и сдавали эту работу на откуп ворам. Воры охотно разыгрывали роль добровольных бригадиров. Они избивали заключенных (с благословения и при поддержке конвоя), заставляя полуживых от голода стариков выполнять тяжелую работу в золотых забоях, палками выбивая из них «план», в который включалась и та часть задания, которая падала на самих воров.

Десятники в такие детали никогда не вмешивались, добиваясь лишь увеличения общей выработки любым путем.

Десятники почти всегда были подкуплены ворами. Это делалось в форме прямой взятки, вещевой или де-

нежной, без всякой предварительной обработки. Десятник сам ждал взятки. Это был его постоянный и значительный дополнительный доход.

Иногда обработка десятника велась с помощью «игры на кубики», то есть игры в карты на кубометры выполненной работы.

Бригадир-вор садился играть с десятником и против выставленных «тряпок» — костюмов, свитеров, рубашек, брюк — требовал оплаты «кубиками» — кубометрами земли...

При выигрыше, а выигрыш был почти всегда — за исключением тех случаев, когда требовалась «изящная» взятка, сделавшая бы честь какому-нибудь французскому маркизу за карточным столом Людовика XIV, — проигранные кубометры грунта, породы оплачивались настоящими нарядами, и бригада блатарей, не работая, получала высокие заработки. Десятник пограмотней пытался свести баланс, обсчитывая бригады «троцкистов».

Приписка — «продажа кубометров» была бедствием на прииске. Маркшейдерские замеры устанавливали истину и обнаруживали виновных... Таких десятников-жуликов только понижали в должности или переводили в другое место. И вслед за ними оставались трупы голодных людей, из которых пытались «выбить» проигранные десятником «кубики».

Растленный дух блатарей пронизывал всю колымскую жизнь.

Без отчетливого понимания сущности преступного мира нельзя понять лагеря. Блатари дают лицо местам заключения, тон всей жизни в них — начиная от самых высоких начальников и кончая полуголодными работягами золотого забоя.

Идеальный блатарь, «настоящий вор», блатной Каскарилья не грабит «частных лиц». Такова одна из «творимых легенд» блатного мира... Вор грабит только казенное — каптерку, кассу, магазин, в худшем случае «вольные» квартиры, а забирать последнее у арестанта, у заключенного «хороший вор» не станет. Дескать, кража белья, насильственные «сменки» хорошей одежды и обуви на плохую, кража рукавиц, полушубков, шарфов (из казенного) и свитеров, пиджаков, брюк (из вольного) совершается «шпаной», «сявками», «кусочниками», крохоборами...

— Если бы у нас тут были настоящие воры, — вздыхает обыватель, — они не допустили бы грабежей, чинимых уголовной мелкотою.

Бедный фраер верит в Каскарилью. Он не хочет понять, что мелкоту посылают на кражи белья люди покрупнее, что добытые «лепеха» и «шкары» появляются у «авторитетных» воров не потому, что эти воры посильнее воруют брюки и пиджаки.

Фраер не знает, что чаще всего «лазят» те воришки, которым положено набить руку в своей специальности, что делить награбленное будут вовсе не они. При операции посложнее и взрослые примут участие в грабеже — путем ли уговора: отдай, дескать, зачем тебе надо? — или пресловутой «сменки», когда на фраера насильно напяливается ветошь, вещь, давно уже ставшая символом вещи, то есть годящаяся на «сдачу» при отчете. Оттого-то через день-два после выдачи нового обмундирования в лагере лучшим бригадам оказывается, что новые полушубки, бушлаты, шапки — у воров, хотя и не выдавались им. Иногда при «сменке» дают закурить или кусок хлеба — это если блатарь «порядочный» и не злой по натуре или боится, что его жертва «забазлает», то есть поднимет крик.

Отказ от «сменки» или «подарка» влечет за собой побои, а при упрямстве фраера и удар ножом. Но в большинстве случаев до ножа дело не доходит.

Эти «сменки» совсем не шутка в условиях многочасовой работы на пятидесятиградусном морозе, недосыпа, голода и цинги. Отдать валенки, полученные из дому, — значит поморозить ноги. В дырявых матерчатых бурках, которые предлагают в «сменку», долго не поработаешь на морозе.

В 1938 году поздней осенью получил я посылку из дома — мои старые авиационные бурки на пробковой подошве. Я побоялся вынести их с почты — здание окружала толпа блатарей, прыгавшая в белой полутьме вечера, ожидая жертв. Я продал бурки тут же десятнику Бойко за сто рублей — по колымским ценам бурки стоили тысячи две. Я бы мог добраться в бурках до барака — их украли бы в первую же ночь, стащили бы с ног. Воров привели бы в барак мои же соседи за папиросу, за корку хлеба, они «навели» бы грабителей немедля. Такими «наводчиками» был полон весь лагерь. А сто рублей, вырученные за бурки, — это сто килограммов

хлеба — деньги сохранить гораздо легче, привязав их к телу и при покупках не выдавая себя.

Вот и ходят блатари в валенках, подвернутых по блатной моде, «чтоб не забивался снег», «достают» полушубки, и шарфы, и шапки-ушанки, да не просто ушанки, а стильные, блатарские, «форменные» кубаночки.

У крестьянского парня, у рабочего парня, у интеллигента голова идет кругом от неожиданностей. Парень видит, что воры и убийцы живут в лагере лучше всех, пользуются и относительной материальной обеспеченностью, и отличаются определенной твердостью взглядов и завидным разудалым, бесстрашным поведением.

С ворами считается начальство. Блатари — хозяева жизни и смерти в лагере. Они всегда сыты, умеют «достать», когда все остальные — голодны. Вор не работает, пьянствует, даже в лагере, а крестьянский парень вынужден «пахать». Воры его и заставляют «пахать» — так они ловко приспособились. У воров всегда табачок, лагерный парикмахер приходит стричь их «под бокс» на «дом», в барак, захватив лучший свой инструмент. Повар приносит им ежедневно из кухни украденные консервы и сладости. Для воров помельче с кухни отпускаются лучшие и вдесятеро увеличенные порции. Хлеборез им никогда не откажет в хлебе. Вся вольная одежда на плечах блатарей. На лучшем месте нар — у света, у печки — располагаются блатари. У них есть и ватные подстилки и ватные одеяла, а он — молодой колхозник — спит на разрубленных вдоль бревнах. Крестьянский парень начинает думать, что блатари и есть носители лагерной правды, что они единственная сила, и материальная и моральная, в лагере, кроме начальства, которое предпочитает в огромном большинстве случаев не ссориться с блатарями.

Молодой крестьянский парень начинает услуживать блатарям, подражать им в ругательствах, в поведении, мечтает оказать им помощь, озариться их огнем.

Недалек час, когда он, по указанию блатарей, сделает первую кражу в общий котел — и новый «порчак» готов.

Яд блатного мира невероятно страшен. Отравленность этим ядом — растление всего человеческого в человеке. Этим зловонным дыханием дышат все, кто

соприкасается с этим миром. Какие тут нужны противогазы?

Я знал кандидата наук, вольнонаемного врача, рекомендовавшего своему коллеге особую внимательность по отношению к «больному»: «Ведь это — крупный вор!» Можно было подумать, что пациент, по крайней мере отправил ракету на Луну, — таков был тон этой рекомендации. Он, этот врач, даже не ощущал всей оскорбительности для себя, для собственной личности подобного суждения.

Воры быстро нащупали «слабину» у Ивана Александровича (так звали кандидата наук). В отделении, которым он заведовал, всегда лежали на отдыхе совершенно здоровые люди. («Профессор — отец родной», — смеялись воры.)

Иван Александрович вел фальшивые истории болезни, не жалея ночного отдыха и труда, сочинял ежедневные записи, заказывал анализы и обследования...

Как-то мне довелось прочесть письмо, адресованное ему группой воров — с пересылки, где они просили положить в больницу своих соратников, нуждающихся, по их мнению, в отдыхе. И перечисленные в списке блатари постепенно были положены в больницу.

Иван Александрович не боялся блатарей. Он был старым колымчанином, видал виды, угрозами бы блатари ничего не добились. Но дружеское похлопывание по плечу, блатарские комплименты, которые Иван Александрович принимал за чистую монету, его слава среди блатного мира, слава, в сущности которой он не разбирался и не хотел разбираться, — вот что приобщило его к блатному миру. Иван Александрович, как и многие другие, был загипнотизирован всевластием блатарей, и его воля стала их волей.

Неизмерим, необозрим тот вред, который принесло обществу многолетнее цацканье с ворами, вреднейшим элементом общества, не перестающим отравлять своим зловонным дыханием нашу молодежь.

Возникшая из чисто умозрительных посылок теория «перековки» привела к десяткам и сотням тысяч лишних смертей в местах заключения, к многолетнему кошмару, который создали в лагерях люди, недостойные названия человека.

Блатной язык меняется время от времени. Смена словаря-шифра — не процесс совершенствования, а средство самосохранения. Блатному миру известно, что уголовный розыск изучает их язык. Человек, вошедший в «кодло» и вздумавший изъясняться «блатной музыкой» двадцатых годов, когда говорили «на стрёме», «на цинку», вызовет подозрение у блатарей в тридцатых годах, привыкших к выражениям «на вассере» и т. д.

Мы плохо и неверно разбираемся в разнице между ворами и хулиганами. Слов нет, обе эти социальные группы — антиобщественны, обе враждебны обществу. Но взвесить истинную опасность каждой группы, оценить ее по достоинству мы способны крайне редко. Бесспорно, что мы больше боимся хулигана, чем вора. В быту мы общаемся с ворами очень редко, всякий раз эти встречи происходят либо в отделении милиции, либо в уголовном розыске, где мы выступаем в роли потерпевших или свидетелей. Гораздо грознее хулиган — пьяное страшилище, «чубаровец», возникающий на бульваре, или в клубе, или в коридоре коммунальной квартиры. Традиционность русского молодечества — пьянки в «храмовые» праздники, пьяные драки, приставания к женщинам, грязная ругань — все это хорошо нам известно и кажется нам гораздо страшнее того таинственного воровского мира, о котором мы имеем — по вине художественной литературы — крайне смутное понятие. Подлинную цену хулиганов и воров знают только работники уголовного розыска; но из примера творчества Льва Шейнина можно видеть, что знание не всегда используется правильным образом.

Мы не знаем, что такое вор, что такое уркаган, что такое блатарь, вор-рецидивист. Укравшего белье с веревки на даче и напившегося тут же в станционном буфете мы считаем видным «скокарем».

Мы не догадываемся, что человек может воровать, не будучи вором, членом преступного мира. Мы не понимаем, что человек может убивать и воровать и не быть блатарем. Конечно, блатарь ворует. Он этим живет. Но не всякий вор — блатарь, и понять эту разницу категорически необходимо. Преступный мир существует рядом с чужими кражами, рядом с хулиганством.

Правда, для потерпевшего все равно, кто украл у него из квартиры серебряные ложки или костюм нава-

ринского пламени с дымом — вор-блатарь, вор-профессионал, но не блатарь, или квартирный сосед, никогда кражами не занимавшийся. Пусть, дескать, в этом разбирается уголовный розыск.

Хулиганов мы боимся больше, чем воров. Ясно, что никакие «народные дружины» не справятся с ворами, о которых мы, к сожалению, имеем вовсе превратное понятие. Подчас думают, что где-то в глубоком подполье под чужими именами скрываются и живут таинственные блатари. Они грабят только магазины и кассы. Белья с веревки эти каскарильи не унесут, этим «благородным жуликам» обыватель рад даже помочь — он иногда прячет их от милиции — то ли из романтических побуждений, то ли «за боюсь» — из страха, что чаще.

Хулиган страшнее. Хулиган ежедневен, общедоступен, близок. Он страшен. Спасения от него и ищем мы в милиции и в народных дружинах.

Между тем хулиган, всякий хулиган стоит еще на грани человеческого. Вор-блатарь стоит вне человеческой морали.

Любой убийца, любой хулиган — ничто по сравнению с вором. Вор тоже убийца и хулиган плюс еще нечто такое, чему почти нет имени на человеческом языке.

Работники мест заключения или уголовного розыска не очень любят делиться своими важными воспоминаниями. У нас есть тысячи дешевых детективов, романов. У нас нет ни одной серьезной и добросовестной книги о преступном мире, написанной работником, чьей обязанностью была борьба с этим миром.

Это ведь постоянная социальная группа, которую правильней было бы назвать антисоциальной. Она вносит отраву в жизнь наших детей, она борется с нашим обществом и одерживает подчас успехи потому, что к ней относятся с доверием и наивностью, а она борется с обществом совсем другим оружием — оружием подлости, лжи, коварства, обмана — и живет, обманывая одного начальника за другим. Чем выше по чину начальник, тем легче его обмануть.

Сами блатари относятся к хулиганам резко отрицательно. «Да это не вор, это — просто хулиган», «это хулиганский поступок, недостойный вора» — такие фразы непередаваемой фонетики в ходу среди преступного мира. Эти примеры воровского ханжества встречаются на каждом шагу. Блатарь хочет отделить себя от хулиганов, поставить себя гораздо выше и на-

стойчиво требует, чтобы обыватели различали воров и хулиганов.

В этом направлении ведется и воспитание молодого блатаря. Вор не должен быть хулиганом, образ «вора-джентльмена» — это и свидетельство прослушанных «романов», и официальный символ веры блатарей. Есть в этом образе «вора-джентльмена» и некая тоска души блатаря по недостижимому идеалу. Поэтому-то «изящество», «светскость» манер в большой цене среди воровского подполья. Именно оттуда в блатарский лексикон попали и закрепились там слова: «преступный мир», «вращался», «он с ним кушает» — все это звучит и не высокопарно, не иронически. Это — термины определенного значения, ходовые выражения языка.

В воровских «сурах» говорится, что вор не должен быть хулиганом.

Скромно одетый, с букетом в петлице,
В сером английском пальто,
Ровно в семь тридцать покинул столицу,
Даже не глянул в окно

Это — классический идеал, классический портрет медвежатника-блатаря, «вора-джентльмена», Каскарильи из кинофильма «Процесс о трех миллионах».

Хулиганство — это слишком невинное, слишком целомудренное дело для вора. Вор развлекается по-другому. Убить кого-нибудь, распороть ему брюхо, выпустить кишки и кишками этими удавить другую жертву — вот это по-воровски, и такие случаи были. Бригадиров в лагерях убивали немало, но перепилить шею живого человека поперечной двуручной пилой — на такую мрачную изобретательность мог быть способен только блатарский, не человеческий мозг.

Самое мерзкое хулиганство выглядит по сравнению с рядовым развлечением блатаря невинной детской шуткой.

Блатари могут гулять, и пить, и хулиганить где-нибудь в своем «кодле», в «шалмане» — гулять без дебоша, показывая пределы своей удали только своим же товарищам и благоговеющим неофитам, чье приобщение к воровскому ордену — вопрос дней.

Хулиганство, случайное воровство — это периферия блатного мира, это та пограничная область, где общество встречается со своим антиподом.

Вербовка молодых или новых воров редко идет из хулиганской среды. Разве что хулиган бросает свои дебоши и, запятнанный тюрьмой, переходит в ряды блатного мира, где он большой роли в идеологии, в формировании законов этого мира никогда играть не будет.

Кадровые воры — это потомственные воры или те, кто с мальчиков прошел весь курс уголовной науки, бегал за водкой, за папиросами для старших, стоял на «страже», или на «вассере», лазал в форточку, чтоб отпереть дверь грабителям, укреплял свой дух в тюрьме, потом уже пошел на «дело» самостоятельно.

Блатной мир враждебен власти, и притом всякой власти. Это блатари, «мыслящие» блатари, понимают хорошо. Героическое время «староротских» и «каторжанчиков» отнюдь не представляется им овеянным славой. «Староротский» — это кличка арестанта из царских арестантских рот. «Каторжанчик» — это тот, кто был на царской каторге — на Сахалине, на Колесухе. На Колыме принято называть центральные губернии «материком», хотя Чукотка ведь не остров, а полуостров. Этот «материк» вошел и в литературу, и в газетный язык, и в деловую официальную переписку. Это слово-образ рождено тоже в блатном мире — морское сообщение, пароходная линия Владивосток — Магадан, высадка на пустынных скалах — была очень похожей на сахалинские картины прошлого. Так укрепилось название «материка» за Владивостоком, хотя островом Колыму никто никогда не называл.

Блатной мир — мир настоящего, реального настоящего. «Ворье» превосходно понимает, что какой-нибудь легендарный Горбачевский, попавший в песню: «Гром прогремел, что Горбачевский погорел», не больший герой, чем Ванька Чибис с соседнего прииска.

Никакая заграница не прельщает умудренных опытом блатарей, те воры, которые побывали там в войну, не хвалят заграницу, особенно Германию — из-за чрезвычайных строгостей наказания за кражи и убийства. Немного легче дышать ворью во Франции, но и там перековочные теории не имеют успеха и ворам приходится туго. Относительно благоприятными блатарям кажутся наши условия, где так много далеко идущего доверия и неистребимых многократных «перековок».

К числу «творимых легенд» блатного мира относится и похвальба блатарей — утверждение, что «хороший урка» избегает тюрьмы, проклинает ее. Что тюрьма лишь печальная неизбежность профессии вора. Это — тоже кокетство, рисовка. Это — лживо, как все, что исходит из уст блатного.

Скокарь Юзик (то есть поляк) Загорский, жеманясь и ломаясь, хвастливо говорил, что провел в тюрьме лишь восемь лет из двадцати воровского стажа. Юзик уверял, что не пил и не гулял после удачной добычи. Он, видите ли, посещал оперу, куда имел абонемент, и только тогда, когда деньги кончались, вновь брался за кражи. Все как в песне:

Там, на концерте, в саду познакомился
С чудом земной красоты.
Деньги, как снег, очень быстро растаяли,
Надо вернуться назад,
Надо опять с головой окунуться
В хмурый и злой Ленинград

Но любитель оперного пения не мог припомнить ни одного названия оперы из тех, что он с таким увлечением слушал.

Юзик взял ноту явно не из той оперы — разговор этот не продолжался. Свои оперные вкусы Юзик почерпнул, конечно, из «романов», слышанных им многократно в тюремные вечера.

Да и насчет тюрьмы Юзик прихвастнул — повторил чью-то чужую фразу, какого-нибудь блатаря покрупнее.

Блатари говорят, что испытывают в момент кражи волнение особого рода, ту вибрацию нервов, которая роднит акт кражи с творческим актом, с вдохновением, испытывают своеобразное психологическое состояние нервного волнения и подъема, которое ни с чем нельзя сравнить по своей заманчивости, полноте, глубине и силе.

Говорят, что ворующий живет в этот момент неизмеримо более полной жизнью, чем картежник за зеленым столом, или, вернее, подушкой — традиционным ломберным столиком блатного мира.

«Лезешь в лепёху, — рассказывает один карманник, — а сердце стучит, стучит... тысячу раз умрешь и воскреснешь, пока вытащишь этот проклятый бумажник, в котором и денег-то, может быть, два рубля».

Бывают кражи вовсе безопасные, но «творческое» волнение, воровское «вдохновенье» все равно налицо. Ощущение риска, азарта, жизни.

Вору вовсе нет дела до того человека, которого вор обкрадывает. В лагере вор ворует подчас вовсе ненужные тряпки только для того, чтоб украсть, чтоб лишний раз испытать «высокую болезнь» кражи. «Зараженный» — говорят про таких блатари. Но деятелей «чистого искусства» кражи в лагере немного. Большинство предпочитает грабеж, а не кражу, наглый и откровенный грабеж, вырывая у жертвы на глазах всех пиджак, шарф, сахар, масло, табак — все, что можно съесть, и все, что может служить валютой в карточной игре.

Железнодорожный вор рассказывал о том особом волнении, с каким он вскрывает украденный «угол» (чемодан). «Замков мы не открываем, — говорил он, — крышкой о камень — и “угол” вскрыт».

Это воровское «вдохновение» очень далеко от человеческой смелости. Смелость — не то слово. Наглость самой чистой воды, наглость беспредельная, которую могут остановить только выставленные жесткие барьеры.

Никакой психологической нагрузки в виде душевных переживаний деятельность вора не имеет.

Карты занимают очень большое место в жизни блатаря.

Не все блатные играют в карты запоем, как «больные», проигрывая в сражении последние брюки. Проиграться так — не считается позором.

Однако умеют играть в карты все блатари. Еще бы. Уменье играть в карты входит в «рыцарский кодекс» «человека» блатного мира. Не много азартных карточных игр, коими обязан владеть каждый блатарь и которым он учится с детства. Воровская молодежь тренируется постоянно — и в изготовлении карт, и в уменье поставить «транспорт» с кушем.

Между прочим, это карточное выражение, обозначающее увеличение ставки (с «кушем»), Чехов в своем «Острове Сахалине» записал как «транспорт скушан» (!) и выдал это за термин карточной игры среди уголовников. Так по всем изданиям «Острова Сахалина», включая и академические, кочует эта ошибка. Писатель недослышал весьма обыкновенную формулу карточной игры.

Блатной мир — косный мир. Сила традиций в нем очень сильна. Поэтому в этом мире удержались игры,

которые давно исчезли из обыкновенной жизни. Статский советник Штосе из гоголевского «Портрета» в блатном мире до сих пор — реальность. Игра столетней давности «штосе» получила другое, лексически более подвижное название «стос». У Каверина в одном из рассказов беспризорники поют известный романс, меняя его по своему понятию и вкусу: «Черную розу, блему печали...»

В «стос» должен уметь играть каждый блатарь, загибать углы, как Герман или Чекалинский.

Второй игрой — первой по распространенности — является «бура» — так называется блатарями «тридцать одно». Схожая с «очком», бура осталась игрой блатного мира. В «очко» воры не играют между собой.

Третья, самая сложная, игра с записью — это «терц» — вариация игры «пятьсот одно». В эту игру играют мастера, вообще «старшие», аристократия блатного мира, те, что пограмотней.

Все карточные игры блатарей отличаются необыкновенно большим количеством правил. Эти правила нужно хорошо помнить, и тот, который лучше помнит их, выигрывает.

Карточная игра — всегда поединок. Блатари не играют компанией, они играют всегда один на один, разделенные традиционной подушкой.

Проигрался один — садится другой против победителя, и пока есть чем «отвечать» — карточное сражение продолжается.

По правилам, неписаным правилам, выигравший не имеет права прекратить игру, пока есть «ответ» — штаны, свитер, пиджак. Обычно определяется по согласию сторон цена «играемой» вещи — и вещь разыгрывается, как денежная ставка. Все расчеты надо держать в памяти и уметь себя защитить — не дать обсчитать, обмануть.

Обман в картах — доблесть. Противник должен заметить обман, разоблачить и тем самым выиграть «роббер».

Все блатные игроки — шулера, но это так и должно быть — умей разоблачить, поймать, доказать... С тем и садятся за игру, обманывая один другого, «исполняя» шулерские приемы под взаимным контролем.

Карточное сражение — если оно идет в безопасном месте — это нескончаемый поток взаимных оскорблений, матерных ругательств; под эту взаимную ругань

идет игра. Старики блатари говорят, что в дни их молодости, в двадцатые годы, воры не ругали друг друга так грязно и похабно, как сейчас за карточной игрой. Седые «паханы» качают головами и шепчут: «О времена! О нравы!» Повадки блатарей портятся год от году.

Карты изготовляются в тюрьме, в лагере с быстротой сказочной — опыт многих поколений воров отработал механизм изготовления; самым рациональным и доступным способом изготовляются карты в тюрьме. Для этого нужен клейстер — то есть хлеб, пайка, которая всегда есть под рукой и которую можно изжевать для получения клейстера очень быстро. Нужна бумага — для этого годится и газета, и оберточная бумага, и брошюра, и книга. Нужен нож — но в какой тюремной камере, в каком лагерном этапе не найдется ножа?

Самое главное — нужен химический карандаш для краски, — и вот почему блатные так бережно хранят грифель химического карандаша, уберегая его от всяких обысков. Этот обломок химического карандаша служит двойную службу. Осколки карандаша можно, очутясь в критическом положении, затолкать себе в глаза — и это заставляет фельдшера или врача направить заболевшего в больницу. Бывает, что больница — единственный выход из трудного, угрожающего положения, в котором оказался блатарь. Беда, если медицинская помощь запоздает. Немало блатарей ослепло от этой смелой операции. Но немало блатарей избежало опасности и спаслось в больнице. Это — запасная роль химического карандаша.

Молодые «начальнички» думают, что химический карандаш нужен для изготовления печатей, штампов, документов. Применение такого рода чрезвычайно редко, и уж конечно, если будут изготовлять документы, то им понадобится не только химический карандаш.

Главное же, для чего приобретаются и хранятся химические карандаши блатными, за что ценятся гораздо выше простых карандашей, — это использование их для окраски карт, для «печатания карт».

Сначала изготовляется «трафаретка». Это — не блатное слово, но на тюремном языке в большом ходу. На «трафаретке» вырезается узор масти — блатные карты не знают красного и черного, «руж» и «нуар». Все масти одного цвета. У валета — двойной узор, — ведь в валете два очка по международной конвенции. У дамы — три соединенных вместе узора. У короля —

четыре. Туз — соединение нескольких узоров в центре карты. Семерки, восьмерки, девятки, десятки изготовляются в обычной их конфигурации — как и на выпусках государственной карточной монополии.

Нажеванный хлеб протирается через тряпку, и превосходным клейстером склеиваются вдвое листы тонкой бумаги, потом просушиваются и разрезаются острым ножом на нужное количество карт. Химический карандаш закладывается в тряпочку, размачивается — и печатная машина готова. «Трафаретка» накладывается на карту и смазывается фиолетовой краской, оставляя нужный узор на лицевой стороне карты.

Если бумага толста, как в изданиях «Академии», то просто режут ее на части и «печатают» карты.

На изготовление колоды карт (вместе с просушкой) нужно часа два.

Таков наиболее рациональный способ изготовления игральных карт, способ, подсказанный вековым опытом. Рецепт пригоден при всех условиях и общедоступен.

При всех обысках, а также из посылок химические карандаши отбираются охраной самым заботливым образом. На сей счет есть строгий приказ.

Говорят, что воры проигрывают друг другу вольнонаемных девушек в карты — нечто похожее было в «Аристократах» Погодина. Думается, что это одна из «творимых легенд». Мне никогда не доводилось видеть сцен из лермонтовской «Казначейши».

Говорят, проигрывают пальто, когда оно еще на плечах фраера. И такого характера проигрышей мне встречать не приходилось, хотя ничего невероятного в этом нет. Думается все же, что тут был проигрыш «на представку» и нужно было отнять, украсть пальто или что-либо равноценное к сроку.

Бывает в игре такой момент, когда при переменном счастье фортуна склоняется на одну сторону к концу вторых или третьих суток игры. Проиграно все, и игра кончается. Горы свитеров, брюк, шарфов, подушек высятся за спиной выигравшего. А проигравший умоляет: «Дай отыграться, дай еще карту, дай в долг, я завтра “представлю”». И если сердце победителя великодушно, он соглашается, и игра продолжается, где партнер победителя отвечает «представкой». Он может выиграть, счастье может измениться, он может отыграть вещь за вещью все и воскреснуть и сам оказаться победителем... Но может и проиграть.

«На представку» играют один раз, и условленная сумма не меняется, и срок представления долга не откладывается.

Если вещь или деньги не будут представлены в срок — побежденный будет объявлен «заигранным», и ему одна дорога — или самоубийство, или побег из камеры, из лагеря, побег к черту на рога — он должен в срок заплатить карточный долг, долг чести!

Вот тут-то и являются чужие пальто, еще теплые теплом фраерского тела. Что делать! Воровская честь, а вернее, воровская жизнь дороже, чем какое-то пальто фраера.

О низменнейших же потребностях, их качестве и размахе мы уже говорили. Эти потребности своеобразны и очень далеки от всего человеческого.

Существует еще одна точка зрения на поведение блатарей. Дескать, это — психически больные люди и, тем самым вроде как невменяемы. Слов нет — блатари сплошь и рядом истерики и неврастеники. Пресловутый «дух» блатаря, способность «психануть» говорит за расшатанность нервной системы. Блатари-сангвиники, флегматики чрезвычайно редки, хотя и встречаются. Знаменитый карманник Карлов по кличке «Подрядчик» (в тридцатых годах о нем писала «Правда», когда его изловили на Казанском вокзале) был полный, розовощекий, пузатый, жизнерадостный мужчина. Но это — исключение.

Есть ученые-медики, считающие всякое убийство — психозом.

Если блатари — психические больные, то их надо держать вечно в сумасшедшем доме.

Нам же кажется, что уголовный мир — это особый мир людей, переставших быть людьми.

Мир этот существовал всегда, существует он и сейчас, растлевая и отравляя своим дыханием нашу молодежь.

Вся воровская психология построена на том давнишнем, вековом наблюдении блатарей, что их жертва никогда не сделает, не может подумать сделать так, как с легким сердцем и спокойной душой ежедневно, ежечасно рад сделать вор. В этом его сила — в беспредельной наглости, в отсутствии всякой морали. Для блатаря нет ничего «слишком». Если вор по своему

«закону» и не считает за честь и доблесть писать доносы на фраера, то он отнюдь не прочь в целях своей выгоды составить и дать начальству политическую характеристику на любого своего соседа-фраера. В 1938 году и позднее — до 1953 года известны буквально тысячи визитов воров к лагерному начальству с заявлениями, что они, истинные друзья народа, должны донести на «фашистов» и «контрреволюционеров». Такая деятельность носила массовый характер — предметом постоянной особой ненависти воров в лагере всегда была интеллигенция из заключенных — «Иваны Ивановичи».

Карманники составляли когда-то наиболее квалифицированную часть воровского мира. Мастера «чердачных» краж проходили даже нечто вроде обучения, овладевали техникой своего ремесла, гордились своей узкой специальностью. Они предпринимали длительные поездки, где с начала до конца «гастролей» они оставались верными своему уменью, не сбиваясь на всякие «скоки» или фармазонство. Небольшое наказание за карманную кражу, удобная добыча — чистые деньги — вот два обстоятельства, привлекавшие воров к карманным кражам. Уменье держаться в любом обществе, чтобы не выдать себя, тоже было одним из важных достоинств мастера карманных краж.

Увы, валютная политика свела «заработки» карманников к доходу мизерному по сравнению с риском, с ответственностью. «Доходней и прелестней» оказался вульгарный «скок» за бельем, развешанным на веревке, — это было подороже, чем содержимое любого бумажника, изловленного в автобусе или трамвае. Тысяч в кармане не найдешь, а любая «лепёха» при скидке на краденое окажется подороже денег, которые можно отыскать в большинстве бумажников.

Карманники переменили специальность и влились в ряды «домушников».

И все же «жульническая кровь» не синоним «голубой крови». «Жульническая кровь», «капля жульнической крови» может быть и у фраера, если он разделяет кое-какие блатные убеждения, помогает «людям», относится с сочувствием к воровскому закону.

«Капля жульнической крови» может быть даже у следователя, понимающего душу блатного мира и втайне сочувствующего этому миру. Даже (и не так редко) у лагерного начальника, делающего важные послабления блатным не за взятки и не под угрозой. «Капля жульнической крови» есть и у всех «сук» на свете — недаром же они были когда-то ворами. Кое в чем люди с каплей жульнической крови могут помочь вору, а это вор должен иметь в виду. «Жульническую кровь» имеют все «завязавшие», то есть покончившие с блатным миром, переставшие воровать, вернувшиеся к честному труду. Есть и такие, это не «суки», и ненависти к себе «завязавшие» вовсе не вызывают. При случае в трудную минуту они могут даже оказать помощь — скажется «жульническая кровь».

Наводчики, продавцы краденого, хозяева воровских притонов — наверняка люди с «жульнической кровью».

Все фраера, так или иначе оказавшие помощь вору, имеют, как говорят блатари, эту «каплю жульнической крови».

Это — блатная подлая, снисходительная похвала всем сочувствующим воровскому закону, всем, кого вор обманывает и с которыми расплачивается этой дешевой лестью.

1959

ЖЕНЩИНА БЛАТНОГО МИРА

Аглаю Демидову привезли в больницу с фальшивыми документами. Не то что было подделано ее личное дело, ее арестантский паспорт. Нет, с этой стороны было все в порядке — только у личного дела была новая желтая обложка — свидетельство того, что срок наказания Аглаи Демидовой был начат снова и недавно. Она приехала, называясь тем самым именем, под каким и два года назад ее привозили в больницу. Ничего не изменилось из ее «установочных данных», кроме срока. Двадцать пять лет, а два года назад папка ее личного дела была синего цвета и срок был — десять лет.

К нескольким двузначным цифрам, выставленным чернилами в графе «статья», добавилась еще одна цифра — трехзначная. Но все это было самое настоящее, неподдельное. Подделаны были ее медицинские доку-

менты — копия истории болезни, эпикриз, лабораторные анализы. Подделаны людьми, занимавшими вполне официальное положение и имевшими в своих руках и штампы, и печати, и свое доброе или недоброе — это все равно — имя. Много часов понадобилось начальнику санчасти прииска, чтобы выклеить фальшивую историю болезни, чтобы сочинить липовый медицинский документ с подлинным артистическим вдохновением.

Диагноз туберкулеза легких являлся как бы логическим следствием хитроумных ежедневных записей. Толстая пачка температурных листов с диаграммами типичных туберкулезных кривых, заполненные бланки всевозможных лабораторных анализов с угрожающими показателями. Такая работа для врача подобна письменному экзамену, где по билету требуется описать туберкулезный процесс, развившийся в организме — до степени, когда срочная госпитализация больного — единственный выход.

Такую работу можно проделать и из спортивного чувства — суметь доказать центральной больнице, что и на прииске — не лыком шиты. Просто приятно вспомнить все по порядку, что ты учил когда-то в институте. Ты, конечно, никогда не думал, что свои знания тебе придется применить столь необычайным, «художественным» образом.

Самое главное — Демидова должна быть положена в больницу во что бы то ни стало. И больница не может, не вправе отказать в приеме такой больной, пусть у врачей явится хоть тысяча подозрений.

Подозрения возникли сразу же, и, пока вопрос о приеме Демидовой решался в местных «высших сферах», сама она сидела одна в огромной комнате приемного покоя больницы. Впрочем, «одна» она была лишь в «честертоновском» значении этого слова. Фельдшер и санитары приемного покоя шли, очевидно, не в счет. И также не в счет шли два конвоира Демидовой, не отходившие от нее ни на шаг. Третий конвоир с бумагами скитался где-то в канцелярских дебрях больницы.

Демидова не сняла даже шапки и только расстегнула ворот овчинного полушубка. Она неторопливо курила папиросу за папиросой, бросая окурки в деревянную плевательницу с опилками.

Она металась по приемному покою от венецианских зарешеченных окон к дверям, и, повторяя ее движения, за ней кидались ее конвоиры.

Когда вернулся дежурный врач вместе с третьим конвоиром, уже стемнело по-северному быстро, и пришлось зажечь свет.

— Не кладут? — спросила Демидова конвоира.

— Нет, не кладут, — хмуро сказал тот.

— Я знала, что не положат. Это все Крошка виновата. Запорола врачиху, а мне мстят.

— Никто тебе не мстит, — сказал врач.

— Я лучше знаю.

Демидова вышла впереди конвоиров, хлопнула выходная дверь, затрещал мотор грузовика.

Сейчас же отворилась неслышно внутренняя дверь, и в приемный покой вошел начальник больницы с целой свитой из офицеров спецчасти.

— А где она? Эта Демидова?

— Уже увезли, гражданин начальник.

— Жаль, жаль, что я ее не посмотрел. А все вы, Петр Иванович, с вашими анекдотами... — И начальник со своими спутниками вышел из приемного покоя.

Начальнику хотелось взглянуть хоть одним глазком на знаменитую воровку Демидову — история ее и в самом деле не совсем обыкновенная.

Полгода назад воровку Аглаю Демидову, осужденную за убийство нарядчицы на 10 лет — Демидова полотенцем удушила слишком бойкую нарядчицу, — везли с суда на прииск. Конвоир был один, ибо в дороге ночевок не было — всего несколько часов езды на автомашине от поселка управления, где судили Демидову, до того прииска, где она работала. Пространство и время на Крайнем Севере — величины схожие. Часто пространство меряют временем — так делают кочевые якуты — от сопки до сопки шесть переходов. Все, живущие около главной артерии, шоссейной дороги, измеряют расстояние перегонами автомашины.

Конвоир Демидовой был из сверхсрочных молодых «стариков», давно привыкший к вольностям конвойной жизни, к ее особенностям, где конвоир — полный господин арестантских судеб. Не в первый раз сопровождал он бабу — всегда такая поездка сулила известные развлечения, какие не слишком часто выпадают на долю рядового стрелка на Севере.

В дорожной столовой все трое — конвоир, шофер и Демидова — пообедали. Конвоир для храбрости выпил спирту (на Севере водку пьет только очень высокое начальство) и повел Демидову в кусты. Тальник, лозняк

или молодая осина были в изобилии вокруг любого таежного поселка.

В кустах конвоир положил автомат на землю и подступил к Демидовой. Демидова вырвалась, схватила автомат и двумя перекрестными очередями набила девять пуль в тело сластолюбивого конвоира. Забросив автомат в кусты, она вернулась к столовой и уехала на одной из проходящих мимо машин. Шофер поднял тревогу, труп конвоира и его автомат были найдены очень скоро, а сама Демидова задержана через двое суток в нескольких сотнях километров от места ее романа с конвоиром. Демидову снова судили, дали ей двадцать пять лет. Работать она не хотела и раньше, грабила своих соседей по бараку, и приисковое начальство решило любой ценой отделаться от блатарки. Была надежда, что после больницы ее не возвратят на прииск, а пошлют куда-либо в другое место.

Демидова была магазинной и квартирной воровкой, «городушницей», по терминологии «уркачей».

Блатной мир знает два разряда женщин — собственно воровки, чьей профессией являются кражи, как и у мужчин-блатарей, и проститутки, подруги блатарей.

Первая группа значительно меньше численностью, чем вторая, и в кругу «уркачей», считающих женщину существом низшего порядка, пользуется некоторым уважением — вынужденным признанием ее заслуг и деловых качеств. Обычно сожительница какого-либо вора (слово «вор», «воровка» все время употребляется в смысле принадлежности к подземному ордену уркачей), воровка участвует нередко в разработках планов краж, в самих кражах. Но в мужских «судах чести» она участия не принимает. Такие правила продиктовала сама жизнь — в местах заключения мужчины и женщины разобщены, и это обстоятельство внесло некоторое различие в быт, привычки и правила того и другого пола. Женщины все же мягче, их «суды» не так кровавы, не так жестоки приговоры. Убийства, совершенные женщинами-блатарками, более редкие, чем на мужской половине блатного дома.

Вовсе исключено, что воровка может «жить» с каким-либо фраером.

Проститутки — вторая, большая группа женщин, связанная с блатным миром. Это — известная подруга вора, добывающая для него средства к жизни. Само собой, проститутки участвуют, когда надо, и в кражах, и в

«наводках», и в «стрёме», и в укрывательстве и сбыте краденого, но полноправными членами преступного мира они вовсе не являются. Они — непременные участницы кутежей, но и мечтать не могут о «правилках».

Потомственный «урка» с детских лет учится презрению к женщине. «Теоретические», «педагогические» занятия чередуются с наглядными примерами старших. Существо низшее, женщина создана лишь затем, чтобы насытить животную страсть вора, быть мишенью его грубых шуток и предметом публичных побоев, когда блатарь «гуляет». Живая вещь, которую блатарь берет во временное пользование.

Послать свою подругу-проститутку в постель начальника, если это нужно для пользы дела, — обычный, всеми одобряемый «подход». Она и сама разделяет это мнение. Разговоры на эти темы всегда крайне циничны, предельно лаконичны и выразительны. Время дорого.

Воровская этика сводит на нет и ревность, и «черемуху». По освященному стариной обычаю, вору-вожаку, наиболее «авторитетному» в данной воровской компании, принадлежит выбор своей временной жены — лучшей проститутки.

И если вчера, до появления этого нового вожака, эта проститутка спала с другим вором, считалась его собственной вещью, которую он мог одолжить товарищам, то сегодня все эти права переходят к новому хозяину. Если завтра он будет арестован, проститутка снова вернется к прежнему своему дружку. А если и тот будет арестован — ей укажут, кто будет новым ее владельцем. Владельцем ее жизни и смерти, ее судьбы, ее денег, ее поступков, ее тела.

Где же тут жить такому чувству, как ревность?.. Ему просто нет места в этике блатарей.

Вор, говорят, человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Возможно, что бывает жаль уступить свою подругу, но закон есть закон, и блюстители «идейной» чистоты, блюстители чистоты блатных нравов (без всяких кавычек) укажут немедленно на ошибку возревновавшего вора. И он подчинится закону.

Бывают случаи, когда дикий нрав и истеричность, свойственная почти всем уркачам, толкает блатаря на защиту «своей бабы». Тогда этот вопрос уже становится суждением «правилок», и блатные «прокуроры» требуют наказания виновного, взывая к авторитету тысячелетних установлений.

Обычно же до ссоры дело не доходит, и проститутка покорно спит с новым ее хозяином.

Никакого дележа женщин, никакой любви «втроем» в блатном мире не существует.

В лагере мужчины и женщины разобщены. Однако в местах заключения есть больницы, пересылки, амбулатории, клубы, где мужчины и женщины все же видят и слышат друг друга.

Изобретательности же заключенных, их энергии в достижении поставленной цели можно поражаться. Удивительно — какое колоссальное количество энергии тратится в тюрьме, чтобы добыть кусочек мятой жести и превратить ее в нож — орудие убийства или самоубийства. Внимание надзирателей всегда слабее внимания заключенного — это мы знаем от Стендаля, который в «Пармской обители» говорит: «Тюремщик меньше думает о своих ключах, чем арестант о побеге».

В лагере огромна энергия блатаря, направленная на свидание с какой-нибудь проституткой.

Важно найти место, куда эта проститутка должна прийти, — а в том, что она придет, блатарь никогда не сомневается. Карающая рука настигнет виновную. И вот она переодевается в мужское платье, спит вне программы с надзирателем или нарядчиком, чтобы в назначенный час проскользнуть туда, где ее ждет вовсе ей незнакомый любовник. Любовь разыгрывается торопливо, как летнее цветение трав на Крайнем Севере. Проститутка уйдет назад в женскую зону, попадется на глаза надзирателям, ее сажают в карцер, приговаривают к месячному заключению в изоляторе, отправляют на штрафной прииск — все это она переносит безропотно и даже гордо, — она выполнила свой проституточий долг.

В большой северной больнице для заключенных был случай, когда к видному блатарю — больному хирургического отделения — сумели привести проститутку на целую ночь — на больничную койку, и там она спала по очереди со всеми восемью ворами, находившимися в то время в палате. Дежурному санитару из заключенных пригрозили ножом, дежурному вольнонаемному фельдшеру подарили костюм, сдернутый с кого-то в лагере, — хозяин его опознал, подал заявление, усилий скрыть это дело было приложено очень много.

Девушка эта была отнюдь не расстроена, не смущена, когда ее обнаружили утром в палате мужской больницы.

— Ребята просили выручить их, я и пришла, — спокойно объясняла она.

Нетрудно догадаться, что блатари и их подруги почти сплошь сифилитики, а о хронической гонорее даже в наш пенициллиновый век и говорить не приходится.

Известно классическое выражение «сифилис не позор, а несчастье». Здесь сифилис не только не позор, но считается счастьем, а не несчастьем заключенного — это еще один пример пресловутого «смещения масштабов».

Прежде всего, принудительное лечение венериков обязательно, и это знает каждый блатарь. Он знает, что «притормозится», что в глухое место со своим сифилисом он не попадет, а будет жить и лечиться в сравнительно благоустроенных поселках — там, где есть врачи-венерологи, специалисты. Все это настолько хорошо рассчитано и угадано, что венериками себя заявляют даже те блатари, которых бог миловал от четырех и трех крестов реакции Вассермана. И нетвердость отрицательного лабораторного ответа в этой реакции блатарям тоже отлично известна. Поддельные язвы, лживые жалобы — дело обычное наряду с истинными язвами и вескими жалобами.

Венерических больных, подлежащих лечению, собирают в особые зоны. Когда-то в таких зонах вовсе не работали, и это было самым подходящим «убежищем Монрепо» для блатарей. Позднее эти зоны устраивались на особых приисках или лесных командировках, где, кроме сальварсана и пайка питания, арестанты должны были работать по обычным нормам.

Но фактически никогда в таких зонах настоящего спроса работы не было, и жилось в этих зонах много легче, чем на обычном прииске.

Венерические мужские зоны были всегда местом, откуда в больницу поступали молодые жертвы блатарей — зараженные сифилисом через задний проход. Блатари почти сплошь педерасты — в отсутствие женщин они развращали и заражали мужчин под угрозой ножа чаще всего, реже за «тряпки» (одежду) или за хлеб.

Говоря о женщине в блатном мире, нельзя пройти мимо целой армии этих «Зоек», «Манек», «Дашек» и прочих существ мужского пола, окрещенных женскими именами. Поразительно то, что на эти женские имена носители их откликались самым нормальным образом,

не видя в этом ничего позорного или оскорбительного для себя.

Кормиться за счет проститутки не считается зазорным для вора. Напротив, личное общение с вором проститутка должна ценить очень высоко.

Напротив, сутенерство — одна из «заманчивых» деталей профессии, весьма нравящаяся воровской молодежи.

Скоро, скоро нас осудят,
На Первомайский поведут,
Девки штатные увидят,
Передачу принесут, —

поется в тюремной песне «Штатные девки». Это и есть проститутки.

Но бывают случаи, когда чувство, заменяющее любовь, а также чувство самолюбия, чувство жалости к самой себе толкает женщину блатного мира на «незаконные» поступки.

Конечно, с воровки тут спроса больше, чем с проститутки. Воровка, живущая с надзирателем, совершает измену, по мнению блатных начетчиков. Ее могут избить, указывая на ее ошибку, а то и просто прирезать, как «суку».

Проститутке такой поступок не будет вменен в грех.

В этих конфликтах женщины с законом ее мира вопрос решается не всегда одинаково и зависит от личных качеств человека.

Тамара Цулукидзе, двадцатилетняя красавица воровка, бывшая подруга видного тбилисского уркача, сошлась в лагере с начальником культурно-воспитательной части Грачёвым — бравым тридцатилетним лейтенантом, красавцем холостяком.

У Грачёва была и еще любовница в лагере, полька Лещевская — одна из знаменитых «артисток» лагерного театра. Когда он сошелся с Тамарой, она не требовала бросить Лещевскую. Лещевская же ничего не имела против Тамары. Бравый Грачёв жил сразу с двумя «женами», склоняясь к мусульманскому обычаю. Будучи человеком опытным, он старался распределять свое внимание поровну между обеими, и это ему удавалось. Делилась не только любовь, но и ее материальные проявления — каждый съестной подарок готовился Грачёвым в двух экземплярах. С помадой, лентами и духами он поступал

точно таким же образом — и Лещевская, и Цулукидзе получали в один и тот же день совершенно одинаковые ленты, одинаковые склянки с духами, одинаковые платочки.

Это выглядело весьма трогательно. Притом Грачёв был парень видный, чистоплотный. И Лещевская, и Цулукидзе (они жили в одном бараке) были в восторге от тактичности своего общего возлюбленного. Однако подругами они не стали, и когда внезапно Тамара была приглашена держать ответ перед больничными ворами — Лещевская втайне злорадствовала.

Однажды Тамара заболела — лежала в больнице, в женской палате. Ночью двери палаты отворились, и на порог шагнул, гремя костылями, посол уркачей. Блатной мир протягивал к Тамаре свою длинную руку.

Посол напомнил ей законы блатной собственности на женщину и предложил ей явиться в хирургическое отделение и выполнить «волю пославшего».

Здесь были, по словам посла, люди, знавшие того тблисского блатаря, чьей подругой считалась Тамара Цулукидзе. Сейчас его здесь заменяет Сенька Гундосый. В его объятия и должна незамедлительно проследовать Тамара.

Тамара схватила кухонный нож и бросилась на хромого блатаря. Его едва отбили санитары. Угрожая и матерно понося Тамару, посол удалился. Тамара на следующее же утро выписалась из больницы.

Попыток возвратить заблудшую дочь под блатные знамена было сделано немало, и всякий раз безуспешно. Тамару ударили ножом, но рана была пустяковой. Пришел конец срока наказания, и она вышла замуж за какого-то надзирателя — за человека с револьвером, а блатному миру она так и не досталась.

Синеглазая Настя Архарова, курганская машинистка, не была ни воровкой, ни проституткой и не по своей воле навеки связала свою судьбу с воровским миром.

Всю жизнь с юных лет Настю окружало подозрительное уважение, зловещее почтение таких людей, о которых Настя читала в детективных романах. Это уважение, замеченное Настей еще «на воле», существовало и в тюрьме, и в лагере — везде, где появлялись блатари.

Тут не было ничего таинственного — старший брат Насти был видным уральским «скокарем», и Настя с юных лет купалась в лучах его уголовной славы, его удачливой воровской судьбы. Незаметным образом Нас-

тя оказалась в кругу блатарей, их интересов и дел и не отказала помочь спрятать украденное. Первый трехмесячный срок укрепил и ожесточил ее, накрепко связал с блатным миром. Пока она была в своем городе, воры, боясь гнева брата, не решались пользоваться Настей как блатной собственностью. По «социальному» положению своему она стояла ближе к воровкам, проституткой же вовсе не была — и в качестве воровки отправилась в обычные дальние путешествия за казенный счет. Здесь уже не было брата, и в первом же городе, куда она попала после первого освобождения, ее сделал своей женой местный вожак-блатарь, попутно заразив ее гонореей. Его вскоре арестовали, и он спел Насте на прощанье воровскую песенку: «Тобой завладеет кореш мой». С «корешем» (то есть товарищем) Настя жила также недолго — того посадили в тюрьму, и на Настю предъявил права очередной владелец. Насте он был отвратителен физически — какой-то вечно слюнявый, больной каким-то лишаем. Она пробовала защититься именем брата — ей было указано, что и брат ее не вправе нарушать великие законы блатного мира. Ей пригрозили ножом, и она прекратила сопротивление.

В больнице Настя покорно являлась на любовные «вызовы», часто сидела в карцере и много плакала — не то слезы у нее были слишком близко, не то слишком страшила ее своя судьба, судьба двадцатидвухлетней девушки.

Востоков, пожилой врач больницы, растроганный Настиной судьбой, похожей, впрочем, на тысячи других таких же судеб, обещал ей помочь устроиться машинисткой в контору, если она изменит свою жизнь. «Это не в моей воле, — писала красивым почерком Настя, отвечая врачу. — Меня не спасти. А если вам хочется сделать мне что-нибудь хорошее, то купите мне чулки капроновые самого маленького размера. Готовая для вас на все Настя Архарова».

Воровка Сима Сосновская была татуирована с ног до головы. Удивительные, переплетающиеся между собой сексуальные сцены самого мудреного содержания весьма затейливыми линиями покрывали все ее тело. Только лицо, шея и руки до локтя были без наколок. Сима эта была известна в больнице своей дерзкой кражей — она сняла золотые часы с руки конвоира, который по дороге решил воспользоваться благосклонностью смазливой Симы. Характер у Симы был гораздо более мир-

ный, чем у Аглаи Демидовой, а то лежать бы конвоиру в кустах до второго пришествия. Она смотрела на это как на забавное приключение и считала, что золотые часы — не слишком дорогая цена за ее любовь. Конвоир же чуть не сошел с ума и до последней минуты требовал вернуть часы и обыскивал Симу дважды без всякого успеха. Больница была недалеко, этап был многочисленный — на скандал в больнице конвоир не решался. Золотые часы остались у Симы. Вскоре часы были пропиты, и след их затерялся.

В моральном кодексе блатаря, как в Коране, декларировано презрение к женщине. Женщина — существо презренное, низшее, достойное побоев, недостойное жалости. Это относится в равной степени ко всем женщинам — любая представительница другого, не блатного мира презирается блатарем. Изнасилование «хором» — не такая редкая вещь на приисках Крайнего Севера. Начальники перевозят своих жен в сопровождении охраны; женщина одна не ходит и не ездит вовсе никуда. Маленькие дети охраняются подобным же образом: растление малолетних девочек — всегдашняя мечта любого блатаря. Эта мечта не всегда остается только мечтой.

В презрении к женщине блатарь воспитывается с самых юных лет. Проститутку-подругу он бьет настолько часто, что та перестает, говорят, чувствовать любовь во всей ее полноте, если почему-либо она не получит очередных побоев. Садистские наклонности воспитываются самой этикой блатного мира.

Никакого товарищеского, дружеского чувства к «бабе» блатарь не должен иметь. Не должен он иметь и жалости к предмету своих подземных увеселений. Никакой справедливости в отношении к женщине своего же мира быть не может — женский вопрос вынесен за ворота этической «зоны» блатарей.

Но есть одно-единственное исключение из этого мрачного правила. Есть одна-единственная женщина, которая не только ограждена от покушений на ее честь, но которая поставлена высоко на пьедестал. Женщина, которая поэтизирована блатным миром, женщина, которая стала предметом лирики блатарей, героиней уголовного фольклора многих поколений.

Эта женщина — мать вора.

Воображению блатаря рисуется злой и враждебный мир, окружающий его со всех сторон. И в этом мире, населенном его врагами, есть только одна светлая фигура,

достойная чистой любви, и уважения, и поклонения. Это — мать.

Культ матери при злобном презрении к женщине вообще — вот этическая формула уголовщины в женском вопросе, высказанная с особой тюремной сентиментальностью. О тюремной сентиментальности написано много пустого. В действительности — это сентиментальность убийцы, поливающего грядку с розами кровью своих жертв. Сентиментальность человека, перевязывающего рану какой-нибудь птичке и способного через час эту птичку живую разорвать собственными руками, ибо зрелище смерти живого существа — лучшее зрелище для блатаря.

Надо знать истинное лицо авторов культа матери, культа, овеянного поэтической дымкой.

С той же самой безудержностью и театральностью, которая заставляет блатаря «расписываться» ножом на трупе убитого ренегата, или насиловать женщину публично среди бела дня на глазах у всех, или растлевать трехлетнюю девочку, или заражать сифилисом мужчину «Зойку», — с той же самой экспрессией блатарь поэтизирует образ матери, обоготворяет ее, делает ее предметом тончайшей тюремной лирики — и обязывает всех выказывать ей всяческое заочное уважение.

На первый взгляд чувство вора к матери — как бы единственное человеческое, что сохранилось в его уродливых, искаженных чувствах. Блатарь — всегда якобы почтительный сын, всякие грубые разговоры о любой чужой матери пресекаются в блатном мире. Мать — некий высокий идеал — в то же время нечто совершенно реальное, что есть у каждого. Мать, которая все простит, которая всегда пожалеет.

«Чтобы жить могли, работала мамаша. А я тихонько начал воровать. Ты будешь вор, такой, как твой папаша, — твердила мне, роняя слезы, мать».

Так поется в одной из классических песен уголовщины «Судьба».

Понимая, что во всей бурной и короткой жизни вора только мать останется с ним до конца, вор щадит ее в своем цинизме.

Но и это единственное якобы светлое чувство лживо, как все движения души блатаря.

Прославление матери — камуфляж, восхваление ее — средство обмана и лишь в лучшем случае более или менее яркое выражение тюремной сентиментальности.

И в этом возвышенном, казалось бы, чувстве вор лжет с начала и до конца, как в каждом своем суждении. Никто из воров никогда не послал своей матери ни копейки денег, даже по-своему не помог ей, пропивая, прогуливая украденные тысячи рублей.

В этом чувстве к матери нет ничего, кроме притворства и театральной лживости.

Культ матери — это своеобразная дымовая завеса, прикрывающая неприглядный воровской мир.

Культ матери, не перенесенный на жену и на женщину вообще, — фальшь и ложь.

Отношение к женщине — лакмусовая бумажка всякой этики.

Заметим здесь же, что именно культ матери, сосуществующий с циничным презрением к женщине, сделал Есенина еще три десятилетия назад столь популярным автором в уголовном мире. Но об этом — в своем месте.

Воровке или подруге вора, женщине, прямым или косвенным образом вошедшей в преступный мир, запрещаются какие бы то ни было «романы» с фраерами. Изменницу, впрочем, в таких случаях не убивают, не «заделывают начисто». Нож — слишком благородное оружие, чтобы применять его к женщине, — для нее достаточно палки или кочерги.

Совсем другое дело, если речь идет о связи мужчины-вора с вольной женщиной. Это — честь и доблесть, предмет хвастливых рассказов одного и тайной зависти многих. Такие случаи не так уж редки. Однако вокруг них обычно воздвигаются такие горы сказок, что уловить истину очень трудно. Машинистка превращается в прокуроршу, курьерша — в директора предприятия, продавщица — в министра. Небывальщина оттесняет истину куда-то в глубь сцены, в темноту, и разобраться в спектакле немыслимо.

Не подлежит сомнению, что какая-то часть блатарей имеет семьи в своих родных городах, семьи, давно уже покинутые блатными мужьями. Жены их с малыми детьми сражаются с жизнью каждая на свой лад. Бывает, что мужья возвращаются из мест заключения к своим семьям, возвращаются обычно ненадолго. «Дух бродяжий» влечет их к новым странствиям, да и местный уголовный розыск способствует быстрейшему отъезду

блатаря. А в семьях остаются дети, для которых отцовская профессия не кажется чем-то ужасным, а вызывает жалость и, более того, — желание пойти по отцовскому пути, как в песне «Судьба»:

В ком сила есть с судьбою побороться,
Веди борьбу до самого конца.
Я очень слаб, но мне еще придется
Продолжить путь умершего отца

Потомственные воры — это и есть кадровое ядро преступного мира, его «вожди» и «идеологи».

От вопросов отцовства, воспитания детей блатарь неизбежно далек — эти вопросы вовсе исключены из блатного талмуда. Будущее дочерей (если они где-нибудь есть) представляется вору совершенно нормальным в карьере проститутки, подруги какого-либо знатного вора. Вообще никакого морального груза (даже в блатарской специфичности) на совести блатаря тут не лежит. То, что сыновья станут ворами, — тоже представляется вору совершенно естественным.

1959

ТЮРЕМНАЯ ПАЙКА

Одна из самых популярных и самых жестоких легенд блатного мира — это легенда о «тюремной пайке».

Наравне со сказкой о «воре-джентльмене», это — рекламная легенда, фасад блатной морали.

Содержание ее в том, что официальный тюремный паек, тюремная пайка в условиях заключения — «священна и неприкосновенна» и ни один вор не имеет права покушаться на этот казенный источник существования. Тот, кто это сделает, — проклят отныне и во веки веков. Безразлично, кто бы он ни был — заслуженный блатарь или последний «штылет батайский», юный фраер.

Тюремную пайку в виде, скажем, хлеба можно без опаски и заботы хранить в тумбочке, если в камере есть тумбочки, и под головой, если тумбочек и полок нет.

Воровать этот хлеб считается постыдным, немыслимым.

Изъятию у фраеров подлежат только передачи — вещевые или продуктовые — все равно, — это в запрещение не входит.

И хотя каждому ясно, что охрана тюремной пайки обеспечивается для заключенного самим режимом тюрьмы, а вовсе не милостью блатарей, все же мало кто сомневается в воровском благородстве.

Ведь администрация, рассуждают эти люди, не может спасти наши передачи от воровских рук. Значит, если бы не блатари...

Действительно, передачи администрация не спасает. Камерная этика требует, чтобы заключенный делился с товарищами своей посылкой. В качестве открытых и грозных претендентов на посылку и выступают блатари, как «товарищи» заключенного. Дальновидные и опытные фраера сразу жертвуют половиной передачи. Никто из воров не интересуется материальным положением арестованного фраера. Для них фраер в тюрьме или на воле — все равно — законная добыча, а его «передачи», его «вещи» — боевой трофей блатных.

Иногда передачи или носильные вещи выпрашиваются — дескать, отдай, мы тебе пригодимся. И фраер, живущий на воле вдвое беднее вора в остроге, отдает последние крохи, которые собрала ему жена.

Как же! Закон тюремный! Зато его доброе имя сохранено, и сам Сенька Пуп обещал ему свое покровительство и даже дал закурить из той самой пачки папирос, что прислала в посылке жена.

Раздеть, ограбить фраера в тюрьме — первое и веселое дело блатарей. Это делают щенки, резвящаяся молодежь... Те, что постарше, лежат в лучшем углу камеры, у окна, и присматривают за операцией, готовые в любую минуту вмешаться при упорстве фраера.

Конечно, можно поднять крик, вызвать часовых, коменданта, но — что это даст? Чтобы тебя избили ночью? А впереди, в дороге, могут и зарезать. Бог уж с ней, с передачей.

— Зато, — похлопывая по плечу какого-нибудь «черта», говорит ему блатарь, икая от сытости, — зато твоя тюремная пайка цела. Ее, брат, ни-ни... никогда.

Молодому вору иногда непонятно, почему нельзя трогать тюремного хлеба, если владелец его наелся белых домашних булочек от передачи. Владелец булочек тоже этого не понимает. Тому и другому взрослые воры объясняют, что таков закон тюремной жизни.

И боже мой, если какой-нибудь наивный голодный крестьянин, которому в первые дни заключения в тюрьме не хватает еды, попросит у соседа-блатаря отломить кусочек от сохнущей на полке тюремной пайки. Какую пышную лекцию ему прочтет блатарь о святости тюремного пайка...

В тех тюрьмах, где передач мало и мало новых фраеров, — понятие «тюремной пайки» ограничивается пайком хлеба, а приварок — супы, каши, винегреты, — как бы он ни был беден по ассортименту, исключается из неприкосновенности. Раздачей пищи всегда стараются руководить блатари. Это мудрое правило дорого стоит остальным обитателям камеры. Кроме пайка хлеба им наливают юшку от супа, и порции второго блюда становятся почему-то маленькими. Несколько месяцев совместного проживания с хранителем тюремной пайки сказываются самым отрицательным образом на «упитанности» заключенного, выражаясь официальным термином.

Все это еще до лагеря, пока дело идет о режиме следственной тюрьмы.

В исправительно-трудовом лагере, на общих тяжелых работах, вопрос тюремной пайки становится вопросом жизни и смерти.

Здесь нет лишнего куска хлеба, здесь все голодны и на тяжелой работе.

Грабеж тюремного пайка приобретает здесь характер преступления, медленного убийства.

Неработающие воры, наложив свою лапу на кухонных поваров, забирают оттуда большую часть жиров, сахара, чая, мяса, когда оно бывает (вот почему все «простые люди» лагеря предпочитают рыбу мясу; весовая норма здесь одна, а мясо все равно украдут). Кроме воров повару надо кормить лагерную обслугу, бригадиров, врачей, а то и дежурных на вахте надзирателей. И повар кормит — воры просто угрожают ему убийством, а лагерное начальство из заключенных (на блатном языке они называются «придурки») может в любую минуту придраться и снять повара с работы, и тот отправится в забой, что страшно для любого повара, да и не только повара.

Изъятия из тюремного пайка делаются за счет многочисленной армии рядовых работяг. Эти работяги из «научно обоснованных норм питания» получают лишь малую часть, бедную и жирами, и витаминами. Взрос-

лые люди плачут, получив жидкий суп — вся гуща давно уже отнесена разным Сенечкам да Колечкам.

Для того чтобы навести хоть минимальный порядок, начальство должно обладать не только личной порядочностью, но и нечеловеческой, неусыпной энергией в борьбе с расхитителями питания — в первую очередь с ворами.

Так выглядит тюремная пайка в лагере. Здесь никто уже не думает о рекламных блатных декларациях. Хлеб становится хлебом без всяких условностей и символики. Становится главным средством сохранить жизнь. Беда тому, кто, пересилив себя, оставил кусочек своей пайки на ночь, чтобы среди ночи проснуться и до хруста в ушах ощутить вкус хлеба в своем иссушенном цингой рту.

Этот хлеб у него украдут, попросту вырвут, отнимут — молодые голодные блатари, совершающие еженощные обыски... Выданный хлеб должен быть съеден немедленно — такова практика многих приисков, где много ворья, где эти благородные рыцари голодны, и хотя и не работают, но хотят есть.

Невозможно мгновенно проглотить пятьсот-шестьсот граммов хлеба. К сожалению, устройство человеческого пищеварительного тракта отлично от такого же аппарата у удава или чайки. Пищевод человека слишком узок, кусок хлеба в полукилограммовом весе туда сразу не втолкнешь, тем более с корочкой. Приходится разламывать хлеб, жевать — на это уходит драгоценное время. Из рук такого «работяги» блатари вырывают остатки хлеба, разгибая пальцы, бьют...

На магаданской пересылке был некогда такой порядок выдачи хлеба, когда вся суточная пайка вручалась работяге под охраной четырех автоматчиков, державших на приличном расстоянии от места раздачи хлеба толпу голодных блатарей. Работяга, получив хлеб, тут же его жевал, жевал и в конце концов благополучно проглатывал — случаев, чтобы блатные распарывали работяге живот, чтобы достать этот хлеб, все же не было.

Но было — повсеместно — другое.

За свою работу заключенные получают деньги — немного, несколько десятков рублей (для тех, кто превышает норму), но все же получают. Не выполняющий нормы не получает ничего. На эти десятки рублей работяга может купить в лагерной лавочке — ларьке хлеб,

иногда масло — словом, как-то улучшить свое питание. Получают деньги не все бригады, но некоторые получают. На тех приисках, где работают блатари, получка эта бывает лишь фиктивной — блатари отнимают деньги, облагают работяг «налогом». За неуплату в срок — нож в бок. Годами вносятся эти немыслимые «отчисления». Все знают про этот откровенный рэкет. Впрочем, если этого не делают блатари, отчисления собираются в пользу бригадиров, нормировщиков, нарядчиков...

Вот каково подлинное жизненное содержание понятия «тюремной пайки».

1959

«СУЧЬЯ» ВОЙНА

Дежурного врача вызвали в приемный покой. На свежевымытых, чуть синеватых, выскобленных ножом досках пола корчилось загорелое татуированное тело — раздетый санитарами догола раненый человек. Кровь пачкала пол, и дежурный врач злорадно усмехнулся — отчистить будет трудно; врач радовался всему плохому, что приходилось встретить и видеть. Над раненым склонились два человека в белых халатах: фельдшер приемного покоя, держащий лоток с перевязочным материалом, и лейтенант из спецчасти с бумагой в руке.

Врач сразу понял, что у раненого нет документов и лейтенант спецчасти хочет получить хоть какие-либо сведения о раненом.

Раны были еще свежи, некоторые кровоточили. Ран было много — больше десятка крошечных ран. Человека недавно били маленьким ножом, или гвоздем, или чем-нибудь еще.

Врач вспомнил, как в прошлое его дежурство две недели назад была убита продавщица магазина, убита в своей комнате, задавлена подушкой. Убийца не успел уйти незаметно, поднялся шум, и убийца, обнажив кинжал, выскочил в морозный туман улицы. Пробегая мимо магазина, мимо очереди, убийца воткнул кинжал последнему в очереди в ягодицу — из хулиганства, из черт знает чего...

Но сейчас было что-то другое. Движения раненого становились менее порывистыми, щеки бледнели. Врач понимал, что тут дело в каком-то внутреннем кровоте-

чении — ведь на животе тоже были маленькие, тревожные, не кровоточащие раны. Раны могли быть внутри, в кишечнике, в печени...

Но врач не решался вмешаться в священнодействие службы учета. Нужно было добыть во что бы то ни стало «установочные данные» — фамилию, имя, отчество, статью, срок, — получить ответ на вопросы, которые задаются каждому заключенному десять раз на день — на поверках, разводах...

Раненый что-то отвечал, и лейтенант торопливо записывал сообщенное на клочке бумаги. Уже известны были и фамилия, и статья — пятьдесят восемь, пункт четырнадцать... Оставался самый главный вопрос, ответа на который и ждали все — и лейтенант, и фельдшер приемного покоя, и дежурный врач...

— Ты кто? Кто? — встав на колени около раненого, взволнованно взывал лейтенант.

— Кто?

И раненый понял вопрос. Веки его дрогнули, раздвинулись искусанные, запекшиеся губы, и раненый выдохнул протяжно:

— Су-у-ка...

И потерял сознание.

— Сука! — восхищенно крикнул лейтенант, вставая и отряхивая рукой колени.

— Сука! Сука! — радостно повторял фельдшер.

— В седьмую его, в седьмую хирургическую! — засуетился врач. Можно было приступать к перевязке. Седьмая палата была «сучья».

Много лет после того как кончилась война, в уголовном мире — на дне человеческого моря еще не отшумели подводные кровавые волны. Волны эти были следствием войны — удивительным, непредвиденным следствием. Никто — ни седовласые уголовные юристы, ни ветераны тюремной администрации, ни многоопытные лагерные начальники не могли предвидеть, что война разделит уголовный мир на две враждебных друг другу группы.

Во время войны сидевшие в тюрьмах преступники, в том числе и многочисленные воры — рецидивисты, «урки», были взяты в армию, направлены на фронт, в маршевые роты. Армия Рокоссовского приобрела известность и популярность именно наличием в ней уго-

ловного элемента. Из уркаганов выходили лихие разведчики, смелые партизаны. Природная склонность к риску, решительность и наглость делали из них ценных солдат. На мародерство, на стремление пограбить смотрели сквозь пальцы. Правда, окончательный штурм Берлина не был доверен этим частям. Армия Рокоссовского была нацелена в другое место, а в Тиргартен двинулись кадровые части маршала Конева — полки наиболее чистой пролетарской крови.

Писатель Вершигора в «Людях с чистой совестью» уверяет нас, что знает Воронько — уркача, из коего вышел добрый партизан (как в книжках Макаренко).

Словом, уголовники из тюрем уходили на фронт, воевали там — кто хорошо, кто худо... Настал день Победы, герои-уркачи демобилизовались и вернулись к мирным занятиям.

Вскоре советские суды послевоенного времени встретились на своих заседаниях со старыми знакомыми. Оказалось — и это-то предвидеть было нетрудно, что рецидивисты, «уркаганы», «воры», «люди», «преступный мир» и не думают прекращать дела, которое до войны давало им средства к существованию, творческое волнение, минуты подлинного вдохновения, а также положение в «обществе».

Бандиты вернулись к убийствам, «медвежатники» — к взломам несгораемых шкафов, карманники — к исследованиям чердаков на «лепёхах», «скокари» — к квартирным кражам.

Война скорее укрепила в них наглость, бесчеловечность, чем научила чему-либо доброму. На убийство они стали смотреть еще легче, еще проще, чем до войны.

Государство пыталось организовать борьбу с возрастающей преступностью. Явились Указы 1947 года «Об охране социалистической собственности» и «Об охране личного имущества граждан». По этим Указам незначительная кража, за которую вор расплачивался несколькими месяцами заключения, теперь каралась 20 годами.

Воров, бывших участников Отечественной войны, стали десятками тысяч грузить на пароходы и поезда и под строжайшим конвоем отправлять в многочисленные трудовые лагеря, деятельность которых ни на минуту не замирала во время войны. Лагерей к тому времени было очень много. Севлаг, Севвостлаг, Севзаплаг, в каждой области, на каждой большой или маленькой стройке были лагерные отделения. Наряду с карликовыми

управлениями, едва превышавшими тысячу человек, были и лагеря-гиганты с населением в годы их расцвета по нескольку сот тысяч человек: Бамлаг, Тайшетлаг, Дмитлаг, Темники, Караганда...

Лагеря стали быстро наполняться уголовщиной. С особым вниманием комплектовались два больших отдаленных лагеря — Колыма и Воркута. Суровая природа Крайнего Севера, вечная мерзлота, восьми-, девятимесячная зима в сочетании с целеустремленным режимом создавали удобные условия для ликвидации уголовщины. Опыт, произведенный Сталиным над «троцкистами» в 1938 году, увенчался полным успехом и был всем хорошо памятен.

На Колыму и Воркуту стали приходить эшелон за эшелоном осужденных по Указам 1947 года. Хотя в трудовом отношении блатные были малоценным материалом и вряд ли были особенно пригодны для колонизации края, зато бежать с Крайнего Севера было почти невозможно. Стало быть, задача изоляции разрешалась надежно. Кстати, эти географические особенности Крайнего Севера были на Колыме причиной появления особой категории беглецов (красочный блатной термин — «ушедшие во льды»), которые никуда, по сути дела, не бежали, а прятались около трассы автомобильной дороги в две тысячи километров длиной, грабя проезжающие машины. В главную вину этим беглецам ставились не побег сам по себе и не разбой на большой дороге. Юристы видели в побеге уклонение от работы и трактовали эти побеги как контрреволюционный саботаж, как отказ от работы — главное лагерное преступление. Соединенными усилиями юристов и мыслителей из лагерной администрации уголовный рецидив наконец был кое-как втиснут в рамки самой страшной, пятьдесят восьмой статьи.

Каков катехизис вора? Вор, член преступного мира, — это определение — «преступный мир» принадлежит самим ворам, — должен воровать, обманывать «фраеров», пить, гулять, играть в карты, не работать, участвовать в «правилках», то есть в «судах чести». Тюрьма для вора хоть и не родной дом, не какие-нибудь «хаза», или «малина», или «шалман», но место, где вор вынужден проводить большую часть своей жизни. Из этого следует важный вывод, что в тюрьме блатные должны обеспечить себе — силой, хитростью, наглостью, обманом — неофициальные, но важные права,

вроде права на дележ чужих передач или чужих вещей, вроде права на лучшее место, на лучшую пищу и т. д. Практически это достигается всегда, если в камере есть несколько воров. Именно они-то и приобретают все, что можно приобрести в тюрьме. Эти «традиции» позволяют вору жить лучше других в тюрьме и лагере.

Небольшой срок заключения, частые амнистии давали ворам возможность без особенных забот провести время заключения, не работая. Работали, и то время от времени, только специалисты — слесари, механики. Ни один вор не работал на «черной» работе. Лучше он просидит в карцере, в лагерном изоляторе...

Указ 1947 года с его двадцатилетним сроком за незначительные преступления по-новому поставил перед ворами проблему «занятости». Если вор мог надеяться, не работая, пробиться правдами и неправдами несколько месяцев или год-два, как раньше, то теперь надо было фактически всю жизнь проводить в заключении или полжизни, по крайней мере. А жизнь вора — короткая. «Паханов» — стариков среди «урок» мало. Воры долго не живут. Смертность среди воров значительно выше средней смертности в стране.

Указ 1947 года поставил перед «преступным миром» серьезные проблемы, и лучшие блатные умы напряженно искали надежного решения вопроса.

По воровскому закону, вор не должен в заключении занимать какие-либо административные лагерные должности, выполнение которых вверяется заключенным. Ни нарядчиком, ни старостой, ни десятником вор не имеет права быть. Этим он как бы вступает в ряды тех, с кем вор всю жизнь находится во вражде. Вор, занявший такую административную должность, перестает быть вором и объявляется «сукой», «ссучившимся», объявляется вне закона, и любой блатной сочтет честью для себя зарезать при удобном случае такого ренегата.

Щепетильность преступного мира в этом вопросе очень велика, правоверные толкования некоторых сложных дел напоминают тонкую и извилистую логику Талмуда.

Пример: вор идет мимо вахты. Дежурный надзиратель кричит ему: «Эй, ударь, пожалуйста, в рельс, позвони, мимо идешь...» Если вор ударит в рельс — сигнал побудок и поверок, — он уже нарушил закон, «подсучился».

«Правилки» или «суды чести», где «качают права», и заняты главным образом рассмотрением дел и провинностей, связанных именно с изменой своему знамени, и «юридическим» толкованием того или иного подозрительного поступка. Виновен или невиновен? Утвердительный ответ «судов чести» влечет обычно и почти немедленно — кровавую расправу. Убивают, конечно, не судьи, убивает воровская молодежь. Главари всегда считали, что такие «акты» полезны для молодого вора: он приобретает опыт, закаляется...

На пароходах и поездах в Магадан и в Усть-Цильму стали прибывать осужденные после войны воры. «Военщина» — такое они получили название впоследствии. Все они участвовали в войне и не были бы осуждены, если б не совершили новых преступлений. Увы, таких, как Воронько, было очень и очень мало. Огромное же, подавляющее большинство воров вернулось к своей профессии. Строго говоря, они и не отдалялись от нее — мародерство на фронте стоит довольно близко к основному занятию нашей социальной группы. Среди блатарей-«вояк» были и награжденные орденами. Блатные — инвалиды войны нашли себе новый и очень большой доход — нищенство в пригородных поездах.

Среди «военщины» было много крупных «урок», выдающихся деятелей этого подземного мира. Сейчас они возвращались после нескольких лет войны-свободы в привычные места, в дома с решетчатыми окнами, в лагерные зоны, опутанные десятью рядами колючей проволоки, возвращались в привычные места с непривычными мыслями и явной тревогой. Кое-что было уже обсуждено долгими пересыльными ночами, и все были согласны на том, что дальше жить по-старому нельзя, что в воровском мире назрели вопросы, требующие немедленного обсуждения в самых «высших сферах». Главари «военщины» хотели встретиться со старыми товарищами, которых только случай, как они считали, уберег от участия в войне, с товарищами, которые все это военное время просидели в тюрьмах и лагерях. Главари «военщины» рисовали себе картины радостных встреч со старыми товарищами, сцен безудержного бахвальства «гостей» и «хозяев» и, наконец, помощи в решении тех серьезнейших вопросов, которые жизнь поставила перед уголовщиной.

Их надеждам не суждено было сбыться. Старый преступный мир не принял их в свои ряды, и на «правилки» «военщина» не была допущена. Оказалось, что вопросы, тревожившие приезжих, давно уже обдуманы и обсуждены в старом преступном мире. Решение же было вынесено совсем не такое, как думали «вояки».

— Ты был на войне? Ты взял в руки винтовку? Значит, ты — сука, самая настоящая сука и подлежишь наказанию по «закону». К тому же ты — трус! У тебя не хватило силы воли отказаться от маршевой роты — «взять срок» или даже умереть, но не брать винтовку!

Вот как отвечали приезжим «философы» и «идеологи» блатного мира. Чистота блатных убеждений, говорили они, дороже всего. И ничего менять не надо. Вор, если он «человек», а не «сявка», должен уметь прожить при любом указе — на то он и вор.

Напрасно «вояки» ссылались на прошлые заслуги и требовали допустить их к «судам чести» как равноправных и авторитетных судей. Старые уркаганы, перенесшие и восьмушку хлеба во время войны в тюремной камере, и кое-что другое, были непреклонны.

Но ведь среди вернувшихся было много важных персон уголовного мира. Там было достаточно и «философов», и «идеологов», и «вождей». Вытесненные из родной среды столь бесцеремонно и решительно, они не могли примириться с тем положением париев, на которое обрекали их правоверные «урки». Напрасно указывали предводители «военщины», что случайность, особенность их положения в тот момент, когда им было сделано предложение пойти на фронт, исключала отрицательный ответ. Конечно, никаких патриотических настроений у уголовщины никогда не существовало. Армия, фронт — были предлогом выйти на волю, а там что бог даст. На какой-то момент интересы государства и личные интересы слились — и именно за это они и держали сейчас ответ перед своими бывшими товарищами. К тому же война отвечала как-то таким чувствам блатаря, как любовь к опасности, к риску. О перековке, об отколе от преступного мира они и не думали — ни раньше, ни теперь. Ущемленные самолюбия авторитетов, переставших быть авторитетами, сознание напрасности своего шага, который объявлен изменой товарищам, память о трудных дорогах войны — все это обостряло отношения, накаляло подземную атмосферу до крайности. Были среди воров и такие, которые пошли на войну из

слабости духовной — им угрожали расстрелом, да и расстреляли бы в то время. Более слабые последовали за главарями, за авторитетами — жизнь всегда жизнь, люди.

Крупные блатари, «вожди военщины», были озадачены, но не смущены. Что ж, если старый «закон» их не принимает, они объявят новый. И новый воровской закон был объявлен — в 1948 году на пересылке в бухте Ванино. Поселок и порт Ванино были отстроены во время войны, когда взорвался порт бухты Находка.

Первые шаги этого нового закона связаны с полулегендарным именем блатаря по кличке Король, человека, о котором много лет спустя знавшие его и ненавидевшие воры «в законе» говорили с уважением: «Ну, как-никак, душок у него был...»

Дух, душок — это своеобразное воровское понятие. Это и смелость, и напористость, и крикливость, и своеобразная удаль, и стойкость наряду с некоторой истеричностью, театральностью...

Новый Моисей обладал этими качествами в полной мере.

По новому закону блатным разрешалось работать в лагере и тюрьме старостами, нарядчиками, десятниками, бригадирами, занимать еще целый ряд многочисленных лагерных должностей.

Король договорился с начальником пересылки о страшном: он обещал навести полный порядок на пересылке, обещав своими силами справиться с «законными» ворами. Если в крайнем случае прольется кровь — он просит не обращать большого внимания.

Король напомнил о своих военных заслугах (он был награжден орденом на войне) и дал понять, что начальство стоит перед минутой, когда правильное решение может привести к исчезновению уголовного мира, преступности в нашем обществе. Он, Король, берет на себя выполнение этой трудной задачи и просит ему не мешать.

Думается, что начальник ванинской пересылки немедленно поставил в известность самое высокое начальство и получил одобрение операции Короля. В лагерях ничего не случается по произволу местного начальства. К тому же, по правилам, все шпионят друг за другом.

Король обещает исправиться! Новый воровской закон! Чего же лучше? Это — то, о чем мечтал Макаренко, исполнение самых заветных желаний теоретиков.

Наконец-то блатные «перековались»! Наконец-то пришло долгожданное практическое подтверждение многолетним теоретическим упражнениям на сей счет, начиная с крыленковской «резинки» и кончая теорией возмездия Вышинского.

Приученная видеть в «уркачах», «тридцатипятниках» «друзей народа», администрация лагерей мало следила за подспудными процессами, проходившими в преступном мире. Никакой тревожной информации оттуда не поступало — лагерное начальство имело сеть доносчиков и осведомителей совсем в других местах. До настроений, до вопросов, волновавших преступный мир, никому не было дела.

Мир этот давно уже должен был исправляться — и наконец этот час наступил. Доказательство сему — говорило начальство — новый воровской закон Короля. Это — результат благотворного действия войны, пробудившей даже в уголовниках чувство патриотизма. Мы же читали Вершигору, мы слыхали о победах армии Рокоссовского.

Начальники-ветераны, поседевшие на лагерной службе, хоть и не верили, что «может быть доброе из Назарета», но считали про себя, что от раскола, от вражды двух воровских групп между собой может быть только добро и выгода для остальных, обыкновенных людей. Минус, помноженный на минус, дает плюс — напоминали они. Попробуем.

Король получил согласие на свой «опыт». В один из коротких северных дней все население пересылки Ванино было выстроено на линейке строем по два.

Начальник пересылки рекомендовал заключенным нового старосту. Этим старостой был Король. Командирами рот были назначены его ближайшие подручные.

Новая лагерная обслуга не стала терять даром времени. Король ходил вдоль рядов заключенных, пристально вглядываясь в каждого, и бросал:

— Выходи! Ты! Ты! И ты! — Палец Короля двигался, часто останавливаясь, и всегда безошибочно. Воровская жизнь приучила его к наблюдательности. Если Король сомневался — проверить было очень легко, и все — и блатари, и сам Король — отлично это знали.

— Раздевайся! Снимай рубаху!

Татуировка — наколка, опознавательный знак ордена — сыграла свою губительную роль. Татуировка — ошибка молодости уркаганов. Вечные рисунки облегча-

ют работу уголовному розыску. Но их смертное значение открылось только сейчас.

Началась расправа. Ногами, дубинками, кастетами, камнями банда Короля «на законном основании» крошила адептов старого воровского закона.

— Примете нашу веру? — кричал торжествующе Король. Вот он проверит теперь крепость духа самых упорных «ортодоксов», обвинявших его самого в слабости. — Примете нашу веру?

Для перехода в новый воровской закон был изобретен обряд, театральное действо. Блатной мир любит театральность в жизни, и знай Н. Н. Евреинов или Пиранделло это обстоятельство — они не преминули бы обогатить аргументами свои сценические теории.

Новый обряд ничуть не уступал известному посвящению в рыцари. Не исключено, что романы Вальтера Скотта подсказали эту торжественную и мрачную процедуру.

— Целуй нож!

К губам избиваемого блатаря подносилось лезвие ножа.

— Целуй нож!

Если «законный» вор соглашался и прикладывал губы к железу — он считался принятым в новую веру и навсегда терял всякие права в воровском мире, становясь «сукой» навеки.

Эта мысль Короля была поистине королевской мыслью. Не только потому, что посвящение в блатные рыцари обещало многочисленные резервы армии «сук» — вряд ли, вводя этот ножевой обряд, Король думал о завтрашнем и послезавтрашнем дне. Но о другом он подумал наверняка! Он поставит всех своих старых довоенных друзей в те же самые условия — жизнь или смерть! — в которых он, Король, струсил, по мнению воровских «ортодоксов». Пусть теперь они сами покажут себя! Условия — те же.

Всех, кто отказывался целовать нож, убивали. Каждую ночь к запертым снаружи дверям пересыльных бараков подтаскивали новые трупы. Эти люди не были просто убиты. Этого было слишком мало Королю. На всех трупах «расписывались» ножами все их бывшие товарищи, поцеловавшие нож. Блатарей не убивали просто. Перед смертью их «трюмили», то есть топтали ногами, били, всячески уродовали... И только потом убивали. Когда через год или два пришел этап с Воркуты и

несколько видных воркутинских «сук» (там разыгралась та же история) сошли с парохода — выяснилось, что воркутинцы не одобряют излишней жестокости колымчан. «У нас просто убивают, а “трюмить”? Зачем это?» Стало быть, воркутинские дела несколько отличались от дел королевской банды.

Вести о королевской расправе в бухте Ванино полетели через море, и на колымской земле воры старого закона приступили к самозащите. Была объявлена тотальная мобилизация, весь блатной мир вооружался. Над изготовлением ножей и коротких пик-штыков тайком трудились все кузницы и слесарные мастерские Колымы. Ковали, конечно, не блатные, а настоящие штатные мастера под угрозой «за-ради страха» — как говорили блатные. Они знали гораздо раньше Гитлера, что напугать человека гораздо надежней, чем подкупить. И, само собой, дешевле. Любой слесарь, любой кузнец согласился бы, чтоб у него упал процент выполнения плана, но была сохранена жизнь.

Тем временем энергичный Король убедил начальство в необходимости «гастрольной» поездки по пересылкам Дальнего Востока. Вместе с семью своими подручными он объехал пересылки до Иркутска — оставляя в тюрьмах десятки трупов и сотни новообращенных «сук».

«Суки» вечно не могли жить в бухте Ванино. Ванино — транзитка, пересылка. «Суки» двинулись за море — на золотые прииски. Война была перенесена в большое пространство. Воры убивали «сук», «суки» — воров. Цифра «архива № 3» (умершие) подскочила вверх, чуть не достигая рекордных высот пресловутого 1938 года, когда «троцкистов» расстреливали целыми бригадами.

Начальство бросилось к телефонам, вызывая Москву.

Выяснилось, что в заманчивой формуле «новый воровской закон» главное значение имеет слово «воровской», и ни о каких «перековках» не идет и речи. Начальство было еще раз одурачено жестоким и умным Королем.

С начала тридцатых годов, ловко пользуясь распространением идей «трудового перевоспитания», блатные спасают свои кадры, легко давая миллионы честных слов, пользуясь спектаклем «Аристократы» и твердым указанием начальства о необходимости оказывать «доверие» уголовному рецидиву. Идеи Макаренко и пресловутая «перековка» и дали возможность блатарям

под прикрытием этих идей спасти свои кадры и их укрепить. Утверждалось, что в отношении бедняжек уголовников должны применяться только исправительные, а не карательные санкции. На деле это выглядело странной заботливостью о сохранении уголовщины. Любой практик — лагерный работник — знал, и знал всегда, что ни о какой «перековке» и перевоспитании уголовного рецидива не может быть и речи, что это — вредный миф. Что обмануть фраера, начальство — это доблесть вора; что можно давать тысячу клятв фраеру, миллион честных слов, лишь бы он поддался на удочку. Недальновидные драматурги типа Шейнина или Погодина продолжали, к вящей пользе блатного мира, проповедовать необходимость «доверия» к блатарям. Если один Костя-капитан перевоспитался, то десять тысяч блатных вышли из тюрем раньше времени и совершили двадцать тысяч убийств и сорок тысяч ограблений. Вот цена, которую заплатили за «Аристократов» и «Дневник следователя». Шейнин и Погодин были слишком несведущими людьми в столь важном вопросе. Вместо того чтобы развенчать уголовщину, они романтизировали ее.

В 1938 году блатные были открыто призваны в лагерях для физической расправы с «троцкистами»; блатные убивали и избивали беспомощных стариков, голодных доходяг... Смертной казнью каралась даже «контрреволюционная агитация», но преступления блатных были под защитой начальства.

Никаких признаков перековки ни в блатном, ни в «сучьем» мире не обнаруживалось. Только сотни трупов ежедневно собирались в лагерные морги. Выходило так, что начальство, помещая вместе блатных и «сук», сознательно подвергает тех или других смертельной опасности.

Распоряжения о невмешательстве были вскоре отменены и повсюду созданы отдельные, особые зоны — для «сук» и для воров «в законе». Поспешно, и все же поздно, Король и его единомышленники были сняты со всех лагерных административных должностей и превратились в простых смертных. Выражение «простой смертный» неожиданно приобрело особый, зловещий смысл. «Суки» не были бессмертными. Оказалось, что создание особых зон на территории одного лагеря не приносит никакой пользы. Кровь лилась по-прежнему. Пришлось закрепить за ворами и «суками» отдельные

прииски (где, конечно, наряду с уголовщиной работали и представители других статей кодекса). Создавались экспедиции — налеты вооруженных «сук» или воров на «вражеские» зоны. Пришлось сделать еще один организационный шаг — целые приисковые управления, объединяющие несколько приисков, закрепить за ворами и «суками». Так, все Западное управление с его больницами, тюрьмами, лагерями осталось «сукам», а в Северном управлении сосредоточивали воров.

На пересылках каждый блатной должен был сообщить начальству, кто он — вор или «сука», и в зависимости от ответа он подключался в этап, направляемый туда, где блатарю не грозила смерть.

Название «суки», хоть и неточно отражающее существо дела и терминологически неверное, привилось сразу. Как ни пытались вожди нового закона протестовать против обидной клички, удачного, подходящего слова не нашлось, и под этим названием они вошли в официальную переписку, и очень скоро и сами они стали себя называть «суками». Для ясности. Для простоты. Лингвистический спор мог немедленно привести к трагедии.

Время шло, а кровавая война на уничтожение не утихала. Чем может это кончиться? Чем? — гадали лагерные мудрецы. И отвечали: убийством главарей с той и другой стороны. Уже сам Король был взорван на каком-то отдаленном прииске (его сон в углу барака охранялся вооруженными друзьями. Блатари подвели под угол барака заряд аммонала, достаточный, чтобы угловые нары взлетели в небо). Уже большинство «вояк» лежало в братских лагерных могилах с деревянной биркой на левой ноге, нетленными в вечной мерзлоте. Уже самые видные воры — Полтора Ивана Бабаланов и Полтора Ивана Грек умерли, не поцеловав сучьего ножа. Но другие, не менее видные, — Чибис, Мишка-одессит — поцеловали и убивали теперь блатных во славу «сучью».

На втором году этой «братоубийственной» войны обозначилось некое новое важное обстоятельство.

Как? Разве обряд целования ножа меняет блатную душу? Или пресловутая «жульническая кровь» изменила свой химический состав в жилах уркагана оттого, что губы его прикоснулись к железному лезвию?

Вовсе не все целовавшие нож одобряли новые «сучьи» скрижали. Многие, очень многие в душе оставались приверженцами старых законов — ведь они сами осуждали «сук». Часть этих слабых духом блатарей попробовали при удобном случае вернуться в «закон». Но — королевская мысль Короля еще раз показала свою глубину и силу. Воры «законные» грозили новообращенным «сукам» смертью и не хотели отличать их от кадровых «сук». Тогда несколько старых воров, поцеловавших «сучье» железо, воров, которым стыд не давал покоя и кормил их злобу, сделали еще один удивительный ход.

Объявлен был третий воровской закон. На этот раз для разработки «идейной» платформы у блатных третьего закона не хватило теоретических сил. Они не руководились ничем, кроме злобы, и не выдвигали никаких лозунгов, кроме лозунга мести и кровавой вражды к «сукам» и к ворам — в равной мере. Они приступили к физическому уничтожению тех и других. В эту группу поначалу вошло так неожиданно много уркаганов, что начальству пришлось и для них выделить отдельный прииск. Ряд новых убийств, вовсе не предвиденных начальством, привел в большое смущение умы лагерных работников.

Блатари третьей группы получили выразительное название «беспредельщины». «Беспредельщину» зовут также «махновцами» — афоризм Нестора Махно времен Гражданской войны о своем отношении к красным и белым хорошо известен в блатном мире. Стали рождаться новые и новые группы, принимавшие самые различные названия, например «Красные шапочки». Лагерное начальство сбилось с ног, обеспечивая всем этим группам отдельные помещения.

В дальнейшем выяснилось, что «беспредельщины» не так много. Воры действуют всегда в компании — одинокий блатарь невозможен. Публичность кутежей, «правилок» в воровском подполье нужна и большим, и малым ворам. Нужно принадлежать к какому-то миру, искать и находить там помощь, дружбу, совместное дело.

«Беспредельщина», по существу, трагична. В «сучьей» войне она имела не много сторонников и была ярким явлением психологического порядка, вызывая к себе интерес именно с этой стороны. «Беспредельщине» пришлось испытатъ и много особых унижений.

Дело в том, что по приказу охраняемые конвоем камеры пересылок были двух видов: для воров «в законе» и воров-«сук». «Беспредельщикам» же приходилось выпрашивать у начальства место, долго объяснять, ютиться где-нибудь в уголках, среди фраеров, которые относились к ним без всякой симпатии. Почти всегда «беспредельщики» были одиночными путешественниками, вору «беспредельщику» приходилось обращаться с просьбой к начальству, воры и «суки» требовали «своего». Так, один из таких «беспредельщиков» после выписки из больницы трое суток (до отправки) провел под караульной вышкой — там было всего безопаснеей, — в лагере же его могли убить, и он отказался войти в зону.

Первый год казалось, что перевес будет за «суками». Энергичные действия их главарей, воровские трупы на всех пересылках, разрешение направлять «сук» на те прииски, куда раньше направлять их не рисковали, — все это были признаки «сучьего» преимущества в «войне». Вербовка «сук» путем обряда целования ножа приобрела широкую известность. Магаданская пересылка была прочно занята «суками». Кончалась зима, и блатные «в законе» жадно ждали начала навигации. Первый пароход должен был решить их судьбу. Что он привезет — жизнь или смерть?

С пароходом прибыли первые сотни правоверных блатарей с материка. Среди них не было «сук»!

«Суки» магаданской пересылки быстро этапировались в «свое» Западное управление. Получив подкрепление, воры снова ожили, и кровавая борьба вспыхнула с новой силой. В дальнейшем из года в год воровские кадры пополнялись приезжими, завезенными с материка ворами. «Сучьи» же кадры размножались известным способом целования ножа.

Будущее по-прежнему было неопределенным. В 1951 году Иван Чайка — один из самых «авторитетных» представителей воровского закона того времени и тех мест — назначен был в этап после месячного лечения в центральной больнице для заключенных. Чайка был вовсе не болен. Начальнику санчасти прииска, где Чайка был «прописан», пригрозили расправой, если он не отправит Чайку в больницу на отдых, и обещали дать два костюма, если он Чайку отправит. Начальник санчасти отправил Чайку. Больничные анализы не содержали ничего угрожающего здоровью Чайки, но с заведующим

терапевтическим отделением уже успели поговорить. Чайка лежал в больнице целый месяц и согласился выписаться. Но при отправке с больничной пересылки вызванный по списку нарядчиком Чайка спросил: куда идет этап? Нарядчик захотел подшутить над Чайкой и назвал один из приисков Западного управления, куда «законных» воров не отправляли. Через десять минут Чайка сказался больным и попросил вызвать начальника пересылки. Пришел начальник и врач. Чайка положил ладонь левой руки на стол, растопырив пальцы, и ножом, который был у него в другой руке, несколько раз ударил по собственной кисти. Всякий раз нож проходил до дерева, и Чайка резким рывком выдергивал его обратно. Все это было делом минуты-двух. Чайка объяснил испуганному начальству, что он — вор и знает свои права. Он должен ехать в воровское, Северное управление. На запад же, на смерть, он не поедет, лучше потеряет руку. Начальник, изрядно перетрусивший, едва разобрался в этой истории — ведь Чайку отправляли именно туда, куда он хотел. Так, по милости нарядчика, месячный отдых Чайки в больнице был немного испорчен. Если бы он не спросил нарядчика о месте назначения этапа — все обошлось бы благополучно.

Центральная больница для заключенных на тысячу с лишним коек, гордость колымской медицины, была расположена на территории Северного управления. Естественно, что воры считали ее своей районной больницей, а отнюдь не центральной. Руководство больницы долгое время пыталось встать «над схваткой» и делало вид, что лечит больных из всех управлений. Это было не вполне так, ибо воры считали Северное управление своей цитаделью и настаивали на своих особых правах на всей его территории. Воры добивались, чтобы «сук» не лечили в этой больнице, где были условия лечения много лучше, чем где-либо, а главное — центральная больница имела право «актировки» инвалидов для вывоза на материк. «Добивались» они этого не заявлениями, не жалобами, не просьбами, а ножами. Несколько убийств на глазах у начальника больницы, и тот присмирел и понял, где его настоящее место в столь тонких вопросах. Недолго пыталась больница удержаться на чисто врачебных позициях. Когда больному его сосед втыкает ночью нож в живот — это действует весьма убедительно, как бы ни заявляло начальство о том, что ему нет дела до «гражданской войны» среди уголовного мира. Упорство руководства боль-

ницы вначале и заверения в безопасности обманули некоторых «сук». Они соглашались на леченье, предлагавшееся им на местах (на местах любой врач соглашался «оформить» медицинские документы, лишь бы прииск избавился хоть на время от уголовщины); конвой привозил их в больницу, но не дальше приемного покоя. Здесь, разузнав обстановку, они требовали немедленной отправки обратно. В большинстве случаев их увозил тот же конвой. Был случай, когда начальник конвоя, получив отказ в приеме, подбросил в канаву около больницы связку личных дел и, оставив больных, пытался на своей машине вместе с конвоирами скрыться. Машина с конвоем уже успела сделать километров сорок, когда ее нагнали на другой машине бойцы и офицеры охраны больницы с винтовками и револьверами со взведенными курками. Беглецов под конвоем вернули к больнице, вручили им людей и дела и распрощались с ними.

Единственный раз четыре «суки» — крупных уркагана — отважились на ночевку в стенах больницы. Они забаррикадировали дверь отведенной им отдельной больничной палаты и дежурили у дверей по очереди с обнаженными ножами. Наутро они отправлены были обратно. Это был единственный случай, когда оружие было открыто внесено в больницу — начальство старалось не видеть ножей в руках у «сук».

Обычно же оружие отбиралось в приемном покое, это делалось очень просто — больных раздевали догола и выводили в следующее помещение для врачебного осмотра. После каждого этапа на полу и за спинками скамеек оставались брошенные пики и ножи. Разматывались даже бинты повязок, снимался гипс с переломов, ибо ножи прибинтовывались к телу, скрывались под повязками.

Чем дальше, тем реже приезжали «суки» в центральную больницу — практически воры уже выиграли спор с начальством. Наивный начальник, начитавшийся Шейнина и Макаренко, втайне, а то и открыто восхищенный «романтическим» миром уголовщины («Вы знаете, это крупный вор» — это говорилось таким тоном, что можно было подумать, что речь идет о каком-нибудь академике, открывшем тайну атомного ядра), возомнил себя знатоком блатных обычаев. Он слыхал о Красном Кресте, о воровском отношении к врачам, и сознание своего личного общения с ворами приятно щекотало его тщеславие.

Ему говорили, что Красный Крест, то есть медицина, ее работники, и в первую очередь врачи, находятся на особом положении в глазах блатного мира. Они — неприкосновенны, «экстерриториальны» для воровских операций. Больше того, врачей в лагере уголовники охраняют от всех несчастий. На эту нехитрую, грубую лесть попалось и попадается много людей. И каждый вор и каждый врач в лагере умеют рассказывать старую-престарую сказку о том, как обокраденному врачу воры вернули часы (чемодан, костюм, брегет), лишь только узнали, что обокраденный — врач. Это — вариация «Брегета Эррио». В ходу и история о голодном враче, которого сытые воры кормили в тюрьме (из передач, отобранных ворами у других жителей тюремной камеры). Существует несколько подобных классических сюжетов, которые, как шахматные дебюты, рассказываются по определенным правилам...

В чем тут правда, в чем тут дело? Дело тут в холодном, строгом и подлом расчете блатарей. А правда в том, что единственным защитником заключенного в лагере (и вора в том числе) является врач. Не начальник, не штатный КВЧ — культработник, а только врач оказывает повседневную и реальную помощь арестанту. Врач может положить в больницу. Врач может дать отдохнуть день-другой — это очень важное дело. Врач может отправить куда-либо в другое место или не отправить — при всяком таком передвижении требуется санкция врача. Врач может направить на легкую работу, снизить «трудовую категорию» — в этой важнейшей жизненной области врач почти вовсе бесконтролен, и уж во всяком случае не местный начальник ему судья. Врач следит за питанием заключенных, и если не принимает сам участия в разбазаривании этого питания, то очень хорошо. Он может выписать паек получше. Велики права и обязанности врача. И как бы ни был плох врач — все равно именно он — моральная сила в лагере. Иметь влияние на врача — это гораздо важнее, чем держать «на крючке» начальника или подкупать работника КВЧ. Врачей подкупают очень умело, запугивают осторожно, им, вероятно, возвращают и краденые вещи. Впрочем, живых примеров этому нет. Скорее на лагерных врачах — не исключая и вольнонаемных — можно видеть даренные ворами костюмы или хорошие «шкары». Блатной мир в хороших отношениях с врачом до тех пор, пока врач (или другой медработник) выполняет все требования этой наглой банды, требова-

ния, растущие по мере того, как врач все глубже запутывается в своих, казалось бы, невинных связях с блатарями. А ведь больные люди, измученные старики должны умирать на нарах, потому что их места в больнице занимают здоровые отдыхающие блатари. И если врач отказывается выполнять требования уголовщины, с ним поступают вовсе не как с представителем Красного Креста. Молодой москвич, приисковый врач Суровой отказался категорически выполнить требования блатных об отправке в центральную больницу на отдых трех блатарей. На следующий вечер он был убит во время приема — пятьдесят две ножевых раны насчитал на его трупе патологоанатом. Пожилой врач — женщина Шицель на женском прииске отказалась дать освобождение от работы какой-то блатарке. На следующий день врачиха была зарублена топором. Собственная санитарка санчасти привела приговор в исполнение. Суровой был молод, честен и горяч. Когда его убили, на его должность был назначен доктор Крапивницкий — опытный начальник санчастей штрафных приисков, вольнонаемный врач, видавший виды.

Доктор Крапивницкий просто объявил, что лечить не будет, не будет и осматривать. Необходимые медикаменты будут выдаваться ежедневно через бойцов охраны. Зона наглухо запирается, и выпускать из нее будут только мертвых. Еще два с лишним года после назначения на этот прииск доктор Крапивницкий продолжал там находиться в полном здравии.

Закрытая зона, окруженная пулеметами, отрезанная от всего остального мира, жила своей собственной страшной жизнью. Мрачная фантазия уголовников соорудила здесь среди бела дня форменные суды, с заседаниями, с обвинительными речами и свидетельскими показаниями. Посреди лагеря воры, сломав нары, воздвигли виселицу и на этой виселице повесили двоих «разоблаченных сук». Все это делалось не ночью, а белым днем, на глазах начальства.

Другая зона этого прииска считалась рабочей. Оттуда воры пониже чином ходили на работу. Прииск этот после размещения там уголовщины потерял, конечно, свое производственное значение. Влияние соседней, нерабочей зоны чувствовалось там всегда. Именно из рабочих бараков в больницу был привезен старик — бытовичок, не уголовник. Он, как рассказывали приехавшие

с ним блатари, «непочтительно разговаривал с Васечкой!».

«Васечка» был молодой блатарь из потомственных воров, стало быть, из вожаков. Старик был вдвое старше этого «Васечки».

Обиженный тоном старика («еще огрызается»), Васечка велел достать кусок бикфордова шнура с капсюлем. Капсюль вложили в ладони старика, связали обе его кисти друг с другом — протестовать он не посмел — и подожгли шнур. У старика были оторваны обе кисти. Так дорого обошелся ему непочтительный разговор с «Васечкой».

«Сучья» война продолжалась. Само собой случилось то, чего некоторые умные и опытные начальники боялись больше всего. Поднаторев в кровавых расправах — а смертной казни не было в те времена для лагерных убийц, — и «суки», и блатные стали применять ножи по любому поводу, вовсе не имеющему отношения к «сучьей» войне.

Показалось, что повар налил супу мало или жидко, — повару в бок запускается кинжал, и повар отдает богу душу.

Врач не освободил от работы — и врачу на шею заматывают полотенце и душат его...

Заведующий хирургическим отделением центральной больницы укорил видного блатаря в том, что воры убивают врачей и забыли о Красном Кресте. Как, дескать, земля не расступится под их ногами? Блатарям чрезвычайно импонирует обращение к ним начальства по таким... «теоретическим вопросам». Блатарь ответил, ломаясь и выворачивая слова с непередаваемым блатарским акцентом:

«Закон зизни, доктор. Разные бывают полозения. В одном слуцае — так, а в другом — соверсенно инаце. Зизнь меняется».

Наш блатарь был неплохим диалектиком. Это был обозленный блатарь. Случилось так, что, находясь в изоляторе и желая попасть в больницу, он засыпал себе глаза истертым в порошок чернильным карандашом. Выпустить-то его из изолятора выпустили, но квалифицированную врачебную помощь он получил слишком поздно — он ослеп навеки.

Но слепота не мешала ему участвовать в обсуждении всех вопросов блатной жизни, давать советы, выно-

сить авторитетные и обязательные суждения. Как сэр Виллиамс из «Рокамболя», слепой блатарь по-прежнему жил полной преступной жизнью. В расследованиях по «сучьим» делам достаточно было его обвинительного вердикта.

Спокон веку в блатном мире «сукой» назывался изменник воровскому делу, вор, передавшийся на сторону уголовного розыска. В «сучьей» войне дело шло о другом — о новом воровском законе. Все же за рыцарями нового ордена укрепилось оскорбительное название «сук».

У лагерного начальства (кроме первых месяцев этой «сучьей» войны) «суки» не пользовались любовью. Начальство предпочитало иметь дело с блатарями старого покроя, которые были понятней, проще.

«Сучья» война отвечала темной и сильной воровской потребности — сладострастного убийства, утолению жажды крови. «Сучья» война была слепком с событий, свидетелями которых блатари были ряд лет. Эпизоды настоящей войны отразились, как в кривом зеркале, в событиях уголовной жизни. Захватывающая дух реальность кровавых событий чрезвычайно увлекала вожаков. Даже простая карманная кража ценой в три месяца тюрьмы или квартирный «скок» совершаются при неком «творческом подъеме». Им сопутствует ни с чем не сравнимое, как говорят блатари, духовное напряжение высшего порядка, благодетельная вибрация нервов, когда вор чувствует, что он — живет.

Во сколько же раз острее, садистически острее ощущение убийства, пролитой крови; то, что противник — такой же вор, — еще усиливает остроту переживаний. Присущее блатному миру чувство театральности находит выход в этом огромном многолетнем кровавом спектакле. Здесь все — настоящее и все — игра, страшная, смертельная игра. Как у Гейне: «Мясом будет точно мясо, / Кровью будет кровь людская».

Блатари играют, подражая политике и войне. Блатные вожаки оккупировали города, высылали отряды разведки, перерезали коммуникации противника, осуждали и вешали изменников. Все было и реальностью, и игрой, кровавой игрой.

История уголовщины, насчитывающая много тысячелетий, знает много примеров кровавой борьбы бан-

дитских шаек между собой — за зоны грабежа, за господство в преступном мире. Однако многие особенности «сучьей» войны делают ее событием, единственным в своем роде.

. . . .

1959

АПОЛЛОН СРЕДИ БЛАТНЫХ

Блатари не любят стихов. Стихам нечего делать в этом чересчур реальном мире. Каким сокровенным потребностям, эстетическим запросам воровской души должна отвечать поэзия? Какие требования блатарей должна поэзия удовлетворять? Кое-что об этом знал Есенин, многое угадал. Однако даже самые грамотные блатари чуждаются стихов — чтение рифмованных строк кажется им стыдной забавой, дурачеством, которое обидно своей непонятностью. Пушкин и Лермонтов — излишне сложные поэты для любого человека, впервые в жизни встречающегося со стихами. Пушкин и Лермонтов требуют определенной подготовки, определенного эстетического уровня. Приобщать к поэзии Пушкиным нельзя, как нельзя и Лермонтовым, Тютчевым, Баратынским. Однако в русской классической поэзии есть два автора, чьи стихи эстетически действуют на неподготовленного слушателя, и воспитание любви к поэзии, понимание поэзии надо начинать именно с этих авторов. Это, конечно, Некрасов и особенно Алексей Толстой. «Василий Шибанов» и «Железная дорога» — самые «надежные» стихотворения в этом смысле. Проверено это мной многократно. Но ни «Железная дорога», ни «Василий Шибанов» не производили на блатарей никакого впечатления. Было видно, что они следят лишь за фабулой вещи, предпочли бы прозаический ее пересказ или хоть «Князя Серебряного» А. К. Толстого. Точно так же беллетристическое описание пейзажа в любом читанном вслух романе ничего не говорило душе слушателей-блатарей, и было видно желание дождаться поскорей описания действия, движения, на худой конец, диалога.

Конечно, блатарь, как ни мало в нем человеческого, не лишен эстетической потребности. Она удовлетворяется тюремной песней — песен очень много. Есть песни эпические — вроде уже отмирающего «Гоп со смыком»,

или стансов в честь знаменитого Горбачевского и других подобных звезд преступного мира, или песни «Остров Соловки». Есть песни лирические, в которых находит выход чувство блатаря, окрашенные весьма определенным образом и сразу отличающиеся от обычной песни — и по своей интонации, и по своей тематике, и по своему мироощущению.

Тюремная песня лирическая обычно весьма сентиментальна, жалобна и трогательна. Тюремная песня, несмотря на множество погрешностей в орфоэпии, всегда носит задушевный характер. Этому способствует и мелодия, часто весьма своеобразная. При всей ее примитивности, исполнение сильнейшим образом усиливает впечатление — ведь исполнитель — не актер, а действующее лицо самой жизни. Автору лирического монолога нет надобности переодеваться в театральный костюм.

Композиторы наши не добрались еще до уголовного музыкального фольклора — попытки Леонида Утесова («С одесского кичмана») — не в счет.

Весьма распространена и примечательна по своей мелодии песня «Судьба». Жалобная мелодия может подчас довести впечатлительного слушателя до слез. Блатаря песня до слез довести не может, но и блатарь будет слушать «Судьбу» проникновенно и торжественно.

Вот ее начало:

Судьба во всем большую роль играет,
И от судьбы далеко не уйдешь.
Она повсюду нами управляет,
Куда велит, покорно ты идешь

Имя «придворного» поэта, сочинившего текст песни, — неизвестно. Далее в «Судьбе» рассказывается весьма натурально об отцовском «наследстве» вора, о слезах матери, о нажитой в тюрьме чахотке и выражается твердое намерение продолжать выбранный путь жизни до самой смерти.

В ком сила есть с судьбою побороться,
Веди борьбу до самого конца.

Потребность блатарей в театре, в скульптуре, в живописи равна нулю. Интереса к этим музам, к этим родам искусства блатарь не испытывает никакого — он слишком реален; его эмоции «эстетического» порядка слишком кровавы, слишком жизненны. Тут уж дело не в нату-

рализме — границы искусства и жизни неопределимы, и те слишком реалистические «спектакли», которые ставят блатари в жизни, пугают и искусство, и жизнь.

На одном из колымских приисков блатари у̀крали двадцатиграммовый шприц из амбулатории. Зачем блатарям шприц? Колоться морфием? Может быть, лагерный фельдшер украл у своего начальства несколько ампул с морфием и с подобострастием преподнес наркотик блатарям?

Или медицинский инструмент — великая ценность в лагере, и, шантажируя врача, можно потребовать выкуп в виде «отдыха» в бараке блатарским заправилам?

Ни то и ни другое. Блатари услыхали, что, если в вену человека ввести воздух, пузыри воздуха закупорят сосуд мозга, образуют «эмбол». И человек — умрет. Было решено немедленно проверить справедливость интересных сообщений неизвестного медика. Воображение блатарей рисовало картины таинственных убийств, которые не разоблачит никакой комиссар уголовного розыска, никакой Видок, Лекок и Ванька Каин.

Блатари схватили ночью в изоляторе какого-то голодного фраера, связали его и при свете коптящего факела сделали жертве укол. Человек вскоре умер — словоохотливый фельдшер оказался прав.

Блатарь ничего не понимает в балете, однако танцевальное искусство, пляска, «цыганочка» входит с давних пор в блатарское «юности честное зерцало».

Мастера сплясать не переводятся в блатарском мире. Любителей и устроителей таковой пляски также достаточно среди уголовников.

Эта пляска, эта чечетка-«цыганочка» вовсе не так примитивна, как может показаться на первый взгляд.

Среди блатарских «балетмейстеров» встречались необыкновенно одаренные мастера, способные станцевать речь Ахун Бабаева или передовую статью из вчерашней газеты.

Я очень слаб, но мне еще придется
Продолжить путь умершего отца.

Распространенный старинный лирический романс преступного мира с «классическим» запевом:

Луной озарились зеркальные воды, —

где герой жалуется на разлуку и просит любимую:

Люби меня, детка, пока я на воле,
Пока я на воле — я твой
Тюрьма нас разлучит, я буду жить в неволе,
Тобой завладеет кореш мой

Вместо «кореш мой» напрашивается слово «другой». Но блатарь — исполнитель романса идет на разрушение размера, на перебой ритма, лишь бы сохранить определенный, единственно нужный смысл фразы. «Другой» — это обыкновенно, это — из фраерского мира. А «кореш мой» — это в соответствии с законами блатной морали. По-видимому, автором этого романса был не блатарь (в отличие от песни «Судьба», где авторство уголовника-рецидивиста несомненно).

Романс продолжается в философских тонах:

Я жулик Одессы, сын преступного мира,
Я вор, меня трудно любить.
Не лучше ль нам, детка, с тобою расстаться,
Навеки друг друга забыть

Еще далее:

Я срок получу, меня вышлют далеко,
Далеко в сибирские края
Ты будешь счастливой и, может быть, богатой,
А я — никогда, никогда.

Эпических блатарских песен очень много.

Золотые точки эти, огоньки
Нам напоминают лагерь Соловки.

(«Остров Соловки»)

Древнейший «Гоп со смыком» — своеобразный гимн блатного мира, широко известный и не в уголовных кругах.

Классическим произведением этого рода является песня «Помню я ночку осеннюю, темную». Песня имеет много вариантов, позднейших переделок. Все позднейшие вставки, замены хуже, грубее первого варианта, рисующего классический образ идеального блатаря-медвежатника, его дело, его настоящее и будущее.

В песне описывается подготовка и проведение грабежа банка, взлом несгораемого шкафа в Ленинграде.

Помню, как сверла, стальные и крепкие,
Точно два шмеля жужжат.
И вот уже открылись железные дверцы, где
Ровными пачками деньги заветные
С полок смотрели на нас.

Участник ограбления, получив свою долю, немедленно уезжает из города — в облике Каскарильи.

Скромно одетый, с букетом в петлице —
В сером английском пальто,
Ровно в семь тридцать покинул столицу,
Даже не глянул в окно.

Под «столицей» разумеется Ленинград, вернее, Петроград, что дает возможность отнести время появления этой песни к 1914—1924 году.

Герой уезжает на юг, где знакомится с «чудом земной красоты». Ясно, что:

Деньги, как снег, очень быстро растаяли,
Надо вернуться назад,
Надо опять с головой окунуться
В хмурый и злой Ленинград.

Следует «дело», арест и заключительная строфа:

По пыльной дороге, под строгим конвоем
Я в уголовный иду,
Десять со строгой теперь получаю
Или иду на луну.

Все это — произведения специфической тематики. Одновременно с ними в блатарском мире пользуются популярностью и находят и исполнителей и слушателей такие отличные песни, как «Отворите окно, отворите — мне недолго осталося жить». Или «Не плачь, подруженька», особенно в ее ростовском, коренном варианте.

Романсы «Как хороша была ты, ночка голубая» или «Я помню садик и ту аллею» не имеют специфически блатарского текста, хотя и популярны у воров.

Всякий блатной романс, не исключая и знаменитого «Не для нас заиграют баяны» или «Осенняя ночка», имеет десятки вариантов, будто романс испытал судьбу «романа», сделавшись лишь схемой, каркасом для собственных излияний исполнителя.

Подчас фраерские романсы подвергаются значительному изменению, насыщаясь блатным духом.

Так, романс «Не говорите мне о нем» превратился у блатарей в длиннейшую (тюремное время — длинное время) «Мурочку Боброву». Никакой Мурочки Бобровой в романсе нет. Но блатарь любит определенность. Блатарь любит также и подробности в описаниях.

Подъехала карета в суд.
Раздался голос — выходите,
Сюда, по лестнице кругом,
По сторонам вы не глядите.

Приметы места даны экономно.
Блондинка, жгучие глаза,
Покорно голову склонила,
И побледнела вся она,
И шарфом все лицо закрыла.

Ей председатель говорит.
Скажите, Мурочка Боброва,
Виновны ль в этом или нет,
Вам предстоит сказать два слова.

Только после этой подробной «экспозиции» следует обычный текст романса:

Не говорите мне о нем,
Еще былое не забыто —

и т. д.

Все говорят, что я грустна,
Что людям верить перестала,
Все говорят, что я больна,
А может, просто жить устала

И наконец, последняя строфа:

Лишь только кончила она,
Ужасный крик в груди раздался,
И приговор их на суде
Так недочитанным остался.

То, что приговор остался недочитанным, всегда очень умиляет блатарей.

Весьма характерна нелюбовь блатных к хоровому пению. Даже всемирно известный «Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была» не сумел расше-

велить сердца блатарей. «Шумел камыш» не пользуется там популярностью.

Хоровых песен у блатных нет, хором они никогда не поют, и если фраера запевают какую-нибудь бессмертную песню, вроде «Бывали дни веселые» или «Хаз-Булата», вор не только никогда не подтянет, но и слушать не станет — уйдет.

Пение блатных — исключительно сольное пение, сидя где-нибудь у зарешеченного окна или лежа на нарах, заложив руки за голову. Петь блатарь никогда не начнет по приглашению, по просьбе, а всякий раз как бы неожиданно, по собственной потребности. Если это певец хороший, то голоса в камере стихают, все прислушиваются к певцу. А певец негромко, тщательно выговаривая слова, поет одну песню за другой — без всякого, конечно, аккомпанемента. Отсутствие аккомпанемента как бы усиливает выразительность песни, а вовсе не является недостатком. В лагере есть оркестры, духовые и струнные, но все это «от лукавого» — блатари крайне редко выступают в качестве оркестрантов, хотя блатной закон и не воспрещает прямо подобной деятельности.

Что тюремный «вокал» мог развиваться исключительно в виде сольного пения — это вполне понятно. Это — исторически сложившаяся, вынужденная необходимость. Никакое хоровое пение не могло бы быть допущено в стенах тюрьмы.

Однако и в «шалманах», на воле хоровых песен блатари не поют. Их гулянки и кутежи обходятся без хорового пения. В этом факте можно видеть и лишнее свидетельство волчьей природы вора, его антиколлегиальности, а может быть, причина в тюремных навыках.

Среди блатарей не много встречается любителей чтения. Из десятков тысяч блатарских лиц вспоминаются лишь двое, для которых книга не была чем-то враждебным, чужим и чуждым. Первым был карманник Ребров, потомственный вор, — его отец и старший брат делали ту же карьеру. Ребров был парень философского склада, человек, который мог выдать себя за кого угодно, мог поддержать любой разговор на общие темы с «понятием».

В юности Реброву удалось получить и кое-какое образование — он учился в кинематографическом техникуме. В семье любимая им мать вела бешеную борьбу за

младшего сына, стремясь ценой чего угодно спасти его от страшной участи отца и брата. Однако «жульническая кровь» оказалась сильнее любви к матери, и Ребров, оставив техникум, никогда ничем, кроме краж, не занимался. Мать не прекращала борьбы за сына. Она женила его на подруге своей дочери, на сельской учительнице. Ее Ребров когда-то изнасиловал, но потом, по настоянию матери, женился на ней и жил, в общем, счастливо, всегда возвращаясь к ней после многочисленных своих «отсидок». Жена родила Реброву двух дочурок, фотографии которых он постоянно носил с собой. Жена ему часто писала, утешала его, как могла, и он никогда не «хлестался», то есть не хвастался ее любовью и писем ее никому не показывал, хотя женские письма всегда делались достоянием всех «корешков» блатаря. Было ему за тридцать лет. Впоследствии он перешел в «сучий» воровской закон и был зарезан в одном из бесчисленных кровавых боев.

Воры относились к нему с уважением, но с нелюбовью и подозрительностью. Любовь к чтению, вообще грамотность претила им. Натура Реброва для товарищей была сложной, а потому непонятной и тревожной. Его привычка коротко, ясно и логично излагать свои мысли раздражала их, заставляла подозревать в нем нечто чужое.

У воров принято поддерживать свою молодежь, подкармливать ее, и возле каждого «большого» блатаря кормится множество подростков-воров.

Ребров выдвинул иной принцип поведения.

— Если ты вор, — говорил он подростку, — умей достать, а кормить я тебя не буду, лучше голодному фраеру отдам.

И хотя на очередной «правилке», где обсуждалась новая «ересь», Реброву удалось доказать свою правоту и решение «суда чести» было в его пользу — симпатии его поведение, отступавшее от воровских традиций, не встретило.

Вторым был Генка Черкасов, парикмахер одного из лагерных отделений. Генка был истинным любителем книги, готовым читать все, что попадает под руку, читать днем и ночью. «Всю дорогу так» (то есть всю жизнь), — объяснял он. Генка был домушник, скокарь — то есть специалист по квартирным кражам.

— Все воруют, — рассказывал он шумно и гордо, — «тряпки» (то есть одежду) там всякие. А я — книги. Все

товарищи смеялись надо мной. Я однажды библиотеку обокрал. На грузовике вывозил, ей-богу, правда.

Больше, чем о воровской удаче, Генка мечтал о карьере тюремного «романиста», рассказчика, любил для любого слушателя рассказывать всяких «Князей Вяземских» и «Червонных валетов» — классику устной тюремной литературы. Всякий раз Генка просил указывать недостатки его исполнения, мечтал о рассказе «на разные голоса».

Вот два человека из блатного мира, для которых книга была чем-то важным и нужным.

Остальная же масса воров признавала только «романы», удовлетворяясь этим вполне.

Замечалось только, что не всем нравятся детективы, хотя, казалось бы, это и есть любимое чтение вора. Однако хороший исторический «роман» или любовная драма выслушивались с гораздо большим вниманием. «Ведь мы все это знаем, — говаривал Серёжа Ушаков, железнодорожный вор, — все это — наша жизнь. Сыщики да воры — надоело. Как будто нам ничего другое не интересно».

Кроме «ро́манов» и тюремных романсов есть еще кинофильмы. Все блатные — беззаветные любители кино, — это единственный род искусства, с которым они имеют дело «лицом к лицу» — и притом видят кинокартин не меньше, а больше, чем «средний» городской житель.

Здесь отдается явное предпочтение детективам, и притом заграничным. Кинокомедия прельщает блатарей лишь в грубой форме, где смешно действие. Остроумный диалог — не для блатарей.

Кроме кинофильмов есть пляска, чечеточка.

Есть и еще нечто, чем питается эстетическое чувство блатаря. Это тюремный «обмен опытом» — рассказы друг другу о своих «делах» — рассказы на тюремных нарах, в ожидании следствия или высылки.

Эти рассказы, «обмен опытом», занимают огромное место в жизни вора. Это вовсе не пустое препровождение времени. Это — подведение итогов, обучение и воспитание. Каждый вор делится с товарищами подробностями своей жизни, своими похождениями и приключениями. На эти рассказы (только отчасти носящие характер проверки, обследования незнакомого

вора) тратится большая часть времени блатаря в тюрьме, да и в лагере тоже.

Это — рекомендация себя, «с кем бегал» (то есть «с кем бегал по огонькам», с кем воровал из известных всему блатному миру хотя бы понаслышке воров).

«Какие “люди” тебя знают?» На этот вопрос следует обычно подробное изложение своих подвигов. Это «юридически» обязательно — по рассказу блатари могут судить о незнакомом довольно верно и знают, где нужно сделать скидку, а что принять за безусловную правду.

Изложение воровских подвигов, делаемое всегда приукрашенно, в прославление воровских законов и воровского поведения, и составляет чрезвычайно опасную для молодежи романтическую приманку.

Каждый факт расписывается такими соблазнительными, такими привлекательными красками (на краски блатные не скупы), что слушатель-мальчик, попавший в среду блатарей (скажем, за первую кражу), увлекается, восхищается героическим поведением блатаря. Этот рассказ сплошь и рядом представляет собой чистую фантастику, выдумку («Не веришь — прими за сказку!»).

Все эти «ровные пачки заветных денег», брильянты, кутежи, особенно женщины — все это является актом самоутверждения, и ложь не считается тут грехом.

И хотя вместо грандиозного кутежа в «шалмане» была только скромная кружка пива в Летнем саду, выпрошенная в долг, — вранье это неудержимо.

Рассказчик уже «проверен» и может врать сколько влезет.

Чужие, слышанные на одной из тюремных пересылок, подвиги присваиваются вдохновенным вралем себе, и слушатели, в свою очередь, удесятерив краски, выдают чужое приключение за свое собственное.

Так делается уголовная романтика.

У юноши, подчас мальчика, кружится голова. Он восхищается, он хочет подражать своим живым героям. Он служит у них на посылках, глядит им в рот, подстерегает их улыбку, ловит каждое их слово. Собственно говоря, в тюрьме этому мальчику и приткнуться-то больше некуда, кроме как к ворам, ибо казнокрады и нарушители сельских законов отшатываются от таких молодых ворят, метящих в рецидивисты.

В этом хвастливом возвеличении собственной личности скрыт, несомненно, некий эстетический смысл, одномерный с художественной литературой. Если художественная проза блатаря — это «роман», изустное произведение, то подобные беседы есть вид устного мемуара. Здесь обсуждаются не технические вопросы воровских операций, а вдохновенно повествуется, как «Колька Смех заделал начисто мосла», как «Катька Городушница замарьяжила самого прокурора», — словом, это — воспоминания на отдыхе.

Растлевающее значение их — огромно.

1959

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И ВОРОВСКОЙ МИР

Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.
Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты,
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.

Этап, который шел на север по уральским деревням, был этапом из книжек — так все было похоже на читанное раньше у Короленко, у Толстого, у Фигнер, у Морозова... Была весна двадцать девятого года.

Пьяные конвоиры с безумными глазами, раздающие подзатыльники и оплеухи, и поминутно — щелканье затворами винтовок. Сектант-федоровец, проклинающий «драконов»; свежая солома на земляном полу сараев этапных изб; таинственные татуированные люди в инженерских фуражках, бесконечные поверки, переклички и счет, счет, счет...

Последняя ночь перед пешим этапом — ночь спасения. И, глядя на лица товарищей, те, которые знали есенинские стихи, а в 1929 году таких было немало, подивились исчерпывающе точным словам поэта:

И кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.

Рты у всех были именно голубыми, а лица — черными. Рты у всех кривились — от боли, от многочисленных кровоточащих трещин на губах.

Однажды, когда идти почему-то было легче или перегон был короче, чем другие, — настолько, что все засветло расположились на ночевку, отдохнули, — в углу, где лежали воры, послышалось негромкое пение, скорее речитатив с самодельной мелодией:

Ты меня не любишь, не жалеешь

Вор допел романс, собравши много слушателей, и важно сказал:

— Запрещенное.

— Это — Есенин, — сказал кто-то.

— Пусть будет Есенин, — сказал певец.

Уже в это время — всего через три года после смерти поэта — популярность его в блатных кругах была очень велика.

Это был единственный поэт, «принятый» и «освященный» блатными, которые вовсе не жалуют стихов.

Позднее блатные сделали его «классиком» — отзываться о нем с уважением стало хорошим тоном среди воров.

С такими стихотворениями, как «Сыпь, гармоника», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут», знаком каждый грамотный блатарь. «Письмо матери» известно очень хорошо. «Персидские мотивы», поэмы, ранние стихи — вовсе неизвестны.

Чем же Есенин близок душе блатаря?

Прежде всего, откровенная симпатия к блатному миру проходит через все стихи Есенина. Неоднократно высказанная прямо и ясно. Мы хорошо помним:

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Блатари эти строки тоже хорошо помнят. Так же, как и более раннее (1915) «В том краю, где желтая крапива» и многие, многие другие стихотворения.

Но дело не только в прямых высказываниях. Дело не только в строках «Черного человека», где Есенин дает себе чисто блатарскую самооценку:

Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки

Настроение, отношение, тон целого ряда стихотворений Есенина близки блатному миру.

Какие же родственные нотки слышат блатари в есенинской поэзии?

Прежде всего, это нотки тоски, все, вызывающее жалость, все, что роднится с «тюремной сентиментальностью».

И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове

Стихи о собаке, о лисице, о коровах и лошадях — понимаются блатарями как слово человека, жестокого к человеку и нежного к животным.

Блатари могут приласкать собаку и тут же ее разорвать живую на куски — у них моральных барьеров нет, а любознательность их велика, особенно в вопросе «выживет или не выживет?». Начав еще в детстве с наблюдений над оборванными крыльями пойманной бабочки и птичкой с выколотыми глазами, блатарь, повзрослев, выкалывает глаза человеку из того же чистого интереса, что и в детстве.

И за стихами Есенина о животных им чудится родственная им душа. Они не воспринимают этих стихов с трагической серьезностью. Им это кажется ловкой рифмованной декларацией.

Нотки вызова, протеста, обреченности — все эти элементы есенинской поэзии чутко воспринимаются блатарями. Им не нужны какие-нибудь «Кобыльи корабли» или «Пантократор». Блатари — реалисты. В стихах Есенина они многого не понимают и непонятное отвергают. Наиболее же простые стихи цикла «Москвы кабацкой» воспринимаются ими как ощущение, синхронное их душе, их подземному быту с проститутками, с мрачными подпольными кутежами.

Пьянство, кутежи, воспевание разврата — все это находит отклик в воровской душе.

Они проходят мимо есенинской пейзажной лирики, мимо стихов о России — все это ни капли не интересует блатарей.

В стихах же, которые им известны и по-своему дороги, они делают смелые купюры — так, в стихах «Сыпь, гармоника» отрезана блатарскими ножницами последняя строфа из-за слов:

Дорогая, я плачу,
Прости... Прости..

Матерщина, вмонтированная Есениным в стихи, вызывает всегдашнее восхищение. Еще бы! Ведь речь любого блатаря уснащена самой сложной, самой многоэтажной, самой совершенной матерной руганью — это лексикон, быт.

И вот перед ними поэт, который не забывает эту важную для них сторону дела.

Поэтизация хулиганства тоже способствует популярности Есенина среди воров, хотя, казалось бы, с этой стороны он в воровской среде не должен был иметь сочувствия. Ведь воры стремятся в глазах фраеров резко отделить себя от хулиганов, они и в самом деле — явление вовсе иное, чем хулиганы, — неизмеримо опаснее. Однако в глазах «простого человека» хулиган еще страшнее вора.

Есенинское хулиганство, прославленное стихами, воспринимается ворами как происшествие их «шалмана», их подземной гулянки, бесшабашного и мрачного кутежа.

Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад.

Каждое стихотворение «Москвы кабацкой» имеет нотки, отзывающиеся в душе блатаря; что им до глубокой человечности, до светлой лирики существа есенинских стихов.

Им нужно достать оттуда иные, созвучные им строчки. А эти строчки есть, тон этот обиженного на мир, оскорбленного миром человека есть у Есенина.

Есть и еще одна сторона есенинской поэзии, которая сближает его с понятиями, царящими в блатарском мире, с кодексом этого мира.

Дело идет об отношении к женщине. К женщине блатарь относится с презрением, считая ее низшим существом. Женщина не заслуживает ничего лучшего, кроме издевательств, грубых шуток, побоев.

Блатарь вовсе не думает о детях; в его морали нет таких обязательств, нет понятий, связывающих его с «потомками».

Кем будет его дочь? Проституткой? Воровкой? Кем будет его сын — блатарю решительно все равно. Да раз-

ве по «закону» не обязан вор уступить свою подругу более «авторитетному» товарищу?

Но я детей
По свету растерял,
Свою жену
Легко отдал другому.

И здесь нравственные принципы поэта вполне соответствуют тем правилам и вкусам, которые освящены воровскими традициями, бытом.

Пей, выдра, пей!

Есенинские стихи о пьяных проститутках блатные знают наизусть и давно взяли их «на вооружение». Точно так же «Есть одна хорошая песня у соловушки» и «Ты меня не любишь, не жалеешь» с самодельной мелодией включены в золотой фонд уголовного «фольклора», так же, как:

Не храпи, запоздалая тройка.
Наша жизнь пронеслась без следа,
Может, завтра больничная койка
Успокоит меня навсегда.

«Больничная» койка воровскими певцами заменяется «тюремной».

Культ матери, наряду с грубо циничным и презрительным отношением к женщине-жене, — характерная примета воровского быта.

И в этом отношении поэзия Есенина чрезвычайно тонко воспроизводит понятия блатного мира.

Мать для блатаря — предмет сентиментального умиления, его «святая святых». Это тоже входит в правила хорошего поведения вора, в его «духовные» традиции. Совмещаясь с хамством к женщине вообще, слащаво-сентиментальное отношение к матери выглядит фальшивым и лживым. Однако культ матери — официальная идеология блатарей.

Первое «Письмо матери» («Ты жива еще, моя старушка») знает буквально каждый блатарь. Этот стих — блатная «Птичка божия».

Да и все другие есенинские стихотворения о матери, хоть и не могут сравниться в популярности своей с «Письмом», все же известны и одобрены.

Настроения поэзии Есенина в некоторой своей части с удивительно угаданной верностью совпадают с понятиями блатного мира. Именно этим и объясняется большая, особая популярность поэта среди воров.

Стремясь как-то подчеркнуть свою близость к Есенину, как-то демонстрировать всему миру свою связь со стихами поэта, блатари, со свойственной им театральностью, татуируют свои тела цитатами из Есенина. Наиболее популярные строки, встречавшиеся у весьма многих молодых блатарей, посреди разных сексуальных картинок, карт и кладбищенских надгробий:

Как мало пройдено дорог,
Как много сделано ошибок.

Или:

Коль гореть, так уж гореть, сгорая,
Кто сгорел, того не подожжешь

Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.

Думается, что ни одного поэта мира не пропагандировали еще подобным образом.

Этой своеобразной чести удостоился только Есенин, «признанный» блатным миром.

Признание — это процесс. От беглой заинтересованности при первом знакомстве до включения стихов Есенина в обязательную «библиотеку молодого блатаря» с одобрения всех главарей подземного мира прошло два-три десятка лет. Это были те самые годы, когда Есенин не издавался или издавался мало («Москва кабацкая» и до сих пор не издается). Тем больше доверия и интереса вызывал поэт у блатарей.

Блатной мир не любит стихов. Поэзии нечего делать в этом мрачном мире. Есенин — исключение. Примечательно, что его биография, его самоубийство — вовсе не играли никакой роли в его успехе здесь.

Самоубийств профессиональные уголовники не знают, процент самоубийств среди них равен нулю. Трагическую смерть Есенина наиболее грамотные воры объясняли тем, что поэт все-таки не был полностью вором, был вроде «порчака», «порченого фраера» — от которого, дескать, можно всего ожидать.

Но, конечно, — и это скажет каждый блатарь, грамотный и неграмотный, — в Есенине была «капля жульнической крови».

КАК «ТИСКАЮТ РО́МАНЫ»

Тюремное время — длинное время. Тюремные часы бесконечны, потому что они однообразны, бессюжетны. Жизнь, смещенная в промежуток времени от подъема до отбоя, регламентирована строгим регламентом, в нем скрыто некое музыкальное начало, некий ровный ритм тюремной жизни, вносящий организующую струю в тот поток индивидуальных душевных потрясений, личных драм, внесенных извне, из шумного и разнообразного мира за стенами тюрьмы. В эту симфонию острога входят и расчерченное на квадраты звездное небо, и солнечный зайчик на стволе винтовки часового, стоящего на караульной вышке, похожей по своей архитектуре на высотные здания. В эту симфонию входит и незабываемый звук тюремного замка, его музыкальный звон, похожий на звон старинных купеческих сундуков. И многое, многое другое.

В тюремном времени мало внешних впечатлений — поэтому после время заключения кажется черным провалом, пустотой, бездонной ямой, откуда память с усилием и неохотой достает какое-нибудь событие. Еще бы — ведь человек не любит вспоминать плохое, и память, послушно выполняя тайную волю своего хозяина, задвигает в самые темные углы неприятные события. Да и события ли это? Масштабы понятий смещены, и причины кровавой тюремной ссоры кажутся вовсе непонятными «постороннему» человеку. Потом это время будет казаться бессюжетным, пустым; будет казаться, что время пролетело скоро, тем скорее пролетело, чем медленнее оно тянулось.

Но часовой механизм все же вовсе не условен. Именно он вносит порядок в хаос. Он — та географическая сетка меридианов и параллелей, на которой расчерчены острова и континенты наших жизней.

Это правило и для обычной жизни, в тюрьме же его сущность более обнажена, более беспрекословна.

Вот в эти самые долгие тюремные часы воры коротают время не только за «воспоминаниями», не только

за взаимной похвальбой, чудовищным хвастовством, расписывая свои грабежи и прочие похождения. Эти рассказы — вымысел, художественная симуляция событий. В медицине есть термин «аггравация» — преувеличение, когда ничтожная болезнь выдается за тяжкое страдание. Рассказы воров подобны такой аггравации. Медная копейка истины превращается в публично размениваемый серебряный рубль.

Блатарь рассказывает, с кем он «бегал», где он воровал раньше, рекомендует себя своим незнакомым товарищам, рассказывает о взломах неподступных миллеровских несгораемых шкафов, тогда как в действительности его «скок» ограничился бельем, сорванным с веревок около пригородной дачи.

Женщины, с которыми он жил, — необыкновенные красавицы, обладательницы чуть не миллионных состояний.

Во всем этом вранье, «мемуарном» вранье, кроме определенного эстетического наслаждения рассказом — удовольствия и для рассказчика и для слушателей — есть нечто более важное и существенно опасное.

Дело в том, что эти тюремные гиперболы являются пропагандистским и агитационным материалом блатного мира, материалом немалого значения. Эти рассказы — блатной университет, кафедра их страшной науки. Молодые воры слушают «стариков», укрепляются в своей вере. Юнцы проникаются благоговением к героям небывалых подвигов и сами мечтают сотворить подобное. Происходит приобщение неофита. Эти наставления молодой блатарь запоминает на всю жизнь.

Может быть, рассказчику-блатарю и самому хочется верить, как Хлестакову, в свое вдохновенное вранье? Он сам себе кажется сильнее и лучше.

И вот, когда знакомство блатарей с новыми своими друзьями закончено, когда заполнены устные анкеты прибывших, когда улеглись волны хвастовства и некоторые эпизоды воспоминаний, наиболее пикантные, повторены дважды и запомнились так, что любой из слушателей в другой обстановке выдает чужие похождения за свои собственные, а тюремный день все еще кажется бесконечным, — кому-то приходит в голову счастливая мысль...

— А если «тиснуть ро́ман»?

И какая-нибудь татуированная фигура выползает на желтый свет электрической лампочки, свет в такое

количество свечей, чтобы читать было затруднительно, устраивается поудобнее и начинает «дебютной» скороговоркой, похожей на привычные первые ходы шахматной партии:

«В городе Одессе, еще до революции, жил знаменитый князь со своей красавицей женой».

«Тиснуть» на блатном языке значит «рассказать», и происхождение этого красочного арготизма угадать нетрудно. Рассказываемый «ро́ман» — как бы устный «оттиск» повествования.

«Ро́ман» же как некая литературная форма вовсе не обязательно роман, повесть или рассказ. Это может быть и любой мемуар, кинофильм, историческая работа. «Ро́ман» — всегда чужое безымянное творчество, изложенное устно. Автора здесь никогда никто не называет и не знает.

Требуется, чтобы рассказ был длинным, ведь одно из его назначений — скоротать время.

«Ро́ман» всегда наполовину импровизация, ибо, слышанный где-то раньше, он частью забывается, а частью расцвечивается новыми подробностями — красочность их зависит от способностей рассказчика.

Существуют несколько наиболее распространенных, излюбленных «ро́манов», несколько сценарных схем, которым позавидовал бы театр импровизации «Семперантэ».

Это, конечно, детективы.

Весьма любопытно, что современный советский детектив вовсе отвергается ворами. Не потому, что он мало замысловат или попросту бездарен: вещи, которые они слушают с громадным удовольствием, — еще грубее и еще бездарнее. Притом в воле рассказчика было бы исправить недочеты адамовских или шейнинских повестей.

Нет, воров просто не интересует современность. «Про нашу жизнь мы сами лучше знаем», — говорят они с полным основанием.

Наиболее же популярные «ро́маны» — это «Князь Вяземский», «Шайка червонных валетов», бессмертный «Рокамболь» — остатки того удивительного — отечественного и переводного — чтива жителей России прошлого столетия, где классиком был не только Понсон дю Террайль, но и Ксавье де Монтепан с его многотомными романами: «Сыщик-убийца» или «Невинно казненный» и т. п.

Из сюжетов, взятых из добротных литературных произведений, твердое место занял «Граф Монте-Кристо»; «Три мушкетера», напротив, не имеют никакого успеха и расцениваются как комический роман. Стало быть, идея французского режиссера, снявшего «Трех мушкетеров» как веселую оперетту, имела здравые основания.

Никакой мистики, никакой фантастики, никакой «психологии». Сюжетность и натурализм с сексуальным уклоном — вот лозунг устной литературы блатарей.

В одном из таких «ро́манов» можно было с великим трудом узнать «Милого друга» Мопассана. Конечно, и название, и имена героев были вовсе другими, да и сама фабула подверглась значительному изменению. Но основной костяк вещи — карьера сутенера — остался.

«Анна Каренина» переделана блатными романистами, точь-в-точь как это сделал в своей инсценировке Художественный театр. Вся линия Левина—Кити была отметена в сторону. Оставшись без декораций и с измененными фамилиями героев — производила странное впечатление. Страстная любовь, возникающая мгновенно. Граф, тискающий (в обычном значении этого слова) героиню на площадке вагона. Посещение ребенка гулящей матерью. Загул графа и его любовницы за границей. Ревность графа и самоубийство героини. Только по поездным колесам — толстовской рифме к вагону из «Анны Карениной» — можно было понять, что это такое.

«Жан Вальжан» рассказывается и слушается охотно. Ошибки и наивности автора в изображении французских блатарей снисходительно исправляются русскими блатарями.

Даже из биографии Некрасова (по-видимому, по одной из книг К. Чуковского) был состряпан какой-то сногсшибательный детектив с главным героем Пановым(!).

Рассказываются эти «ро́маны» любителями-ворами большей частью монотонно и скучно, редко встречаются среди рассказчиков-блатарей такие артисты — природные поэты и актеры, которые любой сюжет могут расцветить тысячей неожиданностей, слушать рассказы таких мастеров собираются все блатари, кому случится быть в то время в тюремной камере. Никто не заснет и до утра — и подземная слава об этом мастере идет очень далеко. Слава такого «романиста» не уступит, а превзойдет известность какого-нибудь Каминки или Андроникова.

Да, так и называется такой рассказчик — «романист». Это совершенно определенное понятие, термин блатного словаря.

«Ро́ман» и «романист».

«Романист», то есть рассказчик, конечно, не обязательно должен быть из блатных. Наоборот, «романист»-фраер ценится не меньше, а больше, ибо то, что рассказывают, могут рассказать блатари, ограниченно — несколько популярных сюжетов, и все. Всегда может случиться, что у новичка-чужака есть в памяти какая-нибудь интересная история. Сумеет он рассказать эту историю — будет награжден снисходительным вниманием уркачей, ибо вещи, посылку, передачу искусство спасти в таких случаях не может. Легенда об Орфее все-таки только легенда. Но если такого жизненного конфликта нет, то «романист» получит место на нарах рядом с блатарями и лишнюю миску супа на обед.

Впрочем, не следует думать, что «ро́маны» существуют только для того, чтобы скоротать тюремное время. Нет, их значение больше, глубже, серьезнее, важнее.

«Ро́ман» есть чуть ли не единственная форма приобщения блатарей к искусству. «Ро́ман» отвечает уродливой, но мощной эстетической потребности блатаря, не читающего книг, журналов и газет, «ха́вающего культуру» (специальное выражение) в этой ее устной разновидности.

Слушание «ро́манов» представляет собой как бы культурную традицию, которую весьма чтут блатари. «Ро́маны» рассказывались испокон веков и освящены всей историей уголовного мира. Поэтому считается хорошим тоном слушать «ро́маны», любить и покровительствовать искусству подобного рода. Блатные — традиционные меценаты «романистов», они воспитаны в этих вкусах, и никто не откажется послушать «романиста», хотя бы зевалось до хруста ушей. Ясно, конечно, что грабительские дела, воровские дискуссии и также обязательный страстный интерес к карточной игре во всей ее удали и разгуле — все это поважнее «ро́манов».

До «ро́манов» доходит дело в минуту досуга. Игра в карты в тюрьме воспрещается, и хотя изготовляется колода карт с помощью куска газетной бумаги, обломка чернильного карандаша, куска изжеванного хлеба с быстротою необыкновенной — за которой виден тысячелетний опыт воровских поколений, — все же играть в тюрьме можно далеко не всегда.

Ни один блатарь не сознается, что он не любит «ро́манов». «Ро́маны» как бы освящены воровским исповеданием веры, включенным в кодекс его поведения, его духовных запросов.

Блатари не любят книги, не любят чтения. Редко, редко встречаются среди них люди, приученные с детства любить книгу. Такие «монстры» читают почти украдкой, чуть не прячась от товарищей, — они боятся язвительных и грубых насмешек, как будто они делают что-то недостойное блатаря, что-то от лукавого. Завидуя интеллигенции, блатари ненавидят ее и во всякой лишней «грамотности» чувствуют нечто чуждое, чужое. И в то же время тот же «Милый друг» или «Граф Монте-Кристо», представшие в ипостаси «романа», вызывают всеобщий интерес.

Конечно, блатарь-читатель мог бы объяснить блатарю-слушателю, в чем тут дело, но... велика власть традиций.

Ни один исследователь литературы, ни один мемуарист даже краем не касается этого вида устной словесности, бытующего с незапамятных времен до наших дней.

«Ро́ман», по терминологии уркачей, это не только рома́н, и дело тут не в перестановке ударения. Ударение переставляли и горничные из грамотных, увлекавшиеся Антоном Кречетом, и горьковская Настя, мусолившая «Роковую любовь».

«Тисканье ро́манов» есть древнейший воровской обычай, со всей его религиозной обязательностью, включенной в кредо блатаря наряду с игрой в карты, пьянством, развратом, грабежом, побегами и «судами чести». Это — необходимый элемент воровского быта, их художественная литература.

Понятие «ро́мана» достаточно широко. Оно включает в себя различные прозаические жанры. Это и роман, и повесть, и любой рассказ, подлинный и этнографический очерк, и историческая работа, и театральная пьеса, и радиопостановка, и пересказанный виденный кинофильм, возвратившийся с языка экрана к либретто. Фабульный каркас переплетен собственной импровизацией рассказчика, и в строгом смысле «ро́ман» есть творение минуты, как театральный спектакль. Он возникает один-единственный раз, делаясь еще более эфемерным и непрочным, чем искусство актера на сценических подмостках, ибо актер все же придерживается твердого

текста, данного ему драматургом. В известном «театре импровизации» импровизировали гораздо меньше, чем это делает любой тюремный или лагерный «романист».

Старинные «ро́маны» типа «Шайки червонных валетов» или «Князя Вяземского» уже более пятидесяти лет как исчезли с русского читательского рынка. Историки литературы снисходят только до «Рокамболя» или Шерлока Холмса.

Русское бульварное чтиво прошлого столетия сохранилось доныне в блатарском подполье. Блатари-«романисты» и рассказывают, «тискают» именно эти старинные «ро́маны». Это как бы блатная классика.

Рассказчик-фраер в огромном большинстве случаев может пересказать то произведение, которое он читал «на воле». О «Князе Вяземском» он сам, к великому своему удивлению, узнает только в тюрьме, послушав блатного «романиста».

«Дело было в Москве, на Разгуляе, туда в один великосветский "шалман" часто приезжал граф Потоцкий. Это был молодой, здоровый парень».

— Не части, не части, — просят слушатели.

«Романист» замедляет темп рассказа. Рассказывает он обычно до полного изнеможения, ибо, пока не заснул хоть один из слушателей, считается неприличным оборвать рассказ. Отрубленные головы, пачки долларов, драгоценные камни, найденные в желудке или кишках какой-нибудь великосветской «марьяны», сменяют друг друга в этом рассказе.

Наконец «ро́ман» окончен, обессилевший «романист» ползет на свое место, удовлетворенные слушатели раскладывают свои разноцветные ватные одеяла — необходимую бытовую принадлежность всякого уважающего себя блатаря...

Таков «ро́ман» в тюрьме. Не таков он в лагере.

Тюрьма и трудовой лагерь — вещи разные, далекие друг от друга по своему психологическому содержанию, несмотря на свою кажущуюся общность. Тюрьма стоит гораздо ближе к обыкновенной жизни, чем лагерь.

Тот почти всегда невинный любительский литературный оттенок, который имеет для фраера занятие «романиста» в тюрьме, приобретает внезапно трагический и зловещий отблеск.

Все, казалось бы, остается прежним. Те же заказчики-блатари, те же вечерние часы для рассказа,

та же тематика «ро́манов». Но «ро́маны» здесь рассказываются за корку хлеба, за «супчик», слитый в котелок из консервной банки.

«Романистов» здесь хоть отбавляй. На эту корку хлеба, на суп претендуют десятки голодных людей, и бывали случаи, когда полумертвый «романист» валился в голодный обморок во время рассказа. В предвидении таких случаев вошло в обычай давать очередному «романисту» хлебнуть супчику до «тисканья». Этот здравый обычай укоренился.

В многолюдных лагерных «изоляторах» — подобии тюрьмы в тюрьме — раздачей пищи обычно распоряжаются блатные. Бороться с этим порядком администрация не в силах. После того как они насытятся сами, приступает к еде остальное население барака.

Огромный барак с земляным полом освещен «бензинкой» — коптилкой.

Все, кроме воров, работали целый день, провели много часов на ледяном холоде. «Романисту» хочется согреться, хочется спать, лечь, сесть, но еще больше, чем сна, тепла и покоя, ему хочется еды, какой-нибудь еды. И невероятным, сказочным усилием воли он мобилизует свой мозг на двухчасовой «ро́ман», услаждающий блатарей. И, едва закончив детектив, «романист» хлебает уже остывший, подернутый ледяной корочкой «супчик» и лакает, вылизывает досуха жестяной самодельный котелок. Ложка ему не нужна — пальцы и язык помогут ему лучше всякой ложки.

В изнеможении, в постоянных тщетных попытках заполнить хоть на минуту истонченный и пожирающий сам себя желудок, бывший доцент предлагает себя в «романисты». Доцент знает, что в случае удачи, одобрения заказчиков — он будет покормлен, избавлен от побоев. Блатари верят в его способности рассказчика, как бы он ни был изможден и измучен. В лагере не встречают людей по платью, и любой «огонь» (красочное название для оборванца с его рваными лохмотьями, торчащей ватой, вырванной во многих местах бушлата) может оказаться великим «романистом».

Заслужив суп, а при удаче и корку хлеба, «романист» робко чавкает в темном углу барака, вызывая зависть своих товарищей, которые не умеют «тискать ро́маны».

При еще большем успехе «романиста» угостят и махоркой. Это уж верх блаженства! Десятки глаз будут

следить за его дрожащими пальцами, уминающими табак, завертывающими цигарку. И если «романист» неловким движением просыплет несколько драгоценных махорочных крупинок на землю, он может заплакать настоящими слезами. Сколько рук протянутся к нему из темноты, чтобы прикурить для него папиросу из печки и, прикуривая, хоть раз вдохнуть табачный дым. И не один заискивающий голос скажет за его спиной заветную формулу «покурим» или воспользуется загадочным синонимом этой формулы «сорок...».

Вот что такое «ро́ман» и «романист» в лагере.

Со дня успеха «романиста» не дадут оскорблять, не дадут бить, его будут даже подкармливать. Он уже смело просит покурить у блатарей, и блатари оставляют ему окурки — он получил придворное звание, надел камер-юнкерский мундир...

Каждый день он должен быть наготове с новым «ро́маном» — конкуренция велика! — и облегчением для него бывает тот вечер, когда его хозяева не в настроении принимать культурную пищу, «ха́вать культуру», и он может заснуть мертвым сном. Но и сон может быть грубо прерван, если блатарям вдруг взбредет в голову отменить какое-нибудь карточное сражение (что, конечно, бывает очень редко, и́бо какой-нибудь «терц» или «стос» дороже всяких «ро́манов»).

Среди этих голодных «романистов» встречаются и «идейные», особенно после нескольких относительно сытых дней. Они пытаются рассказать своим слушателям что-либо и посерьезнее «Шайки червонных валетов». Такой «романист» чувствует себя культурным работником при воровском троне. Среди них есть бывшие литераторы, гордящиеся верностью своей основной профессии, проявляемой в столь удивительных обстоятельствах. Есть и такие, которые чувствуют себя заклинателями змей, флейтистами, поющими перед крутящимся клубком ядовитых гадов...

* * *

Карфаген должен быть разрушен!

Блатной мир должен быть уничтожен!

1959



Воскрешение лиственницы

Моя Книга
«Воскрешение лиственницы»
посвящена
Ирине Павловне Сиротинской.

Без нее не было бы этой книги

ТРОПА

В тайге у меня была тропа чудесная. Сам я ее проложил летом, когда запасал дрова на зиму. Сушняка вокруг избы было много — конусообразные лиственницы, серые, как из папье-маше, были натыканы в болоте, будто колья. Избушка стояла на пригорке, окруженная стланиковыми кустами с зелеными хвойными кисточками — к осени набухшие орехами шишки тянули ветви к земле. Сквозь эти стланиковые заросли и проходила к болоту тропа, а болото когда-то не было болотом — на нем рос лес, а потом корни деревьев сгнили от воды, и деревья умерли — давно, давно. Живой лес отошел в сторону по подножью горы к ручью. Дорога, по которой ходили автомашины и люди, легла с другой стороны пригорка, повыше по горному склону.

Первые дни мне было жаль топтать жирные красные ландыши, ирисы, похожие на лиловых огромных бабочек и лепестками, и их узором, огромные толстые синие подснежники неприятно похрустывали под ногой. У цветов, как и у всех цветов Крайнего Севера, запаха не было; когда-то я ловил себя на автоматизме движения — сорвешь букет и поднимаешь его к ноздрям. Но потом я отучился. Утром я рассматривал, что случилось за ночь на моей тропе — вот распрямился ландыш, раздавленный моим сапогом вчера, подался в сторону, но все же ожил. А другой ландыш раздавлен уже навсегда и лежит, как рухнувший телеграфный столб с фарфоровыми изоляторами, и разорванные паутинки с него свисают, как сбитые провода.

А потом тропа вытопталась, и я перестал замечать, что поперек моего пути ложились ветви стланика, те, которые хлестали мне лицо, я обломал и перестал замечать надломы. По сторонам тропки стояли молодые лиственни-

цы лет по ста — они при мне зеленели, при мне осыпали мелкую хвою на тропку. Тропа с каждым днем все темнела и в конце концов стала обыкновенной темно-серой горной тропой. Никто, кроме меня, по ней не ходил. Прыгали на нее синие белки, да следы египетской клинописи куропаток видал я на ней много раз, и треугольный заячий след встречался, но ведь птица и зверь не в счет.

Я по этой собственной тропе ходил почти три года. На ней хорошо писались стихи. Бывало, вернешься из поездки, соберешься на тропу и непременно какую-нибудь строфу выходишь на этой тропе. Я привык к тропе, стал бывать на ней, как в лесном рабочем кабинете. Помню, как в предзимнюю пору холодом, льдом уже схватывало грязь на тропе, и грязь будто засахаривалась, как варенье. И двумя осенями перед снегом я приходил на эту тропу — оставить глубокий след, чтобы на моих глазах затвердел он на всю зиму. И весной, когда снег стаял, я видел мои прошлогодние метки, ступал в старые следы, и стихи писались снова легко. Зимой, конечно, этот кабинет мой пустовал: мороз не дает думать, писать можно только в тепле. А летом я знал все наперечет, все было гораздо пестрей, чем зимой, на этой волшебной тропе — стланик, и лиственницы, и кусты шиповника неизменно приводили какое-нибудь стихотворение, и если не вспоминались чужие стихи подходящего настроения, то бормотались свои, которые я, вернувшись в избу, записывал.

А на третье лето по моей тропе прошел человек. Меня в то время не было дома, я не знаю, был ли это какой-нибудь странствующий геолог, или пеший горный почтальон, или охотник — человек оставил следы тяжелых сапог. С той поры на этой тропе стихи не писались. Чужой след был оставлен весной, и за все лето я не написал на этой тропе ни строчки. А к зиме меня перевели в другое место, да я и не жалел — тропа была безнадежно испорчена.

Вот об этой тропе много раз пытался я написать стихотворение, но так и не сумел написать.

<*1967*>

ГРАФИТ

Чем подписывают смертные приговоры: химическими чернилами или паспортной тушью, чернилами шариковых ручек или ализарином, разбавленным чистой кровью?

Можно ручаться, что ни одного смертного приговора не подписано простым карандашом.

В тайге нам не нужны чернила. Дождь, слезы, кровь растворят любые чернила, любой химический карандаш. Химические карандаши нельзя посылать в посылках, их отбирают при обысках — этому есть две причины. Первая: заключенный может подделать любой документ; вторая: такой карандаш — типографская краска для изготовления воровских карт, «стирок», а стало быть...

Допущен только черный карандаш, простой графит. Ответственность графита на Колыме необычайна, особенна.

Поговорили с небом картографы, цепляясь за звездное небо, вглядываясь в солнце, укрепили точку опоры на нашей земле. И над этой точкой опоры, врезанной в камень мраморной доской на вершине горы, на вершине скалы укрепили треногу, бревенчатый сигнал. Эта тренога указывает точно место на карте, и от нее, от горы, от треноги, по распадкам и падям сквозь прогалины, пустыри и редины болот тянется невидимая нить — незримая сеть меридианов и параллелей. В густой тайге прорубают просеки — каждый затес, каждая метка поймана в крест нитей нивелира, теодолита. Земля измерена, тайга измерена, и мы ходим, встречая на свежих затесах след картографа, топографа, измерителя земли — черный простой графит.

Колымская тайга исчерчена просеками топографов. И все же просеки есть не везде, а только в лесах, окружающих поселки, «производство». Пустыри, прогалины, редины лесотундры и голые сопки исчерчены только воздушными, воображаемыми линиями. В них нет ни одного дерева, чтобы обозначить привязку, нет надежных реперов. Реперы ставятся на скалах, по руслам рек, на вершинах гор-гольцов. И от этих надежных, библейских опор тянется измерение тайги, измерение Колымы, измерение тюрьмы. Затесы на деревьях — сетка просек, из которых в трубу теодолита, в крест нитей увидена и сосчитана тайга.

Да, для затесов годится только черный простой карандаш. Не химический. Химический карандаш расплывается, растворится соком дерева, смоется дождем, росой, туманом, снегом. Искусственный карандаш, химический карандаш не годится для записей о вечности, о бессмертии. Но графит, углерод, сжатый под высочайшим давлением в течение миллионов лет и превращенный если не в

каменный уголь, то в бриллиант или в то, что дороже бриллианта, в карандаш, в графит, который может записать все, что знал и видел... Большее чудо, чем алмаз, хотя химическая природа и графита и алмаза — одна.

Инструкция топографам запрещает пользоваться химическим карандашом не только при метках и затесах. Любая легенда или черновик к легенде при глазомерной съемке требует графита для бессмертия. Легенда требует графита для бессмертия. Графит — это природа, графит участвует в круговороте земном, подчас сопротивляясь времени лучше, чем камень. Разрушаются известковые горы под дождями, ударами ветра, речных волн, а молодая лиственница — ей всего двести лет, ей еще надо жить — хранит на своем затесе цифру-метку о связи библейской тайны с современностью.

Цифра, условная метка выводится на свежем затесе, на источающей сок свежей ране дерева, дерева, источающего смолу, как слезы.

Только графитом можно писать в тайге. У топографов в карманах телогреек, душегреек, гимнастерок, брюк, полушубков всегда огрызки, обломки графитных карандашей.

Бумага, записная книжка, планшет, тетрадка — и дерево с затесом.

Бумага — одна из личин, одно из превращений дерева в алмаз и графит. Графит — это вечность. Высшая твердость, перешедшая в высшую мягкость. Вечен след, оставленный в тайге графитным карандашом.

Затес вырубается осторожно. В стволе лиственницы на уровне пояса делается два пропила и углом топора отламывается еще живое дерево, чтоб оставить место для записи. Образуется крыша, домик, чистая доска с навесом от дождя, готовая хранить запись вечно, — практически вечно, до конца шестисотлетней жизни лиственницы.

Раненое тело лиственницы подобно явленной иконе — какой-нибудь Богородицы Чукотской, Девы Марии Колымской, ожидающей чуда, являющей чудо.

И легкий, тончайший запах смолы, запах лиственничного сока, запах крови, развороченной человеческим топором, вдыхается как дальний запах детства, запах росного ладана.

Цифра поставлена, и раненая лиственница, обжигаемая ветром и солнцем, хранит эту «привязку», ведущую в большой мир из таежной глуши — через просеку

к ближайшей треноге, к картографической треноге на вершине горы, где под треногой камнями завалена яма, скрывающая мраморную доску, на которой выцарапана истинная долгота и широта. Эта запись сделана вовсе не графитным карандашом. И по тысяче нитей, которые тянутся от этой треноги, по тысячам линий от затеса до затеса мы возвращаемся в наш мир, чтобы вечно помнить о жизни. Топографическая служба — это служба жизни.

Но на Колыме не только топограф обязан пользоваться графитным карандашом.

Кроме службы жизни тут есть еще служба смерти, где тоже запрещен химический карандаш. Инструкция «архива № 3» — так называемый отдел учета смертей заключенных в лагере — сказала: на левую голень мертвеца должна быть привязана бирка, фанерная бирка с номером личного дела. Номер личного дела должен быть написан простым графитным карандашом — не химическим. Искусственный карандаш и тут мешает бессмертию.

Казалось, к чему этот расчет на эксгумацию? На воскресение? На перенесение праха? Мало ли безымянных братских могил на Колыме — куда валили вовсе без бирок. Но инструкция есть инструкция. Теоретически говоря — все гости вечной мерзлоты бессмертны и готовы вернуться к нам, чтобы мы сняли бирки с их левых голеней, разобрались в знакомстве и родстве.

Лишь бы на бирке поставили номер простым черным карандашом. Номер личного дела не смоют ни дожди, ни подземные ключи, ни вешние воды не трогают лед вечной мерзлоты, иногда уступающий летнему теплу и выдающий свои подземные тайны — только часть этих тайн.

Личное дело, формуляр — это паспорт заключенного, снабженный фотокарточками в фас и профиль, отпечатками десяти пальцев обеих рук, описанием особых примет. Работник учета, сотрудник «архива № 3», должен составить акт о смерти заключенного в пяти экземплярах с оттиском всех пальцев и с указанием, выломаны ли золотые зубы. На золотые зубы составляется особый акт. Так было всегда в лагерях испокон века, и сообщения по поводу выломанных зубов в Германии никого на Колыме не удивляли.

Государства не хотят терять золото мертвецов. Акты о выбитых золотых зубах составлялись испокон века в учреждениях тюремных, лагерных. Тридцать

седьмой год принес следствию и лагерям много людей с золотыми зубами. У тех, что умерли в забоях Колымы — недолго они там прожили, — их золотые зубы, выломанные после смерти, были единственным золотом, которое они дали государству в золотых забоях Колымы. По весу в протезах золота было больше, чем эти люди нарыли, нагребли, накайлили в забоях колымских за недолгую свою жизнь. Как ни гибка наука статистика — эта сторона дела вряд ли исследована.

Пальцы мертвеца должны быть окрашены типографской краской, и запас этой краски, расход ее очень велик, хранится у каждого работника «учета».

Потому отрубают руки у убитых беглецов, чтобы для опознания не возить тела — две человеческие ладони в военной сумке гораздо удобней возить, чем тела, трупы.

Бирка на ноге — это признак культуры. У Андрея Боголюбского не было такой бирки — пришлось узнавать по костям, вспоминать расчеты Бертильона.

Мы верим в дактилоскопию — эта штука нас никогда не подводила, как ни уродовали уголовники кончики своих пальцев, обжигая огнем, кислотой, нанося раны ножом. Дактилоскопия не подводила — пальцев-то десять, — отжечь все десять не решался никто из блатарей.

Мы не верим Бертильону — шефу французского уголовного розыска, отцу антропологического принципа в криминологии, где подлинность устанавливается серией обмеров, соотношением частей тела. Открытия Бертильона годятся разве что для художников, для живописцев — расстояния от кончика носа до мочки уха нам ничего не открывали.

Мы верим в дактилоскопию. Печатать пальцы, «играть на рояле» умеют все. В тридцать седьмом, когда заметали всех, меченных ранее, каждый привычным движением вставлял свои привычные пальцы в привычные руки сотрудника тюрьмы.

Этот оттиск хранится вечно в личном деле. Бирка с номером личного дела хранит не только место смерти, но и тайну смерти. Этот номер на бирке написан графитом.

Картограф, пролагатель новых путей на земле, новых дорог для людей, и могильщик, следящий за правильностью похорон, законов о мертвых, обязаны пользоваться одним и тем же — черным графитным карандашом.

<1967>

ПРИЧАЛ АДА

Тяжелые двери трюма открылись над нами, и по узкой железной лестнице поодиночке мы медленно выходили на палубу. Конвойные были расставлены густой цепью у перил на корме парохода, винтовки нацелены были на нас. Но никто не обращал на них внимания. Кто-то кричал — скорей, скорей, толпа толклась, как на любом вокзале на посадке. Путь показывали только первым — вдоль винтовок к широкому трапу — на баржу, а с баржи другим трапом — на землю. Плавание наше окончилось. Двенадцать тысяч человек привез наш пароход, и, пока выгружали их, было время оглядеться.

После жарких, по-осеннему солнечных владивостокских дней, после чистейших красок закатного дальневосточного неба — безупречных и ярких, без полутонов и переходов, запоминавшихся на всю жизнь...

Шел холодный мелкий дождь с беловато-мутного, мрачного, одноцветного неба. Голые, безлесные, каменные зеленоватые сопки стояли прямо перед нами, и в прогалинах между ними у самых их подножий вились косматые грязно-серые разорванные тучи. Будто клочья громадного одеяла прикрывали этот мрачный горный край. Помню хорошо: я был совершенно спокоен, готов на что угодно, но сердце забилось и сжалось невольно. И, отводя глаза, я подумал — нас привезли сюда умирать.

Куртка моя медленно намокала. Я сидел на своем чемодане, который по вечной суетности людской захватил при аресте из дома. У всех, у всех были вещи: чемоданы, рюкзаки, свертки одеял... Много позже я понял, что идеальное снаряжение арестанта — это небольшая холщовая торба и деревянная ложка в ней. Все остальное, будь это огрызок карандаша или одеяло, только мешает. Чему-чему, а уж презрению к личной собственности нас выучили изрядно.

Я глядел на пароход, прижавшийся к пирсу, такой маленький и пошатываемый серыми, темными волнами.

Сквозь серую сетку дождя проступали мрачные силуэты скал, окружавших бухту Нагаево, и только там, откуда пришел пароход, виднелся бесконечно горбатый океан, будто огромный зверь лежал на берегу, тяжело вздыхая, и ветер шевелил его шерсть, ложившуюся чешуйчатыми, блестящими и в дожде волнами.

Было холодно и страшно. Горячая осенняя яркость красок солнечного Владивостока осталась где-то там, в другом, настоящем мире. Здесь был мир недружелюбный и мрачный.

Никаких жилых зданий не было видно вблизи. Единственная дорога, огибавшая сопку, уходила куда-то вверх.

Наконец выгрузка была окончена, и уже в сумерках этап медленно двинулся в горы. Никто ничего не спрашивал. Толпа мокрых людей поползла по дороге, часто останавливаясь для отдыха. Чемоданы стали слишком тяжелы, одежда намокла.

Два поворота, и рядом с нами, выше нас, на уступе сопки мы увидели ряды колючей проволоки. К проволоке изнутри прижались люди. Они что-то кричали, и вдруг к нам полетели буханки хлеба. Хлеб перебрасывали через проволоку, мы ловили, разламывали и делили. За нами были месяцы тюрьмы, сорок пять дней поездного этапа, пять дней моря. Голодны были все. Никому денег на дорогу не дали. Хлеб поедался с жадностью. Счастливчик, поймавший хлеб, делил его между всеми желающими — благородство, от которого через три недели мы отучились навсегда.

Нас вели все дальше, все выше. Остановки становились все чаще. И вот деревянные ворота, колючая проволока и внутри ее ряды темных от дождя брезентовых палаток — белых и светло-зеленых, огромных. Нас делили счетом, наполняя одну палатку за другой. В палатках были деревянные двухэтажные нары вагонной системы — каждая нара на восемь человек. Каждый занял свое место. Брезент протекал, лужи были и на полу и на нарах, но я был так утомлен (да и все устали не меньше меня — от дождя, воздуха, перехода, намокшей одежды, чемоданов), что, кое-как свернувшись, не думая о просушке одежды, да и где ее сушить, я лег и заснул. Было темно и холодно...

<1967>

ТИШИНА

Мы все, вся бригада, с удивлением, недоверием, осторожностью и боязнью рассаживались за столы в лагерной столовой — грязные, липкие столы, за которыми

мы обедали всю нашу здешнюю жизнь. Отчего бы столам быть липкими — ведь не суп же здесь проливали, «мимо рта ложку никто не проносил» и не пронес бы, но ложек ведь не было, а пролитый суп был бы собран пальцем в рот и просто долизан.

Было время обеда ночной смены. В ночную смену упрятали нашу бригаду, убрали с чьих-то глаз — если были такие глаза! — в нашей бригаде были самые слабые, самые плохие, самые голодные. Мы были человеческими отбросами, и все же нас приходилось кормить, притом вовсе не отбросами, даже не остатками. На нас тоже шли какие-то жиры, приварок, а самое главное — хлеб, совершенно одинаковый по качеству с хлебом, который получали лучшие бригады, что пока еще сохранили силу и еще дают план на основном производстве — дают золото, золото, золото...

Если уж кормили нас, то в самую последнюю очередь, ночную ли, дневную — все равно.

Сегодня ночью мы тоже пришли в последнюю очередь.

Мы жили в одном бараке, в одной секции. Я кое-кого знал из этих полутрупов — по тюрьме, по транзиткам. Я двигался ежедневно вместе с комками рваных бушлатов, матерчатых ушанок, надеваемых от бани до бани; бурок, стеганных из рваных брюк, обгорелых на кострах, и только памятью узнавал, что среди них и краснолицый татарин Муталов — единственный житель на весь Чимкент, имевший двухэтажный дом под железо, и Ефимов — бывший первый секретарь Чимкентского горкома партии, который в тридцатом ликвидировал Муталова как класс.

Здесь был и Оксман, бывший начальник политотдела дивизии, которого маршал Тимошенко, еще не будучи маршалом, выгнал из своей дивизии как еврея.

Был здесь и Лупилов — помощник верховного прокурора СССР, помощник Вышинского. Жаворонков — машинист Савеловского паровозного депо. Был и бывший начальник НКВД из города Горького, затеявший на транзитке спор с каким-то своим «подопечным»:

— Тебя били? Ну и что? Подписал — значит, враг, путаешь советскую власть, мешаешь нам работать. Из-за таких гадов я и получил пятнадцать лет.

Я вмешался:

— Слушаю тебя и не знаю, что делать — смеяться или плюнуть тебе в рожу...

Разные были люди в этой «доплывающей» бригаде... Был и сектант из секты «Бог знает», а может, секта называлась и иначе — просто это был единственный всегдашний ответ сектанта на все вопросы начальства.

Фамилия сектанта в памяти осталась, конечно, — Дмитриев, — хотя сам сектант никогда на нее не откликался. Руки товарищей, бригадира передвигали Дмитриева, ставили в ряд, вели.

Конвой часто менялся, и почти каждый новый конвоир старался постичь тайну отказа от ответа на грозное: *«Обзовись!»* — при выходе на работу для так называемого труда.

Бригадир кратко разъяснял обстоятельства, и обрадованный конвоир продолжал перекличку.

Сектант надоел всем в бараке. По ночам мы не спали от голода и грелись, грелись около железной печки, обнимали ее руками, ловя уходящее тепло остывающего железа, приближая лицо к железу.

Разумеется, мы загораживали жалкое это тепло от остальных жителей барака, лежащих — как и мы, не спящих от голода, — в дальних углах, затянутых инеем. Оттуда, из этих дальних темных углов, затянутых инеем, выскакивал кто-нибудь, имеющий право на крик, а то и право на побои, и отгонял от печки голодных работяг руганью и пинками.

У печки можно было стоять и легально подсушивать хлеб, но у кого был хлеб, чтобы его подсушивать... И сколько часов можно подсушивать ломтик хлеба?

Мы ненавидели начальство, ненавидели друг друга, а больше всего мы ненавидели сектанта — за песни, за гимны, за псалмы...

Все мы молчали, обнимая печку. Сектант пел, пел хриплым остуженным голосом — негромко, но пел какие-то гимны, псалмы, стихи. Песни были бесконечны.

Я работал в паре с сектантом. Остальные жители секции на время работы отдыхали от пения гимнов и псалмов, отдыхали от сектанта, а я и этого облегчения не имел.

— Помолчи!

— Я бы умер давно, если бы не песни. Ушел бы — в мороз. Нет сил. Если бы чуть больше сил. Я не прошу бога о смерти. Он все видит сам.

Были в бригаде и еще какие-то люди, закутанные в тряпье, одинаково грязные и голодные, с одинаковым блеском в глазах. Кто они? Генералы? Герои испанской войны? Русские писатели? Колхозники из Волоколамска?

Мы сидели в столовой, не понимая, почему нас не кормят, чего ждут? Что за новость объявят? Для нас новость может быть только хорошей. Есть такой рубеж, когда все, что ни случается с человеком, — к счастью. Новость может быть только хорошей. Это все понимали, телом своим понимали, не мозгом.

Открылась дверца окна раздачи изнутри, и нам стали носить в мисках суп — горячий! Кашу — теплую! И кисель — третье блюдо — почти холодный! Каждому дали ложку, и бригадир предупредил, что ложку надо вернуть. Конечно, мы вернем ложки. Зачем нам ложка? На табак променять в другом бараке? Конечно, мы вернем ложки. Зачем нам ложки? Мы давно привыкли есть через борт. Зачем нам ложка? То, что останется на дне, можно пальцем подтолкнуть к борту, к выходу...

Думать тут было нечего — перед нами стояла еда, пища. Нам раздали в руки хлеб — по двухсотке.

— Хлеба только по пайке, — торжественно объявил бригадир, — а остального от пуза.

И мы ели от пуза. Всякий суп делится на две части: гущину и юшку. От пуза нам давали юшку. Зато второе блюдо, каша, было и вовсе без обмана. Третье блюдо — чуть теплая вода с легким привкусом крахмала и едва уловимым следом растворенного сахара. Это был кисель.

Арестантские желудки вовсе не огрублены, их вкусовые способности отнюдь не притуплены голодом и грубой пищей. Напротив, вкусовая чувствительность голодного арестантского желудка необычайна. Качественная реакция в арестантском желудке не уступает по своей тонкости любой физической лаборатории любой страны второй половины двадцатого века.

Любой вольный желудок не обнаружил бы присутствия сахара в том киселе, который мы ели, вернее, пили этой колымской ночью на прииске «Партизан».

А нам кисель казался сладким, отменно сладким, казался чудом, и каждый вспоминал, что сахар еще есть на белом свете и даже попадает в арестантский котел. Что за волшебник...

Волшебник был недалеко. Мы разглядели его после первого блюда второго обеда.

— Хлеба только по пайке, — сказал бригадир, — остального от пуза. — И поглядел на волшебника.

— Да-да, — сказал волшебник.

Это был маленький, чистенький, черненький, чисто вымытый человечек с не отмороженным еще лицом.

Наши начальники, наши смотрители, десятники, прорабы, начальники лагерей, конвоиры — все уже попробовали Колымы, и на каждом, на каждом лице Колыма написала свои слова, оставила свой след, вырубила лишние морщины, посадила навечно пятно отморожений, несмываемое клеймо, неизгладимое тавро!

На розовом лице чистенького черного человечка не было еще ни одного пятна, не было клейма.

Это был новый старший воспитатель нашего лагеря, только что приехавший с материка. Старший воспитатель проводил опыт.

Воспитатель договорился с начальником, настоял, чтобы колымский обычай был нарушен: остатки супа и каши ежедневно по давней, столетней, а то и тысячелетней традиции уносили всегда с кухни в барак блатарей, когда «со дна погуще», и раздавали в бараках лучших бригад — чтобы поддержать не наиболее, а наименее голодные бригады, чтобы все обратить на план, все превратить в золото — души, тела всех начальников, конвоиров и заключенных.

Те бригады — и блатари тоже — уже приучились, привыкли рассчитывать на эти остатки. Стало быть — и нравственный ущерб.

Но новый воспитатель не согласился с обычаем, настоял на том, чтобы раздать остатки пищи самым слабым, самым голодным, — у них, дескать, и совесть проснется.

— Вместо совести у них рог вырос, — пытался вмешаться десятник, но воспитатель был тверд и получил разрешение на эксперимент.

Для опыта была выбрана самая голодная, наша бригада.

— Вот увидите, человек поест и в благодарность государству поработает лучше. Разве можно требовать работы от этих доходяг? Доходяги, так, кажется, я говорю? Доходяги — это первое слово из блатной речи, которому я научился на Колыме. Правильно я говорю?

— Правильно, — сказал начальник участка, вольняшка, старый колымчанин, пославший «под сопку» не одну тысячу людей на этом прииске. Он пришел полюбоваться на опыт.

— Их, этих филонов, этих симулянтов, надо кормить месяц мясом и шоколадом при полном отдыхе. Да и тогда они работать не будут. У них в черепушке что-то

изменилось навечно. Это шлак, отброс. Производству дороже бы подкормить тех, кто еще работает, а не этих филонов!

У кухонного окошка заспорили, закричали. Воспитатель что-то горячо говорил. Начальник участка слушал с недовольным лицом, а когда прозвучало имя Макаренко, и вовсе махнул рукой и отошел в сторону.

Мы молились каждый своему богу, и сектант — своему. Молились, чтобы окошко не закрыли, чтобы воспитатель победил. Арестантская воля двух десятков человек напряглась — и воспитатель победил.

Мы продолжали есть, не желая расставаться с чудом.

Начальник участка вынул часы, но гудок уже гудел — пронзительная лагерная сирена звала нас на работу.

— Ну, работяги, — неуверенно выговаривая ненужное здесь слово, сказал новый воспитатель. — Я сделал все, что мог. Добился для вас. Ваше дело ответить на это трудом, только трудом.

— Поработаем, гражданин начальник, — важно произнес бывший помощник верховного прокурора СССР, подвязывая грязным полотенцем бушлат и дыша в рукавицы, вдувая туда теплый воздух.

Дверь открылась, впуская белый пар, и мы выползли на мороз, чтобы на всю жизнь запомнить эту удачу — кому придется жить. Мороз показался нам поменьше, полегче. Но это было недолго. Мороз был слишком велик, чтобы не поставить на своем.

Мы пришли в забой, сели в кружок, дожидаясь бригадира, сели на место, где когда-то мы разжигали костер и грелись, дышали в золотое пламя, где прожигали рукавицы, шапки, брюки, бушлаты, бурки, напрасно пытаясь согреться, спастись от мороза. Но костер был давно — в прошлом, кажется, году. Нынешнюю зиму рабочим не разрешалось греться, греется только конвоир. Наш конвоир сел, сложил головни своего костра, расшуровал пламя. Запахнул тулуп, сел на бревно, поставил винтовку.

Белая мгла окружала забой, освещенный лишь светом костра конвоира. Сидевший рядом со мной сектант встал и пошел мимо конвоира в туман, в небо...

— Стой! Стой!

Конвоир был малый неплохой, но винтовку знал хорошо.

— Стой!

Потом раздался выстрел, сухой винтовочный щелчок — сектант еще не исчез во мгле, второй выстрел...

— Вот видишь, олень, — по-блатному сказал начальник участка старшему воспитателю — они пришли в забой. Но убийству воспитатель не посмел удивиться, а начальник участка не умел удивляться таким вещам.

— Вот твой опыт. Они, суки, еще хуже стали работать. Лишний обед — лишние силы бороться с морозом. Работу из них, запомни, олень, выжимает только мороз. Не твой обед и не моя плюха, а только мороз. Они машут руками, чтобы согреться. А мы вкладываем в эти руки кайла, лопаты — не все ли равно, чем махать, — подставляем тачку, короба, грабарки, и прииск выполняет план. Дает золотишко. Теперь эти сыты и совсем не будут работать. Пока не застынут. Тогда помахают лопатами. А кормить их бесполезно. Ты здорово фраернулся с этим обедом. На первый раз прощается. Все мы были такими оленями.

— Я не знал, что они такие гады, — сказал воспитатель.

— В следующий раз будешь верить старшим. Одного застрелили сегодня. Филон. Полгода зря государственную пайку ел. Повтори — филон.

— Филон, — повторил воспитатель.

Я стоял тут же, но начальство меня не стеснялось. Ждать у меня была законная причина — бригадир должен был привести мне нового напарника.

Бригадир привел мне Лупилова — бывшего помощника верховного прокурора Союза. И мы начали сыпать взорванный камень в короба — делать работу, которую делали мы с сектантом.

Мы возвращались по знакомой дороге, как всегда, не выполнив нормы, не заботясь о норме. Но, кажется, мы мерзли меньше, чем обычно.

Мы старались работать, но слишком велико было расстояние нашей жизни от того, что можно выразить в цифрах, в тачках, в процентах плана. Цифры были кощунством. Но на какой-то час, на какой-то миг наши силы — душевные и физические — после этого ночного обеда окрепли.

И, холодея от догадки, я понял, что этот ночной обед дал силы сектанту для самоубийства. Это была та порция каши, которой недоставало моему напарнику, чтобы

решиться умереть, — иногда человеку надо спешить, чтобы не потерять воли на смерть.

Как всегда, мы окружили печку. Только гимнов сегодня некому было петь. И, пожалуй, я даже был рад, что теперь — тишина.

1966

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Первым моим бригадиром был Котур, серб, попавший на Колыму после разгрома интернационального клуба в Москве. Котур не относился к своим бригадирским обязанностям серьезно, понимая, что судьба его, как и всех нас, решается не в золотых забоях, а совсем в другом месте. Впрочем, Котур ежедневно ставил нас на работу, замерял со смотрителем результаты, укоризненно качал головой. Результаты были плачевны.

— Ну, вот ты — ты знаешь лагерь. Покажи, как надо махать лопатой, — попросил Котур.

Я взял лопату и, раскалывая легкий грунт, накатал тачку. Все засмеялись.

— Так работают только филоны.

— Поговорим об этом через двадцать лет.

Но нам не пришлось поговорить через двадцать лет. На прииск приехал новый начальник Леонид Михайлович Анисимов. При первом же обходе забоев он снял Котура с работы. И Котур исчез...

Наш бригадир сидел в тачке и не встал при приближении начальника. Тачка, слов нет, приспособлена для работы удачно. Но еще лучше кузов ее приспособлен для отдыха. Трудно встать, подняться с глубокого, глубокого кресла — нужно усилие воли, нужна сила. Котур сидел в тачке и не встал, когда подошел новый начальник, не успел встать. Расстрел.

С приездом нового начальника — сначала он был заместителем начальника прииска — каждый день, каждую ночь из бараков брали и увозили людей. Никто из них не возвращался на прииск. Александров, Кливанский — фамилии стерлись в памяти.

Новое пополнение и вовсе не имело имен. Зимой 1938 года начальство решило пешком отправлять этапы из Магадана на прииски Севера. От колонны в пятьсот человек за пятьсот километров к Ягодному доходило тридцать-сорок. Остальные оседали в пути — обмороженными, голодными, застреленными. По фами-

лии никого из этих прибывших не звали — это были люди из чужих этапов, неотличимые друг от друга ни одеждой, ни голосом, ни пятнами обморожений на щеках, ни пузырями обморожений на пальцах.

Бригады уменьшались в числе — по дороге на «Серпантинку», на расстрельную командировку Северного управления, день и ночь проходили машины, возвращавшиеся порожняком.

Бригады сливали — людей не хватало, а правительство обещало дать рабсилу, требуя план. Каждый начальник прииска знал, что за людей с него не спросят: еще бы, это самое ценное — люди, кадры. Это все любой начальник изучал в политкружках, а практическую иллюстрацию получал в золотых забоях своего прииска.

К этому времени начальником прииска «Партизан» Северного горного управления был Леонид Михайлович Анисимов, будущий большой начальник Колымы, посвятивший всю жизнь Дальстрою, — начальник Западного управления, начальник Чукотстроя.

Но начинал лагерную карьеру Анисимов на прииске «Партизан», на моем прииске.

Именно при нем прииск был наводнен конвоем, выстроены зоны, управления аппарата «оперов», начались расстрелы целыми бригадами и в одиночку. Начались чтения на поверках, разводах бесконечных приказов о расстрелах. Эти приказы были подписаны полковником Гараниным, но фамилии людей с прииска «Партизан» — а их было очень много — были названы, выданы Гаранину Анисимовым. Прииск «Партизан» — маленький прииск. На нем всего в 1938 году было две тысячи человек списочного состава. Соседние прииски «В. Ат-урях» и «Штурмовой» были по 12 тысяч населения каждый.

Анисимов был старательным начальником. Я очень хорошо запомнил два личных разговора с гражданином Анисимовым. Первый в январе 1938 года, когда гражданин Анисимов пожаловал на развод по работам и стоял в стороне, глядя, как его помощники под взглядом начальника вертятся быстрее, чем следовало. Но недостаточно быстро для Анисимова.

Выстраивалась наша бригада, и прораб Сотников, показав на меня пальцем, извлек из рядов и поставил перед Анисимовым.

— Вот филон. Не хочет работать.

— Ты кто?

— Я журналист, писатель.

— Консервные банки ты здесь будешь подписывать. Я спрашиваю: ты кто?

— Забойщик бригады Фирсова, заключенный имярек, срок пять лет.

— Почему не работаешь, почему вредишь государству?

— Я болен, гражданин начальник.

— Чем ты болен, такой здоровый лоб?

— У меня сердце.

— Сердце. У тебя сердце. У меня самого сердце больное. Врачи запретили Дальний Север. Однако я здесь.

— Вы — это другое дело, гражданин начальник.

— Смотри-ка сколько слов в минуту. Ты должен молчать и работать. Подумай, пока не поздно. Расчет с вами будет.

— Слушаюсь, гражданин начальник.

Вторая беседа с Анисимовым была летом, во время дождя, на четвертом участке, где нас держали, промокших насквозь. Мы бурили шурфы. Бригада блатарей давно была отпущена в барак из-за ливня, но мы были пятьдесят восьмая, и мы стояли в шурфах, неглубоких, по колено. Конвой скрывался от ливня под грибом.

В этот ливень, в этот дождь нас посетил Анисимов вместе с заведующим взрывными работами прииска. Начальник пришел проверить, хорошо ли мы мокнем, выполняется ли его приказ о пятьдесят восьмой статье, которая никаким актировкам не подлежит и которая должна готовиться в рай, в рай, в рай.

Анисимов был в длинном плаще с каким-то особенным капюшоном. Начальник шел, помахивая кожаными перчатками.

Я знал привычку Анисимова бить заключенных перчатками по лицу. Я знал эти перчатки, которые на зимний сезон сменялись меховыми крагами по локоть, знал привычку бить перчатками по лицу. Перчатки в действии я видел десятки раз. Об этой особенности Анисимова говорили на «Партизане» много в арестантских бараках. Я был свидетелем бурных дискуссий, чуть не кровавых споров в бараке — бьет ли начальник кулаком, или перчатками, или палкой, или тростью, или плеткой, или прикладывая «ручной револьвер». Человек — сложное существо. Споры эти заканчивались чуть не драками, а ведь участники этих споров — бывшие профессора, партийцы, колхозники, полководцы.

В общем, все хвалили Анисимова, бьет, но кто не бьет. Зато не остается синяков от перчаток Анисимова, а если крагой кому-то он разбил нос в кровь, то и то из-за «патологических изменений самой кровеносной системы человека в результате длительного заключения», как разъяснял один врач, которого в анисимовские времена не допускали до врачебной работы, а заставляли трудиться наравне со всеми.

Я давно дал слово, что если меня ударят, то это и будет концом моей жизни. Я ударю начальника, и меня расстреляют. Увы, я был наивным мальчиком. Когда я ослабел, ослабела и моя воля, мой рассудок. Я легко уговорил себя перетерпеть и не нашел в себе силы душевной на ответный удар, на самоубийство, на протест. Я был самым обыкновенным доходягой и жил по законам психики доходяг. Все это было много позже, а тогда, когда мы встретились с гражданином Анисимовым, я был еще в силе, в твердости, в вере, в решении.

Кожаные перчатки Анисимова приблизились, и я приготовил кайло.

Но Анисимов не ударил. Его красивые крупные темнокарие глаза встретились с моим взглядом, и Анисимов отвел глаза в сторону.

— Вот все они такие, — сказал начальник прииска своему спутнику. — Все. Не будет толку.

<1967>

ТЕРМОМЕТР ГРИШКИ ЛОГУНА

Усталость была такая, что мы сели прямо на снег у дороги, прежде чем идти домой.

Вместо вчерашних сорока градусов было всего лишь двадцать пять, и день казался летним.

Мимо нас прошел в расстегнутом нагольном полушубке Гришка Логун, прораб соседнего участка. В руке он нес новый черенок для кайла. Гришка был молод, удивительно красนорож и горяч. Он был из десятников, даже из младших десятников, и часто не мог удержаться, чтобы не подпереть собственным плечом засевшую в снегу машину или помочь поднять какое-нибудь бревно, сдвинуть с места примерзший короб, полный грунта, — поступки явно предосудительные для прораба. Он все забывал, что он прораб.

Навстречу ему шла виноградовская бригада — работяги не бог весть какие, вроде нас. Состав ее был точно такой, как и у нас, — бывшие секретари обкомов и горкомов, профессора и доценты, военные работники средних чинов...

Люди боязливо сбились в кучу к снежному борту — они шли с работы и давали дорогу Гришке Логуну. Но и он остановился — бригада работала на его участке. Из рядов выдвинулся Виноградов — говорун, бывший директор одной из украинских МТС.

Логун уже успел отойти от того места, где мы сидели, порядочно, голосов нам не было слышно, но все было понятно и без слов. Виноградов, махая руками, что-то объяснял Логуну. Потом Логун ткнул кайловищем в грудь Виноградова, и тот упал навзничь... Виноградов не поднимался. Логун вскочил на него ногами, топтал его, размахивая палкой. Ни один человек из двадцати рабочих его бригады не сделал ни одного движения в защиту своего бригадира. Логун подобрал упавшую шапку, погрозил кулаком и двинулся дальше. Виноградов встал и пошел как ни в чем не бывало. И остальные — бригада шла мимо нас — не выражали ни сочувствия, ни возмущения. Поравнявшись с нами, Виноградов скривил разбитые, кровоточащие губы.

— Вот у Логуна термометр так термометр, — сказал он.

— «Топтать» — это пляска по-блатному, — тихо сказал Вавилов, — или «Ах вы сени, мои сени...».

— Ну, — сказал я Вавилову, приятелю своему, с которым приехал вместе на прииск из самой Бутырской тюрьмы, — что ты скажешь? Надо что-то решать. Вчера нас еще не били. Могут ударить завтра. Что ты сделал бы, если Логун тебя, как Виноградова? А?

— Стерпел бы, наверное, — тихо ответил Вавилов. И я понял, что он уже давно думал об этой неотвратимости.

Потом я понял, что тут все дело в физическом преимуществе, если это касается бригадиров, дневальных, смотрителей — всех людей невооруженных. Пока я сильнее — меня не ударят. Ослабел — меня бьет всякий. Бьет дневальный, бьет банщик, парикмахер и повар, десятник и бригадир, бьет любой блатной, хоть самый бессильный. Физическое преимущество конвоира — в его винтовке.

Сила начальника, который бьет меня, — это закон, и суд, и трибунал, и охрана, и войска. Нетрудно ему быть

сильней меня. Сила блатных — в их множестве, в их «коллективе», в том, что они могут со второго слова зарезать (и сколько раз я это видел). Но я еще силен. Меня может бить начальник, конвоир, блатной. Дневальный, десятник и парикмахер меня еще бить не могут.

Когда-то Полянский, физкультурный деятель в прошлом, получавший много посылок и не поделившийся никогда ни с кем ни одним куском, укоризненно говорил мне, что просто не понимает, как люди могут довести себя до такого состояния, когда их бьют, возмущался моими возражениями. Но не прошло и года, как я встретил Полянского — доходягу, фитиля, сборщика окурков, жаждавшего за суп чесать пятки на ночь каким-то блатным паханам.

Полянский был честен. Какие-то тайные муки терзали его — настолько сильные, острые, навечные, что сумели пробиться сквозь лед, сквозь смерть, сквозь равнодушие и побои, сквозь голод, бессонницу и страх.

Как-то настал праздничный день, а нас в праздники сажали под замок — это называлось праздничной изоляцией, — и были люди, которые встречались друг с другом, познакомились друг с другом, поверили друг другу именно на этих изоляциях. Как ни страшна, как ни унизительна была изоляция, она была легче работы для заключенных пятьдесят восьмой. Ведь изоляция была отдыхом, пусть минутным, а кто бы тогда разобрался, минута, или сутки, или год, или столетие нужно было нам, чтобы вернуться в прежнее свое тело — в прежнюю свою душу мы и не рассчитывали вернуться. И не вернулись, конечно. Никто не вернулся. Так вот, Полянский был честен, мой сосед по нарам в изоляционный день.

— Я хотел давно тебя спросить одну вещь.

— Что же это за вещь?

— Когда несколько месяцев назад я смотрел на тебя, как ты ходишь, как не можешь перешагнуть бревна на своем пути и должен обходить бревно, которое перешагнет собака. Когда ты шаркаешь ногами по камням и маленькая неровность, чуточный бугорок на пути казался препятствием неодолимым, вызывающим сердцебиение, одышку и требующим длительного отдыха, я смотрел на тебя и думал — вот лодырь, вот филон, опытная сволочь, симулянт.

— Ну? А потом ты понял?

— Потом я понял. Понял. Когда сам ослабел. Когда меня все стали толкать, бить, а для человека нет луч-

ше ощущения сознавать, что кто-то еще слабее, еще хуже.

— Почему ударников приглашают на совещания, почему физическая сила — нравственная мерка? Физически сильней — значит, лучше, моральнее, нравственнее меня. Еще бы — он поднимает глыбу в десять пудов, а я гнусь под полупудовым камнем.

— Я все это понял и хочу тебе сказать.

— Спасибо и на том.

Вскоре Полянский умер — упал где-то в забое. Бригадир его ударил кулаком в лицо. Бригадир был не Гришка Логун, а свой, Фирсов, военный, по пятьдесят восьмой статье.

Я хорошо помню, когда меня ударили первый раз. Первый раз из сотен тысяч плюх, ежедневных, еженощных.

Запомнить все плюхи нельзя, но первый удар я помню хорошо — был к нему даже подготовлен поведением Гришки Логуна, смирением Вавилова.

Среди голода, холода, четырнадцатичасового рабочего дня в морозной белой мгле каменного золотого забоя вдруг мелькнуло что-то иное, какое-то счастье, какая-то милостыня, сунутая на ходу, — милостыня не хлебом, не лекарством, а милостыня временем, отдыхом неурочным.

Горным смотрителем, десятником на участке нашем был Зуев — вольняшка, бывший зэка, побывавший в лагерной шкуре.

Что-то было в черных глазах Зуева — выражение какого-то сочувствия, что ли, к горестной человеческой судьбе.

Власть — это растление. Спущенный с цепи зверь, скрытый в душе человека, ищет жадного удовлетворения своей извечной человеческой сути в побоях, в убийствах.

Я не знаю, можно ли получить удовлетворение от подписи на расстрельном приговоре. Наверное, там тоже есть мрачное наслаждение, воображение, не ищущее оправданий.

Я видел людей, и много, которые приказывали когда-то расстреливать, — и вот сейчас их убивали самих. Ничего, кроме трусости, кроме крика: «Тут какая-то ошибка, я не тот, которого надо убивать для пользы государства, я сам умею убивать!»

Я не знаю людей, которые давали приказы о расстрелах. Видел их только издали. Но думаю, что приказ

о расстреле держится на тех же душевных силах, на тех же душевных основаниях, что и сам расстрел, убийство своими руками.

Власть — это растление.

Опьянение властью над людьми, безнаказанность, издевательства, унижения, поощрения — нравственная мера служебной карьеры начальника.

Но Зуев бил меньше, чем другие, — нам повезло.

Мы только что пришли на работу, и бригада теснилась в затишке — спряталась за выступ скалы от режущего резкого ветра. Укрывая лицо рукавицами, к нам подошел Зуев, десятник. Развели по работам, по забоям, а я остался без дела.

— У меня к тебе просьба, — задыхаясь от собственной смелости, сказал Зуев, — просьба. Не приказ! Напиши мне заявление Калинину. Снять судимость. Я тебе расскажу, в чем дело.

В маленькой будке десятника, где горела печка и куда нашего брата не пускали, — выгоняли пинками, плюхами любого из работяг, посмевших отворить дверь, чтобы хоть на минуту вдохнуть этот горячий воздух жизни.

Звериное чувство вело нас к этой заветной двери. Придумывались просьбы: «Сколько времени?», вопросы: «Вправо пойдет забой или влево?», «Разрешите прикурить?», «Нет ли здесь Зуева? Добрякова?».

Но эти просьбы не обманывали никого в будке. Из открытых дверей пришедших возвращали в мороз пинками. Но все же минута тепла...

Сейчас меня не гнали, я сидел у самой печки.

— Это что, юрист? — презрительно прошипел кто-то.

— Да, мне рекомендовали, Павел Иванович.

— Ну-ну. — Это был старший десятник, он снизошел до нужды подчиненного.

Дело Зуева, он кончил срок еще в прошлом году, было самым обыкновенным деревенским делом, начавшимся с алиментов родителям, которые и определили Зуева в тюрьму. До окончания срока оставалось недолго, но начальство успело переправить Зуева на Колыму. Колонизация края требует твердой линии в создании всяких препятствий к отъезду, государственной помощи и постоянного внимания к приезду, завозу на Колыму людей. Эшелон заключенных — просто наиболее простой путь обживания новой, трудной земли.

Зуев хотел рассчитаться с Дальстроем, просил снять судимость, отпустить на материк, по крайней мере.

Трудно было мне писать, и не только потому, что загрубели руки, что пальцы сгибались по черенку лопаты и кайла и разогнуть их было невероятно трудно. Можно было только обмотать карандаш и перо тряпкой потолще, чтобы имитировать кайловище, черенок лопаты.

Когда я догадался это сделать, я был готов выводить буквы.

Трудно было писать, потому что мозг загрубел так же, как руки, потому что мозг кровоточил так же, как руки. Нужно было оживить, воскресить слова, которые уже ушли из моей жизни, и, как я считал, навсегда.

Я писал эту бумагу, потея и радуясь. В будке было жарко, и сразу же зашевелились, заползали по телу вши. Я боялся почесаться, чтобы не выгнали на мороз, как вшивого, боялся внушить отвращение своему спасителю.

К вечеру я написал жалобу Калинину. Зуев поблагодарил меня и сунул в руку пайку хлеба. Пайку надо было немедленно съесть, да и все, что можно съесть сразу, не надо откладывать до завтра — этому я был обучен.

День уже кончался — по часам десятников, ибо белая мгла была одинаковой и в полночь, и в полдень, — и нас повели домой.

Я спал и по-прежнему видел свой постоянный колымский сон — буханки хлеба, плывущие по воздуху, заполнившие все дома, все улицы, всю землю.

Утром я ждал встречи с Зуевым — может, закурить даст.

И Зуев пришел. Не таясь от бригады, от конвоя, он зарычал, вытаскивая меня из затишка на ветер:

— Ты обманул меня, сука!

Ночью он прочел заявление. Заявление ему не понравилось. Его соседи, десятники, тоже прочли и не одобрили заявления. Слишком сухо. Мало слез. Такое заявление и подавать бесполезно. Калинина не разжалобишь такой чепухой.

Я не мог, не мог выжать из своего иссушенного лагерем мозга ни одного лишнего слова. Не мог заглушить ненависть. Я не справился с работой, и не потому, что слишком велик был разрыв между волей и Колымой, не потому, что мозг мой устал, изнемог, а потому, что там, где хранились прилагательные восторженные, там не было ничего, кроме ненависти. Подумайте, как бедный Достоевский все десять лет своей солдатчины после «Мертвого дома» писал скорбные, слезные, унизительные,

но трогающие душу начальства письма. Достоевский даже писал стихи императрице. В «Мертвом доме» не было Колымы. Достоевского постигла бы немота, та самая немота, которая не дала мне писать заявление Зуеву.

— Ты обманул меня, сука! — ревел Зуев. — Я покажу, как меня обманывать!

— Я не обманывал...

— День просидел в будке, в тепле. Я сроком за тебя, гадину, отвечаю, за твое филонство! Думал, ты человек!

— Я человек, — неуверенно двигая синими обмороженными губами, прошептал я.

— Я покажу тебе сейчас, какой ты человек!

Зуев выбросил руку, и я ощутил легкое, почти невесомое прикосновение, не более сильное, чем порыв ветра, который в том же забое не раз сдувал меня с ног.

Я упал и, закрываясь руками, облизал языком что-то сладкое, липкое, выступившее на краю губ.

Зуев несколько раз ткнул меня валенком в бок, но мне не было больно.

1966

ОБЛАВА

«Виллис» с четырьмя бойцами круто свернул с трассы и, газуя, поскакал по больничным кочкам, по зыбкой, коварной, засыпанной белым известняком дороге. «Виллис» пробивался к больнице, и сердце Криста заныло в тревоге, привычной тревоге при встрече с начальством, с конвоем, с судьбой.

«Виллис» рванулся и увяз в болоте. От трассы до больницы было метров пятьсот. Этот кусочек дороги главврач больницы строил хозяйственным способом, государственным способом субботников, которые на Колыме называют «ударниками». Это тот самый способ, которым велись все стройки пятилетки. Выздоравливающих больных выгоняли на эту дорогу — принести камень, два камня, носилки щебня. Санитары из больных, а штатных не полагалось больничке для заключенных, ходили на эти ударники-субботники без возражений, иначе их ждал прииск, золотой забой. На эти субботники никогда не посылали тех, кто работал в хирургическом отделении, — поцарапанные, раненые пальцы выводили работников хирургического отделения из строя надолго. Но

для того чтобы убедить в этом лагерное начальство, нужно было указание Москвы. Этой привилегии — не работать на ударниках, на субботниках — завидовали другие заключенные болезненно, безумно. Казалось бы, что завидовать? Ну, отработал два-три часа на ударнике, как все люди. Но, оказывается, товарищей освобождают от этой работы, а тебя не освобождают. И это безмерно обидно, запоминается на всю жизнь.

Больные, врачи, санитары, каждый брал камень, а то и два, подходил к краю топи и бросал камни в болото.

Таким способом строил дороги, засыпал моря Чингисхан, только людей у Чингисхана было больше, чем у главврача этой центральной районной больницы для заключенных, как она витиевато называлась.

У Чингисхана было больше людей, да и засыпал он моря, а не бездонную вечную мерзлоту, таявшую в короткое колымское лето.

Летняя дорога много уступала зимнику, не могла заменить снег и лед. Чем больше таяло болото, тем бездонней было оно, тем больше требовалось камня, и вереница больных не могла за три лета загрузить дорогу надежно. Только под осень, когда земля уже схватывалась морозом и оттаивание вечной мерзлоты прекращалось, можно было добиться успеха на этом чингисхановом строительстве. Безнадежность этой затеи давно была ясна и главврачу, и больным работягам, но все давно привыкли к бессмысленности труда.

Каждое лето выздоравливающие больные, врачи, фельдшера, санитары носили камень на эту проклятую дорогу. Болото чавкало, расступалось и всасывало, всасывало камень до конца. Дорога, посыпанная белым искристым известняком, была вымощена ненадежно.

Это была чаруса, топь, непроходимое болото, а дорожка, посыпанная белым некрепким известняком, только показывала путь, давала направление. Эти пятьсот метров заключенный, начальник, конвоир мог перебраться с плиты на плиту, с камня на камень, переступая, перескакивая, переходя. Больница стояла на пригорке — десяток одноэтажных бараков, открытых ветрам со всех четырех сторон. Зоны из колючей проволоки вокруг больницы не было. За теми, кого выписывали, присылали конвой из управления за шесть километров от больницы.

«Виллис» дал газу, прыгнул и окончательно завяз. Бойцы спрыгнули с машины, и тут Крист увидел необы-

чайное. На старых шинелях бойцов были новенькие погоны. А у человека, который вылез из машины, на плечах были погоны серебряные.. Крист видел погоны впервые. Только на съемках фильмов Крист видел погоны, да еще в кино, на экране, в журналах вроде «Солнца России». Да еще после революции в сумерках провинциального города, где родился Крист, рвали погоны с плеч какого-то пойманного на улице офицера, стоявшего навытяжку перед... Перед кем стоял этот офицер? Этого Крист не помнил. После раннего детства было позднее детство и юность такая, где каждый год по количеству впечатлений, по резкости их, по важности жизненной был таким, в который вместились бы десятки жизней. Крист думал, что на его пути не было офицеров и солдат. Сейчас офицер и солдаты вытаскивали «виллис» из болота. Не было нигде видно кинооператора, не было видно режиссера, приехавшего на Колыму ставить какую-то современную пьесу. Здешние пьесы разыгрывались неизменно с участием самого Криста — до других пьес Кристу не было дела. Было ясно, что приехавший «виллис», солдаты, офицер играют акт, сцену с участием Криста. С погонами — прапорщик. Нет, теперь называется иначе: лейтенант.

«Виллис» проскочил самое ненадежное место — машина подбежала к больнице, к пекарне, где одноногий пекарь, благословлявший судьбу за инвалидность, за одноногость, выскочил, отдавая по-солдатски честь офицеру, вылезавшему из кабины «виллиса». На плечах офицера сверкали красивые серебряные звездочки, две новенькие звездочки. Офицер вылез из «виллиса», одноногий сторож сделал быстрое движение, прохромал, прыгнул куда-то вверх, в сторону. Но офицер смело и небрезгливо удержал одноногого за бушлат.

— Не нужно.

— Гражданин начальник, разрешите...

— Не нужно, я сказал. Заходи в пекарню. Мы сами справимся.

Лейтенант взмахнул руками, указывая вправо и влево, и трое солдат побежали, окружая внезапно обезлюдевший безмолвный большой поселок. Шофер вылез из машины. А лейтенант с четвертым солдатом бросился на крыльцо хирургического отделения.

С горки, стуча каблуками солдатских сапог, спускалась женщина-главврач, предупредить которую опоздал одноногий сторож.

Двадцатилетний начальник отдельного лагерного пункта, бывший фронтовик, но избавленный от фронта ущемленной грыжей, а может быть, это только так говорили, вернее всего, была не грыжа, а блат — высокая рука, переставившая лейтенанта с производством в следующий чин от танков Гудериана на Колыму.

Прииски просили людей, людей. Хищническая, старательская добыча золота, запрещенная раньше, теперь поощрялась правительством. Лейтенант Соловьёв был послан доказать свое умение, понимание, знание — и свое право.

Начальники лагерных учреждений не занимаются лично отправкой этапов, не лезут в истории болезни, не осматривают зубы людей и лошадей, не ощупывают мускулы рабов.

В лагере все это делают врачи.

Списочный состав заключенных — рабочей силы приисков — таял с каждым летним днем, с каждой колымской ночью выход на работу становился все меньше и меньше. Люди из золотых забоев шли «под сопку», в больницу.

Управление района выжало давно все, что могло, сократило все, что можно, кроме, разумеется, личных денщиков, или дневальных, как их зовут по-колымски, кроме дневальных высшего начальства, кроме личных поваров, личной прислуги из заключенных. Все было вычищено повсюду.

Только одна подчиненная молодому начальнику часть не давала должной отдачи — больница! Тут-то и скрыты резервы. Преступники врачи скрывают симулянтов.

Мы, резервы, знали, зачем приехал в больницу начальник, зачем приблизился его «виллис» к воротам больницы. Впрочем, ворот и оград в больнице не было. Районная больница стояла среди таежного болота на пригорке, два шага в сторону — брусника, бурундуки, белки. Больница называлась «Беличьей», хотя ни одной белки там давно не было. В горном распадке под пышным багровым мхом бежал холодный ледяной ручей. Там, где ручей впадает в речку, и стоит больница. И ручей и речка безымянны.

Топографию местности лейтенант Соловьёв знал, когда планировал свою операцию. Оцепить такую больницу в таежном болоте и роты солдат не хватило бы. Диспозиция была иная. Военные знания лейтенанта не давали

ему покоя, искали выхода в его беспроигрышной смертной игре, в сражении с бесправным арестантским миром.

Охотничья эта игра волновала кровь Соловьева, охота за людьми, охота за рабами. Лейтенант не искал литературных сравнений — это была военная игра, операция, давно им задуманная, день «Д».

Из больницы конвоиры выводили людей, добычу Соловьева. Всех одетых, всех, кого начальник застал на ногах, а не на койке, и снятых с койки, загар которых вызвал подозрение у Соловьева, вели к складу, где был поставлен «виллис». Шофер вынул пистолет.

— Ты кто?

— Врач.

— К складу! Там разберем.

— Ты кто?

— Фельдшер.

— К складу!

— Ты кто?

— Ночной санитар.

— К складу.

Лейтенант Соловьёв лично проводил операцию пополнения рабсилы на золотых приисках.

Самолично начальник осмотрел все шкафы, все чердаки, все подполья, где, по его мнению, могли скрываться те, кто прятался от металла, от «первого металла».

Одноногий сторож был поставлен тоже к складу — там разберем.

Четыре женщины, медицинские сестры, были доставлены к складу. Там разберем.

Восемьдесят три человека тесно стояли около склада.

Лейтенант произнес краткую речь:

— Я покажу, как собирать этапы. Разгромим ваше гнездо. Бумаги!

Шофер достал из планшета начальника несколько листков бумаги.

— Врачи, выходи!

Вышло три врача — больше в больнице и не было.

Фельдшеров вышло двое — остальные четверо остались в строю. Соловьёв держал в руках штатную ведомость больницы.

— Женщины, выходите; остальные — ждать!

Из больничной конторы Соловьёв позвонил по телефону. Еще вчера заказанные им два грузовика вышли в больницу.

Соловьёв взял химический карандаш, бумагу.

— Подходи записываться. Без статьи и срока. Только фамилия — там разберут. Ну!

И начальник собственной рукой составил список этапа — этапа на золото, на смерть.

— Фамилия?

— Я болен.

— Чем он болен?

— Полиартрит, — сказал главврач.

— Ну, я таких слов не знаю. Здоровый лоб. На прииск. Главврач не стала спорить.

Крист стоял в толпе, и знакомая злоба стучала в его виски. Крист уже знал, что надо делать.

Крист стоял и думал спокойно. Вот как тебе мало доверяют, начальник, что ты лично обыскиваешь больничные чердаки, заглядываешь своими светлыми очами под каждую больничную койку. Ты ведь мог только распорядиться, и всех прислали бы и без этого спектакля. Если ты начальник, хозяин лагерной службы на приисках, собственной рукой пишешь списки, ловишь собственной рукой... Так я тебе покажу, как надо бегать. Пусть дадут хоть минуту на сборы...

— Пять минут на сборы! Быстро!

Вот этих-то слов Крист и ждал. И, войдя в барак, где жил, Крист не взял вещей, взял только телогрейку, шапку-ушанку, кусок хлеба, спички, махорку, газету, вывалил в карман все свои заначки, сунул в карман телогрейки пустую консервную банку и вышел, но не к складу, а в барак, в тайгу, легко обойдя часового, того, для которого операция, охота была уже кончена.

Крист целый час шел вверх по ручью, пока не выбрал надежное место, лег на сухой мох и стал ждать.

Что тут за расчет был? А расчет был такой. Если это простая облава — кого схватят на улице, того и сунут в машину, привезут на прииск, — то из-за одного человека машину держать до ночи не будут. Но если это правильная охота, то за Кристом пришлют вечером, даже в больницу не впустят и постараются достать Криста, вырыть из-под земли и дослать.

Срок за такую отлучку не дадут. Если пуля не попала, пока Крист уходил, — а в Криста и не стреляли, — то Крист снова будет санитаром в больнице. А если надо отправить именно Криста, это сделает главврач и без лейтенанта Соловьёва.

Крист зачерпнул воды, напился, покурил в рукав, полежал и, когда солнце стало садиться, пошел вниз по распадку к больнице.

На мостках Крист встретил главврача. Главврач улыбнулась, и Крист понял, что он будет жить.

Мертвая, опустевшая больница оживала. Новые больные одевались в старые халаты и назначались санитарами, начиная, быть может, путь к спасению. Врачи и фельдшера раздавали лекарство, мерили температуру, считали пульс тяжелобольных.

1965

ХРАБРЫЕ ГЛАЗА

Мир бараков был сдавлен тесным горным ущельем. Ограничен небом и камнем. Прошлое здесь являлось из-за стены, двери, окна; внутри никто ничего не вспоминал. Внутри был мир настоящего, мир будничных мелочей, который даже суетным нельзя было назвать, ибо этот мир зависел от чьей-то чужой, не нашей воли.

Я вышел из этого мира впервые по медвежьей тропе.

Мы были базой разведки и в каждое лето, в короткое лето, успевали сделать броски в тайгу — пятидневные походы по руслам ручьев, по истокам безымянных речушек.

Тем, кто на базе, — канавы, закопушки, шурфы; тем, кто в походе, — сбор образцов. Те, кто на базе, — покрепче, те, кто в походе, — послабее. Значит, это вечный спорщик Калмаев — искатель справедливости, отказчик.

В разведке строили бараки, и в редколесье таежном свезти вместе спиленные восьмиметровые лиственничные бревна — работа для лошадей. Но лошадей не было, и все бревна перетаскивали люди, с лямками, с веревками, по-бурлацки, раз, два — взяли. Эта работа не понравилась Калмаеву.

— Я вижу, вам нужен трактор, — говорил он десятнику Быстрову на разводе. — Вот и посадите в лагерь трактор и трелюйте, таскайте деревья. Я не лошадь.

Вторым был пятидесятилетний Пикулев — сибиряк, плотник. Тише Пикулева не было у нас человека. Но десятник Быстров своим опытным, наметанным в лагере глазом уловил у Пикулева одну особенность.

— Что ты за плотник, — говорил Быстров Пикулеву, — если твоя задница все время места ищет. Чуть кончил работу, минуты не постоишь, не шагнешь, а тут же садишься на бревно.

Старику было трудно, но Быстров говорил убедительно.

Третьим был я — старый недруг Быстрова. Еще зимой, еще прошлой зимой, когда меня впервые вывели на работу и я подошел к десятнику, Быстров сказал, с удовольствием повторяя свою любимую остроту, в которую вкладывал всю свою душу, все свое глубочайшее презрение, враждебность и ненависть к таким, как я:

— А вам какую работу прикажете дать — белую или черную?

— Все равно.

— Белой у нас нет. Пойдем копать котлован.

И хотя я знал эту поговорку отлично, и хотя я умел все — всякую работу умел делать не хуже других и другому показать мог, десятник Быстров относился ко мне враждебно. Я, разумеется, не просил, не «лащил», не давал и не обещал взяток — можно было спирт отдать Быстрову. У нас иногда давали спирт. Но, словом, когда потребовался третий человек в поход, Быстров назвал мою фамилию.

Четвертым был договорник, вольнонаемный геолог Махмутов.

Геолог был молод, все знал. В пути сосал то сахар, то шоколад, ел отдельно от нас, доставая из мешочка галеты, консервы. Нам он обещал подстрелить куропатку, тетерку, и верно, два раза на пути хлопали крылья не тетерева, а рябые крылья глухаря, но геолог стрелял, волнуясь и делая промахи. Влет стрелять он не умел. Надежда на то, что нам застрелят птицу, рухнула. Мясные консервы мы варили для геолога в отдельном котелке, но это не считалось нарушением обычая. В бараках заключенных никто не требует делиться едой, а тут и совсем особое положение разных миров. Но все же ночью мы все трое, и Пикулев, и Калмаев, и я, просыпались от хруста костей, чавканья, отрыжки Махмутова. Но это не очень раздражало.

Надежда на дичь была разрушена в первый же день. Мы ставили палатку в сумерках на берегу ручья, который серебряной ниточкой тянулся у наших ног, а на другом берегу была густая трава, метров триста густой травы до следующего правого скалистого берега... Эта

трава росла на дне ручья — весной тут заливало все вокруг, и луг, вроде горной поймы, зеленел сейчас вовсю.

Вдруг все насторожились. Сумерки не успели еще сгуститься. По траве, колебля ее, двигался какой-то зверь — медведь, росомаха, рысь. Движения в море травы были видны всем: Пикулев и Калмаев взяли топоры, а Махмутов, чувствуя себя джек-лондоновским героем, снял с плеча и взял на изготовку мелкокалиберку, заряженную жаканом, куском свинца для встречи медведя.

Но кусты кончились, и к нам, ползя на брюхе и виляя хвостом, приблизился щенок Генрих — сын убитой нашей суки Тамары.

Щенок отмахал двадцать километров по тайге и догнал нас. Посоветовавшись, мы прогнали щенка обратно. Он долго не понимал, почему мы так жестоко встречаем его. Но все же понял и снова пополз в траву, и трава снова задвигалась, на этот раз в обратном направлении.

Сумерки сгустились, и следующий наш день начался солнцем, свежим ветром. Мы поднимались по развилкам бесчисленных, бесконечных речушек, искали оползни на склонах, чтобы подвести к обнажениям Махмутова и геолог бы прочел знаки угля. Но земля молчала, и мы двинулись вверх по медвежьей тропе — другого пути не было в этом буреломе, хаосе, сбитом ветрами нескольких столетий в ущелье. Калмаев и Пикулев потащили палатку вверх по ручью, а я и геолог вошли в тайгу, нашли медвежью тропу и, прорубаясь сквозь бурелом, пошли вверх по тропе.

Лиственницы были покрыты зеленью, запах хвои пробивался сквозь тонкий запах тленья умерших стволов — плесень тоже казалась весенней, зеленой, казалась тоже живой, и мертвые стволы исторгали запах жизни. Зеленая плесень на стволе казалась живой, казалась символом, знаком весны. А на самом деле это цвет дряхлости, цвет тленья. Но Колыма задавала нам вопросы и потруднее, и сходство жизни и смерти не смущало нас.

Тропа была надежная, старая, проверенная медвежья тропа. Сейчас по ней шли люди, впервые от сотворения мира, геолог с мелкокалиберкой, с геологическим молотком в руках и сзади я с топором.

Была весна, цвели все цветы сразу, птицы пели все песни сразу, и звери торопились догнать деревья в безумном размножении рода.

Медвежью тропу перегораживал косой мертвый ствол лиственницы, огромный пень, дерево, верхушка

которого была сломана бурей, сбита... Когда? Год или двести лет назад? Я не знаю меток столетий, да и есть ли они? Я не знаю, сколько на Колыме стоят на земле бывшие деревья и какие следы на пне год за годом откладывает время. Живые деревья считают время по кольцам — что ни год, то кольцо. Как отмечается смена для пней, для мертвых деревьев, я не знаю. Сколько времени можно пользоваться умершей лиственницей, разбитой скалой, поваленным бурей лесом — пользоваться для норы, для берлоги, — знают звери. Я этого не знаю. Что заставляет медведя выбирать другую берлогу. Что заставляет зверя ложиться дважды и трижды в одну и ту же нору.

Буря наклонила сломанную лиственницу, но выдернуть из земли не могла — не хватило у бури силы. Сломанный ствол нависал над тропой, и медвежья тропа изгибалась и, обогнув наклоненный мертвый ствол, снова становилась прямой. Можно было легко рассчитать высоту четвероногого зверя.

Махмутов ударил геологическим молотком по стволу, и дерево откликнулось глухим звуком, звуком полого ствола, пустоты. Пустота была дуплом, корой, жизнью. Из дупла прямо на тропу выпала ласка, крошечный зверек. Зверек не исчез в траве, в тайге, в лесу. Ласка подняла на людей глаза, полные отчаяния и бесстрашия. Ласка была на последней минуте беременности — родовые схватки продолжались на тропе, перед нами. Прежде чем я успел что-нибудь сделать, крикнуть, понять, остановить, геолог выстрелил в ласку в упор из своей берданки, заряженной жаканом, куском свинца для встречи с медведем. Махмутов стрелял плохо не только влет...

Раненая ласка ползла по медвежьей тропе прямо на Махмутова, и Махмутов попятился, отступая перед ее взглядом. Задняя лапка беременной ласки была отстрелена, и ласка тащила за собой кровавую кашу еще не рожденных, не родившихся зверьков, детей, которые родились бы на час позже, когда мы с Махмутовым были бы далеко от сломанной лиственницы, родились бы и вышли в трудный и серьезный таежный звериный мир.

Я видел, как ползла ласка к Махмутову, видел смелость, злобу, месть, отчаяние в ее глазах. Видел, что там не было страха.

— Сапоги прокусит, стерва, — сказал геолог, пятясь и оберегая свои новенькие болотные сапоги. И, перехва-

тив берданку за ствол, геолог подставил приклад к мордочке умирающей ласки.

Но глаза ласки угасли, и злоба в ее глазах исчезла. Подошел Пикулев, нагнулся над мертвым зверьком и сказал:

— У нее были храбрые глаза.

Что-то он понял? Или нет? Не знаю. По медвежьей тропе мы вышли на берег речки, к палатке, к месту сбора. Завтра мы начнем обратный путь — только не этой, другой тропой.

1966

МАРСЕЛЬ ПРУСТ

Книга исчезла. Огромный, тяжелый фолиант, лежавший на скамейке, исчез на глазах десятков больных. Кто видел кражу — не скажет. На свете нет преступлений без свидетелей — одушевленных и неодушевленных свидетелей. А если есть такие преступления? Кража романа Марселя Пруста не такая тайна, которую страшно забыть. К тому же молчат под угрозой, брошенной походя, без адреса и все же действующей безошибочно. Кто видел — будет молчать за «боюсь». Благодетельность такого молчания подтверждается всей жизнью лагерной, да и не только лагерной, но и всем опытом жизни гражданской. Книгу мог украсть любой фраер по указанию вора, чтобы доказать свою смелость, свое желание принадлежать к преступному миру, к хозяевам лагерной жизни. Мог украсть любой фраер просто так, потому что книга плохо лежит. Книга действительно плохо лежала: на самом краю скамейки в огромном больничном дворе каменного трехэтажного здания. На скамейке сидели я и Нина Богатырева. За мной были колымские сопки, десятилетнее скитание по этим горным весям, а за Ниной — фронт. Разговор, печальный и тревожный, кончился давно.

В солнечный день больных выводили на прогулку — женщин отдельно, — Нина, как санитарка, караулила больных.

Я проводил Нину до угла, вернулся, скамейка все еще была пуста: гуляющие больные боялись на эту скамейку сесть, считая, что это скамейка фельдшеров, медсестер, надзора, конвоя.

Книга исчезла. Кто будет читать эту странную прозу, почти невесомую, как бы готовую к полету в космос, где сдвинуты, смещены все масштабы, где нет большого и малого? Перед памятью, как перед смертью, — все равны, и право автора запомнить платье прислуги и забыть драгоценности госпожи. Горизонты словесного искусства раздвинуты этим романом необычайно. Я, колымчанин, зэка, был перенесен в давно утраченный мир, в иные привычки, забытые, ненужные. Время читать у меня было. Я — ночной дежурный фельдшер. Я был подавлен «Германтом». С «Германта», с четвертого тома, началось мое знакомство с Прустом. Книгу прислали моему знакомому фельдшеру Калитинскому, уже щеголявшему в палате в бархатных брюках-гольф, с трубкой в зубах, уносящей неправдоподобный запах кэпстена. И кэпстен, и брюки гольф были в посылке вместе с «Германтом» Пруста. Ах, жены, дорогие наивные друзья! Вместо махорки — кэпстен, вместо брюк из чертовой кожи — бархатные брюки-гольф, вместо шерстяного, широкого двухметрового верблюжьего шарфа — нечто воздушное, похожее на бант, на бабочку — шелковый пышный шарф, свивавшийся на шее в веревочку толщиной в карандаш.

Такие же бархатные брюки, такой же шелковый шарф прислали в тридцать седьмом году Фрицу Давиду, голландцу-коммунисту, а может быть, у него была другая фамилия, моему соседу по РУРу — роте усиленного режима. Фриц Давид не мог работать — был слишком истощен, а бархатные брюки и шелковый пышный галстук-бант даже на хлеб на прииске нельзя было променять. И Фриц Давид умер — упал на пол барака и умер. Впрочем, было так тесно — все спали стоя, — что мертвец не сразу добрался до пола. Мой сосед Фриц Давид сначала умер, а потом упал.

Все это было десять лет назад — при чем тут «Поиски утраченного времени»? Калитинский и я — мы оба вспоминали свой мир, свое утраченное время. В моем времени не было брюк-гольф, но Пруст был, и я был счастлив читать «Германта». Я не пошел спать в общежитие. Пруст был дороже сна. Да и Калитинский торопил.

Книга исчезла. Калитинский был взбешен, был вне себя. Мы были мало знакомы, и он был уверен, что это я украл книгу, чтобы продать подороже. Воровство походя было колымской традицией, голодной традицией. Шарфы, портянки, полотенца, куски хлеба, махорка — от-

сыпка, отначка — исчезали бесследно. Воровать на Колыме умели, по мнению Калитинского, все. Я тоже так думал. Книгу украли. До вечера еще можно было ждать, что подойдет какой-нибудь доброволец, героический стукач и «дунет», скажет, где книга, кто вор. Но прошел вечер, десятки вечеров, и следы «Германта» исчезли.

Если не продадут любителю — любители Пруста из лагерных начальников!! Еще поклонники Джека Лондона встречаются в этом мире, но Пруста!! — то на карты: «Германт» — это увесистый фолиант. Это одна из причин, почему я не держал книгу на коленях, а положил на скамейку. Это толстый том. На карты, на карты... Изрежут — и все.

Нина Богатырева была красавица, русская красавица, недавно привезенная с материка, привезенная в нашу больницу. Измена родине. Пятьдесят восемь один «а» или один «б».

— Из оккупации?

— Нет, мы не были в оккупации. Это прифронтовое. Двадцать пять и пять — это без немцев. От майора. Арестовали, хотел майор, чтоб я с ним жила. Я не стала. И вот срок. Колыма. Сижу на этой скамейке. Все правда. И все — неправда. Не стала с ним жить. Уж лучше я со своим буду гулять. Вот с тобой...

— Я занят, Нина.

— Слыхала.

— Трудно тебе будет, Нина. Из-за твоей красоты.

— Будь она проклята, эта красота.

— Что тебе обещает начальство?

— Оставить в больнице санитаркой. Выучусь на сестру.

— Здесь не оставляют женщин, Нина. Пока.

— А меня обещают оставить. Есть у меня один человек. Поможет мне.

— Кто такой?

— Тайна.

— Смотри, здесь больница казенная, официальная. Никто власти тут такой не имеет. Из заключенных. Врач или фельдшер — все равно. Это не приисковая больница.

— Все равно. Я счастливая. Абажуры буду делать. А потом поступлю на курсы, как ты.

В больнице Нина осталась делать абажуры бумажные. А когда абажуры были кончены, ее снова послали в этап.

— Твоя баба, что ли, едет с этим этапом?

— Моя.

Я оглянулся. За мной стоял Володя, старый таежный волк, фельдшер без медицинского образования. Какой-то деятель просвещения или секретарь горсовета в прошлом.

Володе было далеко за сорок, и Колыму он знал давно. И Колыма знала Володю давно. Делишки с блатными, взятки врачам. Сюда Володя был прислан на курсы, подкрепить должность знанием. Была у Володи и фамилия — Рагузин, кажется, но все его звали Володя. Володя — покровитель Нины? Это было слишком страшно. За спиной спокойный голос Володи говорил:

— На материке был полный порядок у меня когда-то в женском лагере. Как только начнут «дуть», что живешь с бабой, я ее в список — пурх! И на этап. И новую зову. Абажуры делать. И снова все в порядке.

Уехала Нина. В больнице оставалась ее сестра Тоня. Та жила с хлеборезом — выгодная дружба — Золотницким, смуглым красавцем-здоровяком из бытовичков. В больницу, на должность хлебореза, сулящую и дающую миллионные прибыли, Золотницкий прибыл за большую взятку, данную, как говорили, самому начальнику больницы. Все было хорошо, но смуглый красавец Золотницкий оказался сифилитиком: требовалось возобновление лечения. Хлебореза сняли, отправили в мужскую вензону, лагерь для венерических больных. В больнице Золотницкий пробыл несколько месяцев, но успел заразить только одну женщину — Тоню Богатыреву. И Тоню увезли в женскую вензону.

Больница всполошилась. Весь медицинский персонал — на анализ, на реакцию Вассермана. У фельдшера Володи Рагузина — четыре креста. Сифилитик Володя исчез из больницы.

А через несколько месяцев в больницу конвой привез больных женщин и среди них Нину Богатыреву. Но Нину везли мимо — в больнице она только отдохнула. Везли ее в женскую венерическую зону.

Я вышел к этапу.

Только глубоко запавшие крупные карие глаза — больше ничего из прежнего облика Нины.

— Вот, в вензону еду...

— Но почему в вензону?

— Как, ты, фельдшер, и не знаешь, почему отправляют в вензону? Это Володины абажуры. У меня родилась двойня. Не жильцы были. Умерли.

— Дети умерли? Это твое счастье, Нина.

— Да. Теперь я вольная птица. Подлечусь. Нашел книгу-то тогда?

— Нет, не нашел.

— Это я ее взяла. Володя просил что-нибудь почитать.

1966

СМЫТАЯ ФОТОГРАФИЯ

Одно из самых главных чувств в лагере — чувство безбрежности унижения, чувство утешения, что всегда, в любом положении, в любых обстоятельствах есть кто-то хуже тебя. Эта ступенчатость многообразна. Это утешение спасительно, и, может быть, в нем скрыт главный секрет человека. Это чувство... Это чувство спасительно, как белый флаг, и в то же время это примирение с непримиримым.

Крист только что спасся от смерти, спасся до завтрашнего дня, не более, ибо завтрашний день арестанта — это та тайна, которую нельзя разгадывать. Крист — раб, червь, червь-то уж наверняка, ибо, кажется, только у червяка из всего мира живого нет сердца.

Крист положен в больницу, сухая пеллагрозная кожа шелушится — морщины написали на лице Криста его последний приговор. Пытаясь на дне своей души, в последних уцелевших клеточках своего костлявого тела найти какую-то силу — физическую и духовную, чтобы прожить до завтрашнего дня, Крист надевает грязный халат санитара, метет палаты, заправляет койки, моет, меряет температуру больным.

Крист уже бог — и новые голодные, новые больные смотрят на Криста как на свою судьбу, как на божество, которое может помочь, может избавить их — от чего, больной и сам не знает. Больной знает только, что перед ним — санитар из больных, который может замолвить слово врачу, и больному дадут пролежать лишний день в больнице. Или даже, выписавшись, передаст свой пост, свою мисочку супа, свой санитарный халат больному. А если этого не будет, не беда — разочарований в жизни бывает много.

Крист надел халат и стал божеством.

— Я тебе рубашку постираю. Рубашку. В ванной ночью. И высушу на печке.

— Здесь нет воды. Возят.

— Ну сбереги полведра.

Кристу давно хотелось выстирать свою гимнастерку. Он бы и сам выстирал, но валился без ног от усталости. Гимнастерка была приисковая — вся просолилась от пота, обрывки только, а не гимнастерка. И может быть, первая же стирка превратит эту гимнастерку в прах, в пыль, в тлен. Один карман был оторван, но второй — цел, и в нем лежало все, что Кристу почему-то было важно и нужно.

И все-таки нужно было выстирать. Просто больница, Крист — санитар, рубаха грязная. Крист вспомнил, как несколько лет назад его взяли переписывать карточки в хозчасть — карточки декадного довольствия, по проценту выработки. И как все живущие в бараке с Кристом ненавидели его из-за этих бессонных ночей, дающих лишний талон на обед. И как Криста тотчас же продали, «сплавили», обратясь к кому-то из штатных бухгалтеров-бытовиков и показав на ворот Криста, на ворот, по которому выползала голодная, как Крист, вошь. Бледная, как Крист, вошь. И как Крист был в эту же минуту вытащен из конторы чьей-то железной рукой и выброшен на улицу.

Да, лучше было бы выстирать гимнастерку.

— Ты будешь спать, а я постираю. Кусочек хлебца, а если хлеба нет, то так.

У Криста не было хлеба. Но на дне души кто-то кричал, что надо остаться голодным, а рубашку все-таки выстирать. И Крист перестал сопротивляться чужой, страшной воле голодного человека.

Спал Крист, как всегда, забытьем, а не сном.

Месяц назад, когда Крист не лежал еще в больнице, а шатался в огромной толпе доходяг — от столовой до амбулатории, от амбулатории до барака в белой мгле лагерной зоны, — случилась беда. У Криста украли кисет. Пустой кисет, разумеется. Никакой махорки в кисете не было не первый год. Но в кисете Крист хранил — зачем? — фотографии и письма жены, много писем. Много фотографий. И хотя эти письма Крист никогда не перечитывал и фотографии не разглядывал — это было слишком тяжело, — он берег эту пачку до лучшего, наверное, времени. Объяснить было трудно, зачем эти письма, написанные крупным детским почерком, возил Крист по всем своим арестантским путям. При обысках письма не отбирали. Груда писем копилась в кисете.

И вот кисет украли. Подумали, наверное, что там деньги, что среди фото вложен какой-нибудь тончайший рубль. Рубля не оказалось... Крист не нашел этих писем никогда. По известным правилам краж, которые блюдутся на воле, блюдутся блатными и теми, кто подражает блатным, документы надо подбрасывать в мусорные ящики, фотографии отсылать по почте или выбрасывать на свалку. Но Крист знал, что эти остатки человечности вытравлены дочиста в колымском мире. Письма сожгли, конечно, в каком-нибудь костре, в лагерной печке, чтобы осветилось внезапно светлым огнем, — писем, конечно, не вернут, не подбросят. Но фотографии, фотографии-то зачем?

— Не найдешь, — сказал Кристу сосед. — Блатные забрали.

— Но им-то зачем?

— Ах ты! Женская фотография?

— Ну да.

— А для сеансу.

И Крист перестал спрашивать.

В кисете Крист держал старые письма. Новое же письмо и фотография — новая маленькая паспортная фотография хранились в левом, единственном кармане гимнастерки.

Крист спал, как всегда, забытьем, а не сном. И проснулся с ощущением: что-то должно быть сегодня хорошее. Вспоминал Крист недолго. Чистая рубашка! Крист сбросил свои тяжелые ноги с топчана и вышел на кухню. Вчерашний больной встретил Криста.

— Сушу, сушу. На печке сушу.

Вдруг Крист почувствовал холодный пот.

— А письмо?

— Какое письмо?

— В кармане.

— Я не расстегивал карманов. Разве мне можно расстегивать ваши карманы?

Крист протянул руки к рубашке. Письмо было цело, влажное сырое письмо. Гимнастерка была почти суха, письмо же было влажное, в потеках воды или слез. Фотография была смыта, стерта, искажена и только общим обликом напоминала лицо, знакомое Кристу.

Буквы письма были стерты, смыты, но Крист знал все письмо наизусть и прочел каждую фразу.

Это было последнее письмо от жены, полученное Кристом. Недолго носил он это письмо. Слова этого

письма скоро окончательно выгорели, растворились, да и текст Крист стал помнить нетвердо. Фотография и письмо окончательно стерлись, истлели, исчезли после какой-то особенно тщательной дезинфекции в Магадане на фельдшерских курсах, превративших Криста в истинное, а не выдуманное колымское божество.

За курсы никакая цена не была велика, никакая потеря не казалась чрезмерной.

Так Крист был наказан судьбой. После зрелого размышления через много лет Крист признал, что судьба права — он еще не имел права на стирку своей рубашки чужими руками.

1966

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ

Машина гудела, гудела, гудела... Вызывала начальника больницы, объявляла тревогу... А гости уже поднимались по лестничным маршам. На них были напялены белые халаты, и плечи халатов разрывались погонами из-за слишком тесной военным гостям больничной формы.

Опережая всех на две ступеньки, шагал высокий седой человек, фамилию которого в больнице знали все, но в лицо не видел никто.

Было воскресенье, вольнонаемное воскресенье, начальник больницы играл на бильярде с врачами, обыгрывая их всех, — начальнику все проигрывали.

Начальник сразу разгадал ревущий гудок и вытер мел со своих потных пальцев. Послал курьера сказать, что идет, сейчас придет.

Но гости не ждали.

— Начнем с хирургического...

В хирургическом лежало человек двести, две большие палаты человек по восемьдесят, одна — чистой хирургии, другая — гнойной; в чистой все закрытые переломы, все вывихи. И — послеоперационные маленькие палаты. И — палата умирающих больных гнойного отделения: сепсисы, гангрена.

— Где хирург?

— Уехал на поселок. К сыну. Сын у него там в школе учится.

— А дежурный хирург?

— Дежурный сейчас придет.

Но дежурный хирург Утробин, которого по всей больнице дразнили Угробиным, был пьян и на зов высокого начальства не явился.

По хирургическому высокое начальство сопровождал старший фельдшер из заключенных.

— Нет, нам твои объяснения, твои истории болезни не понадобятся. Мы знаем, как они пишутся, — сказал высокий начальник фельдшеру, входя в большую палату и закрывая за собой дверь. — И начальника больницы пока сюда не пускайте.

Один из адъютантов, майор, занял пост у двери в палату.

— Слушайте, — сказал седой начальник, выходя на середину палаты и обводя рукой койки, стоявшие в два ряда вдоль стен, — слушайте меня. Я новый начальник политуправления Дальстроя. У кого есть переломы, ушибы, которые вы получили в забое или в бараке от десятников, от бригадиров, словом, в результате побоев, подайте голос. Мы приехали расследовать травматизм. Травматизм ужасен. Но мы покончим с этим. Все, кто получил такие травмы, расскажите моему адъютанту. Майор, запишите!

Майор развернул блокнот, достал вечное перо.

— Ну?

— А отморожения, гражданин начальник?

— Отморожения не надо. Только побои.

Я был фельдшером этой палаты. Из восьмидесяти больных семьдесят были с такими травмами, и в истории болезни все это было записано. Но ни один больной не откликнулся на этот призыв начальства. Никто не верил седому начальнику. Пожалуйся, а потом с тобой сочтутся, не отходя от койки. А так, в благодарность за смирный нрав, за благоразумие подержат в больнице лишний день. Молчать было гораздо выгоднее.

— Вот я — мне руку сломал боец.

— Боец? Разве у нас бойцы бьют заключенных? Наверное, не боец охраны, а какой-нибудь бригадир?

— Да, наверное, бригадир.

— Вот видите, какая у вас плохая память. А ведь такой случай, как мой приезд, — редкость. Я — высший контроль. Мы не позволим бить. Вообще с грубостью, с хулиганством, с матерщиной надо кончать. Я уже выступал на совещании хозяйственного актива. Говорил, если начальник Дальстроя невежлив в своих беседах с начальником управления, если начальник горного управле-

ния, распекая начальников приисков, допускал оскорбительную, матерную брань, то как должен говорить начальник прииска с начальниками участков. Это сплошной мат. Но это еще материковый мат. Начальник участка распекает прорабов, бригадиров и мастеров уже на чисто колымском блатном мате. Что же остается делать мастеру, бригадиру? Брать палку и лупить работяг. Так или не так?

— Так, товарищ начальник, — сказал майор.

— На той же конференции выступал Никишов. Говорит: вы люди новые, Колымы не знаете, здесь условия особые, мораль особая. А я ему сказал: мы приехали сюда работать, и мы будем работать, но мы будем работать не так, как говорит Никишов, а как говорит товарищ Сталин.

— Так, товарищ начальник, — сказал майор. Больные слышали, что дело дошло до Сталина, и вовсе примолкли.

За дверью толклись заведующие отделениями, их уже вызвали с квартир, стоял начальник больницы, дожидаясь конца речи высокого начальника.

— Снимают Никишова, что ли, — предположил Байков, заведующий вторым терапевтическим отделением, но на него шикнули, и он умолк.

Начальник политуправления вышел из палаты и поздоровался с врачами за руку.

— Перекусить прошу, — сказал начальник больницы. — Обед на столе.

— Нет, нет. — Начальник политуправления посмотрел на часы. — Надо ехать, к ночи попасть в Западное, в Сусуман. Завтра совещание. А впрочем... Только не обедать. А вот что. Дайте портфель. — Седой начальник взял тяжелый портфель из рук майора. — Вы глюкозу мне можете сделать?

— Глюкозу? — сказал начальник больницы, не понимая.

— Ну да, глюкозу. Укол сделать внутривенный. Я ведь не пью ничего спиртного с детства... Не курю. Но через день делаю глюкозу. Двадцать кубиков глюкозы внутривенно. Мне мой врач еще в Москве посоветовал. И что вы думаете? Лучшее тонизирующее. Лучше всех женьшеней, всяких тестостеронов. Я всегда вожу глюкозу с собой. А шприц не вожу — уколы мне делают в любой больнице. Вот сделайте мне укол.

— Я не умею, — сказал начальник больницы. — Я лучше жгут подержу. Вот дежурный хирург — тому и карты в руки.

— Нет, — сказал дежурный хирург, — я тоже не умею. Это, товарищ начальник, такие уколы делает не всякий врач.

— Ну, фельдшер.

— У нас нет вольнонаемных фельдшеров.

— А этот?

— Этот из зэка.

— Странно. Ну, все равно. Ты можешь сделать?

— Могу, — сказал я.

— Кипяти шприц.

Я вскипятил шприц, остудил. Седой начальник вынул из портфеля коробку с глюкозой, и начальник больницы облил руки спиртом и вместе с парторгом отбил стекло и всосал раствор глюкозы в шприц. Начальник больницы надел на шприц иглу, передал мне шприц в руки и, взяв резиновый жгут, затянул руку высокого начальника; я ввел глюкозу, придавил ваткой место укола.

— У меня вены, как у грузчика, — милостиво пошутил начальник со мной.

Я промолчал.

— Ну, отдохнул — пора и ехать. — Седой начальник встал.

— А в терапевтические? — сказал начальник больницы, боясь, что если гости вернутся для осмотра терапевтических больных, то ему будет обязательно выговор, что вовремя не напомнил.

— В терапевтических нам нечего делать, — сказал начальник политуправления. — У нас целевая поездка.

— А обедать?

— Никаких обедов. Дело прежде всего.

Машина загудела, и автомобиль начальника политуправления исчез в морозной мгле.

<1967>

РЯБОКОНЬ

Соседом Рябоконя по больничной койке — по топчану с матрасом, набитым рубленым стлаником, был Петерс, латыш, дравшийся, как все латыши, на всех фрон-

тах Гражданской войны. Колыма была последним фронтом Петерса. Огромное тело латыша было похоже на утопленника — иссиня-белое, вспухшее, вздутое от голода. Молодое тело с кожей, где разглажены все складки, исчезли все морщины, — все понято, все рассказано, все объяснено. Петерс молчал много суток, боясь сделать лишнее движение, — пролежни уже пахли, смердели. И только белесоватые глаза внимательно следили за врачом, за доктором Ямпольским, когда тот входил в палату. Доктор Ямпольский, начальник санчасти, не был доктором. Не был он и фельдшером. Доктор Ямпольский был просто стукач и нахал, доносами пробивший себе дорогу. Но Петерс этого не знал и заставлял надежду появляться в своих глазах.

Ямпольского знал Рябоконь — как-никак, Рябоконь был бывший вольняшка. Но Рябоконь одинаково ненавидел и Петерса и Ямпольского и злобно молчал.

Рябоконь был не похож на утопленника. Огромный, костистый, с иссохшими жилами. Матрас был короток, одеяло закрывало только плечи, но Рябоконю было все равно. С койки свисали ступни гулливеровского размера, и желтые костяные пятки, похожие на бильярдные шары, стучали о деревянный пол из накатника, когда Рябоконь двигался, чтобы согнуться и голову высунуть в окно, — костистые плечи нельзя было протолкнуть наружу, к небу, к свободе.

Доктор Ямпольский ждал смерти латыша с часу на час — таким дистрофикам положено умирать скоро. Но латыш тянул жизнь, увеличивал средний койкодень. Ждал смерти латыша и Рябоконь. Петерс лежал на единственном в больничке длинном топчане, и после латыша доктор Ямпольский обещал эту койку Рябоконю. Рябоконь дышал у окна, не боясь холодного пьяного весеннего воздуха, дышал всей грудью и думал, как он ляжет на койку Петерса, после того как Петерс умрет, и можно будет вытянуть ноги хоть на несколько суток. Нужно только лечь и вытянуться — отдохнут какие-то важные мускулы, и Рябоконь будет жить.

Врачебный обход кончился. Лечить было нечем — марганцовка и йод творили чудеса даже в руках Ямпольского. Итак, лечить было нечем — Ямпольский держался, накапливая опыт и стаж. Смерти ему не ставились в вину. Да и кому в вину ставились смерти?

— Сегодня мы сделаем тебе ванну, теплую ванну. Хорошо?

Злоба мелькнула в белесоватых глазах Петерса, но он не сказал, не шепнул ничего.

Четыре санитара из больных и доктор Ямпольский затолкали огромное тело Петерса в деревянную бочку из-под солидола, отпаренную, вымытую.

Доктор Ямпольский заметил время на наручных часах — подарок любимому доктору от блатарей прииска, где Ямпольский работал раньше, до этой каменной мышеловки.

Через пятнадцать минут латыш захрипел. Санитары и доктор вытащили больного из бочки и затащили на топчан, на длинный топчан. Латыш выговорил ясно:

— Белье! Белье!

— Какое белье? — спросил доктор Ямпольский. — Белья у нас нет.

— Это он предсмертную рубаху просит, — догадался Рябоконь.

И, вглядываясь в дрожащий подбородок Петерса, на закрывающиеся глаза, шарящие по телу вздутые синие пальцы, Рябоконь подумал, что смерть Петерса — его, Рябоконево, счастье не только из-за длинной койки, но и потому, что Петерс и он были старые враги — встречались в боях где-то под Шепетовкой.

Рябоконь был махновец. Мечта его сбылась — он лег на койку Петерса. А на койку Рябоконя лег я — и пишу этот рассказ.

Рябоконь торопился рассказывать, он торопился рассказывать, а я торопился запоминать. Мы оба были знатоками и смерти и жизни.

Мы знали закон мемуаристов, их конституционный, их основной закон: прав тот, кто пишет позже, переживя, переплывя поток свидетелей, и выносит свой приговор с видом человека, владеющего абсолютной истиной.

История двенадцати цезарей Светония построена на такой тонкости, как грубая лесть современникам и проклятия вслед умершим, проклятия, на которые никто из живых не отвечает.

— Ты думаешь, Махно был антисемит? Пустяки это все. Ваша агитация. Его советчики — евреи. Иуда Гроссман-Рощин. Барон. Я простой боец с тачанкой. Я был в числе тех двух тысяч, что батько увел в Румынию. В Румынии мне не показалось. Через год я перешел границу обратно. Дали мне три года ссылки, я вернулся, был в колхозе, в тридцать седьмом замели...

— Профилактическое заключение? Именно «пять рокив далеких таборив».

Грудная клетка Рябоконя была кругла, огромна — ребра выступали, как обручи на бочке. Казалось, умри Рябоконь раньше Петерса, из грудной клетки махновца можно было сделать обручи для бочки — предсмертного купанья латыша по рецепту доктора Ямпольского.

Кожа была натянута на скелет — весь Рябоконь казался пособием для изучения топографической анатомии, послушным живым пособием-каркасом, а не муляжом. Говорил он не много, но еще находил силы сберечь себя от пролежней, поворачиваясь на койке, вставая, ходя. Сухая кожа шелушилась по всему телу, и синие пятна будущих пролежней обозначались на бедрах и пояснице.

— Ну, пришел я. Трое нас. Махно на крыльце. «Стрелять умеешь?» — «Умею, батько!» — «А ну, скажи, если на тебя нападут трое, что будешь делать?» — «Что-нибудь придумаю, батько!» — «Вот правильно сказал. Сказал бы — “порубаю всех”, — не взял бы я тебя в отряд. На хитрость надо, на хитрость». А впрочем, что Махно. Махно и Махно. Атаман. Все умрем. Слыхал — умер он...

— Да. В Париже.

— Царство ему небесное. Спать пора.

Рябоконь натягивал ветхое одеяло на голову, обнажал ноги до колен, храпел.

— Слышь ты...

— Ну?

— Расскажи про Маруську, про ее банду. — Рябоконь откинул одеяло с лица.

— Ну что? Банда и банда. То с нами, то с вами. Она — анархистка, Маруська. Двадцать лет была на каторге. Бежала из московской Новинской тюрьмы. Ее Слащев расстрелял в Крыму. «Да здравствует анархия!» — крикнула и умерла. Знаешь, кто она была? Никифорова ее фамилия. Гермафродит самый настоящий. Слышал? Ну, спим.

Когда пятилетний срок природного махновца кончился, Рябоконя освободили без выезда с Колымы. На материк не вывозили. Махновцу пришлось работать грузчиком на том же самом складе, где он ишачил пять лет в чине зэка. Вольняшкой, свободным человеком на том же самом складе, на той же самой работе. Это было непереносимое оскорбление, оплеуха, пощечина, которую немногие выносили. Кроме специалистов, конечно.

А так у заключенного главная надежда: что-то изменится, переменится с освобождением. Отъезд, отправка, перемена места тоже могут успокоить, спасти.

Зарплата была мала. Воровать со склада, как раньше? Нет, планы у Рябоконя были другие.

Вместе с тремя бывшими зэка Рябоконь ушел «во льды» — бежал в глухую тайгу. Организовалась бандитская шайка — вся из фраеров, чуждая уголовному миру, но воздухом этого мира дышавшая несколько лет.

Это был единственный на Колыме побег вольняшек — не заключенных, которых караулят и считают на поверках четырежды в день, а вольных граждан. Среди них был главный бухгалтер прииска, бывший заключенный, как и Рябоконь. Был. Договорников в шайке, конечно, не было, договорники ездят за длинным рублем, а все бывшие зэка-зэка. Последним начислений не бывает, и они могут добывать свой длинный рубль вооруженной рукой.

Четверо убийц грабили на тысячекилометровой трассе — центральном шоссе — целый год. Год гуляли, грабя машины, квартиры в поселках. Завладели грузовиком, гараж ему — горный распадок.

Рябоконь и друзья его легко шли на убийства. Нового срока никто не боялся.

Месяц, год, десять лет, двадцать лет — это все почти одинаковые сроки по колымским примерам, по северной морали.

Кончилось так, как кончаются все такие дела. Склока какая-то, ссора, неправильный дележ добытого. Потеря авторитета атамана — бухгалтера. Сведения какие-то бухгалтер дал ложные, оплошность. Суд. Двадцать пять и пять поражения в правах. Тогда не расстреливали за убийство.

В этой компании не было ни одного уголовника-рецидивиста. Все — обыкновенные фраера. И Рябоконь был таким. Душевную легкость в убийстве пронес он сквозь жизнь из Гуляй-Поля.

1966

ЖИТИЕ ИНЖЕНЕРА КИПРЕЕВА

Много лет я думал, что смерть есть форма жизни, и, успокоенный зыбкостью суждения, я вырабатывал формулу активной защиты своего существования на горестной этой земле.

Я думал, что человек тогда может считать себя человеком, когда в любой момент всем своим телом чувствует, что он готов покончить с собой, готов вмешаться сам в собственное свое житие. Это сознание и дает волю на жизнь.

Я проверял себя многократно и, чувствуя силу на смерть, оставался жить.

Много позже я понял, что я просто построил себе убежище, ушел от вопроса, ибо в момент решения я не буду таким, как сейчас, когда жизнь и смерть — волевая игра. Я ослабею, изменюсь, изменю себе. Я не стал думать о смерти, но почувствовал, что прежнее решение нуждается в каком-то другом ответе, что обещание самому себе, клятвы юности слишком наивны и очень условны.

В этом убедила меня история инженера Кипреева.

Я никого в жизни не предал, не продал. Но я не знаю, как бы держался, если бы меня били. Я прошел все свои следствия удачнейшим образом — без битья, без метода номер три. Мои следователи во всех моих следствиях не прикасались ко мне пальцем. Это случайность, не более. Я просто проходил следствие рано — в первой половине тридцать седьмого года, когда пытки еще не применялись.

Но инженер Кипреев был арестован в 1938 году, и вся грозная картина битья на следствии была ему известна. И он выдержал это битье, кинувшись на следователя, и, избитый, посажен в карцер. Но нужной подписи следователи легко добились у Кипреева: его припугнули арестом жены, и Кипреев подписал.

Вот этот страшный нравственный удар Кипреев пронес сквозь всю жизнь. Немало в жизни арестантской есть унижений, растлений. В дневниках людей освободительного движения России есть страшная травма — просьба о помиловании. Это считалось позором до революции, вечным позором. И после революции в общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев не принимали категорически так называемых «подаванцев», то есть когда-либо по любому поводу просивших царя об освобождении, о смягчении наказания.

В тридцатых годах не только «подаванцам» все прощалось, но даже тем, кто подписал на себя и других заведомую ложь, подчас кровавую, — прощалось.

Живые примеры давно состарились, давно сгибли в лагере, в ссылке, а те, что сидели и проходили следст-

вие, были сплошь «подаванцы». Поэтому никто и не знал, каким нравственным пыткам обрек себя Кипреев, уезжая на Охотское море — во Владивосток, в Магадан.

Кипреев был инженер-физик из того самого Харьковского физического института, где раньше всего в Советском Союзе подошли к ядерной реакции. Там работал и Курчатов. Харьковский институт не избежал чистки. Одной из первых жертв в атомной нашей науке был инженер Кипреев.

Кипреев знал себе цену. Но его начальники цену Кипрееву не знали. Притом оказалось, что нравственная стойкость мало связана с талантом, с научным опытом, научной страстью даже. Это были разные вещи. Зная о побоях на следствии, Кипреев подготовил себя очень просто — он будет защищаться как зверь, отвечать ударом на удар, не разбирая, кто исполнитель, а кто создатель этой системы, метода номер три. Кипреев был избит, брошен в карцер. Все начиналось сначала. Физические силы изменяли, а вслед за физической изменяла душевная твердость. Кипреев подписал. Угрожали арестом жены. Кипрееву было безмерно стыдно за эту слабость, за то, что при встрече с грубой силой он, интеллигент Кипреев, уступил. Тогда же, в тюрьме, Кипреев дал себе клятву на всю жизнь никогда не повторять позорного своего поступка. Впрочем, только Кипрееву его действие казалось позорным. Рядом с ним на нарах лежали также подписавшие, оклеветавшие. Лежали и не умирали. У позора нет границ, вернее, границы всегда личны, и требования к самому себе иные у каждого жителя следственной камеры.

С пятилетним сроком Кипреев явился на Колыму, уверенный, что найдет путь к досрочному освобождению, сумеет вырваться на волю, на материк. Конечно, инженера оценят. И инженер заработает зачеты рабочих дней, освобождение, скидку срока. Кипреев с презрением относился к лагерному труду физическому, он скоро понял, что ничего, кроме смерти, в конце этого пути нет. Работать, где можно было применить хоть тень специальных знаний, которые были у Кипреева, — и он выйдет на волю. Хоть квалификацию не потеряет.

Опыт работы на прииске, сломанные пальцы, попавшие в скрепер, физическая слабость, щуплость даже — все это привело Кипреева в больницу, а после больницы на пересылку.

Беда была еще и в том, что инженер не мог не изобретать, не искать научных технических решений в том хаосе лагерного быта, в котором инженер жил.

Лагерь же, лагерное начальство смотрело на Кипреева как на раба, не более. Энергия Кипреева, за которую он сам себя клял тысячу раз, искала выхода.

Только ставка в этой игре должна быть достойной инженера, ученого. Эта ставка — свобода.

Колыма не только потому «чудная планета», что там «девять месяцев в году» зима. Там в войну сто рублей платили за яблоко, а ошибка в распределении свежих помидоров, привезенных с материка, приводила к кровавым драмам. Все это — и яблоки и помидоры — разумеется, для вольного, вольнонаемного мира, к которому заключенный Кипреев не принадлежал. «Чудная планета» не только потому, что там «закон — тайга». Не потому, что Колыма — сталинский спецлагерь уничтожения. Не потому, что там дефицит — махорка, чифирь-чай, что это валюта колымская, истинное ее золото, за которое приобретается все.

И все же дефицитней всего было стекло — стеклянные изделия, лабораторная посуда, инструменты. Хрупкость стекла усиливали морозы, а норма «боя» не увеличивалась. Простой градусник медицинский стоил рублей триста. Но подпольных базаров на градусники не существовало. Врачу надо заявить уполномоченному райотдела о предложении, ибо медицинский градусник прятать труднее, чем Джоконду. Но врач никаких заявлений не подавал. Он просто платил триста рублей и приносил градусник из дому мерить температуру тяжелобольным.

На Колыме консервная банка — поэма. Жестяная консервная банка — это мерка, удобная мерка всегда под рукой. Это мерка воды, крупы, муки, киселя, супа, чая. Это кружка для чифиря, в ней так удобно «подварить чифирку». Кружка эта стерильна — она очищена огнем. Чай, суп разогревают, кипятят в печке, на огне костра.

Трехлитровая банка — это классический котелок доходяг, с проволочной ручкой, которая удобно прикреплена к поясу. А кто на Колыме не был или не будет доходягой?

Стеклянная банка — это свет в раме деревянного переплета, ячеистом, рассчитанном на обломки стекла. Это прозрачная банка, в которой так удобно хранить медикаменты в амбулатории.

Полулитровая банка — посуда для третьего блюда лагерной столовой.

Но не термометры, не лабораторная посуда, не консервные банки главный стеклянный дефицит на Колыме.

Главный дефицит — это электролампа.

На Колыме сотни приисков, рудников, тысячи участков, разрезов, шахт, десятки тысяч золотых, урановых, оловянных, вольфрамовых забоев, тысячи лагерных командировок, вольнонаемных поселков, лагерных зон и бараков отрядов охраны, и всюду нужен свет, свет, свет. Колыма девять месяцев живет без солнца, без света. Бурный, незакатный солнечный свет не спасает, не дает ничего.

Есть свет и энергия от сдвоенных тракторов, от локомотива.

Промприборы, бутары, забои требуют света. Подсвеченные юпитерами забои удлиняют ночную смену, делают производительней труд.

Везде нужны электролампы. Их возят с материка — трехсотки, пятисотки и в тысячу свечей, готовых осветить барак и забой. Неровный свет движков обрекает лампы на преждевременный износ.

Электролампа — это государственная проблема на Колыме.

Не только забой должен быть подсвечен. Должна быть подсвечена зона, колючая проволока с караульными вышками по норме, которую Дальний Север увеличивает, а не уменьшает.

Отряду охраны должен быть обеспечен свет. Простой актировкой (как в приисковом забое) тут не обойдешься, тут люди, которые могут бежать, и, хотя ясно, что бежать зимой некуда и никто на Колыме зимой никогда никуда не бежал, закон остается законом, и, если нет света или нет ламп, разносят горящие факелы вокруг зоны и оставляют их на снегу до утра, до света. Факел — это тряпка в мазуте или бензине.

Электролампы перегорают быстро. И восстановить их нельзя.

Кипреев написал докладную записку, удивившую начальника Дальстроя. Начальник уже почувствовал орден на своем кителе, кителе, конечно, а не френче и не пиджаке.

Восстановить лампы можно — лишь бы было цело стекло.

И вот по Колыме полетели грозные приказы. Все перегоревшие лампочки бережно доставлялись в Магадан. На промкомбинате, на сорок седьмом километре был построен завод. Завод восстановления электрического света.

Инженер Кипреев был назначен начальником цеха завода. Весь остальной персонал, штатная ведомость, выросшая вокруг ремонта электроламп, был только вольнонаемным. Удача была пущена в надежные, вольнонаемные руки. Но Кипреев не обращал на это внимания. Его-то создатели завода не могут не заметить.

Результат был блестящим. Конечно, после ремонта лампы долго не работали. Но сколько-то часов, сколько-то суток золотых Кипреев сберег Колыме. Этих суток было очень много. Государство получило огромную выгоду, военную выгоду, золотую выгоду.

Директор Дальстроя был награжден орденом Ленина. Все начальники, имевшие отношение к ремонту электроламп, получили ордена.

Однако ни Москва, ни Магадан даже не подумали отметить заключенного Кипреева. Для них Кипреев был раб, умный раб, и больше ничего.

Все же директор Дальстроя не считал возможным вовсе забыть своего таежного корреспондента.

На великий колымский праздник, отмеченный Москвой, в узком кругу, на торжественном вечере в честь — чью честь? — директора Дальстроя, каждого из получивших ордена и благодарности, — ведь кроме правительственного указа директор Дальстроя издал свой приказ о благодарностях, награждениях, поощрениях, — всем участвовавшим в ремонте электроламп, всем руководителям завода, где был цех по восстановлению света, были кроме орденов и благодарностей еще заготовлены американские посылки военного времени. Эти посылки, входившие в поставку по лендлизу, состояли из костюма, галстука, рубашки и ботинок. Костюм, кажется, пропал при перевозке, зато ботинки — краснокожие американские ботинки на толстой подошве — были мечтой каждого начальника.

Директор Дальстроя посоветовался с помощником, и все решили, что о лучшем счастье, о лучшем подарке инженер зэка не может и мечтать.

О сокращении срока инженеру, о полном его освобождении директор Дальстроя и не предполагал просить Москву в это тревожное время. Раб должен быть доволен и старым ботинкам хозяина, костюмом с хозяйского плеча.

Об этих подарках говорил весь Магадан, вся Колыма. Здешние начальники получили орденов и благодарностей предостаточно. Но американский костюм, ботинки на толстой подошве — это было вроде путешествия на Луну, полета в другой мир.

Настал торжественный вечер, блестящие картонные коробки с костюмами громоздились на столе, затянутом красным сукном.

Директор Дальстроя прочел приказ, где, конечно, имя Кипреева не было упомянуто, не могло быть упомянуто.

Начальник политуправления прочел список на подарки. Последней была названа фамилия Кипреева. Инженер вышел к столу, ярко освещенному лампами — его лампами, — и взял коробку из рук директора Дальстроя.

Кипреев выговорил раздельно и громко: «Американских обносков я носить не буду», — и положил коробку на стол.

Тут же Кипреев был арестован и получил восемь лет дополнительного срока по статье — какой, я не знаю, да это и не имеет никакого значения на Колыме, никого не интересует.

Впрочем, какая статья за отказ от американских подарков? Не только, не только. В заключении следователя по новому «делу» Кипреева сказано: говорил, что Колыма — это Освенцим без печей.

Этот второй срок Кипреев встретил спокойно. Он понимал, на что идет, отказываясь от американских подарков. Но кое-какие меры личной безопасности инженер Кипреев принял. Меры были вот какие. Кипреев попросил знакомого написать письмо жене на материк, что он, Кипреев, умер. И перестал писать письма сам.

С завода инженер был удален на прииск, на общие работы. Вскоре война кончилась, лагерная система сделалась еще сложнее — Кипреева как сугубого рецидивиста ждал номерной лагерь.

Инженер заболел и попал в центральную больницу для заключенных. Здесь в работе Кипреева была большая нужда — надо было собрать и пустить рентгеновский аппарат, собрать из старья, из деталей-инвалидов. Начальник больницы доктор Доктор обещал освобождение, скидку срока. Инженер Кипреев мало верил в такие обещания — он числился «больным», а зачеты дают только штатным работникам больницы. Но в обещание

начальника хотелось верить, рентгенокабинет не прииск, не золотой забой.

Здесь мы встретили Хиросиму.

— Вот она — бомба, это то, чем мы занимались в Харькове.

— Самоубийство Форрестола. Поток издевательских телеграмм.

— Ты знаешь, в чем дело? Для западного интеллигента принимать решение сбросить атомную бомбу очень сложно, очень тяжело. Депрессия психическая, сумасшествие, самоубийство — вот цена, какую платит за такие решения западный интеллигент. Наш Форрестол не сошел бы с ума. Сколько встречал ты хороших людей в жизни? Настоящих, которым хотелось бы подражать, служить?

— Сейчас вспомню: инженер-вредитель Миллер и еще человек пять.

— Это очень много.

— Ассамблея подписала протокол о геноциде.

— Геноцид? С чем его едят?

— Мы подписали конвенцию. Конечно, тридцать седьмой год — это не геноцид. Это истребление врагов народа. Можно подписывать конвенцию.

— Режим закручивают на все винты. Мы не должны молчать. Как в букваре: «Мы не рабы. Рабы не мы». Мы должны сделать что-то, доказать самим себе.

— Самим себе доказывают только собственную глупость. Жить, выжить — вот задача. И не сорваться.. Жизнь более серьезна, чем ты думаешь.

. . . .

Зеркала не хранят воспоминаний. Но то, что у меня прячется в моем чемодане, трудно назвать зеркалом — обломок стекла, как будто поверхность воды замутилась, и река осталась мутной и грязной навсегда, запомнив что-то важное, что-то бесконечно более важное, чем хрустальный поток прозрачной, откровенной до дна реки. Зеркало замутилось и уже не отражает ничего. Но когда-то зеркало было зеркалом, было подарком бескорыстным и пронесенным мною через два десятилетия — лагеря, воли, похожей на лагерь, и всего, что было после XX съезда партии. Зеркало, подаренное мне, не было коммерцией инженера Кипреева — это был опыт, научный опыт, след этого опыта во тьме рентгеновского кабинета. Я сделал к этому зеркальному куску деревян-

ную оправу. Не сделал — заказал. Оправа до сих пор цела, ее делал какой-то столяр из латышей, выздоравливающий больной — за пайку хлеба. Я уже мог тогда дать пайку хлеба за такой сугубо личный, сугубо легкомысленный заказ.

Я смотрю на эту оправу — грубую, покрашенную масляной краской, какой красят полы, в больнице шел ремонт, и столяр выпросил чуток краски. Потом раму лакировал — лак давно стерся. В зеркало ничего не видно, а когда-то я брился перед ним в Оймяконе, и все вольняшки завидовали мне. Завидовали мне до 1953 года, когда в поселок кто-то вольный, кто-то мудрый прислал посылку из зеркал, дешевых зеркал. И эти крошечные копеечные зеркала — круглые и квадратные — продавались по ценам, напоминающим цены на электролампы. Но все снимали с книжки деньги и покупали. Зеркала были распроданы в один день, в один час.

Тогда мое самодельное зеркало уже не вызывало зависть моих гостей.

Зеркало со мной. Это не амулет. Приносит ли это зеркало счастье — не знаю. Может быть, зеркало привлекает лучи зла, отражает лучи зла, не дает мне раствориться в человеческом потоке, где никто, кроме меня, не знает Колымы и не знает инженера Кипреева.

Кипрееву было все равно. Какой-то уголовник, почти блатной, рецидивист пограмотней, приглашенный начальником для обучения грамотный блатарь, постигающий тайну рентгенокабинета, включающий и выключающий рычаги, блатарь, что шел по фамилии Рогов, учился у Кипреева делу рентгенотехники.

Тут у начальства были намерения немалые, и меньше всего начальство думало о Рогове, блатаре. Нет, но Рогов поселился с Кипреевым в рентгенокабинете, стало быть, контролировал, следил, доносил, участвовал в государственной работе как друг народа. Постоянно информировал, предупреждал всякие беседы, визиты. И если не мешал, то доносил, блюл.

Это была главная цель начальства. А кроме того, Кипреев готовил смену самому себе — из бытовиков.

Как только Рогов научился бы делу — это была профессия на всю жизнь, — Кипреева послали бы в Берлаг, номерной лагерь для рецидивистов.

Все это Кипреев понимал и не собирался противоречить судьбе. Он учил Рогова, не думая о себе.

Удача Кипреева была в том, что Рогов плохо учился. Как всякий бытовик, понимающий главное, что начальство не забудет бытовиков ни при каких обстоятельствах, Рогов не очень внимательно учился. Но пришел час. Рогов сказал, что он может работать, и Кипреева отправили в номерной лагерь. Но в рентгеноаппарате что-то разладилось, и через врачей Кипреева снова прислали в больницу. Рентгенокабинет заработал.

К этому времени относится опыт Кипреева с блендой.

Словарь иностранных слов 1964 года так объясняет слово «бленда»: «...4) диафрагма (заслонка с произвольно изменяемым отверстием), применяемая в фотографии, микроскопии и рентгеноскопии».

Двадцать лет назад в словаре иностранных слов «бленды» нет. Это новинка военного времени — попутное изобретение, связанное с электронным микроскопом.

В руки Кипреева попала оборванная страница технического журнала, и бленда была применена в рентгенокабинете в больнице для заключенных на левом берегу Колымы.

Бленда была гордостью инженера Кипреева — его надеждой, слабой надеждой, впрочем. О бленде было доложено на врачебной конференции, послан доклад в Магадан, в Москву. Никакого ответа.

— А зеркало ты можешь сделать?

— Конечно.

— Большое. Вроде трюмо.

— Любое. Было бы серебро.

— А ложки серебряные?

— Годятся.

Толстое стекло для столов в кабинетах начальников было выписано со склада и перевезено в рентгенокабинет.

Первый опыт был неудачен, и Кипреев в бешенстве расколол молотком зеркало.

Один из этих осколков — мое зеркало, кипреевский подарок.

Второй раз все прошло удачно, и начальство получило из рук Кипреева свою мечту — трюмо.

Начальник даже и не думал чем-нибудь отблагодарить Кипреева. К чему? Грамотный раб и так должен быть благодарен, что его держат в больнице на койке. Если бы бленда нашла внимание начальства, получена была бы благодарность — не больше. Вот трюмо — это

реальность, а бленда — миф, туман... Кипреев был вполне согласен с начальником.

Но по ночам, засыпая на топчане в углу рентгенокабинета, дождавшись ухода очередной бабы от своего помощника, ученика и осведомителя, Кипреев не хотел верить ни Колыме, ни самому себе. Ведь бленда же не шутка. Это технический подвиг. Нет, ни Москве, ни Магадану не было дела до бленды инженера Кипреева.

В лагере не отвечают на письма и напоминать не любят. Приходится только ждать. Случая, какой-то важной встречи.

Все это трепало нервы — если эта шагреневая кожа еще была цела, изорванная, истрепанная.

Надежда для арестанта — всегда кандалы. Надежда — всегда несвобода. Человек, надеющийся на что-то, меняет свое поведение, чаще кривит душой, чем человек, не имеющий надежды. Пока инженер ждал решения об этой проклятой бленде, он прикусил язык, пропускал мимо ушей все шуточки, нужные и не нужные, которыми развлекалось его ближайшее начальство, не говоря уж о помощнике, который ждал дня и часа своего, когда будет хозяином. Рогов и зеркала уж научился делать — прибыль, навар обеспечен.

О бленде знали все. Шутили над Кипреевым все — в том числе секретарь парторганизации больницы аптекарь Кругляк. Мордастый аптекарь был неплохой парень, но горяч, а главное — его учили, что заключенный — это червь. А этот Кипреев... Аптекарь приехал в больницу недавно, истории восстановления электрических лампочек нигде не слыхал. Никогда не подумал, что стоило собрать рентгеновский кабинет в глухой тайге на Дальнем Севере.

Бленда казалась Кругляку ловкой выдумкой Кипреева, желанием «раскинуть темноту», «зарядить туфту» — этим-то словам аптекарь уже научился.

В процедурной хирургического отделения Кругляк обругал Кипреева. Инженер схватил табуретку и замахнулся на секретаря парторганизации. Тут же табуретку у Кипреева вырвали, увели его в палату.

Кипрееву грозил расстрел. Или отправка на штрафной прииск, в спецзону, что хуже расстрела. У Кипреева в больнице было много друзей, и не по зеркалам только. История с электролампочками была хорошо известна, свежа. Ему помогали. Но тут пятьдесят восемь и пункт восемь — террор.

Пошли к начальнику больницы. Это сделали женщины-врачи. Начальник больницы Винокуров не любил Кругляка. Винокуров ценил инженера, ждал результатов на запрос о бленде, а главное, был незлой человек. Начальник, который не использовал своей власти для зла. Самоснабженец, карьерист Винокуров не делал людям добра, но и зла не хотел никому.

— Хорошо, я не передам материал уполномоченному для начала дела против Кипреева только в том случае, — сказал Винокуров, — если не будет рапорта Кругляка, самого пострадавшего. Если будет рапорт — дело начнется. Штрафной прииск — это минимум.

— Спасибо.

С Кругляком говорили мужчины, говорили его друзья.

— Неужели ты не понимаешь, что человека расстреляют. Ведь он бесправен. Это не я и не ты.

— Но он руку поднял.

— Руку он не поднял, этого никто не видал. А вот если бы я ругался с тобой, то по второму слову дал бы тебе по роже, потому что ты во все лезешь, ко всем цепляешься.

Кругляк, добрый малый по существу, совсем непригодный для колымских начальников, сдался на уговоры. Кругляк не подал рапорта.

Кипреев остался в больнице. Прошел еще месяц, и в больницу приехал генерал-майор Деревянко, заместитель директора Дальстроя по лагерю — самый высокий начальник для заключенных.

В больнице начальство любило останавливаться. Там было где остановиться большому северному начальству, было где выпить и закусить, было где отдохнуть.

Генерал-майор Деревянко, облачившись в белый халат, ходил из отделения в отделение, разминаясь перед обедом. Настроение генерал-майора было радужным, и Винокуров решил рискнуть.

— Вот у меня есть заключенный, сделавший важную для государства работу.

— Что за работа?

Начальник больницы кое-как объяснил генерал-майору, что такое бленда.

— Я хочу на досрочное представить этого заключенного.

Генерал-майор поинтересовался анкетными данными и, получив ответ, помычал.

— Вот что я тебе скажу, начальник, — сказал генерал-майор, — там бленда блендой, а ты лучше отправь этого инженера... Этого Корнеева...

— Кипреева, товарищ начальник.

— Вот-вот, Кипреева. Отправь его туда, где ему положено быть по анкетным данным.

— Слушаюсь, товарищ начальник.

Через неделю Кипреева отправили, а еще через неделю разладился рентген, и Кипреева вызвали снова в больницу.

Теперь уже было не до шуток — Винокуров боялся, чтоб гнев генерал-майора не пал на него.

Начальник управления не поверит, что рентген разладился. Кипреев был назначен в этап, но заболел и остался.

Теперь не могло быть и речи о работе в рентгенокабинете. Кипреев понял это хорошо.

У Кипреева был мастоидит — простуженная голова на лагерной приисковой койке, — и операция была жизненным показанием. Но никто не хотел верить ни температуре, ни докладам врачей. Винокуров бушевал, требуя скорейшей операции.

Лучшие хирурги больницы собирались делать мастоидит кипреевский. Хирург Браудэ был чуть не специалист по мастоидитам. На Колыме простуд больше чем надо, Браудэ был очень опытен, сделал сотни таких операций. Но Браудэ должен был только ассистировать. Операцию должна была делать доктор Новикова, крупный отоларинголог, ученица Воячека, много лет проработавшая в Дальстрое. Новикова никогда не была в заключении, но уже много лет работала только на северных окраинах. И не потому, что длинный рубль. А потому, что на Дальнем Севере Новиковой многое прощалось. Новикова была алкоголичка запойная. После смерти мужа талантливая ушница, красавица скиталась годами по Дальнему Северу. Начинала блестяще, а потом срывалась на долгие недели.

Новиковой было лет пятьдесят. Выше ее не было по квалификации человека. Сейчас ушница была в запое, запой кончался, и начальник больницы разрешил задержать Кипреева на несколько дней.

В эти несколько дней Новикова поднялась. Руки у нее перестали трястись, и ушница блестяще сделала операцию Кипрееву — прощальный, вполне медицин-

ский подарок своему рентгенотехнику. Ассистировал ей Браудэ, и Кипреев лег в больницу.

Кипреев понял, что надеяться больше нельзя, что в больнице он оставлен не будет ни на один лишний час.

Ждал его номерной лагерь, где на работу ходили строем по пять, локти в локти, где по тридцать собак окружали колонну людей, когда их гоняли.

В этой безнадежности последней Кипреев не изменил себе. Когда заведующий отделением выписал больному с операцией мастоидита, серьезной операцией, заключенному-инженеру спецзаказ, то есть диетическое питание, улучшенное питание, Кипреев отказался, заявив, что в отделении на триста человек есть больные тяжелее его, с большим правом на спецзаказ.

И Кипреева увезли.

. . . .

Пятнадцать лет я искал инженера Кипреева. Посвятил его памяти пьесу — это решительное средство для вмешательства человека в загробный мир.

Мало было написать о Кипрееве пьесу, посвятить его памяти. Надо было еще, чтоб на центральной улице Москвы в коммунальной квартире, где живет моя давняя знакомая, сменилась соседка. По объявлению, по обмену.

Новая соседка, знакомясь с жильцами, вошла и увидела пьесу, посвященную Кипрееву, на столе; повертела пьесу в руках.

— Совпадают буквы инициалов с моим знакомым. Только он не на Колыме, а совсем в другом месте.

Моя знакомая позвонила мне. Я отказался продолжать разговор. Это ошибка. К тому же по пьесе герой врач, а Кипреев — инженер-физик.

— Вот именно, инженер-физик.

Я оделся и поехал к новой жилице коммунальной квартиры.

Очень хитрые узоры плетет судьба. А почему? Почему понадобилось столько совпадений, чтобы воля судьбы сказалась так убедительно? Мы мало ищем друг друга, и судьба берет наши жизни в свои руки.

Инженер Кипреев остался в живых и живет на Севере. Освободился еще десять лет назад. Был увезен в Москву и работал в закрытых лагерях. После освобождения вернулся на Север. Хочет работать на Севере до пенсии.

Я повидался с инженером Кипреевым.

— Ученым я уже не буду. Рядовой инженер — так. Вернуться бесправным, отставшим — все мои сослуживцы, сокурсники давно лауреаты.

— Что за чушь.

— Нет, не чушь. Мне легче дышится на Севере. До пенсии будет легче дышаться.

<1967>

БОЛЬ

Это странная история, такая странная, что и понять ее нельзя тому, кто не был в лагере, кто не знает темных глубин уголовного мира, блатного царства. Лагерь — это дно жизни. Преступный мир — это не дно дна. Это совсем, совсем другое, нечеловеческое.

Есть банальная фраза: история повторяется дважды — первый раз как трагедия, второй раз как фарс.

Нет. Есть еще третье отражение тех же событий, того же сюжета, отражение в вогнутом зеркале подземного мира. Сюжет невообразим и все же реален, существует взаправду, живет рядом с нами.

В этом вогнутом зеркале чувств и поступков отражаются вполне реальные виселицы на приисковых «правилках», «судах чести» блатарей. Здесь играют в войну, повторяют спектакли войны и льется живая кровь.

Есть мир высших сил, мир гомеровских богов, спускающихся к нам, чтобы показать себя и своим примером улучшить человеческую породу. Правда, боги опаздывают. Гомер хвалил ахеян, а мы восхищаемся Гектором — нравственный климат немножко изменился. Иногда боги зовут людей на небо, чтобы сделать человека «высоких зрелищ» зрителем. Все это разгадано поэтом давно. Есть мир и подземный ад, откуда люди иногда возвращаются, не исчезают навсегда. Зачем они возвращаются? Сердце этих людей наполнено вечной тревогой, вечным ужасом темного мира, отнюдь не загробного.

Этот мир реальней, чем гомеровские небеса.

Шелгунов «тормозился» на пересылке во Владивостоке — оборванный, грязный, голодный, недобитый конвоем отказчик от работы. Надо было жить, а на ко-

раблях, как на тележках для газовых печей Освенцима, везли и везли за море пароход за пароходом, этап за этапом. За морем, откуда не возвращался никто, Шелгунов уже побывал в прошлом году в прибольничной долине смерти и дождался обратной отправки на материк — на золото шелгуновские кости не брали.

Сейчас опасность опять приближалась, вся зыбкость арестантского жития ощущалась Шелгуновым все явственней. И не было выхода из этой зыбкости, из этой ненадежности.

Пересылка — огромный поселок, перерезанный в разных направлениях правильными квадратами зон, опутанный проволокой и простреливаемый с сотни караульных вышек, освещенный, просвеченный тысячей юпитеров, слепящих слабые арестантские глаза.

Нары этой огромной пересылки — ворот на Колыму — то внезапно пустели, а то вновь наполнялись измученными грязными людьми — новыми этапами с воли.

Пароходы возвращались, пересылка отрыгала новую порцию людей, пустела и вновь наполнялась.

В зоне, где жил Шелгунов, — самой большой зоне пересылки, — очищались все бараки, кроме девятого. В девятом жили блатари. Там гулял сам Король — главарь. Надзиратели туда не показывались, лагерная обслуга каждый день подбирала у крыльца трупы качавших права с Королем.

В этот барак повара тащили с кухни свои лучшие блюда и лучшие вещи — тряпки всех этапов непременно игрались в девятом, королевском, бараке.

Шелгунов, прямой потомок землевольцев Шелгуновых, отец которого был на воле академиком, а мать — профессором, с детских лет жил книгами и для книг; книголюб и книгочей, он всосал русскую культуру с молоком матери. Девятнадцатый век, золотой век человечества, формировал Шелгунова.

Делись знанием. Верь людям, люби людей — так учила великая русская литература, и Шелгунов давно чувствовал в себе силы возвратить обществу полученное по наследству. Жертвовать собой — для любого. Восставать против неправды, как бы мелка она ни была, особенно если неправда близко.

Тюрьма и ссылка были первым ответом государства на попытки Шелгунова жить так, как его учили книги, как учил девятнадцатый век.

Шелгунов был поражен низостью людей, которые окружали его. В лагере не было героев. Шелгунов не хотел верить, что девятнадцатый век обманул его. Глубокое разочарование в людях во время следствия, этапа, транзитки вдруг сменилось прежней бодростью, прежней восторженностью. Шелгунов искал и встретил то, что он хотел, то, о чем он мечтал, — живые примеры. Он встретил силу, о которой много читал раньше и вера в которую вошла в кровь Шелгунова. Это был блатной, преступный мир.

Начальство, которое топтало, било, презирало соседей и друзей Шелгунова и самого Шелгунова, боялось и благоговело перед уголовниками.

Вот мир, который смело поставил себя против государства, мир, который может помочь Шелгунову в его слепой романтической жажде добра, жажде мщения...

— У вас тут нет романиста?

Кто-то переобувался, поставив ногу на нары. По галстуку, носкам в мире, где много лет существовали только портянки, Шелгунов безошибочно определил — из девятого барака.

— Есть один. Эй, писатель!

— Здесь писатель!

Шелгунов вывернулся из темноты.

— Пойдем-ка к Королю — тиснешь чего-нибудь.

— Я не пойду.

— Как же это ты не пойдешь? До вечера не доживешь, дурачок!

Художественная литература хорошо подготовила Шелгунова к встрече с преступным миром. Благоговея, Шелгунов переступил порог девятого барака. Все его нервы, вся его тяга к добру были напряжены, звенели, как струны. Шелгунов должен был добиться успеха, завоевать внимание, доверие, любовь высокого слушателя — хозяина тут, Короля. И Шелгунов успеха добился. Все его злоключения кончились в тот самый миг, когда сухие губы Короля раздвинулись в улыбке.

Что Шелгунов «тискал» — дай бог памяти! С беспроигрышной карты — «Графа Монте-Кристо» — Шелгунов и ходить не захотел. Нет. Хроники Стендаля и автобиографию Челлини, кровавые легенды итальянского средневековья воскресил перед Королем Шелгунов.

— Молодчик, молодчик! — хрипел Король. — Хорошо похавали культуры.

Ни о какой лагерной работе для Шелгунова не могло быть и речи с этого вечера. Ему принесли обед, табак, а

на следующий день перевели в девятый барак на постоянную прописку, если такая прописка бывает в лагере.

Шелгунов стал придворным романистом.

— Что невесел, романист?

— О доме думаю, о жене...

— Ну...

— Да вот, следствие, этап, пересылка. Ведь переписываться не дают, пока на золото не привезут.

— Эх ты, олень. А мы на что? Пиши своей красотке, и мы отправим — без почтовых ящиков, на нашей железной дороге. А, романист?

— Да я вам век буду служить.

— Пиши.

И раз в неделю Шелгунов стал отправлять письма в Москву.

Жена Шелгунова была артистка, московская артистка из генеральской семьи.

Когда-то в час ареста они обнялись.

«Пусть год или два не будет писем. Я буду ждать, я буду с тобой всегда».

«Письма придут раньше, — уверенно, по-мужски, успокаивал жену Шелгунов. — Я найду свои каналы. И по этим каналам ты будешь мои письма получать. И отвечать на них».

«Да! Да! Да!»

— Звать ли романиста? Не надоел ли? — заботливо спросил своего шефа Коля Карзубый. — Не привести ли Петюнчика из нового этапа?.. Можно из наших, а можно из пятьдесят восьмой.

«Петюнчиками» блатные называли педерастов.

— Нет. Зови романиста. Культуры мы похавали, правда, достаточно. Но все это — романы, теория. Мы с этим фраером еще в одну игру играем. Времени у нас предостаточно.

. . . .

— Мечта моя, романист, — сказал Король, когда все обряды отхода ко сну были выполнены: и пятки почесаны, и крест надет на шею, и на спину поставлены тюремные «банки» — щипки с подсечкой, — мечта моя, романист, чтобы мне письма с воли такая баба писала, как твоя. Хороша! — Король повертел в руках изломанную, истертую фотографию Марины, жены Шелгунова, пронесенную Шелгуновым через тысячи обысков, дезинфекций и краж. — Хороша! Для сеанса годится. Ге-

неральская дочь! Артистка! Счастливые вы, фраера, а у нас одни сифилюги. А на триппер и внимание не обращаешь. Ну, кимаем. Уже сон снится.

И на следующий вечер романист не тискал романов.

— Чем-то ты мне по душе, фраер. Олень и олень, а есть капля жульнической крови в тебе. Напиши-ка письмо жене товарища моего, человека, одним словом. Ты писатель. Понежней да поумней, если ты столько романов знаешь. Небось ни одна не устоит против твоего письма. А мы что — темный народ. Пиши. Человек перепишет и отправит. У вас даже имя одинаковое — Александр. Вот смехота. Правда, у него Александр только по этому делу, по которому идет. Но ведь все равно Александр. Шура, значит, Шурочка.

— Никогда таких писем не писал, — сказал Шелгунов. — Но попробовать могу.

Каждое письмо, смысл письма Король рассказывал устно, а Шелгунов-Сирано замыслы Короля обращал в жизнь.

Пятьдесят таких писем написал Шелгунов.

В одном было: «Я во всем признался, прошу советскую власть простить меня...»

— Разве уркачи, то есть блатные, — невольно прерывая письмо, спросил Шелгунов, — просят о прощении?

— А как же? — сказал Король. — Эта ксива — кукла, маскировка, туфта. Военная хитрость.

Больше Шелгунов не спрашивал, а покорно писал все, что ему диктовал Король.

Шелгунов перечитывал письма вслух, исправлял стиль, гордился силой своего непотухшего мозга. Король одобрял, чуть раздвигая губы в своей королевской улыбке.

Все кончается. Кончилось и писание писем для Короля. А может быть, была важная причина, шел слух, лагерная «параша», что Короля отправят-таки в этап на Колыму, куда он отправил, убивая и обманывая, стольких. Сонного, значит, схватят, свяжут руки и ноги и — на пароход. Пора было кончать переписку, и так уж чуть не год Шелгунов-Сирано говорил слова любви Роксане голосом Кристиана. Но надо кончать игру по-блатному, чтоб живая кровь выступила...

Кровь запеклась на виске человека, труп которого лежал перед очами Короля.

Шелгунов хотел закрыть лицо, укоризненно глядящие глаза.

— Ты видишь, кто это? Это и есть твой тезка, Шура, для которого ты письма писал. Его сегодня оперативники заделали начисто, топором отрубили голову. Видно, шел закрытый шарфом! Пиши: «Пишет товарищ вашего Шуры! Шуру вчера расстреляли, и я спешу написать вам, что последними его словами...» Написал? — сказал Король. — Мы перепишем — и лады. Больше не надо писать писем. Это письмо я мог бы и без тебя написать, — улыбнулся Король. — Нам дорого образование, писатель. Мы люди темные...

Шелгунов написал похоронное письмо.

Король как в воду глядел — был схвачен ночью и отправлен за море.

А Шелгунов, не найдя связи с домом, потерял и надежды. Он бился в одиночку год, второй, третий — скитался от больницы до работы, негодуя на жену, которая оказалась стервой или трусихой, которая не воспользовалась «верными каналами» связи и забыла его, Шелгунова, и растоптала всякую память о нем.

Но случилось так, что и лагерный ад кончился, и Шелгунов освободился, приехал в Москву.

Мать сказала, что о Марине ничего не знает. Отец умер. Шелгунов разыскал подругу Марины — сослуживицу по театру и вошел в квартиру, где она жила.

Подруга закричала.

— Что случилось? — сказал Шелгунов.

— Ты не умер, Шура?..

— Как умер? Когда я здесь стою!

— Вечно жить будете, — вывернулся из соседней комнаты человек. — Такая примета.

— Вечно жить — это, пожалуй, не нужно, — тихо выговорил Шелгунов. — Но в чем дело? Где Марина?

— Марина умерла. После того как тебя расстреляли, она бросилась под поезд. Только не там, где Анна Каренина, а в Расторгуеве. Положила голову под колеса. Голову ровно, чисто отрезало. Ты ведь признался во всем, а Марина не хотела слушать, верила в тебя.

— Признался?

— Да ты сам написал. А о том, что тебя расстреляли, написал твой товарищ. Да вот ее сундучок

В сундучке были все пятьдесят писем, которые Шелгунов написал Марине по своим каналам из Владивостока. Каналы работали отлично, но не для фраеров.

Шелгунов сжег свои письма, убившие Марину. Но где же письма Марины, где фотография Марины, по-

сланная во Владивосток? Шелгунов представил Короля, читающего письма любви. Представил, как это фото служит Королю «для сеанса». И Шелгунов заплакал. Потом он плакал каждый день, всю жизнь.

Шелгунов бросился к матери, чтоб найти хоть что-нибудь, хоть строчку, написанную рукой Марины. Пусть не ему. Такие письма нашлись, два истертых письма, и Шелгунов выучил эти письма наизусть.

Генеральская дочь, артистка, пишет письма блатарю. В блатном языке есть слово «хлестаться» — это значит хвалиться, и пришло это слово в блатную феню из большой литературы. Хлестаться — значит быть Хлестаковым, Королю было чем похлестаться: этот фраер — романист. Умора. Милый Шура. Вот как надо писать письма, ты, сука позорная, двух слов связать не могла... Король читал отрывки из своего собственного романа Зое Талитовой — проститутке.

«У меня нет образования». — «Нет образования. Учитесь, твари, как жить».

Все это легко видел Шелгунов, стоя в темном московском подъезде. Сцена Сирано, Кристиана и Роксаны, разыгранная в девятом кругу ада, почти что на льду Дальнего Севера. Шелгунов поверил блатарям, и они заставили его убить свою жену собственными руками.

Два письма истлели, но чернила не выгорели, бумага не превратилась в прах.

Каждый день Шелгунов читал эти письма. Как их хранить вечно? Каким клеем замазывать щели, трещины в этих темных листочках почтовой бумаги, белой когда-то. Только не жидким стеклом. Жидкое стекло сожжет, уничтожит.

Но все же — письма можно склеить так, что они будут жить вечно. Любой архивист знает этот способ, особенно архивист литературного музея. Надо заставить письма говорить — вот и все.

Милое женское лицо укрепилось на стекле рядом с русской иконой двенадцатого века, чуть повыше иконы — Богородицы-троеручицы. Женское лицо — фотография Марины здесь была вполне уместной — превосходило икону... Чем Марина не богородица, чем не святая? Чем? Почему столько женщин — святые, равноапостольные, великомученицы, а Марина — только актриса, актриса, положившая голову под поезд? Или православная религия не принимает в ангельский чин самоубийц? Фотография пряталась среди икон и сама была иконой.

Иногда ночами Шелгунов просыпался и, не зажигая света, ощупывал, искал на столе фотографию Марины. Отмороженные в лагере пальцы не могли отличить иконы от фотографии, дерева от картона.

А может быть, Шелгунов был просто пьян. Пил Шелгунов каждый день. Конечно, водка — вред, алкоголь — яд, а антабус — благо. Но что делать, если на столе икона Марины.

. . . .

— А ты помнишь этого фраера, этого романиста, писателя, Генка? А? Или уже забыл давно? — спрашивал Король, когда пришло время отхода ко сну и все обряды были выполнены.

— Отчего же забыл? Помню. Это был еще тот лох, тот осел! — И Генка помахал растопыренными пальцами руки над своим правым ухом.

1967

БЕЗЫМЯННАЯ КОШКА

Кошка не успела выскочить на улицу, и шофер Миша поймал ее в сенях. Взяв старый забурник — короткий стальной лом, Миша сломал кошке позвоночник и ребра. Ухватив кошку за хвост, шофер открыл ногой дверь и выбросил кошку на улицу в снег, в ночь, в пятидесятиградусный мороз. Кошка была Кругляка, секретаря партийной организации больницы. Кругляк занимал целую квартиру в двухэтажном доме на вольном поселке и в комнате, расположенной над Мишиной, держал поросенка. Штукатурка на Мишином потолке сырела, вспухала, темнела, а вчера обрушилась, и навоз потек с потолка на голову шофера. Миша пошел объясняться к соседу, но Кругляк выгнал шофера. Миша был незлой человек, но обида была велика, и когда кошка попалась Мише под руку...

Вверху, в квартире Кругляка, молчали — на визг, на стон, на крики кошки о помощи не вышел никто. Да и о помощи ли кричала кошка? Кошка не верила, что люди могут ей прийти на помощь — Кругляк ли, шофер ли, все равно.

Очнувшись в снегу, кошка выползла из сугроба на ледяную, блестящую в лунном свете дорожку. Я проходил

мимо и взял кошку с собой в больницу, в арестантскую больницу. Нам не разрешали держать кошек в палате — хоть крыс была бездна, и никакой стрихнин, никакой мышьяк не мог помочь, не говоря уже о крысоловках, о капканах. Мышьяк и стрихнин хранились за семью замками и предназначались не для крыс. Я умолил фельдшера нервно-психиатрического отделения взять эту кошку к психам. Там кошка ожила и окрепла. Отмороженный хвост отпал, осталась культя, лапка была сломана, ребра сломаны. Но сердце было цело, кости срослись. Через два месяца кошка уже сражалась с крысами и очистила от крыс нервно-психиатрическое отделение больницы.

Покровителем кошки стал Лёнечка — симулянт, которого и разоблачать-то было лень, — ничтожество, которое спасалось всю войну по непонятному капризу доктора — покровителя блатных, которого каждый рецидивист приводил в трепет, не в трепет страха, а в трепет восхищения, уважения, благоговения. «Большой вор», — говорил почтенный доктор о своих пациентах — симулянтах явных. Не то что у врача была «коммерческая» цель — взятки, поборы. Нет. Просто у доктора не хватало энергии на инициативу добра, и потому им командовали воры. Истинные же больные не умели попасть в больницу, не умели даже попасться на глаза доктору. Кроме того — где грань между истинной и мнимой болезнью, особенно в лагере. Симулянт, аггравант, истинно страдающий больной мало отличаются друг от друга. Истинно больному надо быть симулянтом, чтобы попасть на больничную койку.

Но кошке каприз этих психов сохранил жизнь. Вскоре кошка загуляла, окотилась. Жизнь есть жизнь.

А потом в отделение пришли блатные, убили кошку и двух котят, сварили в котелке, и моему приятелю, дежурному фельдшеру, дали котелок мясного супу — за молчание и в знак дружбы. Фельдшер спас для меня котенка, третьего котенка, серенького такого, имени которого я не знаю: боялся назвать, окрестить, чтоб не накликать несчастья.

Я уезжал тогда на участок свой таежный и вез за пазухой котенка, дочь этой безымянной калеки-кошки, съеденной блатными. В амбулатории своей я накормил кошку, сделал ей катушку — игрушку, поставил банку с водой. Беда была в том, что у меня разъездная работа.

Запирать кошку на несколько дней в амбулатории было нельзя. Кошку надо было отдать кому-то, чья ла-

герная должность позволяет кормить другого, человека или зверя — все равно. Десятник? Десятник ненавидел животных. Конвоиры? В помещении охраны держали только собак, овчарок, и обречь котенка на вечные мучения, на ежедневные издевательства, травлю, пинки...

Я отдал котенка лагерному повару Володе Буянову. Володя был раздатчиком пищи в больнице, где я работал раньше. В супе больных, в котле, в баке была Володей обнаружена мышь, разваренная мышь. Володя поднял шум, хотя шум был невелик и напрасен, ибо ни один больной не отказался бы от лишней миски этого супа с мышью. Кончилась история тем, что Володю обвинили в том, что он с целью и так далее. Заведующая кухней была вольнонаемная, договорница, и Володю сняли с работы и послали в лес на заготовку дров. Там я и работал фельдшером. Месть заведующей кухней настигла Володю и в лесу. Должность повара — завидная должность. На Володю писали, за ним следили добровольцы днем и ночью. Каждый знает, что не попадет на эту должность, и все же доносит, следит, разоблачает. В конце концов Володю сняли с работы, и он принес котенка мне назад.

Я отдал кошку перевозчику.

Речка, или, как говорят на Колыме, «ключ» Дусканья, по берегам которого шли наши лесозаготовки, был, как и все колымские реки, речки и ручьи, ширины неопределенной, нестойкой, зависящей от воды, а вода зависела от дождей, от снега, от солнца. Как бы ключ ни пересыхал летом, необходим был перевоз, лодка для переправы людей с берега на берег.

У ручья стояла избушка, в ней жил перевозчик, он же рыбак.

Больничные должности, достающиеся «по блату», не всегда легки. Обычно эти люди выполняли три работы вместо одной, а для больных, числящихся на койке, «на истории болезни», дело обстоит еще сложнее, еще тоньше.

Перевозчик выбран был такой, чтобы ловил рыбу начальству. Свежую рыбу к столу начальника больницы. В ключе Дусканья рыба есть — мало, но есть. Для начальника больницы лично ловил рыбу этот перевозчик весьма старательно. Ежедневно вечером больничный шофер-дрововоз брал у рыбака темный мокрый мешок, набитый рыбой и мокрой травой, закатывал мешок в кабину и машина уходила в больницу. Утром шофер привозил рыбаку пустой мешок.

Если рыбы было много, начальник, отобрав лучших себе, вызывал главврача и других пониже рангом.

Рыбаку даже махорки начальство никогда не давало, считая, что должность рыбака должна цениться тем, кто «на истории», то есть на истории болезни.

Доверенные люди — бригадиры, конторщики добровольно следили, чтобы рыбак не продал рыбу за спиной начальника. И опять все писали, разоблачали, доносили.

Рыбак был старый лагерник, он хорошо понимал, что первая неудача — и он загудит на прииск. Но неудач не было.

Хариусы, ленки, омули ходили в тени под скалой вдоль светлого стрежня речки, вдоль потока, вдоль быстрого теченья, забираясь в темноту, где поглубже, спокойней и безопасней.

Но здесь же стоял челнок рыбака, и удочки свисали с носа, дразня хариусов. И кошка сидела, каменная, как рыбак, поглядывая за поплавками.

И казалось, именно она раскинула над рекой эти удочки, эти приманки. Кошка привыкла к рыбаку быстро.

Сброшенная с лодки, кошка легко и неохотно приплывала к берегу, к дому. Учить плавать ее было не надо. Но кошка не выучилась сама приплывать к рыбаку, когда его лодка была поставлена на двух шестах поперек течения и рыбак удил рыбу. Кошка терпеливо ждала возвращения хозяина на берегу.

Через речку, а то и вдоль берега в ямах, поперек котловин и промоин рыбак натягивал переметы — веревку с крюками, с наживкой-малявками. Так ловилась рыба покрупнее. Позднее рыбак перегородил один из рукавов речки камнями, оставив четыре протока, и загородил протоки вершами, которые сам рыбак и сплел из тальника. Кошка внимательно смотрела на эту работу. Верши ставились загодя, чтобы, когда начнется осенний ход рыбы, не упустить своего.

До осени было еще далеко, но рыбак понимал, что осенний ход рыбы — последняя его рыбацкая работа в больнице. Рыбака пошлют на прииск. Правда, некоторое время рыбак может собирать ягоды, грибы. Лишнюю неделю протянет, и то хорошо. Кошка же собирать ягоды и грибы не умела.

Но осень придет еще не завтра и не послезавтра. Пока кошка ловила рыбу — лапкой в мелководье, креп-

ко упираясь в гравий береговой. Эта охота была мало удачной, зато рыбак отдавал кошке все остатки рыбы.

После каждого улова, каждого рыбацкого дня рыбак разбирал добычу: что покрупнее — начальнику больницы, в особый тайник в тальнике, в воде. Рыбу среднего размера — для начальства поменьше, каждый хочет свежей рыбы. Еще мельче — для себя и кошки.

Бойцы нашей «командировки» переезжали на новое место и оставили у рыбака щенка месяцев трех, с тем чтобы взять его после. Бойцы хотели продать щенка кому-нибудь из начальства, но на примете желающих не было или не сошлись в цене — только за щенком никто не приезжал до самой глубокой осени.

Щенок легко вошел в рыбачью семью, подружился с кошкой, которая была постарше — не годами, а житейской мудростью. Щенка кошка нисколько не боялась и первое шутливое нападение встретила когтями, безмолвно исцарапав морду щенка. Потом они помирились и подружились.

Кошка учила щенка охоте. К этому у нее были все основания. Месяца два назад, когда кошка жила еще у повара, убили медведя, содрали с него шкуру, и кошка бросилась на медведя, торжествуя, вонзая когти в сырую красную медвежью тушу. Щенок же завизжал и спрятался под койку в бараке.

Эта кошка никогда не охотилась с матерью. Никто не учил ее мастерству. Я выпоил молоком котенка, уцелевшего после смерти матери. И вот — это была боевая кошка, знавшая все, что полагается кошке знать.

Еще у повара крошечный котенок поймал мышь, первую мышь. Земляные мыши на Колыме крупные, чуть мельче котенка. Котенок задушил врага. Кто учил его этой злобе, этой вражде? Сытый котенок, живущий на кухне.

Часами кошка сидела около норы земляной мыши, и щенок замирал, как кошка, подражая ей в каждом движении, ждал результатов охоты, прыжка.

Кошка делилась с щенком, как с котенком, бросала ему пойманную мышь, и щенок рычал, учился ловить мышей.

Сама кошка ничему не училась. Она все знала с рождения. Сколько раз я видел, как являлось это чувство охотничье — не только чувство, но знание и мастерство.

Когда кошка подстерегала птиц, щенок в крайнем волнении замирал, ожидая прыжка, удара.

Мышей и птиц было много. И кошка не ленилась.

Кошка очень сдружилась со щенком. Вместе они изобрели одну игру, о которой много говорил мне рыбак, но я и сам видел эту игру три или четыре раза.

Перед рыбацкой избушкой была большая поляна, и в середине поляны толстый пень лиственницы метра три в высоту. Игра начиналась с того, что щенок и кошка носились по тайге и выгоняли на эту поляну полосатых бурундуков — земляных белок, маленьких крупноглазых зверьков, — одного за другим. Щенок бегал кругами, стараясь поймать бурундука, и бурундук спасался, легко спасался, поднимался на пень и ждал, пока зазевается щенок, чтоб спрыгнуть и исчезнуть в тайге. Щенок бегал кругами, чтобы видеть поляну, видеть пень и бурундука на вершине пня.

По траве к пню подбегала кошка, поднималась за бурундуком. Бурундук прыгал и попадал в зубы щенка. Кошка спрыгивала с дерева, и щенок выпускал добычу. Кошка осматривала мертвого зверька и лапой подвигала бурундука щенку.

Я часто ездил тогда этой дорогой, кипятил в избе перевозчика «чифирь», ел, спал перед дальней пешей таежной дорогой — двадцать километров надо было мне пройти, чтобы добраться до дома, до амбулатории.

Я смотрел на кошку, щенка, рыбака, на их веселую возню друг с другом и всякий раз думал о неумолимости осени, о непрочности этого малого счастья и о праве каждого на эту непрочность: зверя, человека, птицы. Осень их разлучит, думал. Но разлука пришла раньше осени. Рыбак ездил за продуктами в лагерь, а когда вернулся — кошки не было дома. Рыбак искал ее две ночи, поднимался высоко вверх по ручью, осмотрел все свои капканы, все ловушки, кричал, звал именем, которого кошка не имела, не знала.

Щенок был дома, но ничего не мог рассказать. Щенок выл, звал кошку.

Но кошка не пришла.

<1967>

ЧУЖОЙ ХЛЕБ

Это был чужой хлеб, хлеб моего товарища. Товарищ верил только мне, он ушел работать в дневную смену, а хлеб остался у меня в маленьком русском деревянном

баульчике. Сейчас таких баульчиков не делают, а в двадцатых годах московские красотки щеголяли ими — такими спортивными чемоданчиками «крокодиловой» кожи из дерматина. В баульчике был хлеб, пайка хлеба. Если встряхнуть коробку рукой, хлеб перевалится внутри коробки. Баул лежал у меня под головой. Я долго не спал. Голодный человек плохо спит. Но я не спал именно потому, что в головах у меня был хлеб, чужой хлеб, хлеб моего товарища. Я сел на койке... Мне казалось, что все смотрят на меня, что все знают, что я собираюсь сделать. Но дневальный у окна ставил заплату на что-то. Другой человек, чьей фамилии я не знаю, тоже, как и я, работал в ночной смене и лежал сейчас на чужом месте в середине барака, ногами к теплой железной печке. Ко мне это тепло не доходило. Человек этот лежал на спине, вверх лицом. Я подошел к нему — глаза его были закрыты. Я взглянул на верхние нары — там, в углу барака, кто-то спал или лежал, укрывшись ворохом тряпья. Я снова лег на свое место, решившись твердо заснуть Я досчитал до тысячи и снова встал. Я открыл баул и вынул хлеб. Это была пайка-трехсотка, холодная, как кусок дерева. Я поднес ее к носу, и ноздри тайно уловили чуть заметный запах хлеба. Я положил кусок обратно в баул и снова его вынул. Я перевернул коробку и высыпал на ладонь несколько хлебных крошек. Я слизнул их языком, сейчас же рот наполнился слюной, и крошки растаяли. Я больше не колебался. Я отщипнул три кусочка хлеба, маленьких, с ноготь мизинца, положил хлеб в баул и лег. Я отщипывал и сосал крошки хлеба. И я заснул, гордый тем, что я не украл хлеб товарища.

<1967>

КРАЖА

Шел снег, и небо было серым, и земля была серая, и цепочка людей, перебиравшихся с одного снегового холма на другой, растянулась по всему горизонту. Потом пришлось долго ждать, пока бригадир выстроит всю свою бригаду, как будто за холмом снега скрывается какой-нибудь генерал.

Бригада выстроилась попарно и свернула с тропинки, с кратчайшего пути домой, в барак, — на другую, кон-

ную, дорогу. Недавно прошел здесь трактор, снег еще не успел засыпать его следы, похожие на отпечатки лап какого-то доисторического зверя. Идти было гораздо хуже, чем по тропке, все спешили, поминутно кто-нибудь оступался и, отстав, торопливо вытаскивал полные снега ватные бурки и бежал догонять товарищей. Вдруг за поворотом около большого сугроба показалась черная фигура человека в огромном белом тулупе. Только подойдя ближе, я увидел, что сугроб — это невысокий штабель из мешков муки. Должно быть, машина здесь увязла, сгрузилась, и трактор ее увел порожняком.

Бригада шла прямо на сторожа, мимо штабеля быстрым шагом. Потом шаг бригады немного замедлился, ряды ее сломались. Оступаясь в темноте, рабочие выбрались наконец на свет большой электрической лампы, висевшей в воротах лагеря.

Бригада выстроилась перед воротами торопливо и неровно, жалуясь на мороз и усталость. Вышел надзиратель, отпер ворота и впустил людей в зону. Люди и внутри лагеря до самого барака продолжали идти строем, а я все еще ничего не понимал.

И только под утро, когда стали раздавать муку из мешка, черпая котелком вместо мерки, я понял, что впервые в жизни участвовал в краже.

Большого волнения это у меня не вызвало: некогда было об этом всем подумать, надо было варить свою долю любым способом, доступным нам тогда, — галушки, затируха, знаменитые «рванцы» или просто ржаные лепешки, блины или блинчики.

<1967>

ГОРОД НА ГОРЕ

В этот город на горе второй и последний раз в жизни меня привезли летом сорок пятого года. Из этого города меня привезли на суд в трибунал два года тому назад, дали десять лет, и я скитался по витаминным, обещающим смерть, командировкам, щипал стланик, лежал в больнице, снова работал на командировках и с участка «Ключ Алмазный», где условия были невыносимы, — бежал, был задержан и отдан под следствие. Новый срок мой только что начинался — следователь рассудил, что выгоды государству будет не много от нового

следствия, нового приговора, нового начала срока, нового счисления времени арестантской жизни. Меморандум говорил о штрафном прииске, о спецзоне, где я должен находиться отныне и до скончания века. Но я не хотел сказать: аминь.

В лагерях существует правило — не посылать, не «этапировать» вновь судимых заключенных на те прииски, где они раньше работали. В этом есть великий практический смысл. Государство обеспечивает жизнь своим сексотам, своим стукачам, клятвопреступникам и лжесвидетелям. Это — их правовой минимум.

Но со мной поступили иначе — и не только из-за лени следователя. Нет, герои очных ставок, свидетели моего прошлого дела уже были увезены из спецзоны. И бригадира Нестеренко, и заместителя бригадира десятника Кривицкого, и журналиста Заславского, и неизвестного мне Шайлевича уже не было на Джелгале. Их, как исправившихся, доказавших преданность, уже увезли из спецзоны. Стало быть, стукачам и лжесвидетелям государство честно платило за их работу. Моя кровь, мой новый срок были этой ценой, этой платой.

На допрос меня больше не вызывали, и я сидел не без удовольствия в туго набитой следственной камере Северного управления. Что со мной сделают, я не знал, будет ли мой побег сочтен самовольной отлучкой — проступком неизмеримо меньше, чем побег?

Недели через три меня вызвали и отвели в пересыльную камеру, где у окна сидел человек в плаще, в хороших сапогах, в крепкой, почти новой телогрейке. Меня он «срисовал», как говорят блатные, сразу понял, что я самый обыкновенный доходяга, не имеющий доступа в мир моего соседа. И я «срисовал» его тоже: как-никак, а я был не просто «фраер», а «битый фраер». Передо мной был один из блатарей, которого, рассудил я, везут куда-то вместе со мной.

Везли нас в спецзону, на знакомую мне Джелгалу.

Через час двери камеры нашей раскрылись.

— Кто Иван Грек?

— Это — я.

— Тебе передача. — Боец вручил Ивану сверток, и блатарь неторопливо положил сверток на нары.

— Скоро, что ли?

— Машину подают.

Через несколько часов, газуя, пыхтя, машина доползла до Джелгалы, до вахты.

Лагерный староста вышел вперед и просмотрел наши документы — Ивана Грека и мои.

Это была та самая зона, где шли разводы «без последнего», где овчарки выгоняли на моих глазах всех поголовно, здоровых и больных, к вахте, где развод на работы строился за вахтой, у ворот зоны, откуда шла крутая дорога вниз, летящая дорога сквозь тайгу. Лагерь стоял на горе, а работы велись внизу, и это доказывало, что нет предела человеческой жестокости. На площадке перед вахтой два надзирателя раскачивали, взяв за руки и за ноги, каждого отказчика и бросали вниз. Арестант катился метров триста, падал, внизу его встречал боец, и, если отказчик не вставал, не шел под тычками, ударами, его привязывали к волокуше, и лошади тащили отказчика на работу — до забоев было не меньше километра. Сцену эту я видел каждодневно, пока не отправили меня с Джелгалы. Сейчас я возвратился.

Не то, что скидывали сверху по горе — так была задумана спецзона, — было самым тяжелым. Не то, что лошадь волокла работягу на работу. Страшен был конец работы — ибо после изнурительного труда на морозе, после целого рабочего дня надо ползти вверх, цепляясь за ветки, за сучья, за пеньки. Ползти, да еще тащить дрова охране. Тащить дрова в самый лагерь, как говорило начальство, «для самих себя».

Джелгала была предприятием серьезным. Разумеется, тут были бригады-стахановцы, вроде бригады Маргаряна, была бригада похуже, вроде нашей, были и блатари. Здесь, как и на всех приисках в ОЛПах первой категории, была вахта с надписью: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Разумеется, тут были доносы, вши, следствия, допросы.

В Джелгалинской санчасти уже не было доктора Мохнача, который, видя меня каждый день на приемах в амбулатории несколько месяцев, по требованию следователя написал в моем присутствии: зэка, имярек, здоров и никогда с жалобами в медчасть Джелгалы не обращался.

А следователь Федоров хохотал и говорил мне: назовите мне десять фамилий из лагерников — любых по вашему выбору. Я пропущу их сквозь свой кабинет, и они все покажут против вас. Это было истинной правдой, и я знал это не хуже Федорова...

Сейчас Федорова на Джелгале не было — перевели в другое место. Да и Мохнача не было.

А кто был в санчасти Джелгалы? Доктор Ямпольский, вольнонаемный, бывший зэка.

Доктор Ямпольский не был даже фельдшером. На прииске «Спокойном», где мы с ним впервые встретились, лечил больных только марганцовкой и йодом, и любой профессор не дал бы прописи, которая отличалась бы от прописи доктора Ямпольского... Высшее начальство, зная, что медикаментов нет, и не требовало многого. Борьба со вшивостью — безнадежная и бесполезная, формальные визы представителей санчасти в актах, общий «надзор» — вот и все, что требовалось от Ямпольского высшим начальством. Парадокс был в том, что, ни за что не отвечая и никого не леча, Ямпольский постепенно копил опыт и ценился не меньше любого колымского врача.

У меня с ним было столкновение особого рода. Главный врач той больницы, где я лежал, прислал письмо Ямпольскому с просьбой помочь мне попасть в больницу. Ямпольский не нашел ничего лучшего, как передать это письмо начальнику лагеря, донести, так сказать. Но Емельянов не понял истинного намерения Ямпольского и, встретив меня, сказал: отправим, отправим. И меня отправили. Сейчас мы встретились снова. На первом же приеме Ямпольский заявил, что освобождать от работы меня не будет, что он разоблачит меня и выведет на чистую воду.

Два года назад я въезжал сюда в черном военном этапе — по списку господина Карякина, начальника участка Аркагалинской шахты. Этап-жертву собирали по спискам по всем управлениям, всем приискам и везли в очередной колымский Освенцим, колымские спецзоны, лагеря уничтожения после тридцать восьмого года, когда вся Колыма была таким лагерем уничтожения.

Два года назад отсюда меня увели на суд — восемнадцать километров тайгой, пустяк для бойцов — они спешили в кино, и совсем не пустяк для человека, просидевшего месяц в слепом, темном карцере на кружке воды и «трехсотке» хлеба.

И карцер я нашел, вернее, след от карцера, ибо давно изолятор, лагерный изолятор был новый — дело росло. Я вспомнил, как заведующий изолятором, боец охраны, боялся выпустить меня мыть посуду на солнце — на проток, не речки, а деревянного желоба с бутары — все равно это было лето, солнце, вода. Заведующий изоля-

тором боялся пускать меня мыть посуду, а мыть самому было не то что лень, а просто позорно для заведующего изолятором. Не по должности. А арестант, сидевший без вывода, был только один — я. Другие штрафники ходили — их-то посуду и надо было мыть. Я и мыл ее охотно — за воздух, за солнце, за супчик. Кто знает, не будь ежедневной прогулки — дошел ли бы я тогда на суд, вытерпел ли все побои, которые мне достались.

Старый изолятор был разобран, и только следы его стен, выгоревшие ямы от печей оставались, и я сел в траву, вспоминая свой суд, свой «процесс».

Груда старых железок, связка, которая легко распалась, и, перебирая железки, я вдруг увидел свой нож, маленькую финку, подаренную мне когда-то больничным фельдшером на дорогу. Нож не очень был мне нужен в лагере — я легко обходился и без ножа. Но каждый лагерник гордится таким имуществом. С обеих сторон лезвия была крестообразная метка напильником. Этот нож отобрали у меня при аресте два года назад. И вот он снова у меня в руках. Я положил нож в груду ржавых железок.

Два года назад я въезжал сюда с Варпаховским — он давно был в Магадане, с Заславским — он давно был в Сусумане, а я? Я приезжаю в спецзону вторично.

Ивана Грека увели.

— Подойди.

Я уже знал, в чем дело. Хлястик на моей телогрейке, отложной воротник на моей телогрейке, бумажный вязаный шарф, широкий полутораметровый шарф, который я тщетно старался скрыть, привлек опытное око лагерного старосты.

— Расстегнись!

Я расстегнулся.

— Сменяем. — Староста показал на шарф.

— Нет.

— Смотри, хорошо дадим.

— Нет.

— Потом будет поздно.

— Нет.

Началась правильная охота за моим шарфом, но я берег его хорошо, привязывал на себя во время бани, никогда не снимал. В шарфе скоро завелись вши, но и эти мученья я был готов перенести, лишь бы сохранить шарф. Иногда ночами я снимал шарф, чтобы отдохнуть от укусов вшей, и видел на свету, как шарф шевелится,

движется. Так много было там вшей. Ночью как-то было невтерпеж, растопили печку, было непривычно жарко, и я снял шарф и положил его рядом с собой на нары. В то же время шарф исчез, и исчез навсегда. Через неделю, выходя на развод и готовясь упасть в руки надзирателей и лететь вниз с горы, — я увидел старосту, стоявшего у ворот вахты. Шея старосты была закутана в мой шарф. Разумеется, шарф был выстиран, прокипячен, обеззаражен. Староста даже не взглянул на меня. Да и я поглядел на свой шарф только один раз. На две недели хватило меня, моей бдительной борьбы. Наверно, хлеба староста заплатил вору меньше, чем дал бы мне в день приезда. Кто знает. Я об этом не думал. Стало даже легко, и укусы на шее стали подживать, и спать я стал лучше.

И все-таки я никогда не забуду этот шарф, которым я владел так мало.

В моей лагерной жизни почти не было безымянных рук, поддержавших в метель, в бурю, спасших мне жизнь безымянных товарищей. Но я помню все куски хлеба, которые я съел из чужих, не казенных рук, все махорочные папиросы. Много раз попадал я в больницу, девять лет жил от больницы до забоя, ни на что не надеясь, но и не пренебрегая ничьей милостыней. Много раз уезжал я из больниц, чтобы на первой же пересылке меня раздели блатари или лагерное начальство.

Спецзона разрослась: вахта, изолятор, простреливаемые с караульных вышек, были новыми. Новыми были и вышки, но столовая была все та же, где в мое время, два года назад, бывший министр Кривицкий и бывший журналист Заславский развлекались на глазах у всех бригад страшным лагерным развлечением. Подбрасывали хлеб, пайку-трехсотку оставляли на столе без присмотра, как ничью, как пайку дурака, который «покинул» свой хлеб, и кто-нибудь из доходяг, полусумасшедший от голода, на эту пайку бросался, хватал ее со стола, уносил в темный угол и цинготными зубами, оставляющими следы крови на хлебе, пытался этот черный хлеб проглотить. Но бывший министр — был он и бывший врач — знал, что голодный не проглотит хлеб мгновенно, зубов у него не хватит, и давал спектаклю развернуться, чтобы не было пути назад, чтобы доказательства были убедительней.

Толпа озверелых работяг набрасывалась на вора, пойманного «на живца». Каждый считал своим долгом

ударить, наказать за преступление, и хоть удары доходяг не могли сломать костей, но душу вышибали.

Это вполне человеческое бессердечие. Черта, которая показывает, как далеко ушел человек от зверя.

Избитый, окровавленный вор-неудачник забивался в угол барака, а бывший министр, заместитель бригадира, произносил перед бригадой оглушительные речи о вреде краж, о священности тюремной пайки.

Все это жило перед моими глазами, и я, глядя на обедающих доходяг, вылизывающих миски классическим, ловким движением языка, и сам вылизывая миску столь же ловко, думал: «Скоро на столе будет появляться хлеб-приманка, хлеб-“живец”. Уже есть, наверное, здесь и бывший министр, и бывший журналист, делодаватели, провокаторы и лжесвидетели». Игра «на живца» была очень в ходу в спецзоне в мое время.

Чем-то это бессердечие напоминало блатарские романы с голодными проститутками (да и проститутками ли?), когда «гонораром» служит пайка хлеба или, вернее, по взаимному условию, сколько из этой пайки женщина успевала съесть, пока они лежали вместе. Все, что она не успевала съесть, блатарь отбирал и уносил с собой.

— Я паечку-то заморожу в снегу заранее и сую ей в рот — много не угрызет мерзлую... Иду обратно — и паечка цела.

Это бессердечие блатарской любви — вне человека. Человек не может придумать себе таких развлечений, может только блатарь.

День за днем я двигался к смерти и ничего не ждал.

Все еще я старался выползти за ворота зоны, выйти на работу. Только не отказ от работы. За три отказа — расстрел. Так было в тридцать восьмом году. А сейчас шел сорок пятый, осень сорок пятого года. Законы были прежние, особенно для спецзон.

Меня еще не бросали надзиратели с горы вниз. Дождавшись взмаха руки конвоира, я бросался к краю ледяной горы и скатывался вниз, тормозясь за ветки, за выступы скал, за льдины. Я успевал встать в ряды и шагать под проклятия всей бригады, потому что я шагал плохо; впрочем, немного хуже, немного тише всех. Но именно эта незначительная разница силы делала меня предметом общей злобы, общей ненависти. Товарищи, кажется, ненавидели меня больше, чем конвой.

Шаркая бурками по снегу, я передвигался к месту работы, а лошадь тащила мимо нас на волокуше очеред-

ную жертву голода, побоев. Мы уступали лошади дорогу и сами ползли туда же — к началу рабочего дня. О конце рабочего дня никто не думал. Конец работы приходил сам собой, и как-то не было важно — придет этот новый вечер, новая ночь, новый день или нет.

Работа была тяжелей день ото дня, и я чувствовал, что нужны какие-то особые меры.

— Гусев. Гусев! Гусев поможет.

Гусев был мой напарник со вчерашнего дня на уборке какого-то нового барака — мусор сжечь, остальное в землю, в подпол, в вечную мерзлоту.

Я знал Гусева. Мы встречались на прииске года два назад, и именно Гусев помог найти украденную у меня посылку, указал, кого нужно бить, и того били всем бараком, и посылка нашлась. Я дал тогда Гусеву кусок сахару, горсть компоту — не все же я должен был отдать за находку, за донос. Гусеву я могу довериться.

Я нашел выход: сломать руку. Я бил коротким ломом по своей левой руке, но ничего, кроме синяков, не получилось. Не то сила у меня была не та, чтоб сломать человеческую руку, не то внутри какой-то караульщик не давал размахнуться как следует. Пусть размахнется Гусев.

Гусев отказался.

— Я бы мог на тебя донести. По закону разоблачают членовредителей, и ты ухватил бы три года добавки. Но я не стану. Я помню компот. Но браться за лом не проси, я этого не сделаю.

— Почему?

— Потому что ты, когда тебя станут бить у опера, скажешь, что это сделал я.

— Я не скажу.

— Кончен разговор.

Надо было искать какую-то работу еще легче легкого, и я попросил доктора Ямпольского взять меня к себе на строительство больницы. Ямпольский ненавидел меня, но знал, что я работал санитаром раньше.

Работником я оказался неподходящим.

— Что же ты, — говорил Ямпольский, почесывая свою ассирийскую бородку, — не хочешь работать.

— Я не могу.

— Ты говоришь «не могу» мне, врачу.

«Вы ведь не врач», — хотел я сказать, ибо я знал, кто такой Ямпольский. Но «не веришь — прими за сказку». Каждый в лагере — арестант или вольный, все рав-

но, работяга или начальник — тот, за кого он себя выдает... С этим считаются и формально, и по существу.

Конечно, доктор Ямпольский — начальник санчасти, а я — работяга, штрафник, спецзонник.

— Я теперь понял тебя, — говорил злобно доктор. — Я тебя выучу жить.

Я молчал. Сколько людей в моей жизни меня учило жить.

— Завтра я тебе покажу. Завтра ты у меня узнаешь... Но завтра не наступило.

Ночью, вырвавшись вверх по ручью, до нашего города на горе добрались две машины, два грузовика. Рыча и газуя, приползли к воротам зоны и стали сгружаться.

В грузовиках были люди, одетые в иностранную красивую форму.

Это были репатрианты. Из Италии, трудовые части из Италии. Власовцы? Нет. Впрочем, «власовцы» звучало для нас, старых колымчан, оторванных от мира, слишком неясно, а для новеньких — слишком близко и живо. Защитный рефлекс говорил им: молчи! А нам колымская этика не позволяла расспрашивать.

В спецзоне, на прииске Джелгала давно уже поговаривали, что сюда привезут репатриантов. Без срока. Приговора их везут где-то сзади, после. Но люди были живые, живее колымских доходяг.

Для репатриантов это был конец пути, начавшегося в Италии, на митингах. Родина вас зовет, Родина прощает. С русской границы к вагонам был поставлен конвой. Репатрианты прибыли прямо на Колыму, чтобы разлучить меня с доктором Ямпольским, спасти меня от спецзоны.

Ничего, кроме шелкового белья и новенькой военной формы заграничной, у репатриантов не осталось. Золотые часы и костюмы, рубашки репатрианты променяли по дороге на хлеб — и это было у меня, дорога была длинная, и я хорошо эту дорогу знал. От Москвы до Владивостока этап везут сорок пять суток. Потом пароход Владивосток — Магадан — пять суток, потом бесконечные сутки транзиток, и вот конец пути — Джелгала.

На машинах, которые привезли репатриантов, отправили в управление — в неизвестность — пятьдесят человек спецзаключенных. Меня не было в этих списках, но в них попал доктор Ямпольский, и с ним больше я в жизни не встречался.

Увезли старосту, и я в последний раз на его шее увидел шарф, доставивший мне столько мучений и забот. Вши были, конечно, выпарены, уничтожены.

Значит, репатриантов будут зимой раскачивать надзиратели и швырять вниз, а там привязывать к волокуше и волочить в забой на работу. Как кидали нас...

Было начало сентября, начиналась зима колымская...

У репатриантов сделали обыск и привели в трепет всех. Опытные лагерные надзиратели извлекли на свет то, что прошло через десятки обысков на «воле», начиная с Италии, — небольшую бумагу, документ, манифест Власова! Но это известие не произвело ни малейшего впечатления. О Власове, о его РОА мы ничего не слыхали, а тут вдруг манифест.

— А что им за это будет? — спросил кто-то из сушивших возле печки хлеб.

— Да ничего не будет.

Сколько из них было офицеров — я не знаю. Офицеров-власовцев расстреливали; возможно, тут были только рядовые, если помнить о некоторых свойствах русской психологии, натуры.

Года через два после этих событий случилось мне работать фельдшером в японской зоне. Там на любую должность — дневальный, бригадир, санитар — обязательно принимался офицер, и это считалось само собой понятным, хотя пленные офицеры-японцы в больничной зоне формы не носили.

У нас же репатрианты разоблачали, вскрывали по давно известным образцам.

— Вы работаете в санчасти?

— Да, в санчасти.

— Санитаром назначили Малиновского. Позвольте вам доложить, что Малиновский сотрудничал с немцами, работал в канцелярии, в Болонье. Я лично видел.

— Это не мое дело.

— А чье же? К кому же мне обратиться?

— Не знаю.

— Странно. А шелковая рубашка нужна комунибудь?

— Не знаю.

Подошел радостный дневальный, он уезжал, уезжал, уезжал из спецзоны.

— Что, попался, голубчик? В итальянских мундирах в вечную мерзлоту. Так вам и надо. Не служите у немцев!

И тогда новенький сказал тихо:

— Мы хоть Италию видели! А вы?

И дневальный помрачнел, замолчал. Колыма не испугала репатриантов.

— Нам тут все, в общем, нравится. Жить можно. Не понимаю только, почему ваши в столовой никогда не едят хлеба — эту двухсотку или трехсотку — кто как наработал. Ведь тут проценты?

— Да, тут проценты.

— Ест суп и кашу без хлеба, а хлеб почему-то уносит в барак.

Репатриант коснулся случайно самого главного вопроса колымского быта.

Но мне не захотелось отвечать:

«Пройдет две недели, и каждый из вас будет делать то же самое».

<1967>

ЭКЗАМЕН

Я выжил, вышел из колымского ада только потому, что я стал медиком, кончил фельдшерские курсы в лагере, сдал государственный экзамен. Но еще раньше, десятью месяцами раньше, был другой экзамен — приемный, более важный, смысла особого — и для меня, и для моей судьбы. Испытание на разрыв было выдержано. Миска лагерных щей была чем-то вроде амброзии, что ли: в средней школе я не получил сведений о пище богов. По тем же самым причинам, по каким я не знал химической формулы гипса.

Мир, где живут боги и люди, — это единый мир. Есть события, одинаково грозные и для людей, и для богов. Формулы Гомера очень верны. Но в гомеровские времена не было уголовного подземного мира, мира концлагерей. Подземелье Плутона кажется раем, небом по сравнению с этим миром. Но и этот наш мир — только этажом ниже Плутона; люди поднимаются и оттуда на небеса, и боги иногда опускаются, сходят по лестнице — ниже ада.

На эти курсы государство велело принимать «бытовиков», из пятьдесят восьмой статьи только десятый пункт: «агитация» — и никаких других пунктов.

У меня была как раз пятьдесят восемь, пункт десять — я был осужден в войну за заявление, что Бу-

нин — русский классик. Но ведь я был осужден дважды и трижды по статьям, непригодным для полноценного курсанта. Но попробовать стоило: в лагерном учете после акций тридцать седьмого года, да и войны была такая неразбериха, что поставить жизнь на ставку стоило.

Судьба — бюрократка, формалистка. Замечено, что занесенный над головой осужденного меч палача так же трудно остановить, как и руку тюремщика, отмыкающего дверь на свободу. Везенье, рулетка, Монте-Карло, поэтизированный Достоевским символ слепого случая, вдруг оказались научно познаваемой схемой — предметом большой науки. Страстная воля постичь «систему» в казино сделала ее научной, доступной изучению.

Вера в счастье, в удачу — в предел этой удачи доступна ли человеческому пониманию? И чутье, слепая животная воля к выбору — не основано ли на большем, чем случайность? «Пока везет — надо на все соглашаться», — говорил мне лагерный повар. В везенье ли дело? Несчастье неостановимо. Но и счастье неостановимо. Вернее — то, что арестанты называют счастьем, арестантской удачей.

Довериться судьбе при счастливом попутном ветре и повторить в миллионный раз плаванье «Кон-Тики» по человеческим морям?

Или другое — вклиниться в щель клетки — нет клеток без щели! — и выскользнуть назад, в темноту. Или втиснуться в ящик, который везут к морю и где тебе нет места, но пока это разберут, бюрократическая формальность тебя спасет.

Все это — тысячная часть мыслей, которые могли бы, но вовсе не приходили мне тогда в голову.

Приговор был оглушителен. Мой живой вес был уже доведен до нужных для смерти кондиций. Следствие в слепом карцере, без окон и света, под землей. Месяц на кружке воды и трехсотке черного хлеба.

Впрочем, я сидел в карцерах и покрепче. Дорожная командировка на Кадыкчане расположена на месте штрафзоны. Штрафзоны, спецзоны, колымские освенцимы и колымские золотые прииски меняют места, находятся в вечном грозном движении, оставляя после себя братские могилы и карцеры. На дорожной командировке Кадыкчан карцер был вырублен в скале, в вечной мерзлоте. Достаточно было там переночевать — и умереть, простыть до смерти. Восемь килограммов дров не спасут в таком карцере. Карцером этим пользовались

дорожники. У дорожников было свое управление, свои законы бесконвойные — своя практика. После дорожников карцер перешел в лагерь Аркагала, и начальник Кадыкчанского участка, инженер Киселев, тоже получил право сажать «до утра». Первый опыт был неудачен: два человека, два воспаления легких, две смерти.

Третьим был я. «Раздеть, в белье и в карцер до утра». Но я был опытней тех. Печка, которую странно было топить, ибо ледяные стены таяли и потом опять замерзали, лед над головой, под ногами. Пол из накатника давно был сожжен. Я прошагал всю ночь, спрятав в бушлат голову, и отделался отморожением двух пальцев на ногах.

. . . .

Побелевшая кожа, обожженная июньским солнцем до коричневого цвета в два-три часа. Меня судили в июне — крошечная комната в поселке Ягодном, где все сидели притиснутые друг к другу — трибунальщики и конвоиры, обвиняемый и свидетели, — где было трудно понять, кто подсудимый и кто судья.

Оказалось, что вместо смерти приговор принес жизнь. Преступление мое каралось по статье более легкой, чем та, с которой я приехал на Колыму.

Кости мои ныли, раны-язвы не хотели затягиваться. А самое главное, я не знал, смогу ли я учиться. Может быть, рубцы в моем мозгу, нанесенные голодом, побоями и толчками, — навечны, и я до конца жизни обречен лишь рычать, как зверь, над лагерной миской — и думать только о лагерном. Но рискнуть стоило — столько-то клеток мозга сохранилось в моем мозгу, чтобы принять это решение. Звериное решение звериного прыжка, чтобы выбраться в царство человека.

А если меня изобьют и выбросят с порога курсов — вновь в забой, к ненавистной лопате, к кайлу — ну что ж! Я просто останусь зверем — вот и все.

Все это было моим секретом, моей тайной, которую так просто было хранить — достаточно о ней не думать. Я так и делал.

Машина давно съехала с укатанной центральной трассы, дороги смерти, и подпрыгивала на ухабах, ухабах, ухабах, била меня о борта. Куда везла меня машина? Мне было все равно куда — не будет хуже того, что было за моей спиной в эти девять лет лагерных скитаний от забоя до больницы. Колесо лагерной машины

влекло меня к жизни, и жадно хотелось верить, что колесо не остановится никогда.

Да, меня принимают в лагерное отделение, вводят в зону. Дежурный вскрыл пакет и не закричал мне — отойди в сторону! Подожди! Баня, где я бросаю белье — подарок врача — у меня ведь не всегда не было белья в моих приисковых скитаниях. Подарок на дорогу. Новое белье. Здесь, в больничном лагере, другие порядки — здесь белье «обезличено» по старинной лагерной моде. Вместо крепкого бязевого белья мне дают какие-то заплатанные обрывки. Это все равно. Пусть обрывки. Пусть обезличенное белье. Но я радуюсь белью не особенно долго. Если «да», то я еще успею отмыться в следующих банях, а если «нет», то и отмываться не стоит. Нас приводят в бараки, двухнарные бараки вагонной системы. Значит, да, да, да... Но все еще впереди. Все тонет в море слухов. Пятьдесят восемь, шесть — не принимают. После этого объявления одного из нас, Лунёва, увозят, и он исчезает из моей жизни навсегда.

Пятьдесят восемь, один — а! — не принимают. КРТД — ни в коем случае. Это хуже всякой измены родине.

А КРА? КРА — это все равно что пятьдесят восемь, пункт десять. КРА принимают.

А АСА? У кого АСА? «У меня», — сказал человек с бледным и грязным тюремным лицом — тот, с которым мы тряслись вместе в одной машине.

АСА — это все равно что КРА. А КРД? КРД — это, конечно, не КРТД, но и не КРА. На курсы КРД не принимают.

Лучше всего чистая пятьдесят восьмая, пункт десять без всяких там литерных замен.

Пятьдесят восемь — пункт семь — вредительство. Не принимают. Пятьдесят восемь — восемь. Террор. Не принимают.

У меня — пятьдесят восемь. Десятый пункт. Я остаюсь в бараке.

Приемная комиссия фельдшерских курсов при Центральной лагерной больнице допустила меня к испытаниям. Испытания? Да, экзамены. Приемный экзамен. А что вы думали. Курсы — серьезное учреждение, выдающее документы. Курсы должны знать, с кем имеют дело.

Но не пугайтесь. По каждому предмету — русский язык — письменный, математика — письменный и химия — устный экзамен. Три предмета — три зачета. Со

всеми будущими курсантами — больничные врачи, преподаватели курсов, проведут беседы до экзамена. Диктант. Девять лет не разгибалась моя кисть, согнутая навечно по мерке черенка лопаты — и разгибающаяся только с хрустом, только с болью, только в бане, распаренная в теплой воде.

Я разогнул пальцы левой ладонью, вставил ручку, обмакнул перо в чернильницу-непроливайку и дрожащею рукой, холодея от пота, написал этот проклятый диктант. Боже мой!

В двадцать шестом году — двадцать лет назад — последний раз держал я экзамен по русскому языку, поступая в Московский университет. На «вольной» теме я «выдал» двести процентов — был освобожден от устных испытаний. Здесь не было устных испытаний. Тем более! Тем более — внимание: Тургенев или Бабаевский? Это мне было решительно все равно. Нетрудный текст... Проверил запятые, точки. После слова «мастодонт» точка с запятой. Очевидно, Тургенев. У Бабаевского не может быть никаких мастодонтов. Да и точек с запятой тоже.

«Я хотел дать текст Достоевского или Толстого, да испугался, что обвинят в контрреволюционной пропаганде», — рассказывал после мне экзаменатор, фельдшер Борский. Проводить испытания по русскому языку отказались дружно все профессора, все преподаватели, не надеясь на свои знания. Назавтра ответ. Пятерка. Единственная пятерка: итоги диктанта — плачевны.

Собеседования по математике испугали меня. Задачки, которые надо было решить, решались как озарение, наитие, вызывая страшную головную боль. И все же решались.

Эти предварительные собеседования, испугав меня сначала, успокоили. И я жадно ждал последнего экзамена, вернее, последней беседы — по химии. Я не знал химии, но думал, что товарищи расскажут. Но никто не занимался друг с другом, каждый вспоминал свое. Помогать другим в лагере не принято, и я не обижался, а просто ждал судьбы, рассчитывал на беседу с преподавателем. Химию на курсах читал академик Украинской академии наук Бойченко — срок двадцать пять и пять, — Бойченко принимал и экзамены.

В конце дня, когда было объявлено об экзаменах по химии, нам сказали, что никаких предварительных бесед Бойченко вести не будет. Не считает нужным. Разберется на экзамене.

Для меня это было катастрофой. Я никогда не учил химию. В средней школе в Гражданскую войну наш преподаватель химии Соколов был расстрелян. Я долго лежал в эту зимнюю ночь в курсантском бараке, вспоминая Вологду Гражданской войны. Сверху меня лежал Суворов — приехавший на экзамен из такого же дальнего горного управления, как и я, и страдавший недержанием мочи. Мне было лень ругаться. Я боялся, что он предложит переменяться местами — и тогда он жаловался бы на своего верхнего соседа. Я просто отвернул лицо от этих зловонных капель.

Я родился и провел детство в Вологде. Этот северный город — необыкновенный город. Здесь в течение столетий отслаивалась царская ссылка — протестанты, бунтари, критики разные в течение многих поколений создали здесь особый нравственный климат — выше уровнем любого города России. Здесь моральные требования, культурные требования были гораздо выше. Молодежь здесь раньше рвалась к живым примерам жертвенности, самоотдачи.

И всегда я с удивлением думал о том, что Вологда — единственный город в России, где не было никогда ни одного мятежа против советской власти. Такие мятежи потрясали весь Север: Мурманск, Архангельск, Ярославль, Котлас. Северные окраины горели мятежами — вплоть до Чукотки, до Олы, не говоря уж о юге, где каждый город испытывал не однажды смену властей.

И только Вологда, снежная Вологда, ссыльная Вологда — молчала. Я знал почему... Этому было объяснение.

В 1918 году в Вологду приехал начальник Северного фронта М. С. Кедров. Первым его распоряжением по укреплению фронта и тыла был расстрел заложников. Двести человек было расстреляно в Вологде, городе, где население шестнадцать тысяч человек. Котлас, Архангельск — все счет особый.

Кедров был тот самый Шигалев, предсказанный Достоевским.

Акция была настолько необычайной даже по тем кровавым временам, что от Кедрова потребовали объяснений в Москве. Кедров не моргнул глазом. Он выложил на стол ни много ни мало, как личную записку Ленина. Она была опубликована в «Военном историческом журнале» в начале шестидесятых годов, а может быть, чуть раньше. Вот ее приблизительный текст. «Дорогой Миха-

ил Степанович. Вы назначаетесь на важный для республики пост. Прошу вас не проявить слабости. Ленин».

Впоследствии ряд лет в ВЧК–МВД работал Кедров, все время кого-то разоблачая, донося, следя, проверяя, уничтожая врагов революции. В Ежове Кедров видел наиболее ленинского наркома — сталинского наркома. Но Берия, сменивший Ежова, не понравился Кедрову. Кедров организовал слежку за Берией... Результаты наблюдения Кедров решил вручить Сталину. К тому времени подрос сын Кедрова — Игорь, работавший в МВД. Сговорились так, что сын подает рапорт по начальству, — и если его арестуют — отец сообщит Сталину, что Берия — враг. Пути этой связи у Кедрова были очень надежные.

Сын подал рапорт по службе, был арестован и расстрелян. Отец написал письмо Сталину, был арестован и подвергнут допросу, который вел лично Берия. Берия сломал Кедрову позвоночник железной палкой.

Сталин просто показал Берии письмо Кедрова.

Кедров написал второе письмо Сталину о своей сломанной спине, о допросах, которые вел Берия.

После этого Берия застрелил Кедрова в камере. И это письмо Сталин показал Берии. Вместе с первым оно было найдено в личном сейфе Сталина после его смерти.

Об обоих этих письмах, их содержании и обстоятельствах этой переписки «на высшем уровне» рассказал Хрущев на XX съезде совершенно открыто. Все это повторил биограф Кедрова в своей книге о нем.

Вспоминал ли Кедров перед смертью вологодских заложников, расстрелянных им, не знаю.

Наш преподаватель химии Соколов был расстрелян среди этих заложников. Вот почему я никогда не учил химии. Не знал науки господина Бойченко, который не нашел времени для консультации.

Значит, ехать назад, в забой, и так и не быть человеком. Постепенно во мне копилась, стучала в висках старая моя злоба, и я уже ничего не боялся. Должно было что-то случиться. Полоса удач так же неотвратима, как полоса бед, — это знает каждый игрок в карты, в терц, в рамс, в очко... Ставка была очень велика.

Попросить у товарищей учебник? Учебников не было. Попросить рассказать хоть о чем-нибудь химическом. Но разве я имею право отнимать время у моих товарищей? Ругательство — единственный ответ, который я могу получить.

Оставалось собраться, сжаться — и ждать.

Как много раз события высшего порядка повелительно, властно входили в мою жизнь, диктуя, спасая, отталкивая, нанося раны, незаслуженные, неожиданные... Важный мотив моей жизни был связан с этим экзаменом, с этим расстрелом четверть века назад.

Я экзаменовался одним из первых. Улыбающийся Бойченко, в высшей степени расположенный ко мне. В самом деле — перед ним хоть и не академик Украинской академии наук, не доктор химических наук, но грамотный как будто человек, журналист, две пятерки. Правда, одет бедновато, да и исхудал, филон, наверное, симулянт. Бойченко еще не ездил дальше 23-го километра от Магадана, от уровня моря. Это была его первая зима на Колыме. Каков бы лодырь ни стоял перед ним, надо ему помочь.

Книга протоколов — вопросы, ответы — лежала перед Бойченко.

— Ну, с вами, надеюсь, мы не задержимся. Напишите формулу гипса.

— Не знаю.

Бойченко остолбенел. Перед ним был наглец, который не хотел учиться.

— А формулу извести?

— Тоже не знаю.

Мы оба пришли в бешенство. Первым сдержался Бойченко. Под этим ответом крылись какие-то тайны, которые Бойченко не хотел или не умел понимать, но возможно, что к этим тайнам надо отнестись с уважением. Притом его предупреждали. Вот весьма подходящий курсант. Не придирайтесь.

— Я должен по закону задать тебе, — Бойченко уже перешел на «ты», — три вопроса под запись. Два я уже задал. Теперь третий: «Периодическая система элементов Менделеева».

Я помолчал, вызывая в мозг, в гортань, на язык и губы все, что мог знать о периодической системе элементов. Конечно, я знал, что Блок женат на дочери Менделеева, мог бы рассказать все подробности этого странного романа. Но ведь не это нужно доктору химических наук. Кое-как я пробормотал что-то очень далекое от периодической системы элементов под презрительным взглядом экзаменатора.

Бойченко поставил мне тройку, и я выжил, я вышел из ада.

Я кончил курсы, кончил срок, дождался смерти Сталина и вернулся в Москву.

Мы не познакомились и не разговорились с Бойченко. Во время ученья на курсах Бойченко ненавидел меня и считал, что мои ответы на экзамене — личное оскорбление деятеля науки.

Бойченко никогда не узнал о судьбе моего учителя химии, расстрелянного вологодского заложника.

А потом было восемь месяцев счастья, непрерываемого счастья, жадного поглощения, всасывания знаний, ученья, где зачетным баллом для каждого курсанта была жизнь, и знавшие это преподаватели — все, кроме Бойченко, — отдавали пестрой неблагодарной арестантской толпе все свои знания, все уменье, полученное на работах по рангу не ниже бойченковской.

Экзамен на жизнь был выдержан, государственный экзамен сдан. Все мы получили право лечить, жить, надеяться. Я был послан фельдшером в хирургическое отделение большой лагерной больницы, лечил, работал, жил, превращался — очень медленно — в человека.

Прошло около года.

Неожиданно я был вызван к начальнику больницы доктору Доктору. Это был бывший политотделец, посвятивший всю свою колымскую жизнь вынюхиванию, разоблачению, бдительности, розыску, доносам, преследованиям заключенных, осужденных по политическим статьям.

— Заключенный фельдшер такой-то явился по вашему вызову...

Доктор Доктор был белокур, рыжеват — и носил пушкинские бакенбарды. Он сидел у стола и перелистывал мое личное дело.

— А скажи-ка мне, как ты попал на эти курсы?

— Как арестант попадает на курсы, гражданин начальник? Его вызывают, берут его личное дело, дают личное дело конвоиру, сажают в машину, везут в Магадан. Как же еще, гражданин начальник?

— Иди отсюда, — сказал доктор Доктор, белея от бешенства.

<*1966*>

ЗА ПИСЬМОМ

Полупьяный радист распахнул мои двери.

— Тебе ксива из управления, зайди в мою хавиру. — И исчез в снегу во мгле.

Я отодвинул от печки тушки зайцев, привезенных мной из поездки, — на зайцев был урожай, едва успевай ставить петли, и крыша барака была застлана наполовину тушками зайцев, замороженными тушками... Продать их было рабочим некуда, так что подарок — десять заячьих тел — не был слишком дорогим, требующим отплаты, оплаты. Но зайцев надо было сначала оттаять. Теперь мне было не до зайцев.

Ксива из управления — телеграмма, радиограмма, телефонограмма на мое имя — первая телеграмма за пятнадцать лет. Оглушительная, тревожная, как в деревне, где любая телеграмма трагична, связана со смертью. Вызов на освобождение — нет, с освобождением не торопятся, да я и освобожден давно. Я пошел к радисту в его укрепленный замок, станцию с бойницами и тройным палисадом, с тройными калитками за щеколдами, замками, которые открыла передо мной жена радиста, и протискивался сквозь двери, приближаясь к жилищу хозяина. Последняя дверь, и я шагнул в грохот крыльев, в вонь птичьего помета и продирался сквозь кур, хлопающих крыльями, поющих петухов, сгибаясь, оберегая лицо, я шагнул еще через один порог, но и там не было радиста. Там были только свиньи, вымытые, ухоженные, три кабанчика поменьше и матка побольше. И это была последняя преграда.

Радист сидел, окруженный ящиками с огуречной рассадой, ящиками с зеленым луком. Радист впрямь собрался быть миллионером. На Колыме обогащаются и так. Длинный рубль — высокая ставка, полярный паек, начисление процентов — это один путь. Торговля махоркой и чаем — второй. Куроводство и свиноводство — третий.

Притиснутый всей своей фауной и флорой к самому краю стола, радист протянул мне стопку бумажек — все были одинаковыми, — как попугай, который должен был вытащить мое счастье.

Я порылся в телеграммах, но ничего не понял, своей не нашел, и радист снисходительно кончиками пальцев достал мою телеграмму...

«Приезжайте письмом», то есть приезжайте за письмом, — почтовая связь экономила смысл, но адресат, конечно, понял, о чем речь.

Я пошел к начальнику района и показал телеграмму.

— Сколько километров?

— Пятьсот.

— Ну, что же...

— В пять суток обернусь.

— Добре. Да торопись. Машину ждать не надо. Завтра якуты подбросят тебя на собаках до Барагона. А там оленьи упряжки почтовые прихватят, если не поскупишься. Главное тебе — добраться до центральной трассы.

— Хорошо, спасибо.

Я вышел от начальника и понял, что я не доберусь до этой проклятой трассы, даже до Барагона не доберусь, потому что у меня нет полушубка. Я колымчанин без полушубка. Я был сам виноват. Год назад, когда я освободился из лагеря, кладовщик Сергей Иванович Коротков подарил мне почти новый белый полушубок. Подарил и большую подушку. Но, пытаясь расстаться с больницами, уехать на материк, я продал и полушубок и подушку — просто чтобы не было лишних вещей, которым конец один: их украдут или отберут блатные. Так поступил я в прошлом. Уехать мне не удалось — отдел кадров совместно с магаданским МВД не дал мне выезда, и я, когда деньги вышли, вынужден был поступить снова на службу в Дальстрой. И поступил, и уехал туда, где радист и летающие куры, но полушубка не успел купить. Попросить на пять дней у кого-либо — над такой просьбой на Колыме будут смеяться. Оставалось купить свой полушубок в поселке.

Верно, нашелся и полушубок и продавец. Только полушубок, черный, с роскошным овчинным воротником, был более похож на телогрейку — в нем не было карманов, не было пол, только воротник, широкие рукава.

— Что ты, отрезал полы, что ли? — спросил я у продавца, надзирателя лагерного Иванова. Иванов был холост, мрачен. Полы он отрезал на рукавицы-краги, модные, — пар пять таких краг вышло из пол полушубка, и каждая пара стоила целого полушубка. То, что осталось, не могло, конечно, называться полушубком.

— А тебе не все равно? Я продаю полушубок. За пятьсот рублей. Ты его покупаешь. Это лишний вопрос — отрезал я полы или нет.

И верно, вопрос был лишний, и я поторопился заплатить Иванову и принес домой полушубок, примерил и стал ждать.

Собачья упряжка, быстрый взгляд черных глаз якута, онемевшие пальцы, которыми я вцепился в нарты, полет и поворот — речка какая-то, лед, кусты, бьющие

по лицу больно. Но у меня все завязано, все укреплено. Десять минут полета, и почтовый поселок, где...

— Марья Антоновна, меня не подбросят?

— Подбросят.

Здесь еще в прошлом году, прошлым летом заблудился маленький якутский мальчик, пятилетний ребенок, и я и Марья Антоновна пытались начать розыски ребенка. Помешала мать. Она курила трубку, долго курила, потом черные свои глаза навела на нас с Марьей Антоновной.

— Не надо искать. Он придет сам. Не заблудится. Это его земля.

А вот и олени — бубенцы, нарты, палка у каюра. Только эта палка называется хореем, а не остолом, как для собак.

Марья Антоновна, которой так скучно, что она каждого проезжего провожает далеко — за околицу таежную — что называется околицей в тайге.

— Прощайте, Марья Антоновна.

Я бегу рядом с нартами, но больше сажусь, присаживаюсь, цепляюсь за нарты, падаю, снова бегу. К вечеру огни большой трассы, гул ревущих, пробегающих сквозь мглу машин.

Рассчитываюсь с якутами, подхожу к обогревалке — дорожному вокзалу. Печка там не топится — нет дров. Но все-таки крыша и стены. Здесь уже есть очередь на машину к центру, к Магадану. Очередь невелика — один человек. Гудит машина, человек выбегает во мглу. Гудит машина. Человек уехал. Теперь мне надо выбегать на мороз.

Пятитонка дрожит, едва остановилась ради меня. Место в кабине свободно. Ехать наверху нельзя в такую даль, в такой мороз.

— Куда?

— На Левый берег.

— Не возьму. Я уголь везу в Магадан, а до Левого берега не стоит садиться.

— Я оплачу тебе до Магадана.

— Это другое дело. Садись. Таксу знаешь?

— Да. Рубль километр.

— Деньги вперед.

Я достал деньги и заплатил.

Машина окунулась в белую мглу, сбавила ход. Нельзя дальше ехать — туман.

— Будем спать, а? На Еврашке.

Что такое еврашка? Еврашка — это суслик, Сусликовая станция. Мы свернулись в кабине при работающем моторе. Пролежали, пока рассвело, и белая зимняя мгла не показалась такой страшной, как вечером.

— Теперь чифирку подварить — и едем.

Водитель вскипятил в консервной кружке пачку чая, остудил в снегу, выпил. Еще вскипятил, вторячок, снова выпил и спрятал кружку.

— Едем! А ты откуда?

Я сказал.

— Бывал у вас. Даже работал в вашем районе шофером. В вашем лагере негодяй есть — Иванов, надзиратель. Тулуп у меня украл. Попросил доехать — холодно было в прошлом году, — и с концами. Никаких следов. И не отдал. Я через людей передавал. Он говорит: не брал, и все. Собираюсь все сам туда, отнимать тулуп. Черный такой, богатый. Зачем ему тулуп? Разве порежет на краги и распродаст. Самая мода сейчас. Я бы сам мог эти краги пошить, а теперь ни краг, ни тулупа, ни Иванова.

Я повернулся, сминая воротник своего полушубка.

— Вот такой черный, как у тебя. Сука. Ну, спали, надо прибавить газку.

Машина полетела, гудя, ревя на поворотах, — водитель был приведен в норму чифирем.

Километр за километром, мост за мостом, прииск за прииском. Уже рассвело. Машины обгоняли друг друга, встречались. Внезапно все затрещало, рухнуло, и машина остановилась, причаливая к обочине.

— Все — к черту! — плясал водитель. — Уголь — к черту! Кабина — к черту! Борт — к черту! Пять тонн угля — к черту!

Сам он даже не был поцарапан, а я и не понял, что случилось.

Нашу машину сбила чехословацкая «татра», встречная. На ее железном борту и царапины не осталось. Водители притормозили машину и вылезли.

— Подсчитай быстро, — кричал водитель «татры», — что стоит твой ущерб, уголь там, новый борт. Мы заплатим. Только без акта, понял?

— Хорошо, — сказал мой водитель. — Это будет...

— Ладно.

— А я?

— Я посажу тебя на попутку какую-нибудь. Тут километров сорок, довезут. Сделай мне одолжение. Сорок километров — это час езды.

Я согласился, сел в кузов какой-то машины и помахал рукой приятелю надзирателя Иванова.

Я еще не успел промерзнуть, как машина начала тормозить — мост. Левый берег. Я слез.

Надо найти место ночевать. Там, где было письмо, ночевать мне было нельзя.

Я вошел в больницу, в которой я когда-то работал. Но в лагерной больнице греться посторонним нельзя, и я только на минуту постоять в тепле зашел. Шел знакомый вольный фельдшер, и я попросил ночлега.

На следующий день я постучал в квартиру, вошел, и мне подали в руки письмо, написанное почерком мне хорошо известным, стремительным, летящим и в то же время четким, разборчивым.

Это было письмо Пастернака.

1966

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

Вначале были взрывы. Но еще до взрывов, до Аптекарского острова, где взлетела на воздух дача Столыпина, была рязанская женская гимназия, золотая медаль. За отличные успехи и поведение.

Я ищу переулки. Ленинград, город-музей, бережет черты Петербурга. Я найду дачу Столыпина на Аптекарском острове, Фонарный переулок, Морскую улицу, Загородный проспект. Зайду в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, где был суд, приговор, который я знаю наизусть и копию которого со свинцовой печатью Московской нотариальной конторы держал я недавно в руках.

«В августе 1906 года, состояв в преступном сообществе, именующем себя боевой организацией социалистов-революционеров максималистов и заведомо поставивших целью своей деятельности насильственное изменение установленного законом основного образа правления...»

«...составляет необходимое пособничество при покушении на жизнь Министра Внутренних дел посредством взрыва обитаемой им дачи на Аптекарском острове по поводу исполнения им служебных обязанностей...».

Судьям не до грамматики. Литературные погрешности таких приговоров замечаются лет через пятьдесят, не раньше.

«Дворянку Наталью Сергеевну Климову 21 года и дочь купца Надежду Андреевну Терентьеву 25 лет... подвергнуть смертной казни через повешение с последствиями, ст. 28 указанными».

Что разумеет суд под «последствиями повешения», известно лишь юристам, правовикам.

Климова и Терентьева не были казнены.

Председатель окружного суда получил во время следствия прошение от отца Климовой, рязанского присяжного поверенного. Это прошение очень странного тона, не похожее ни на просьбу, ни на жалобу, — это нечто вроде дневника, разговора с самим собой.

«...Вам должна представляться верной моя мысль, что в данном случае вы имеете дело с легкомысленной девушкой, увлеченной современной революционной эпохой».

. . . .

«В своей жизни она была хорошая, мягкая, добрая девушка, но всегда увлекающаяся. Не далее как года полтора назад она увлеклась учением Толстого, проповедующего “не убий” как самую важную заповедь. Года два она вела жизнь вегетарианки и вела себя как простая работница, не позволяя прислуге помогать себе ни в стирке белья, ни в уборке комнаты, ни в мытье полов, и теперь вдруг сделалась участницей в страшном убийстве, мотив которого заключается будто бы в несоответственной современным условиям политике господина Столыпина».

. . . .

«Смею Вас уверить, что дочь моя в политике ровно ничего не понимает, она, очевидно, была марионеткой в руках более сильных людей, для которых политика господина Столыпина, может быть, и представляется в высшей степени вредной».

. . . .

«Корректные взгляды я старался внушить своим детям, но в такое, должен сознаться, хаотическое время родительское влияние не имеет никакого значения. Наша молодежь всем окружающим причиняет величайшие несчастья и страдания, и в том числе родителям...»

Аргументация — оригинальна. Попутные замечания — странны. Удивителен сам тон письма.

Это письмо спасло Климову. Вернее будет сказать, что спасло не письмо, а внезапная смерть Климова, только что написавшего и отославшего это письмо.

Смерть придавала прошению такую нравственную весомость, переводила весь судебный процесс на такие моральные высоты, что ни один жандармский генерал не решился бы утверждать смертный приговор Наталье Климовой. Благодарю покорно!

На подлинном приговоре написана следующая конфирмация: «Приговор суда утверждаю, но с заменой обеим подсудимым смертной казни ссылкою в каторжные работы без срока со всеми последствиями сего наказания, 29 января 1907 года. Помощник Главнокомандующего Генерал от Инфантерии Газенкампф. С подлинным верно и сверял: Секретарь Суда Статский Советник Меньчуков. Приложена печать Санкт-Петербургского окружного суда».

В судебном заседании по делу Климовой и Терентьевой есть в высшей степени своеобразная, уникальная сцена, не имеющая примеров в политических процессах России, да и не только России. Сцена эта записана в протокол суда скупой формулой канцеляриста.

Подсудимым было предоставлено последнее слово.

Судебное следствие в Трубецком бастионе Петропавловской крепости было очень коротким — часа два, не более.

Подсудимые отказались от возражений на речь прокурора. Признавая факт участия в покушении на Столыпина, не признали себя виновными. Подсудимые отказались от кассационных жалоб.

И вот в последнем слове — перед смертью, перед казнью «увлекающаяся девушка» Климова вдруг уступила своей натуре, своей бешеной крови — она сказала, сделала такое, за что председатель суда, прервав последнее слово, удалил Климову из зала суда «за неприличное поведение».

. . . .

Память дышит в Петербурге легко. Труднее в Москве, где проспектами разрублены Хамовники, смята Пресня, разорвана связь переулков, разорвана связь времен...

Мерзляковский. Я часто бывал в Мерзляковском в двадцатые годы, когда был студентом университета. В Мерзляковском было женское студенческое общежитие — те самые комнаты, где двадцать лет назад в са-

мом начале века жила студентка — слушательница Московского педагогического института, будущая учительница Надя Терентьева. Но учительницей она так и не стала.

Поварская, дом 6, где в домовой книге в 1905 году записано было совместное проживание Натальи Климовой и Надежды Терентьевой — уличающий следственный материал.

Где дом, куда Наталья Климова втащила три пудовых динамитных бомбы, — Морская, 49, кв. 4.

Не на Поварской ли, № 6, встретился с Климовой Михаил Соколов — «Медведь», чтобы увести ее к смерти и к славе, потому что нет напрасных жертв, нет безымянного подвига. В истории ничего не теряется, только искажаются масштабы. И если время хочет потерять имя Климовой — мы поборемся со временем.

Где этот дом?

Я ищу переулки. Это развлечение юности — подниматься по лестницам, уже отмеченным историей, но еще не превращенным в музей. Я угадываю, я повторяю движения людей, всходивших на эти же ступени, стоявших на тех же уличных перекрестках, чтобы ускорить ход событий, поторопить бег времени.

И время сдвинулось с места.

На алтарь победы приносят детей. Такова древняя традиция. Климовой был 21 год, когда ее осудили.

Страсти господни, мистерия, где революционеры играли на театре кинжала и шпаги, переодеваясь, скрываясь в подворотнях, пересаживаясь с конки на рысака, уменье уходить от шпика было одним из вступительных экзаменов в этом русском университете. Кончивший полный курс попадал на виселицу.

Обо всем этом много писали, очень много, слишком много.

Но мне ведь нужны не книги, а люди, не чертежи улиц, а тихие переулки.

Вначале было дело. Вначале были взрывы, приговор Столыпину, три пуда динамита, уложенных в три портфеля черной кожи, а из чего были сделаны оболочки и какой вид имели бомбы — умалчиваю. «Бомбы привезены мною, а когда и откуда, а равно и в чем — умалчиваю». Что делает человека выше ростом? Время. Рубеж века был расцветом столетия, когда русская литература, философия, наука, мораль русского общества были подняты на высоту небывалую. Все, что накопил вели-

кий XIX век нравственно важного, сильного, — все было превращено в живое дело, в живую жизнь, в живой пример и брошено в последний бой против самодержавия. Жертвенность, самоотречение до безымянности — сколько террористов погибло, и никто не узнал их имена. Жертвенность столетия, нашедшего в сочетании слова и дела высшую свободу, высшую силу. Начинали с «не убий», с «бог есть любовь», с вегетарианства, со служения ближнему. Нравственные требования и самоотверженность были столь велики, что лучшие из лучших, разочаровавшись в непротивлении, переходили от «не убий» к «актам», брались за револьверы, за бомбы, за динамит. Для разочарования в бомбах у них не было времени — все террористы умирали молодыми.

Наталья Климова была родом из Рязани. Надежда Терентьева родилась на Белорецком заводе на Урале. Михаил Соколов был родом из Саратова.

Террористы рождались в провинции. В Петербурге они умирали. В этом есть логика. Классическая литература, поэзия девятнадцатого века с их нравственными требованиями глубже всего укреплялась в провинции и именно там подводила к необходимости ответа на вопрос «В чем смысл жизни».

Смысл жизни искали страстно, самоотверженно. Климова нашла смысл жизни, готовясь повторить, превзойти подвиг Перовской. Оказалось, что душевные силы у Климовой были — что детство недаром прожито в семье в высшей степени примечательной, — мать Натальи Сергеевны была первой русской женщиной-врачом.

Не хватало только какой-то личной встречи, личного примера, чтобы все душевные, духовные и физические силы приведены были в высшее напряжение и богатая натура Натальи Климовой дала повод поставить ее сразу в ряд самых выдающихся женщин России.

Таким толчком, таким личным знакомством была встреча Наташи Климовой с Михаилом Соколовым — «Медведем».

Это знакомство вывело судьбу Натальи Климовой на самые высокие вершины русского революционного героизма, испытание самоотречением, самопожертвованием.

«Дело», вдохновляемое максималистом Соколовым, было борьбой с самодержавием. Организатор до мозга костей, Соколов был и видным партийным теоретиком. Аграрный террор и фабричный террор — это вклады «Медведя» в программу эсеровских «оппозиций».

Главный командир боев на Пресне во время Декабрьского восстания — Соколову обязана Пресня тем, что держалась так долго, — Соколов не ладил с партией и после Московского восстания ушел из нее, создав собственную «боевую организацию социалистов-революционеров максималистов».

Наташа Климова была его помощницей и женой.

Женой?

Целомудренный мир революционного подполья дает особый ответ на этот простой вопрос.

«Проживала по паспорту Веры Шапошниковой с мужем Семеном Шапошниковым».

«Желаю добавить: что Семен Шапошников и Михаил Соколов одно и то же лицо — не знала».

По паспорту? А на Морской улице Наталья Климова жила по паспорту Елены Морозовой с мужем Михаилом Морозовым — тем самым, что был взорван собственной бомбой в приемной Столыпина.

Подпольный мир поддельных паспортов и неподдельных чувств. Считалось, что все личное должно быть подавлено, подчинено великой цели борьбы, где жизнь и смерть — одно и то же.

Вот выписка из полицейского учебника «Истории партии социалистов-революционеров», написанного жандармским генералом Спиридовичем:

«1 декабря взят на улице сам Соколов и казнен по приговору суда 2 числа.

3 числа обнаружена конспиративная квартира Климовой, где среди разных вещей было обнаружено полтора пуда динамита, 7600 рублей кредитными билетами и семь печатей разных правительственных учреждений. Была арестована и сама Климова и другие выдающиеся максималисты».

Почему Климова целых три месяца после взрыва на Аптекарском острове жила в Петербурге? Ждали «Медведя» — у максималистов был съезд в Финляндии, и только в конце ноября «Медведь» и другие максималисты возвратились в Россию.

Во время своего краткого следствия Наташа узнала о смерти Соколова. Ничего неожиданного не было в этой казни, в этой смерти, и все же — Наташа жива, а «Медведя» нет. В «Письме перед казнью» о смерти близких друзей говорится спокойно. Но Наташа никогда не забыла Соколова.

В казематах Петербургского ДПЗ Наталья Климова написала знаменитое «Письмо перед казнью», обошедшее весь мир.

Это философское письмо, написанное двадцатилетней девушкой. Это не прощание с жизнью, а прославление радости жизни.

Окрашенное в тона единства с природой — мотив, которому всю жизнь оставалась верна Климова, — письмо это необыкновенно. По свежести чувства, по искренности. В письме даже нет тени фанатизма, дидактизма. Это письмо — о высшей свободе, о счастье соединения слова и дела. Письмо это — не вопрос, а ответ. Письмо было напечатано в журнале «Образование» рядом с романом Марселя Прево.

Я читал это письмо, прорезанное рядом цензурных «выкидок», многозначительных отточий. Через пятьдесят лет письмо было вновь напечатано в Нью-Йорке — купюры были теми же, неточности, описки одинаковыми. На этой, нью-йоркской, копии цензура времени сделала и свои купюры: текст выгорел, стерся, но слова сохранили всю свою силу, не изменили своему высокому смыслу. Письмо Климовой взволновало Россию.

Еще и сейчас, в 1966 году, как ни разорвана связь времен, имя Климовой сразу находит отклик в сердцах и памяти русских интеллигентов.

— Ах, Климова! Это — письмо перед казнью... Да. Да. Да.

Не только тюремная решетка, не только виселица, не только эхо взрыва в этом письме. Нет. В письме Климовой было нечто особо значительное для человека, особо важное.

Философ Франк в большой столичной газете «Слово» посвятил письму Климовой огромную статью «Преодоление трагедии».

Франк видит в этом письме явление нового религиозного сознания и пишет, что «эти шесть страниц своей нравственной ценностью перевесят всю многотомную современную философию и поэзию трагизма».

Поражаясь глубине чувств и мыслей Климовой, — а было ей 21 год от роду, — Франк сравнивает ее письмо с «Де профундис» Оскара Уайльда. Это письмо-освобождение, письмо-выход, письмо-ответ.

Так почему же мы не в Петербурге? Потому что и покушение на Столыпина, и «Письмо перед казнью» не были, оказывается, достаточны для этой жизни, боль-

шой, крупной, а самое главное — нашедшей себя во времени.

«Письмо перед казнью» было напечатано осенью 1908 года. Световые, звуковые, магнитные волны, вызванные этим письмом, обошли весь мир, и через год еще не успели утихнуть, улечься, как вдруг новое удивительное известие обошло все закоулки земного шара. Из московской Новинской женской тюрьмы бежало тринадцать каторжанок, вместе с тюремной надзирательницей Тарасовой.

Вот он, «Список лиц, бежавших в ночь с 30 июня на 1 июля 1909 года из Московской Губернской женской тюрьмы».

«№ 6. Климова Наталья Сергеевна, осужденная Петербургским Военным Окружным судом 29 января 1907 года к смертной казни через повешение, но казнь Пом. Ком. Петерб. Военн. Окр. заменена бессрочной каторгой.

Лет 22, телосложения плотного, волосы темные, глаза голубые, лицо розовое, тип русский».

Этот побег, висевший на такой тонкой ниточке, что получасовое опоздание было бы смерти подобно, — удался блестяще.

Герман Лопатин, человек, понимавший толк в побегах, назвал каторжанок, бежавших из Новинской тюрьмы, — амазонками. В устах Лопатина это слово не было просто дружеской похвалой, чуть иронической и одобрительной. Лопатин почувствовал реальность мифа.

Лопатин, как никто, понимал, что такое успешный побег из тюремной камеры, где случайно и недавно собраны вместе каторжане с самыми разными «делами», интересами и судьбами. Лопатин понимал, что для превращения этого пестрого коллектива в боевую часть, скрепленную дисциплиной подполья, что еще выше воинской, — необходима воля организатора. Таким организатором и была Наталья Сергеевна Климова.

С самыми различными «делами». В этом побеге участвовала анархистка Мария Никифорова, будущая атаманша Маруська времен махновщины и Гражданской войны. Генерал Слащев расстрелял атаманшу Маруську. Маруська превратилась давно в кинематографический образ бандитки-красавицы, а была Мария Никифорова самым настоящим гермафродитом и чуть-чуть не сорвала побег.

В камере (в восьмой камере!) жили и уголовные — две уголовницы со своими детьми.

Это тот самый побег, для которого шили одежду бежавшим в семье Маяковских — и сам Маяковский сидел по этому делу в тюрьме (допрашивался в полиции по этому делу).

Каторжанки учили наизусть сценарий будущего спектакля, зубрили зашифрованную роль наизусть.

Побег готовился долго. Для освобождения самой Климовой приехал заграничный представитель ЦК партии эсеров — «генерал», как называли его организаторы побега Коридзе и Калашников. Планы генерала были отвергнуты. Московские эсеры Коридзе и Калашников уже вели «разработку». Это было освобождение «изнутри», силой самих каторжанок. Каторжанок должна была освободить тюремная надзирательница Тарасова, бежать с ними за границу.

В ночь на 1 июля каторжанки обезоружили надзирательниц и вышли на московские улицы.

О побеге тринадцати, об «освобождении тринадцати» написано много в журналах, в книгах. Этот побег — тоже из хрестоматии русской революции.

Стоит вспомнить, как ключ, вставленный в замочную скважину выходной двери, не повернулся в руках Тарасовой, шедшей впереди. И как она бессильно опустила руки. И как твердые пальцы каторжанки Гельме взяли ключ из рук Тарасовой, вставили в скважину, повернули — и открыли дверь на свободу.

Стоит вспомнить: каторжанки выходили из тюрьмы, когда зазвонил телефон у стола дежурной надзирательницы. Климова взяла в руки трубку и откликнулась голосом дежурной. Говорил обер-полицмейстер: «У нас есть сведения, что в Новинской тюрьме готовится побег. Примите меры». — «Ваше приказание будет выполнено, ваше превосходительство. Меры будут приняты». И Климова положила трубку на рычаг.

Стоит вспомнить озорное письмо Климовой — вот оно, — я держу в руках два смятых, еще живых листочка почтовой бумаги. Письмо, написанное 22 мая детям — своим младшим братьям и сестрам, которых, крошек, мачеха — тетя Ольга Никифоровна Климова возила на свидание с Наташей не один раз в Москву. Это свидание с детьми в тюрьме затеяла сама Наталья Сергеевна. Климова считала, что такие впечатления, такие встречи только полезны детской душе. И вот 22 мая Климова пишет озорное письмо, кончающееся словами, которых не было ни в одном другом письме бессрочной

каторжанки: «До свиданья! До скорого свиданья!» Письмо было написано 22 мая, а 30 июня Климова бежала из тюрьмы. В мае побег не только был решен — все роли были разучены, и Климова не удержалась от шутки. Впрочем, скорого свиданья не было, братья и сестры не встретились со старшей сестрой никогда. Война, революция, смерть Наташи.

Освобожденные каторжанки, встреченные друзьями, исчезли в горячей черной первоиюльской московской ночи. Наталья Сергеевна Климова была самой крупной фигурой в этом побеге, и ее спасение, ее бегство представляло особые трудности. Партийные организации того времени были полны провокаторами, и Калашников разгадал мысли полиции, решил шахматную задачу. Калашников взял лично на себя вывод Климовой и той же ночью передал Наталью Сергеевну в руки человека, который вовсе не имел никаких партийных связей, — это было частное знакомство, не более, железнодорожный инженер, сочувствующий революции. В доме инженера Климова прожила месяц в Москве. И Калашников и Коридзе были давно арестованы, вся Рязань была перевернута вверх дном обысками и облавами.

Через месяц инженер отвез Наталью Сергеевну, как свою жену по магистрали Великого Сибирского пути. На верблюдах через пустыню Гоби Климова добралась до Токио. Из Японии пароходом в Италию. Париж.

Десять каторжанок добираются до Парижа. Трех поймали в день побега — Карташову, Иванову, Шишкареву. Их судят, добавляют срок, а адвокатом в их процессе выступает Николай Константинович Муравьев — будущий председатель Комиссии Временного правительства по допросу царских министров, будущий адвокат Рамзина.

Так сплетаются в жизни Климовой фамилии людей из самых различных этажей социальной лестницы — но всегда это лучшие из лучших, способнейшие из способных.

Климова была человеком девятого вала. Едва отдохнув после двухлетней каторги, после кругосветного побега, Климова вновь ищет боевую работу. В 1910 году ЦК партии социалистов-революционеров поручает Савинкову набор новой боевой группы. Подбор группы — трудное дело. По поручению Савинкова участник группы Чернавский объезжает Россию, приезжает в Читу. Бывшие боевики не хотят больше браться за бомбы.

Чернавский возвращается с неудачей. Вот его отчет, опубликованный в «Каторге и ссылке».

«Моя поездка (в Россию, в Читу к А. В. Якимовой и В. Смирнову) не дала пополнения для группы. Оба намеченные кандидата отказались присоединиться к ней. На обратном пути я заранее предвкушал, как эта неудача понизит и без того неважное настроение товарищей. Мои опасения не оправдались. Сообщенная мной неудача искупалась удачей, происшедшей в мое отсутствие. Меня познакомили с новым членом группы, Натальей Сергеевной Климовой, известной максималисткой, недавно бежавшей из московской каторжной тюрьмы с группой политических каторжанок. Один из членов ЦК всегда знал, где в данный момент находится наша группа, и мы с ней снеслись. Через него-то Н. С. сообщила Савинкову о своем желании вступить в группу и, само собой разумеется, была с радостью принята. Все мы отлично понимали, насколько вступление Н. С. усиливало группу. Выше я уже упоминал, что, по моему мнению, М. А. Прокофьева была самым сильным человеком в группе. Теперь у нас стало два сильных человека, и я невольно их сравнивал, сопоставлял. Вспомнилось известное стихотворение в прозе Тургенева "Порог". Русская девушка переступает роковой порог, несмотря на предостерегающий голос, сулящий ей там, за этим порогом, всяческие беды: "Холод, голод, ненависть, насмешки, презрение, обиду, тюрьму, болезнь, смерть" — вплоть до разочарования в том, во что она теперь верит. Климова и Прокофьева давно перешагнули этот порог и в достаточной мере испытали предсказанные предостерегающим голосом беды, но их энтузиазм нисколько не ослабел от перенесенных испытаний, а их воля даже закалилась и окрепла. С точки зрения преданности революции и готовности на какие угодно жертвы между этими женщинами можно было смело поставить знак равенства: они равносильны и равноценны. Но стоило в течение нескольких дней внимательно к ним присмотреться, чтобы убедиться, как они непохожи, а в некоторых отношениях диаметрально противоположны. Прежде всего бросается в глаза контраст в состоянии их здоровья. Климова, успевшая после каторжной тюрьмы оправиться, являлась цветущей, здоровой, сильной женщиной; Прокофьева была больна туберкулезом, и процесс зашел так далеко и так явно отразился на ее физическом облике, что невольно возникала мысль, что перед вами догорающая свеча.

Так же различны были их вкусы, отношение к окружающей жизни, весь их внутренний склад.

Прокофьева выросла в староверческой семье, в которой из поколения в поколение передавались сектантские, аскетические навыки и настроения. Школа, а затем увлечение освободительным движением совершенно выветрили из ее миросозерцания религиозные взгляды, но в складе характера остался едва заметный след не то презрения, не то снисхождения ко всяким радостям бытия, след какого-то неопределенного стремления ввысь, к отрыву от земли и земных делишек. Быть может, этот оттенок в ее характере поддерживался и подчеркивался отчасти ее недугом. Совершенную противоположность представляла Климова. Она принимала все и всякие радости бытия, потому что принимала жизнь в целом, со всеми ее горестями и радостями, органически между собой связанными, неотделимыми друг от друга. Это было не философское воззрение, а непосредственное ощущение богатой, сильной натуры. И на подвиг, и на жертву она смотрела как на самые большие, самые желанные радости бытия.

Она пришла к нам радостная, смеющаяся и внесла в нашу группу значительное оживление. Казалось, нам нечего больше ждать. Почему не приступить к делу с наличными силами? Но Савинков указал, что над группой снова повис вопросительный знак. Он рассказал, что в мое отсутствие жил с группой Кирюхин, приехавший из России, и за короткое время успел возбудить у Савинкова сомнения.

“Много врет, — объяснил Савинков. — Мне пришлось однажды прочесть ему целую нотацию о необходимости построже относиться к своей болтовне. Может быть, это просто неряшество языка. Теперь он опять в России, у него родилась дочь. На днях должен вернуться. Надо будет присмотреться к нему поближе”.

Вскоре после моего приезда на Гернси на нашем горизонте появилась еще одна черная точка. Заметно таяла и с каждым днем слабела “Ма” (М. А. Прокофьева). Естественно, возникли опасения, что скоро угаснет догорающая свеча. Все почувствовали, как дорог, необходим ее тихий чистый свет в нашем мрачном подполье, и все встревожились. Местный врач посоветовал поместить больную в специальный санаторий, лучше всего в Давос. Савинкову пришлось потратить немало энергии, чтобы убедить М. А. отправиться в Давос. После продолжи-

тельной борьбы соглашение между ними состоялось, кажется, на следующих основаниях: Савинков обязался известить ее, когда группа будет готова к отправлению в Россию, и ей предоставлено право, руководствуясь своим самочувствием, самой решить вопрос, продолжать ли лечение или бросить санаторий и присоединиться к группе.

К этому времени Савинков получил сведения, что известный ему боевик Ф. А. Назаров кончил каторгу и вышел на поселение. Назаров убил провокатора Татарова, он осужден был по какому-то другому делу к краткосрочной каторге. Одновременно с отправлением М. А. в Давос Савинков отправил из Парижа в Сибирь одного молодого человека к Назарову с предложением вступить в группу. Последний во время формирования группы ставил свою кандидатуру, но ему отказали в приеме. Теперь ему было обещано, в случае удачного исполнения поручения, принять его в группу.

С острова Гернси группа переехала на континент и поселилась в маленькой французской деревушке в 5–6 километрах от Дьеппа. Приехал Кирюхин. Теперь нас семеро: Савинков с женой, Климова, Фабрикант, Моисеенко, Кирюхин и Чернавский. Кирюхин держится по-прежнему просто, спокойно. Никакого вранья не заметно. Скучно живется нам. Плоский, унылый берег. Унылая осенняя погода. Днем мы собираем на берегу выброшенные морем деревянные обломки на дрова. Карты заброшены со времени нью-кэйского сидения, шахматы тоже забыты. Бывалых житейских бесед нет и в помине. Изредка перебрасываемся отрывочными фразами, но больше молчим. Каждый следит за узорами огня в камине и сплетает с ними свои невеселые думы. Кажется, все мы на опыте убеждаемся, что самая изнурительная работа — это ждать сложа руки и не зная точно срока этого ожидания.

Однажды кто-то предложил: "Давайте печь в камине картошку. Таким образом, мы убьем сразу двух зайцев: 1) у нас по вечерам будет интересное занятие, 2) мы сэкономим на ужине".

Предложение было принято, но все интеллигенты оказались очень плохими пекарями, только матрос (Кирюхин) проявил по этой части большие таланты. Очень извиняюсь, что уделяю столько внимания таким пустякам. Но миновать печеную картошку я не могу.

Проходит около месяца; был, должно быть, декабрь 1910 года. Все мы скучали, но больше всех Кирюхин. Стал

иногда ходить в Дьепп и однажды вернулся навеселе. Вечером Кирюхин уселся на свое место у камина и принялся за свое обычное дело. У огня его совсем развезло: не слушаются картошки, и даже собственные руки не хотят слушаться. Наташа Климова начинает его дразнить:

"Должно быть, Яков Ипатыч, вы где-нибудь в Дьеппе обронили свое мастерство... Сегодня, я вижу, ничего у вас не выйдет..."

Завязывается пикировка. Кирюхин все чаще пускает в ход многозначительную фразу: "Знаем мы вас".

"И ничего вы не знаете. Ну, скажите, что вы знаете?" Кирюхин совсем рассвирепел:

"Сказать? А помните, у вас, максималистов, под флагом кутежа было совещание в отдельном кабинете ресторана Палкина? Тогда в общем зале ресторана сидел вице-директор департамента полиции? Помните? А после совещания, помните, куда вы поехали — и не одна!" — торжествующе закончил он.

От изумления глаза Наташи выбежали на лоб, глаза пытаются выскочить из орбит. Она отзывает Савинкова и сообщает: все верно, под видом кутежа было совещание в отдельном кабинете. Им сообщили, что в общем зале присутствует вице-директор департамента. Совещание все-таки довели до конца и благополучно разъехались. Наташа уехала ночевать со своим мужем в гостиницу на острова.

Наутро Кирюхину ставится вопрос, откуда у него такая осведомленность. Отвечает, что ему рассказывал Фейт. Савинков едет в Париж, вызывает туда Кирюхина и скоро возвращается один. Оказывается, Фейт ничего не говорил и не мог говорить, так как факты, о которых идет речь, ему не были известны. Кирюхину снова был поставлен вопрос, откуда он узнал приведенные факты. Теперь он ответил, что ему рассказывала жена, а она узнала от знакомых жандармов. Его прогнали.

Вернувшись к группе, Савинков поставил на голосование вопрос, имеем ли мы право объявить Кирюхина провокатором? Последовал единогласный утвердительный ответ. Решено обратиться в ЦК с просьбой напечатать в партийном органе объявление о Кирюхине как провокаторе. Когда мы после нью-кэйского сидения пришли к убеждению, что Ротмистр провокатор, мы все-таки не решились объявить его провокатором, находя, что наших данных недостаточно для такого шага. Поэтому мы ограничились тем, что сообщили ЦК об его

исключении из группы по подозрению в провокации. Мы знали, что он поселился в Медоне (кажется, я правильно называю маленький городок под Парижем), вдали от эмиграции.

Неожиданное происшествие с Кирюхиным показало нам, как мы были смешны и нелепы, играя в прятки по укромным уголкам Западной Европы, в то время как департамент полиции знал о нас все, что ему было нужно: если бы поинтересовался, он мог бы даже узнать, кто из нас больше всех любит печеную картошку. Поэтому мы покинули деревушку и переехали в Париж. Это был первый вывод из происшествия. Вторым выводом из него являлось решение пересмотреть дело Ротмистра. Так как наша проницательность в отношении к Кирюхину осрамилась, то, естественно, возникло сомнение — не сделали ли мы такую же грубую ошибку — только в обратном направлении и по отношению к Ротмистру, т. е. не заподозрили ли невинного человека. Когда же Кирюхин обнаружился так, что относительно его не могло быть никаких сомнений, у нас, естественно, возник вопрос: "А как же Ротмистр? Значит, он не провокатор?" Савинков решил повидаться с Ротмистром и добиться искренних с ним объяснений. А пока что он предложил мне и Моисеенко поехать в Давос и осведомить Прокофьеву о важных событиях в группе.

Мы прожили в Давосе, кажется, около двух недель. Ежедневно посещали "Ма" в санатории. В ее здоровье произошло значительное улучшение. Она понемногу прибавляла в весе, врачи постепенно смягчали строгость режима, разрешили прогулки и т. д. Нам хотелось протянуть пребывание в Давосе подольше, как неожиданно получилась от Савинкова телеграмма: "Приезжайте. Ротмистр умер".

При свидании с Савинковым меня поразил его чрезвычайно подавленный вид. Он подал мне листок бумаги и угрюмо произнес: "Прочтите. Переехали человека". Это было предсмертное письмо Ротмистра. Оно было короткое, едва ли больше 10 строк, написано просто, совсем не походило на высокопарное письмо, присланное нам в Нью-Кэй. Не буду стараться его припомнить. Передам только суть. "Да, так вот оно что, подозревали в провокации, а я-то думал, что вся беда в ссоре с Б. В. Спасибо вам, товарищи!"

Вот как все произошло. Савинков обратился к Ротмистру с просьбой приехать в Париж для переговоров.

Ротмистр приехал. Савинков рассказал ему о провале Кирюхина, признался, что исключил Ротмистра из-за подозрения в провокации. Убеждал быть откровенным, объяснить, почему солгал о поезде и ванне. Ротмистр признал, что то и другое была ложь, но никаких объяснений не дал, угрюмо молчал. К сожалению, довести до конца разговор не удалось, так как в квартиру, где происходило свидание, пришли посетители и помешали продолжению переговоров. Савинков попросил прийти на следующий день, чтобы кончить беседу. Ротмистр обещал, но не пришел, его нашли застрелившимся в своей комнате, нашли и предсмертную записку.

Не успели мы переварить саморазоблачение "человека со спокойной совестью", как нам бросают в лицо труп. Все перевернулось в наших головах. Все мы приняли формулу Савинкова "переехали человека".

Через некоторое время В. О. Фабриканта пришлось поместить в санаторий для нервных больных. Все были подавлены, но пока еще крепились, думали — "вот приедет Назаров, и мы тотчас же отправимся в Россию". Не помню, как долго пришлось нам ждать. Приехал наконец посланный в Сибирь молодой человек. Он рассказал, что Назаров согласился вступить в группу, оба они доехали до границы, но при переходе Назаров потерялся. Возле границы они прятались в каком-то сарае. Молодому человеку понадобилось зачем-то отлучиться, а когда он вернулся, Назарова в сарае не было. Очевидно, он арестован: так думал молодой человек, так думали и мы. Это несчастье добило группу. Она была распущена.

После ликвидации группы однажды на улице Парижа меня окликнули. Это был Миша. Я знал, что после исключения из группы его, по просьбе Савинкова, устроили в Париже шофером автомобильной компании. Теперь он стоял со своей машиной в ожидании седока. Мы поговорили о прошлом, о настоящем. Он предложил: "Мне хочется покатать вас. Садитесь". Я отказался. Разговор продолжался, но скоро я заметил в глазах Миши набегающие слезы и поспешил распрощаться.

"Все такой же неуравновешенный", — подумалось мне.

Я уехал в Италию. Через несколько месяцев там получилось известие, что Миша застрелился, что в предсмертной записке он просил похоронить его рядом с Ротмистром...»

Вот как близко входила смерть в жизнь этих людей, в их повседневный быт. Как легко принимались решения о собственной смерти. Правом на смерть пользовались очень широко и легко.

Группа Савинкова, Гернси–Дьепп–Париж — последние боевые маршруты Натальи Климовой. Вряд ли она была раздавлена неудачей. Характер не тот. Климова привыкла, приучила себя к большим смертям, и человеческая подлость вряд ли была новинкой в революционном подполье. Давно был разоблачен Азеф, убит Татаров. Неудачи группы не могли убедить Наталью Сергеевну во всевластии самодержавия, в безнадежности усилий. И все же — это последняя боевая работа Климовой. Какие-то следы в психике Натальи Сергеевны эта травма, конечно, оставила...

В 1911 году Наталья Сергеевна знакомится с социал-революционером, боевиком, бежавшим с Читинской каторги. Это — земляк Михаила Соколова, «Медведя».

Влюбиться в Наталью Сергеевну немудрено. Наталья Сергеевна сама знает об этом отлично. Гость едет в колонию «амазонок» с письмом к Наталье Сергеевне и шутливым напутствием: «Не влюбись в Климову». Дверь в дом открывает Александра Васильевна Тарасова — та самая, которая освободила «амазонок» из Новинской тюрьмы, — гость, приняв Тарасову за хозяйку дома и вспомнив предупреждение друзей, удивляется неосновательности людских суждений. Но выходит Наталья Сергеевна, и гость, уехавший было домой, возвращается с первой станции обратно.

Торопливый роман, торопливый брак Натальи Сергеевны.

Все страстное утверждение себя вдруг обращается на материнство. Первый ребенок. Второй ребенок. Третий ребенок. Трудный эмигрантский быт.

Климова была человеком девятого вала. За 33 года ее жизни судьба выносила Наталью Климову на самые высокие, самые опасные гребни волн революционной бури, сотрясавшей русское общество, и Наталья Климова успевала справиться с этой бурей.

Штиль погубил ее.

Штиль, которому Наталья Сергеевна отдалась столь же страстно, столь же самоотверженно, как и самой буре... Материнство — первый ребенок, второй ребенок, третий ребенок — было столь же жертвенным, столь же полным, как и вся ее жизнь динамитчицы и террористки.

Штиль погубил ее. Неудачный брак, капкан быта, мелочи, мышья беготня жизни связали ее по рукам и ногам. Женщина, она приняла и этот свой жребий — слушая природу, которой она так была приучена следовать с детства.

Неудачный брак — Наталья Сергеевна никогда не забыла «Медведя», был ли он ее мужем или не был — решительно все равно. Муж ее — земляк Соколова, каторжанин, подпольщик — в высшей степени достойный человек, — и роман этот разворачивается со всей климовской увлеченностью и безоглядностью. Но муж Климовой был человеком обыкновенным, а «Медведь», человек девятого вала, — первой и единственной любовью слушательницы курсов Лохвицкой-Скалон.

Вместо динамитных бомб приходится таскать пеленки, горы детских пеленок, стирать, гладить, мыть.

Друзья Климовой? Самые близкие друзья погибли на виселице в 1906 году. Надежда Терентьева, одноделица по Аптекарскому острову, не была близким другом Наташи. Терентьева — товарищ по революционному делу — не больше. Взаимное уважение, симпатия — и все. Нет ни переписки, ни встреч, ни желания узнать побольше о судьбе друг друга. Терентьева отбывала каторгу в Мальцевском отделении, на Урале, где Акатуй, вышла на свободу с революцией.

Из Новинской тюрьмы, где был очень пестрый состав каторжанок, Наталья Сергеевна вывела в свою жизнь только одну дружбу — с надзирательницей Тарасовой. Эта дружба сохранилась навечно.

С острова Гернси в жизнь Климовой вошло больше людей — Фабрикант, женившийся на Тарасовой, Моисеенко становятся ее близкими друзьями. Наталья Сергеевна не поддерживает близких отношений с семьей Савинкова, не стремится укрепить это знакомство.

Как и Терентьева, Савинков для Климовой — товарищ по делу, не больше.

Климова — не теоретик, не фанатик, не агитатор и не пропагандист. Все ее побуждения — ее действия — дань собственному темпераменту, «сантиментам с философией».

Климова годилась для всего, но не для быта. Оказывается, есть вещи потруднее для нее, чем многомесячное голодное ожидание, где пекли картошку к ужину.

Очередные хлопоты о заработке, о пособии, двое маленьких детей, требующих заботы и решения.

После революции муж уезжает в Россию раньше семьи, и связь разрывается на несколько лет. Наталья Сергеевна рвется в Россию. Она, беременная третьим ребенком, переезжает из Швейцарии в Париж, чтобы уехать через Лондон в Россию. Дети и Н. С. заболевают и пропускают специальный детский пароход.

Ах, сколько раз в письмах из Петербургского ДПЗ Наташа Климова давала советы своим маленьким сестрам, которых обещала мачеха — тетя Ольга Никифоровна Климова привезти к Наташе в тюрьму из Рязани в Москву.

Тысяча советов: не простудитесь. Не стойте под форточкой. А то поездка не состоится. И дети слушались советов своей старшей сестры и сбереженные приезжали в Петербург на тюремное свидание.

В 1917 году не было такого советчика у Наташи Климовой. Дети простудились, пароход ушел. В сентябре рождается третий ребенок, девочка, живет недолго. В 1918 году Наталья Сергеевна делает последнюю попытку уехать в Россию. Куплены билеты на пароход. Но — гриппом заболевают обе девочки Натальи Сергеевны, Наташа и Катя. Ухаживая за ними, заболевает сама Климова. Грипп 1918 года — это мировой мор, это «испанка». Климова умирает, и детей воспитывают друзья Натальи Сергеевны. Отец — он в России — встретится с детьми только в 1923 году.

Время идет быстрее, чем думают люди.

Счастья в семье не было.

Война. Наталья Сергеевна — активный, страстный оборонец — тяжело переживала военное поражение России, а революцию с ее мутными потоками воспринимала очень болезненно.

Кажется, нет сомнений, что в России Наталья Сергеевна нашла бы себя. Но — нашел ли себя Савинков? Нет. Нашла ли себя Надежда Терентьева? Нет.

Здесь судьба Натальи Сергеевны Климовой касается великой трагедии русской интеллигенции, революционной интеллигенции.

Лучшие люди русской революции принесли величайшие жертвы, погибли молодыми, безымянными, расшатавши трон, принесли такие жертвы, что в момент революции у этой партии не осталось сил, не осталось людей, чтобы повести Россию за собой.

Трещина, по которой раскололось время — не только России, но мира, где по одну сторону — весь гума-

низм девятнадцатого века, его жертвенность, его нравственный климат, его литература и искусство, а по другую — Хиросима, кровавая война и концентрационные лагеря, и средневековые пытки и растление душ — предательство — как нравственное достоинство — устрашающая примета тоталитарного государства.

Жизнь Климовой, ее судьба потому и вписаны в человеческую память, что эта жизнь и судьба — трещина, по которой раскололось время.

Судьба Климовой — это бессмертие и символ.

Обывательская жизнь оставляет после себя меньше следов, чем жизнь подпольщика, нарочито спрятанная, нарочито скрытая под чужими именами и чужой одеждой.

Где-то пишется эта летопись, иногда поднимаясь на поверхность, как «Письмо перед казнью», как мемуар, как запись о чем-то очень важном.

Таковы все рассказы о Климовой. Их на свете немало. Следов Наталья Сергеевна оставила достаточно. Просто все эти записи не соединены в единый свод памятника.

. . . .

Рассказ — это палимпсест, хранящий все его тайны. Рассказ — это повод для волшебства, это предмет колдовства, живая, еще не умершая вещь, видевшая героя. Может быть, эта вещь — в музее: реликвия; на улице: дом, площадь; в квартире: картина, фотография, письмо...

Писание рассказа — это поиск, и в смутное сознание мозга должен войти запах косынки, шарфа, платка, потерянного героем или героиней.

Рассказ — это палея, а не палеография. Никакого рассказа нет. Рассказывает вещь. Даже в книге, в журнале необычна должна быть материальная сторона текста: бумага, шрифт, соседние статьи.

Я держал в руках письмо Натальи Сергеевны Климовой из тюрьмы и письма последних лет ее жизни из Италии, Швейцарии, Франции. Письма эти сами по себе рассказ, палея с законченным, строгим и тревожным сюжетом.

Я держал в руках письма Натальи Климовой после кровавой железной метлы тридцатых годов, когда вытравливалось, уничтожалось и имя человека, и память о нем — не много на свете осталось собственноручных писем Климовой. Но эти письма есть и, как ничто другое, вносят яркие штрихи. Это — письма из Петербурга, из

Новинской тюрьмы, из-за границы, после побега своей мачехе-тете, младшим братьям и сестрам, отцу. Хорошо, что в начале века почтовую бумагу делали из тряпок, бумага не пожелтела, и чернила не выцвели...

Смерть отца Натальи Сергеевны, наступившая в самый острый момент ее жизни, во время следствия по делу о взрыве на Аптекарском острове, смерть, спасшая жизнь Климовой — ибо никакой судья не рискнет осудить на смерть дочь, когда отец, подавая просьбу, умирает сам.

Трагедия рязанского дома сблизила Наташу с мачехой, кровью спаяла их друг с другом — письма Наташи становятся необычайно сердечны.

Усиливается внимание к домашним заботам.

Детям — рассказы о красных цветах, растущих на вершинах самых высоких гор. Для детей была написана повесть «Красный цветок». Климовой хватало на все. В письмах детям из тюрьмы — целая программа воспитания детской души, без назидательности, без поучительности.

Лепка человека — одна из любимых тем Натальи Сергеевны.

В письмах есть строки и поярче «Письма перед казнью». Огромная жизненная сила — решение вопроса, а не сомнения в правильности пути.

Многоточие было любимым знаком препинания Натальи Сергеевны Климовой. Многоточий явно больше, чем принято в нормальной русской литературной речи. Многоточия Наташи скрывают не только намек, тайный смысл. Это — манера разговора. Климова умеет делать многоточия в высшей степени выразительными и пользуется этим знаком очень часто. Многоточие надежд, критики. Многоточие аргументов, споров. Многоточие — средство описаний шутливых, грозных.

В письмах последних лет — нет многоточий.

Почерк становится менее уверенным. Точки и запятые по-прежнему стоят на своих местах, а многоточия вовсе исчезли. Все ясно и без многоточий. Расчеты курса франка не нуждаются в многоточиях.

Письма к детям полны описаний природы, и чувствуешь, что это не книжное постижение философии смысла вещей, а общение с детства с ветром, горой, рекой.

Есть великолепное письмо о гимнастике и танцах.

Письма детям, разумеется, имеют в виду детское понимание вопроса, да и тюремную цензуру.

Климова умеет сообщить и о карцерных наказаниях — Наталья Сергеевна часто сидела в карцере, причина во всех тюрьмах — выступление за арестантские права. И. Каховская, встречавшаяся с Климовой в Петербурге и в Москве — в тюремных камерах, разумеется, — много рассказывает об этом.

И. Каховская пишет, как в соседней одиночке питерской пересылки «Наташа Климова отплясывала под ритмический звон кандалов всякие причудливые танцы».

Как стучала в стену стихи Бальмонта:

«Тот, кто хочет, чтобы тени
Исчезали, пропадали,
Кто не хочет повторенья
И безбрежности печали,
Должен сам себе помочь —
Должен властною рукою
Бесполезность бросить прочь, —

стучала мне в стенку из Бальмонта в ответ на мои ламентации по этому поводу бессрочная Н. Климова. Полгода назад она пережила казнь самых близких ей людей, Петропавловку и смертный приговор».

Бальмонт был любимым поэтом Натальи Сергеевны. Это был «модернист» — а то, что «искусство с модернизмом», Наталья Сергеевна чувствовала, хотя это и не ее слова.

Детям написано из тюрьмы целое письмо о Бальмонте. Натура Натальи Сергеевны нуждалась в немедленном логическом оправдании своих чувств. «Сантименты с философией» — называл это свойство характера Натальи Сергеевны ее брат Миша.

Бальмонт — это значит, что литературный вкус Натальи Сергеевны, как и вся ее жизнь, тоже проходил по передовым поэтическим рубежам современности. И если Бальмонт оправдал надежды Климовой, то достаточно жизни Климовой, чтобы оправдать существование Бальмонта, творчество Бальмонта. О стихах Климова в письмах заботится чрезвычайно, старается, чтобы сборник «Будем, как солнце» был с ней всегда.

Если в стихах Бальмонта был какой-либо мотив, мелодия, заставлявшая звучать струны такой настройки, как душа Климовой, — Бальмонт оправдан. Казалось бы, проще, созвучней Горький с его буревестником, Некрасов... Нет. Любимый поэт Климовой — Бальмонт.

Блоковский мотив нищей, ветровой России тоже был очень силен в Климовой, особенно в сиротливые, заграничные ее годы.

Наталья Сергеевна не представляла себя вне России, без России и не для России. Тоска по русской природе, по русским людям, по рязанскому дому — ностальгия в самой чистой ее форме выражена в заграничных письмах очень ярко и, как всегда, страстно и логично.

И еще одно письмо страшно. Наталья Сергеевна, со всей страстью переживая разлуку, постоянно думая о родине, повторяя как заклинания, вдруг задумывается и говорит слова, которые вовсе не к лицу рационалистке, вольтерьянке, наследнице безверия XIX века, — Наталья Сергеевна пишет в тревоге, охваченная предчувствием, что она никогда больше не увидит Россию.

. . . .

Что же осталось от этой страстной жизни? Только школьная золотая медаль в кармане лагерной телогрейки старшей дочери Натальи Сергеевны Климовой.

Я хожу не один по следу Климовой. Со мной ее старшая дочь, и когда мы находим дом, который ищем, женщина входит внутрь, в квартиру, а я остаюсь на улице или, войдя следом за ней, прячусь где-нибудь у стены, сливаюсь с оконной шторой.

Я видел ее новорожденной, вспоминал, как сильные, крепкие руки матери, легко таскавшие пудовые динамитные бомбы, назначенные для убийства Столыпина, с жадной нежностью обнимали тельце своего первого ребенка. Ребенка назовут Наташей — мать назовет своим именем, чтобы обречь дочь на подвиг, на продолжение материнского дела, чтобы всю жизнь звучал этот голос крови, этот призыв судьбы, чтобы названная именем матери всю свою жизнь откликалась на этот материнский голос, зовущий ее по имени.

Ей было шесть лет, когда мать умерла.

В 1934 году мы навестили Надежду Терентьеву, максималистку, одноделицу Натальи Сергеевны Климовой по первому громкому делу, по Аптекарскому острову.

«Не похожа на мать, не похожа», — кричала Терентьева новой Наташе, русоволосой дочери, не похожей на темноголовую мать.

Терентьева не разглядела материнской силы, не угадала, не почувствовала огромной жизненной силы,

которая понадобилась дочери Климовой на испытания большие, чем испытания в огне и буре, которые были суждены матери.

Мы побывали у Никитиной — у участницы побега тринадцати, прочли две ее книжки об этом побеге.

Мы побывали в Музее Революции, на стенде девятисотых годов были две фотографии. Наталья Климова и Михаил Соколов. «Пришлите мне фотографию, где я в белой кофточке и пальто внакидку, — у меня многие просят, а если нет (Миша говорил, что ее потеряли), то гимназическую. У меня многие просят».

Эти сердечные строки — из посланного после побега первого письма Натальи Сергеевны.

Сейчас сорок седьмой год, и мы снова стоим вместе на Сивцевом Вражке.

Телогрейка еще хранит, как след дорогих духов, еле слышный запах Казахстанских лагерных конюшен.

Это был какой-то празапах, от которого произошли все запахи земли, запах унижения и щегольства, запах нищенства и роскоши.

В лагере, в Казахстанской степи, женщина полюбила лошадей за их свободу, раскованность табуна, который почему-то никогда не пытался растоптать, уничтожить, смять, стереть с лица земли. Женщина в лагерной телогрейке, дочь Климовой, поздно поняла, что она обладает удивительным даром доверия животных и птиц. Горожанка, она узнала преданность собак, кошек, гусей, голубей. Последний взгляд овчарки в Казахстане при разлуке тоже был каким-то рубежом, каким-то мостом, сожженным в ее жизни, — женщина входила ночью в конюшню и слушала лошадиную жизнь — свободную, в отличие от людей, окружавших женщину, со своим интересом, своим языком, своей жизнью. Позже в Москве, на ипподроме, женщина попытается встретиться с лошадьми снова. Разочарование ждало ее. Беговые лошади, в упряжке, в лентах, в шляпах, охваченные азартом посыла, были больше похожи на людей, чем на лошадей. Женщина больше не встречалась с лошадьми.

Но все это было после, а сейчас телогрейка еще хранила еле слышный запах казахстанской лагерной конюшни.

Что уже было? Рыба лососевой породы вернулась в родной ручей, чтобы ободрать в кровь бока о прибрежные скалы. «Я очень любила танцевать — вот весь мой грех перед мрачной Москвой тридцать седьмого года».

Вернулась, чтобы жить на земле, где жила ее мать, доехать до России на том пароходе, на который опоздала Наталья Климова. Рыба лососевой породы не слушает предупреждений, внутренний голос сильнее, властнее.

Зловещий быт тридцатых годов: предательство близких друзей, недоверие, подозрительность, злоба и зависть. Женщина поняла тогда на всю жизнь, что нет хуже греха, чем грех недоверия, и поклялась... Но раньше, чем она поклялась, ее арестовали.

Арестовали ее отца, он исчез в скользких от крови подвалах лагерей «без права переписки». У отца был рак горла — после ареста он мог прожить недолго. Но когда пытались навести справки, получали ответ, что он умер в 1942 году. Эта сказочная противораковость, чудесная антиканцерогенность лагеря, где жил и умер отец, — не привлекла внимания мировой медицины. Мрачная шутка, каких было немало тогда. Много лет две женщины будут искать хоть тень следа отца и мужа и ничего не найдут.

Десять лет лагерей, бесконечные общие работы, отмороженные руки и ноги — до конца жизни холодная вода будет причинять рукам боль. Смертные метели, когда вот-вот перестанешь жить. Безымянные руки, которые поддерживают в метели, приводят в барак, оттирают, отогревают, оживляют. Кто они, эти безымянные люди, безымянные, как террористы молодости Натальи Климовой.

Табуны лошадей. Казахстанских лагерных лошадей, более свободных, чем люди, со своей жизнью особой — женщина-горожанка обладала странным даром доверия животных и птиц. Животные ведь тоньше чувствуют людей, чем люди друг друга, и в человеческих качествах разбираются лучше людей. Животные и птицы относились к дочери Наташи Климовой с доверием — тем самым чувством, которого так не хватало людям.

В 1947 году, когда за плечами было следствие и десять лет лагерей, — испытания только начинались. Механизм, который размалывал, убивал, казался вечным. Те, кто выдерживал, кто доживал до конца срока, обрекались на новые скитания, на новые бесконечные мучения. Эта безнадежность бесправия, обреченность — темная от крови заря завтрашнего дня.

Густые, тяжелые золотые волосы. Что еще будет? Бесправие, многолетние скитания по стране, прописки, устройство на работу. После освобождения, после лаге-

ря — первая работа прислугой у какого-то лагерного начальника — поросенок, которого надо было мыть, ухаживать за ним — или — опять за пилу, на лесоповал. И спасение: работа инкассатором. Хлопоты по прописке, «режимные» города и районы, паспорт-клеймо, паспорт-оскорбление...

Сколько рубежей будет еще пройдено, сколько мостов сожжено...

Вот здесь в 1947 году молодая женщина впервые поняла и почувствовала, что не материнское имя прославить пришла она на землю, что ее судьба — не эпилог, не послесловие чьей-то, пусть родной, пусть большой жизни.

Что у нее своя судьба. И для утверждения этой своей судьбы путь только начат. Что она — такая же представительница века и времени, как и ее мать.

Что сохранить веру в человека при ее личном опыте, ее жизни — подвиг не меньший, чем дело матери.

Я часто думал, почему всемогущий, всесильный лагерный механизм не растоптал душу дочери Климовой, не размолол ее совести. И находил ответ: для лагерного распада, лагерного уничтожения, попрания человека нужна подготовка немалая.

Растление было процессом, и процессом длительным, многолетним. Лагерь — финал, концовка, эпилог.

Эмигрантская жизнь сохранила дочь Климовой. Но ведь и эмигранты держались на следствиях 37-го года не лучше «местных». Традиции семьи спасли. И та огромная жизненная сила, которая выдержит испытание хозяйским поросенком, — только отучит плакать навечно.

Она не только не потеряет веры в людей, но восстановление этой веры, повсечасное доказательство веры в людей сделает своим жизненным правилом: «заранее считать, что каждый человек — хороший человек. Доказывать нужно только обратное».

Среди зла, недоверия, зависти, злобы — чистый голос ее будет очень приметен.

— Операция была очень тяжелой — камни печени. Был 1952 год — самый трудный, самый плохой год моей жизни. И, лежа на операционном столе, я думала... Операции эти — камни в печени — не делаются под общим наркозом. Общий наркоз при этих операциях дает сто процентов смертей. Мне делали под местным, и я думала только об одном. Надо перестать мучиться, перестать жить, — и так легко это — чуть-чуть ослабить волю —

и порог будет перейден, дверь в небытие открыта... Зачем жить? Зачем воскресать снова к 1937? 1938, 1939, 1940, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 1950, 1951 годам всей моей жизни, такой ужасной?

Операция шла, и хоть мне было слышно каждое слово, я старалась думать о своем, и где-то из самой глубины моей, из самого нутра моего существа ползла какая-то струйка воли, жизни. Эта струйка становилась все мощнее, все полнее, и внезапно мне стало легко дышать. Операция была кончена.

В 1953 году умер Сталин, и началась новая жизнь с новыми надеждами, живая жизнь с живыми надеждами.

Воскресением моим было свидание с мартом 1953 года. Воскресая на операционном столе, я знала, что надо жить. И я воскресла.

На Сивцевом Вражке мы ждем ответа. Выходит хозяйка, постукивая каблуками, белый халатик застегнут, белая шапочка туго натянута на аккуратно уложенные седые волосы. Хозяйка не спеша разглядывает гостью своими крупными, красивыми темными дальнозоркими глазами.

Я стоял, сливаясь с оконной занавеской, с тяжелой запыленной шторой. Я, знавший прошлое и видевший будущее. Я уже побывал в концлагере, я сам был волком и мог оценить волчиную хватку. Я кое-что в повадках волков понимал.

В сердце мое вошла тревога — не страх, а тревога — я увидел завтрашний день этой невысокой русоволосой женщины, дочери Наташи Климовой. Я увидел ее завтрашний день, и сердце мое заныло.

— Да, я слышала об этом побеге. Романтическое время. И «Письмо после казни» читала. Господи! Вся интеллигентная Россия... Помню, все помню. Но романтика — это одно, а жизнь — вы простите меня, — жизнь — другое. Вы сколько лет были в лагере?

— Десять.

— Вот видите. Я могу вам помочь — ради вашей мамы. Но ведь я не на Луне. Я земной житель. Может быть, у ваших родственников есть какая-нибудь золотая вещь: кольцо там, перстень...

— Есть только медаль, мамина школьная медаль. А кольца нет.

— Очень жаль, что нет кольца. Медаль — это на зубные коронки. Я ведь зубной врач и протезист. Золото у меня быстро идет в дело.

— Вам надо уходить, — прошептал я.

— Мне надо жить, — твердо сказала дочь Наташи Климовой. — Вот... — И из кармана лагерной телогрейки она достала тряпичный сверточек.

1966

У СТРЕМЕНИ

Человек был стар, длиннорук, силен. В молодости он пережил травму душевную, был осужден как вредитель на десять лет и был привезен на Северный Урал на строительство Вишерского бумажного комбината. Здесь оказалось, что страна нуждается в его инженерных знаниях, — его послали не землю копать, а руководить строительством. Он руководил одним из трех участков строительства наравне с другими арестантами-инженерами — Мордухай-Болтовским и Будзко. Петр Петрович Будзко не был вредителем. Это был пьяница, осужденный по сто девятой статье. Но для начальства бытовик был еще удобней, а для товарищей Будзко выглядел как заправская пятьдесят восьмая, пункт семь. Инженер хотел попасть на Колыму. Берзин, директор Вишхимза, сдавал дела, уезжал на золото и набирал своих. На Колыме же ожидались кисельные берега и чуть не немедленное досрочное освобождение. Покровский подавал заявление и не понимал, почему Будзко берут, а его нет, и, мучаясь в неизвестности, решил добиться приема у самого Берзина.

Через тридцать пять лет я записал рассказ Покровского.

Этот рассказ, этот тон Покровский пронес через всю свою жизнь большого русского инженера.

— Наш начальник был большой демократ.

— Демократ?

— Да, знаете, как трудно попасть к большому начальнику. Директору треста, секретарю обкома? Записи у секретаря. Зачем? Почему? Куда? Кто ты таков?

А тут ты бесправный человек, арестант, и вдруг так просто видеть такое высокое, да еще военное начальство. Да еще с такой биографией — дело Локкарта, работа с Дзержинским. Чудеса.

— К генерал-губернатору?

— Вот именно. Могу вам сказать, не таясь, не стыдясь, — я сам кое-что сделал для России. И в своем деле

я известен по всему миру, думаю. Моя специальность — водоснабжение. Фамилия — Покровский, слышали?

— Нет, не слыхал.

— Ну, можно только смеяться. Чеховский сюжет — или, как теперь говорят, модель. Чеховская модель из рассказа «Пассажир первого класса». Ну, забудем, кто вы и кто я. Начал я свою инженерную карьеру с ареста, с тюрьмы, с обвинения и приговора на десять лет лагерей за вредительство.

Я проходил по второй полосе вредительских процессов: первую, шахтинцев, мы еще клеймили, осуждали. Нам досталась вторая очередь — тридцатый год. В лагеря я попал весной тридцать первого года. Что такое шахтинцы? Чепуха. Отработка эталонов, подготовка населения и кадров своих к кое-каким новинкам, которые стали ясны в тридцать седьмом. Но тогда, в тридцатом году, десять лет был срок оглушительный. Срок — за что? Бесправие оглушительно. Вот я уже на Вишере, строю что-то, возвожу. И могу попасть на прием к самому главному начальнику.

У Берзина не было приемных дней. Каждый день ему подавали лошадь к конторе — обычно верховую, а иногда коляску. И пока начальник садился в седло — принимал любых посетителей из заключенных. Десять человек в день, без бюрократизма, — хоть блатарь, хоть сектант, хоть русский интеллигент. Впрочем, ни блатари, ни сектанты с просьбами к Берзину не обращались. Живая очередь. Первый день я пришел, опоздал — был одиннадцатый, и, когда десять человек прошли, Берзин тронул коня и поскакал на строительство.

Я хотел обратиться к нему на работе — товарищи отсоветовали, как бы не испортить дела. Порядок есть порядок. Десять человек в день, пока начальник садится в седло. На другой день я пришел пораньше и дождался. Я попросил взять меня с собой на Колыму.

Разговор этот помню, каждое слово.

— А ты кто? — Берзин отвел в сторону лошадиную морду рукой, чтобы лучше расслышать.

— Инженер Покровский, гражданин начальник. Работаю начальником участка на Вишхимзе. Главный корпус строю, гражданин начальник.

— А что тебе надо?

— Возьмите меня с собой на Колыму, гражданин начальник.

— А какой у тебя срок?

— Десять лет, гражданин начальник.

— Десять? Не возьму. Если бы у тебя было три, там, пять — это другое дело. А десять? Значит, что-то есть. Что-то есть.

— Я клянусь, гражданин начальник...

— Ну, ладно. Я запишу в книгу. Как твоя фамилия? Покровский. Запишу. Тебе ответят.

Берзин тронул коня. На Колыму меня не взяли. Я получил досрочное на этом же строительстве и выплыл в большое море. Работал везде. Но лучше, чем на Вишере, чем при Берзине, мне нигде не работалось. Единственная стройка, где все делалось в срок, а если не в срок, Берзин скомандует, и все является как из-под земли. Инженеры (заключенные, подумать только!) получали право задерживать людей на работе, чтобы перевыполнять норму. Все мы получали премии, на досрочное нас представляли. Зачетов рабочих дней тогда не было.

И начальство нам говорило: работайте от души, а кто будет работать плохо — отправят. На Север. И показывали рукой вверх по течению Вишеры. А что такое Север, я и не знаю.

. . . .

Я знал Берзина. По Вишере. На Колыме, где Берзин умер, я не видал его — поздно меня на Колыму привезли.

. . . .

Генерал Гровс относился с полным презрением к ученым «манхэттенского проекта». И не стеснялся высказывать это презрение. Одно досье Роберта Оппенгеймера чего стоило. В мемуарах Гровс объясняет свое желание получить генеральский чин раньше назначения начальником «манхэттенского проекта»: «Мне часто приходилось наблюдать, что символы власти и ранги действуют на ученых сильнее, чем на военных».

Берзин относился с полным презрением к инженерам. Все эти вредители — Мордухай-Болтовский, Покровский, Будзко. Заключенные инженеры, строившие Вишерский комбинат. Выполним к сроку! Молния! План! Эти люди не вызывали у начальника ничего, кроме презрения. На удивление, на философское удивление бездонностью, безграничностью унижения человека, распадом человека у Берзина просто не хватало времени. Сила, которая сделала его начальником, знала людей лучше, чем он сам.

Герои первых вредительских процессов — инженеры Бояршинов, Иноземцев, Долгов, Миллер, Финдикаки — бойко работали за пайку, за смутную надежду быть представленными к досрочному освобождению.

Зачетов тогда еще не было, но уже было ясно, что необходима какая-то желудочная шкала для легкого управления человеческой совестью.

Берзин принял строительство Вишерского комбината в 1928 году. Уехал с Вишеры на Колыму в конце 1931 года.

Я, пробывший на Вишере с апреля 1929 до октября 1931 года, застал и видел только берзинское.

Личным пилотом Берзина (на гидроплане) был заключенный Володя Гинце — московский летчик, осужденный за вредительство в авиации на три года. Близость к начальнику давала Гинце надежду на досрочное освобождение, и Берзин при своем презрении к людям это хорошо понимал.

В своих поездках Берзин всегда спал где придется — у начальства, разумеется, не стремясь обеспечить себя какой-то охраной. Его опыт подсказывал, что в русском народе любой заговор будет выдан, продан, добровольные доносчики сообщат даже о тени заговора — все равно. Доносчики эти — обычно коммунисты бывшие, вредители, или родовитые интеллигенты, или потомственные блатари. Донесут, не беспокойтесь. Спите спокойно, гражданин начальник. Эту сторону лагерной жизни Берзин понимал хорошо, спокойно спал, спокойно ездил и летал и был убит, когда пришло время, своим же начальством.

Тот самый Север, которым пугали молодого Покровского, существовал, еще как существовал. Север только набирал силу, темп. Север — управление его было в Усть-Улсе, при впадении речки Улса в Вишеру, — там теперь нашли алмазы. Берзин тоже их искал, но не нашел. На Севере велись лесозаготовки — самая тяжелая работа для арестанта на Вишере. Колымские разрезы, кайло колымских каменоломен, работа на шестидесятиградусном морозе — все это было впереди. Вишера сделала немало, чтобы могла быть Колыма. Вишера — это двадцатые годы, конец двадцатых годов.

На Севере, на его участках лесных Пеле и Мыке, Вае и Ветрянке, заключенные при перегоне (заключенные ведь не ходят, их «гоняют», это официальный словарь) требовали связать руки за спиной, чтоб конвой не мог в дороге убить «при попытке к бегству». «Свяжите

руки, тогда пойду. Составьте акт». Те, кто не догадался умолить начальство связать себе руки, подвергались смертельной опасности. «Убитых при попытке к бегству» было очень много.

В одном из лагерных отделений блатари отнимали каждую посылку фраеров. Начальник не выдержал и застрелил трех блатарей. И выставил трупы в гробах на вахте. Трупы стояли три дня и три ночи. Кражи были прекращены, начальник снят с работы, переведен куда-то.

Аресты, провокационные дела, внутрилагерные допросы, следствия кипели в лагере. Огромная по штату третья часть набиралась из осужденных чекистов, проштрафившихся и прибывших к Берзину под спецконвоем, чтобы сейчас же занять место за следовательскими столами. Ни один бывший чекист не работал на работе не по специальности. Полковник Ушаков, начальник розыскного отдела Дальстроя, переживший Берзина вполне благополучно, был осужден на три года за превышение власти по сто десятой статье. Ушаков кончил срок через год, остался на службе у Берзина и вместе с Берзиным уехал строить Колыму. И немало людей сидело «за Ушаковым», в качестве меры пресечения — предварительный арест... Ушаков, правда, не «политик». Его дело — розыск, розыск беглецов. Был Ушаков и начальником режимных отделов на Колыме же, подписывал даже «Права з/к з/к», или, вернее, правила содержания заключенных, которые состояли из двух частей: 1. Обязанности: заключенный должен, заключенный не должен. 2. Права: право жаловаться, право писать письма, право немного спать, право немного есть.

А в молодости Ушаков был агентом московского уголовного розыска, сделал ошибку, получил трехлетний срок и уехал на Вишеру.

Жигалов, Успенский, Песнякевич вели большое лагерное дело против начальника третьего отделения (Березники). Дело это — о взятках, о приписках — кончилось ничем из-за твердости нескольких заключенных, просидевших под следствием, под угрозами по три-четыре месяца в лагерных изоляторах-тюрьмах.

Дополнительный срок был не редкость на Вишере. Такой срок получили Лазаренко, Глухарев.

За побег тогда сроки не давали, полагался изолятор трехмесячный с железным полом, что для раздетых, в белье, смертельно зимой.

Я там арестовывался органами местными дважды, дважды отправлялся со спецконвоем из Березников на Вижаиху, дважды прошел следствия, допросы.

Этот изолятор был страшен для опытных. Беглецы, блатари умоляли коменданта первого отделения Нестерова не сажать в изолятор. Они никогда не будут, никогда не побегут. И комендант Нестеров, показывая волосатый кулак, говорил:

— Ну, выбирай, плеска или в изолятор!

— Плеска! — жалобно отвечал беглец.

Нестеров взмахивал рукой, и беглец падал с ног, залитый кровью.

В нашем этапе в апреле 1929 года конвой напоил зубную врачиху Зою Васильевну, осужденную по пятьдесят восьмой статье по делу «Тихого Дона», и каждую ночь насиловал ее коллективно. В том же этапе был сектант Заяц. Отказывался вставать на поверку. Его избивал ногами конвоир каждую поверку. Я вышел из рядов, протестовал и той же ночью был выведен на мороз, раздет догола и стоял на снегу столько, сколько захотелось конвою. Это было в апреле 1929 года.

Летом тридцатого года в лагере на Березниках скопилось человек триста заключенных, актированных по четыреста пятьдесят восьмой статье — на свободу из-за болезней. Это были исключительно люди Севера — с черносиними пятнами, с контрактурами от цинги, с культями отморожений. Саморубов по четыреста пятьдесят восьмой статье не освобождали, и до конца срока или до случайной смерти саморубы жили в лагерях.

Начальник лагерного отделения Стуков распорядился было прогуливать в целях лечения, но все транзитники отказались от прогулки — еще выздоровеешь, пожалуй, и снова попадешь на Север.

Да, Севером пугали Покровского не напрасно. Летом 1929 года я первый раз увидел этап с Севера — большую пыльную змею, сползавшую с горы и видную далеко. Потом сквозь пыль засверкали штыки, потом глаза. Зубы там не сверкали, выпали от цинги. Растрескавшиеся, сухие рты, серые шапки-соловчанки, суконные ушанки, суконные бушлаты, суконные брюки. Этот этап запомнился на всю жизнь.

Разве все это было не при Берзине, у стремени которого трепетал инженер Покровский?

Это страшная черта русского характера — унизительное раболепство, благоговение перед каждым ла-

герным начальником. Инженер Покровский — только один из тысяч, готовых молиться, лизать руку большому начальнику.

Инженер — интеллигент, спина его не стала гнуться меньше.

— Что вам *так* понравилось на Вижаихе?

— Как же. Нам дали постирать белье в реке. После тюрьмы, после этапа это большое дело. К тому же доверие. Удивительное доверие. Стирали прямо на реке, на берегу, и бойцы охраны видели и не стреляли! Видели и не стреляли!

— Река, где вы купались, — в зоне охраны, в кольцевой опояске караульных вышек, расположенных в тайге. Какой же риск для Берзина давать вам стирать белье? А за кольцом вышек другое кольцо таежных секретов — патрулей, оперативников. Да еще летучие контрольные патрули проверяют друг друга.

— Да-а-а...

— А знаете, какая последняя фраза, с которой меня провожала Вишера, ваша и моя, когда я освободился осенью тридцать первого года? Вы тогда уже стирали свое белье в речке.

— Какая?

— «Прощайте. Пожили на маленькой командировке, поживете на большой».

Легенда о Берзине из-за его экзотического для обывателя начала — «заговор Локкарта», Ленин, Дзержинский! — и трагического конца — Берзин расстрелян Ежовым и Сталиным в тридцать восьмом году — разрастается пышным цветом преувеличений.

В локкартовском деле всем людям России надо было сделать выбор, бросить монету — орел или решка. Берзин решил выдать, продать Локкарта. Такие поступки диктуются часто случайностью — плохо спал, и духовой оркестр в саду играл слишком громко. Или у локкартовского эмиссара было что-то в лице, внушающее отвращение. Или в своем поступке царский офицер видел веское свидетельство своей преданности еще не родившейся власти?

Берзин был самым обыкновенным лагерным начальником, усердным исполнителем воли пославшего. Берзин держал у себя на колымской службе всех деятелей ленинградского ОГПУ времен кировского дела. Туда, на Колыму, люди эти были просто переведены на службу — сохраняли стаж, надбавки и так далее. Ф. Мед-

ведь, начальник ленинградского отделения ОГПУ, был на Колыме начальником Южного горнопромышленного управления и по берзинскому делу расстрелян, вслед за Берзиным, которого вызвали в Москву и сняли с поезда под Александровом.

Ни Медведь, ни Берзин, ни Ежов, ни Берман, ни Прокофьев не были сколько-нибудь способными, сколько-нибудь замечательными людьми.

Славу им дал мундир, звание, военная форма, должность.

Берзин также убивал по приказу свыше в 1936 году. Газета «Советская Колыма» полна извещений, статей о процессах, полна призывов к бдительности, покаянных речей, призывов к жестокости и беспощадности.

В течение тридцать шестого года и тридцать седьмого с этими речами выступал сам Берзин — постоянно, старательно, боясь что-нибудь упустить, недосмотреть. Расстрелы врагов народа на Колыме шли и в тридцать шестом году.

Одним из главных принципов убийств сталинского времени было уничтожение одним рядом партийных деятелей другого. А эти, в свою очередь, гибли от новых — из третьего ряда убийц.

Я не знаю, кому тут везло и в чьем поведении была уверенность, закономерность. Да и так ли это важно.

Берзина арестовали в декабре 1937 года. Он погиб, убивая для того же Сталина.

Легенду о Берзине развеять нетрудно, стоит только просмотреть колымские газеты того времени — тридцать шестого! тридцать шестого года! И тридцать седьмого, конечно. «Серпантинная», следственная тюрьма Северного горного управления, где велись массовые расстрелы полковником Гараниным в 1938 году, — эта командировка открыта в берзинское время.

Труднее понять другое. Почему талант не находит в себе достаточных внутренних сил, нравственной стойкости для того, чтобы с уважением относиться к самому себе и не благоговеть перед мундиром, перед чином?

Почему способный скульптор с упоением, отдачей и благоговением лепит какого-то начальника ГУЛАГа? Что так повелительно привлекает художника в начальнике ГУЛАГа? Правда, и Овидий Назон был начальником ГУЛАГа. Но ведь не работой в лагерях прославлен Овидий Назон.

Ну, скажем, художник, скульптор, поэт, композитор может быть вдохновлен иллюзией, подхвачен и унесен эмоциональным порывом и творит любую симфонию, интересуясь только потоком красок, потоком звуков. Почему все же этот поток вызван фигурой начальника ГУЛАГа?

Почему ученый чертит формулы на доске перед тем же начальником ГУЛАГа и вдохновляется в своих материальных инженерных поисках именно этой фигурой? Почему ученый испытывает то же благоговение к какому-нибудь начальнику лагерного ОЛПа? Потому только, что тот начальник.

Ученые, инженеры и писатели, интеллигенты, попавшие на цепь, готовы раболепствовать перед любым полуграмотным дураком.

«Не погубите, гражданин начальник», — в моем присутствии говорил местному уполномоченному ОГПУ в тридцатом году арестованный завхоз лагерного отделения. Фамилия завхоза была Осипенко. А до семнадцатого года Осипенко был секретарем митрополита Питирима, принимал участие в распутинских кутежах.

Да что Осипенко! Все эти Рамзины, Очкины, Бояршиновы вели себя так же...

Был Майсурадзе, киномеханик по «воле», около Берзина сделавший лагерную карьеру и дослужившийся до должности начальника УРО. Майсурадзе понимал, что стоит «у стремени».

— Да, мы в аду, — говорил Майсурадзе. — Мы на том свете. На воле мы были последними. А здесь мы будем первыми. И любому Ивану Ивановичу придется с этим считаться.

«Иван Иванович» — это кличка интеллигента на блатном языке.

Я думал много лет, что все это только «Расея» — немыслимая глубина русской души.

Но из мемуаров Гровса об атомной бомбе я увидел, что это подобострастие в общении с Генералом свойственно миру ученых, миру науки не меньше.

Что такое искусство? Наука? Облагораживает ли она человека? Нет, нет и нет. Не из искусства, не из науки приобретает человек те ничтожно малые положительные качества. Что-нибудь другое дает им нравственную силу, но не их профессия, не талант.

Всю жизнь я наблюдаю раболепство, пресмыкательство, самоунижение интеллигенции, а о других слоях общества и говорить нечего.

В ранней молодости каждому подлецу я говорил в лицо, что он подлец. В зрелые я видел то же самое. Ничто не изменилось после моих проклятий. Изменился только сам я, стал осторожнее, трусливей. Я знаю секрет этой тайны людей, стоящих «у стремени». Это одна из тайн, которую я унесу в могилу. Я не расскажу. Знаю — и не расскажу.

На Колыме у меня был хороший друг, Моисей Моисеевич Кузнецов. Друг не друг — дружбы там не бывает, — а просто человек, к которому я относился с уважением. Кузнец лагерный. Я у него работал молотобойцем. Он мне рассказал белорусскую притчу о том, как три пана — еще при Николае, конечно, — пороли три дня и три ночи без отдыха белорусского мужика-бедолагу. Мужик плакал и кричал: «А как же я не евши».

К чему эта притча? Да ни к чему. Притча — и все.

1967

ХАН-ГИРЕЙ

Александр Александрович Тамарин-Мерецкий был не Тамарин и не Мерецкий. Он был татарский князь Хан-Гирей, генерал из свиты Николая II. Когда Корнилов летом семнадцатого года шел на Петроград, Хан-Гирей был начальником штаба Дикой дивизии — особо верных царю кавказских воинских частей. Корнилов не дошел до Петрограда, и Хан-Гирей остался не у дел. Позднее по призыву Брусилова, известному испытанию офицерской совести, Хан-Гирей вступил в Красную Армию и обратил свое оружие против своих бывших друзей. Здесь Хан-Гирей исчез, а явился кавалерийский командир Тамарин, командир кавалерийского корпуса — три ромба по сравнительной шкале военных званий того времени. Тамарин участвовал в этом чине в гражданской войне, а к концу Гражданской самостоятельно командовал операциями против басмачей, против Энвера-паши. Басмачи были разбиты, рассеяны, но Энвер-паша выскользнул в песках Средней Азии из рук красных кавалеристов, исчез где-то в Бухаре и снова появился на советских границах — с тем чтобы быть убитым в случайной перестрелке патрулей. Так кончилась жизнь Энвера-паши, талантливого военачальника, политика, объявившего когда-то газават, священную войну, Советской России.

Тамарин командовал операцией по уничтожению басмачей, и когда выяснилось, что Энвер-паша бежал, ускользнул, исчез, началось следствие по делу Тамарина. Тамарин доказывал свою правоту, объяснял неудачу поимки Энвера. Но Энвер был слишком видной фигурой. Тамарина демобилизовали, и князь остался без будущего, без настоящего. Жена Тамарина умерла, но была жива и здорова старуха мать, была жива сестра. Тамарин, поверивший Брусилову, чувствовал ответственность за семью.

Всегдашний интерес Тамарина к литературе — к современной поэзии даже, интерес и вкус дал бывшему генералу возможность заработка по литературной части. Александр Александрович напечатал несколько статей-обзоров в «Комсомольской правде». Подпись: А. А. Мерецкий.

Половодье входит в берега. Но где-то шелестят анкетами, где-то вскрывают пакеты и, не подшивая к делу, несут бумажку на доклад.

Тамарин арестован. Новое следствие ведется уже вполне официально. Три года концентрационных лагерей за нераскаяние. Сознание смягчило бы вину.

В 1928 году был только один концлагерь в России — УСЛОН. Четвертое отделение Соловецких лагерей особого назначения открылось позднее в верховьях Вишеры, в ста километрах от Соликамска, близ деревни Вижаиха. Тамарин едет в этапе на Урал в «столыпинском» арестантском вагоне, обдумывая один план, очень важный, далеко рассчитанный план. Вагон, в котором везут Александра Александровича на север, — «столыпинский» вагон из последних. Огромная нагрузка на вагонный парк, плохой ремонт — все привело к тому, что «столыпинские» стали вымирать, рассыпаться. Соскочил где-то с колеи, стал жилищем железнодорожных ремонтников, одряхлел, его актировали, и вагон исчез. Вовсе не в интересах нового правительства было обновлять именно «столыпинский» вагонный парк.

Был «столыпинский» галстук-виселица. Столыпинские хутора. Столыпинская земельная реформа вошла в историю. Но о «столыпинских» вагонах говорят все по простоте душевной, что это — арестантский вагон с решетками, специальный вагон для перевозок арестантов.

На самом же деле последние «столыпинские» вагоны, изобретенные в девятьсот пятом году, государство донашивало во время Гражданской войны. «Столыпин-

ских» вагонов давно нет. Сейчас любой вагон с решетками называют «столыпинским».

Настоящий же «столыпинский» вагон модели 1905 года был теплушкой с маленькой щелью в центре стены, густо перекрещенной железом, с глухой дверью и узким коридорчиком для конвоя с трех сторон вагона. Но что «столыпинский» вагон арестанту Тамарину.

Александр Александрович Тамарин не только кавалерийский генерал. Тамарин был садовод, цветовод. Да, Тамарин мечтал: он будет выращивать розы — как Гораций, как Суворов. Седой генерал с садовыми ножницами в руках, срезающий гостям благоухающий букет «Звезды Тамарина» — особой породы роз, отмеченной первой премией на международной выставке в Гааге. Или еще сорт — «Гибрид Тамарина», северная красавица, петербургская Венера.

Эта мечта владела Тамариным с детства: выращивать розы — классическая мечта всех военных на пенсии, всех президентов, всех министров в мировой истории.

В кадетском корпусе, перед отходом ко сну, Хан-Гирей видел себя то Суворовым, переходящим Чертов мост, то Суворовым с садовыми ножницами среди сада в селе Кончанском. Впрочем, нет. Кончанское — опала Суворова. Хан-Гирей же, утомленный подвигами во славу Марса, выращивает розы просто потому, что пришло время, исполнились сроки. После роз — никакого Марса.

Эта робкая мечта все разгоралась и разгоралась, пока не стала страстью. А когда стала страстью — Тамарин понял, что для выращивания роз нужно знание земли, а не только стихов Вергилия. Цветовод незаметно стал огородником и садоводом. Хан-Гирей поглощал эти знания быстро, учился шутя. Никогда Тамарин не жалел времени на любой цветоводный опыт. Не жалел времени, чтобы прочесть лишний учебник по растениеводству, по огородничеству.

Да, цветы и стихи! Серебряная латынь звала к стихам современных поэтов. Но главное — Вергилий и розы. Но, может быть, не Вергилий, а Гораций. Вергилий почему-то выбран Данте в проводники сквозь ад. Хороший это или плохой символ? Поэт сельских радостей — надежный ли проводник по аду?

Ответ на этот вопрос Тамарин успел получить.

Раньше выращивания роз пришла революция — февральская, Дикая дивизия, Гражданская война, конц-

лагерь на Северном Урале. Тамарин решил поставить новую ставку в своей жизни-игре.

Цветы, выращенные Тамариным в концлагере, в Вишерском сельхозе, возили на выставки в Свердловск с большим успехом. Тамарин понял, что цветы на Севере — путь к его свободе. С этого времени чисто выбритый старик в заплатанном чекмене ставил на стол директора Вишхимза, начальника Вишерских лагерей Эдуарда Петровича Берзина, свежую розу ежедневно.

Берзин тоже кое-что слышал о Горации, о выращивании роз. Классическая гимназия эти знания давала. А главное — Берзин вполне доверял вкусам Александра Александровича Тамарина. Старый царский генерал, ежедневно ставящий свежую розу на письменный стол молодого чекиста. Это было неплохо. И требовало благодарности.

Берзин, сам царский офицер, в свое время 24-х лет от роду в локкартовском деле поставил жизнь-ставку на советскую власть. Берзин понимал Тамарина. Это была не жалость, а общность судеб, связавшая обоих надолго. Берзин понимал, что лишь по воле случая он — в кабинете директора Дальстроя, а Тамарин с лопатой на лагерном огороде. Это были люди одного воспитания, одной катастрофы. Никакой разведки и контрразведки не было в жизни Берзина, пока не возник Локкарт и необходимость выбора.

В двадцать четыре года жизнь кажется бесконечной. Человек не верит в смерть. Недавно на кибернетических машинах вычислили средний возраст предателей в мировой истории от Гамильтона до Валленрода. Этот возраст — двадцать четыре года. Стало быть, и тут Берзин был человеком своего времени... Полковой адъютант, прапорщик Берзин... Любитель-художник, знаток барбизонской школы. Эстет, как все чекисты тех времен. Впрочем, он еще не был чекистом. Дело Локкарта было ценой за это звание, вступительным партийным взносом Берзина.

Я приехал в апреле, а летом пришел к Тамарину, переправился через реку по особому пропуску. Тамарин жил при оранжерее. Комнатка со стеклянной парниковой крышей, томный, тяжелый запах цветов, запах сырой земли, парниковые огурцы и рассада, рассада... Александр Александрович соскучился по собеседнику. Отличать акмеистов от имажинистов не умел ни один тамаринский сосед по нарам, ни один помощник и начальник.

Вскоре началась эпидемия «перековки». Исправдома были переданы ОГПУ, и новые начальники по новым законам поехали на все четыре стороны света, открывая все новые и новые лагерные отделения. Страна покрылась густой сетью концлагерей, которые к этому времени переименовали в «исправительно-трудовые».

Помню большой митинг заключенных летом 1929 года в управлении УВЛОН, на Вишере. После доклада заместителя Берзина — штрафного чекиста Теплова о новых планах советской власти, о новых рубежах в лагерном деле, был задан вопрос Петром Пешиным, каким-то партийным лектором из Свердловска:

— Скажите, гражданин начальник, чем отличаются исправительно-трудовые лагеря от концентрационных?

Теплов звонко и с удовольствием повторил вопрос.

— Это вы спрашиваете?

— Да, именно это, — сказал Пешин.

— Ничем не отличаются, — звонко выговорил Теплов.

— Вы меня не поняли, гражданин начальник.

— Я вас понял. — И Теплов перевел глаза не то выше, не то ниже Пешина и никак не отвечал на сигналы Пешина — просьбу задать еще вопрос.

Волна «перековки» перенесла меня в Березники, на станцию Усольская, как это называлось в те времена.

Но еще раньше, в ночь перед моим отъездом, Тамарин пришел в лагерь, в четвертую роту, где я жил, чтобы попрощаться. Оказалось, это не меня увозят — увозят Тамарина спецконвоем, в Москву.

— Поздравляю, Александр Александрович. Это на пересмотр, на освобождение.

Тамарин был небрит. Щетина у него была такая, что при дворе царя приходилось бриться дважды в день. В лагере же он брился один раз в день.

— Это — не освобождение и не пересмотр. Мне остался год сроку из трех лет. Неужели вы думаете, что кто-то пересматривает дела? Прокуратура по надзору или какая-нибудь другая организация. Я заявлений не подавал никаких. Я стар. Я хочу здесь жить, на Севере. Здесь хорошо — я раньше, в молодости, Севера не знал. Матери нравится тут. Сестре — тоже. Я хотел здесь умереть.

И вот спецконвой.

— Меня отправляют с этапом завтра открывать Березниковскую командировку, бросить первую лопату на главную стройку второй пятилетки... Мы не можем ехать вместе?

— Нет, у меня спецконвой.

Мы распрощались, а завтра нас погрузили на «шитик», и «шитик» сплыл до Дедюхина, до Ленвы, где в старом складе и разместили первую партию заключенных, поднявших на своей спине, своей крови корпуса Березникхимстроя.

Цинги в берзинские времена было в лагере очень много, и не только с грозного Севера, откуда пыльной змеей время от времени приползали, сползали с гор этапы отработавшихся. Севером грозили в управлении, грозили в Березниках. Север — это Усть-Улс и Кутим, где сейчас алмазы. Искали алмазы и раньше, но эмиссарам Берзина не везло. Притом лагерь с цингой, с побоями, с рукоприкладством походя, с убийствами бессудными — доверия у местного населения не вызывал. Только потом судьба ссыльных по коллективизации семей кубанских раскулаченных, которых бросили на снег и на смерть в Уральских лесах, подсказала, что страна готовится к большой крови.

Пересылка на Ленве была в том же бараке, где мы были размещены, вернее, в части барака — в верхнем его этаже.

Конвоир только что завел туда какого-то мужчину с двумя чемоданами, в чекмене каком-то потертом... Спина была очень знакомой.

— Александр Александрович?

Мы обнялись. Тамарин был грязен, но весел, гораздо веселей, чем на Вижаихе — при нашем последнем свидании. И я сразу понял почему.

— Пересмотр?

— Пересмотр. Было три года, а теперь дали десять, высшую меру с заменой десятью годами — и я возвращаюсь! На Вишеру!

— Чего ж вы радуетесь?

— Как? Остаться жить — это главное в моей философии. Мне 65 лет. До конца нового срока я все равно не доживу. Зато кончилась всякая неизвестность. Я попрошу Берзина дать мне умереть в сельхозе, в моей светлой комнате с потолком из парниковых рам. После приговора я мог проситься в любое место, но я немало потратил сил, чтобы выпросить возвращение, возвращение. А срок... Все это чепуха — срок. Большая командировка или маленькая командировка — вот и вся разница. Вот отдохну, переночую и завтра на Вишеру.

А причины, причины... Конечно, есть причины. Есть объяснения.

За границей вышли в свет мемуары Энвера. В самих мемуарах ни слова о Тамарине не говорилось, но предисловие к книге написал бывший адъютант Энвера. Адъютант написал, что Энвер ускользнул только благодаря содействию Тамарина, с которым Энвер, по словам адъютанта, был знаком, дружен и переписывался еще со времен службы Хан-Гирея при царском дворе. Эта переписка продолжалась и позже. Следствие, конечно, установило, что, если бы Энвера не убили на границе, Тамарин, тайный мусульманин, должен был возглавить газават и положить к ногам Энвера Москву и Петроград. Весь этот стиль следствия пышным кровавым цветом расцвел в тридцатые годы. «Школа», почерк один и тот же.

Но Берзин был знаком с почерком провокаторов и не поверил ни одному слову нового следствия по делу Тамарина. Берзин читал воспоминания Локкарта, статьи Локкарта о своем, берзинском деле. 1918 год. В этих статьях-мемуарах латыш изображался союзником Локкарта, английским, а не советским шпионом. Место в сельхозе за Тамариным было закреплено навечно. Обещания начальника — хрупкая вещь, но все же покрепче вечности, как показывало время.

Тамарин стал готовиться не совсем к той работе, которой хотел заниматься на первых порах после «пересмотра» дела. И хотя по-прежнему на стол Берзина старый агроном в чекмене ежедневно ставил свежую вишерскую розу, вишерскую орхидею, думал он не только о розах.

Первый трехлетний срок Тамарина кончился, но он о нем и не думал. Судьбе нужна кровавая жертва, и эта жертва приносится. Умерла мать Тамарина, огромная веселая кавказская старуха, которой так нравился Север, которая хотела подбодрить сына, поверить в его увлечение, в его план, в его путь, зыбкий путь. Когда выяснилось, что новый срок — десять лет, старуха умерла. Быстро умерла, в неделю. Ей так нравился Север, но сердце не выдержало Севера. Осталась сестра. Младше Александра Александровича, но тоже седая старуха. Сестра работала машинисткой в конторе Вишхимза, все еще веря в брата, в его счастье, в его судьбу.

В 1931 году Берзин принял новое большое назначение — на Колыму, директором Дальстроя. Это был пост, где Берзин совмещал в себе высшую власть окраинного

края — восьмой части Советского Союза — партийную, советскую, военную, профсоюзную и так далее.

Геологическая разведка — экспедиция Билибина, Цареградского дали превосходные результаты. Запасы золота были богаты, оставались пустяки: добыть это золото на шестидесятиградусном морозе.

О том, что на Колыме есть золото, известно триста лет. Но ни один царь не решался добывать это золото принудительным трудом, арестантским трудом, рабским трудом, решился на это только Сталин... После первого года — Беломорканала, после Вишеры — решили, что с человеком все сделать можно, границы его унижения безмерны, его физическая крепость безмерна. Оказалось, что можно изобретать ради второго блюда на обед по шкале — производственной, ударной и стахановской, как к тридцать седьмому году стали называть наивысший паек лагерников или колымармейцев, как их называли в газетах тогда. Для этого золотого предприятия, для этого дела по колонизации края, а позже для физического истребления врагов народа искали человека. И лучше Берзина не нашли. Берзин относился с полным презрением к людям, не с ненавистью, а с презрением.

Первый колымский начальник с правом побольше, чем у генерал-губернатора Восточной Сибири — Ивана Пестеля, отца Пестеля-декабриста, Берзин взял с собой Тамарина — по сельскохозяйственной части — экспериментировать, доказывать, прославлять. Были созданы сельхозы по типу вишерских — сначала вокруг Владивостока, а потом близ Эльгена.

Опорное сельское хозяйство на Эльгене, в центре Колымы, было упрямым капризом и Берзина, и Тамарина.

Берзин считал, что будущий центр Колымы — не приморский Магадан, а Тасканская долина. Магадан — только порт.

В Тасканской долине земли было чуть побольше, чем на голых скалах всего Колымского края.

Там создали совхоз, убили миллионы на доказательство недоказуемого. Вызревать картошка не хотела. Картошку выращивали в парниках, высаживали, как капусту, на бесконечных «ударниках», субботниках лагерного типа, заставляли заключенных там работать, высаживать эту рассаду «для себя». «Для себя»! Я немало поработал на таких «субботниках»...

Через год лагерная Колыма дала первое золото, в 1935 году Берзин был награжден орденом Ленина. Алек-

сандр Александрович получил реабилитацию, снятие судимости. Сестра его к этому времени тоже умерла, но Александр Александрович еще держался. Писал в журналах статьи — на этот раз не о молодой комсомольской поэзии, а о своих сельскохозяйственных экспериментах. Александр Александрович вывел сорт капусты «Гибрид Тамарина», особенный какой-то, северный, как бы мичуринский сорт. 32 тонны с гектара. Капуста, а не роза! На фотографии капуста выглядит как огромная роза — крупный, крутой бутон. «Дыня-тыква Тамарина» — вес 40 килограммов! Картофель селекции Тамарина!

Александр Александрович возглавил на Колыме отделение растениеводства Дальневосточной академии наук.

Тамарин делал доклады в Академии сельскохозяйственных наук, ездил в Москву, спешил.

Тревога тридцать пятого года, кровь тридцать пятого года, арестантские потоки, где было много друзей и знакомых самого Берзина, пугали, настораживали Тамарина. Берзин выступал и клеймил, разоблачал и судил разнообразных вредителей и шпионов из числа своих подчиненных как «просочившихся, пробравшихся в ряды» до того дня, пока сам не стал «вредителем и шпионом».

Комиссия за комиссией изучали Берзинское царство, допрашивали, вызывали...

Тамарин чувствовал всю шаткость, всю непрочность своего положения. Ведь только в тридцать пятом году была с Тамарина снята судимость «с восстановлением во всех правах».

Тамарин получил право приехать на Колыму как вольнонаемный работник сельского хозяйства Севера, как дальневосточный Мичурин, как дальстроевский чародей. Договор был подписан в Москве в 1935 году.

Успех овощных урожаев в лагерях под Владивостоком был велик. Бесплатная рабочая сила арестантская, неограниченная на Дальстроевской транзитке, делала чудеса. Выбранные из этапов агрономы, вдохновленные обещанием досрочного освобождения, зачетами рабочих дней, не щадили себя, ставя любые опыты. За неудачу тут пока не преследовали. Лихорадочно искали удачу. Но все это — материк, Большая земля, Дальний Восток, а не Дальний Север. Но и на Дальнем Севере начинались опыты — в Тасканской долине, на Эльгене, в Сеймчане, на побережье близ Магадана.

Но не было свободы, подготовленной так тщательно, с таким бесконечным унижением, изворотливостью и осторожностью. На Колыму с материка шли арестантские эшелоны. Мир, сотворенный для Тамарина Берзиным, рассыпался на куски. Многие деятели кировского и докировского времени нашли у Берзина службу как бы запаса. Так, Ф. Медведь, начальник Ленинградского ОГПУ, во время убийства Кирова был у Берзина начальником южного ОГПУ. В первом случае ГП значит «государственно-политическое», а во втором — только «горнопромышленное» — лингвистические забавы работников «органов».

Пришел тридцать шестой год, с расстрелами, с разоблачениями, с покаяниями. За тридцать шестым — тридцать седьмой.

На Колыме было много «процессов», но этих местных жертв Сталину было мало. В пасть Молоху надо было кинуть жертву покрупнее.

В ноябре тридцать седьмого года Берзин был вызван в Москву с предоставлением годового отпуска. Директором Дальстроя был назначен Павлов. Берзин представил нового начальника партактиву Дальстроя. Ехать вместе с Павловым на прииски сдавать хозяйство не было времени — торопила Москва.

Перед отъездом Берзин помог Тамарину получить отпуск «на материк». Дальстроевец с двухлетним стажем, Александр Александрович не выслужил еще отпуска. Этот отпуск — последнее благодеяние, оказанное директором Дальстроя генералу Хан-Гирею.

Ехали они в одном вагоне. Берзин был, как всегда, хмур. Уже под Москвой, в Александрове, в ледяную метельную декабрьскую ночь Берзин вышел на перрон. И в вагон не вернулся. Поезд пришел в Москву без Берзина. Тамарин, переждав несколько дней настоящей своей свободы — первой за двадцать лет, пытался узнать о судьбе своего многолетнего начальника и покровителя. В один из таких визитов в представительство Дальстроя Тамарин узнал, что он и сам уволен «из системы», уволен заочно и навсегда.

Тамарин решил еще раз попытать свое счастье. Всякое заявление, жалоба, просьба в те годы были привлечением внимания к жалобщику, риском смертельным. Но Тамарин был стар. Он не хотел ждать. Да, стариком он стал, не хотел, не мог ждать. Тамарин написал заявление в Управление Дальстроя с просьбой вернуть его для ра-

боты на Колыму. Тамарин получил отказ — в таких специалистах послеберзинская Колыма не нуждалась.

Был март тридцать восьмого года, все пересылки страны были забиты арестантскими эшелонами. Смысл ответа был такой: если тебя и привезут, то только под конвоем.

Это был последний след Хан-Гирея, садовника и генерала на нашей земле.

Судьбы Берзина и Тамарина очень схожи. Оба они служили силе и слушались этой силы. Верили в силу. И сила их обманула.

Дело Локкарта Берзину никогда не простили, не забыли. На Западе мемуаристы считали Берзина верным участником английского заговора. Ни Ленина, ни Дзержинского, знавших подробности Локкартовского дела, не было уже в живых. И когда пришел час, Сталин убил Берзина. Около государственных тайн слишком горячо людям, даже с такой холодной кровью, как у Берзина.

<1967>

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

С тридцатого года пошла эта мода: продавать инженеров. Лагерь имел доход немалый от продажи на сторону носителей технических знаний. Лагерь получал полную ставку, и из нее вычиталось питание арестанта, одежда, конвой, следовательский аппарат, даже ГУЛАГ. Но после вычета всех коммунальных расходов оставалась приличная сумма. Эта сумма вовсе не поступала в руки арестанта или на его текущий счет. Нет. Сумма поступала в доход государства, и заключенный получал вполне произвольные премиальные, которых хватало иногда на пачку папирос «Пушка», а иногда и на несколько пачек. Лагерное начальство поумнее добивалось от Москвы разрешения платить пусть малый, но определенный процент заработка, отдавать эту сумму в руки арестанту. Но разрешения на такой расчет от Москвы не давалось, и инженерам платили произвольно. Как, впрочем, и землекопам и плотникам. Правительство почему-то боялось даже иллюзии зарплаты, превращая ее в награду, в премию и называя эту зарплату «премией».

В числе первых инженеров-заключенных, проданных лагерем на строительство, в нашем лагерном отде-

лении был Виктор Петрович Финдикаки, сосед мой по бараку.

Виктор Петрович Финдикаки — срок пять лет, статья пятьдесят восьмая, пункты семь и одиннадцать, был первым русским инженером, поставившим — это было на Украине — прокатку цветных металлов. Его работы по специальности хорошо известны в русской технике, и, когда Виктору Петровичу предложил новый хозяин — Березниковский химкомбинат — отредактировать учебную книжку по специальности, Виктор Петрович взялся за эту работу с энтузиазмом, но скоро погрустнел, и я с трудом добился от Виктора Петровича причины его огорчения.

Виктор Петрович без тени улыбки объяснил, что в редактируемом им учебнике встречается слово «вредит» — и везде вычеркнул это слово. Заменил словом «препятствует». Теперь эти результаты у начальства.

Правка Виктора Петровича не встретила возражения у начальства, и Виктор Петрович остался на инженерной должности.

Пустяк, конечно. Но для Виктора Петровича это было дело серьезное, принципиальное, а почему — сейчас объясню.

Виктор Петрович был человеком «расколовшимся», как говорят блатные и лагерные начальники. На своем процессе он помогал следствию, участвовал в очных ставках, был запуган, сбит с ног и растоптан. И кажется, не только в переносном смысле. Виктор Петрович прошел несколько «конвейеров», как это стало называться повсюду через четыре-пять лет.

Начальник производственного лагеря Павел Петрович Миллер знал Финдикаки по тюрьме. И хотя сам Миллер выдержал и конвейеры и плюхи и получил десять лет, он как-то безразлично относился к проступку Виктора Петровича. Сам же Виктор Петрович мучился своим предательством ужасно. По всем этим вредительским делам были расстрелы. Понемножку, правда, но расстреливали уже. Приехал в лагерь шахтинец Бояршинов и тоже как будто недружелюбно беседовал с Финдикаки.

Сознание какого-то провала, нравственного падения безмерного не оставляло Финдикаки долго. Виктор Петрович (его койка в бараке стояла рядом с моей) не хотел даже работать на какой-нибудь блатной, привилегированной должности, бригадиром, десятником или помощником самого Павла Петровича Миллера.

Финдикаки был человек физически крепкий, невысок, широкоплеч. Помню, немного он удивил Миллера, когда попросился в бригаду грузчиков на содовый завод. Бригада эта, не имея вольного хождения, вызывалась из лагеря на содовый завод в любое время суток для погрузки или разгрузки вагонов. Быстрота работы была тем преимуществом, которое из-за угрозы железнодорожного штрафа администрация содового завода ценила очень высоко. Миллер посоветовал инженеру поговорить с бригадиром грузчиков. Юдин, бригадир, жил тут же в бараке и расхохотался, выслушав просьбу Финдикаки. Природный пахан Юдин не любил белоручек, инженеров, вообще ученых. Но, уступая желанию Миллера, взял Финдикаки в свою бригаду.

С той поры мы встречались с Финдикаки редко, хотя и спали рядом.

Прошло какое-то время, и в Химстрой понадобился умный раб, ученый раб. Понадобился инженерный мозг. Есть работа для Финдикаки. Но Виктор Петрович отказался: «Нет, я не хочу возвращаться в мир, где мне каждое слово ненавистно, каждый технический термин будто язык стукачей, лексикон предателей». Миллер пожал плечами, и Финдикаки продолжал работать грузчиком.

Но скоро Финдикаки немножко остыл, судебная травма стала немножко сглаживаться. В лагерь прибыли другие инженеры, расколотые. К ним Виктор Петрович приглядывался. Живут и не умирают ни от собственного стыда, ни от презрения окружающих. Да и бойкота никакого нет — люди как люди. И Виктор Петрович стал немножко жалеть о своем капризе, о своем мальчишестве.

Снова вышла инженерная должность на строительстве, и Миллер — через него шло ходатайство начальнику — отказал нескольким только прибывшим инженерам. Виктор Петрович был спрошен еще раз и согласился. Но назначение вызвало резкий, дикий протест бригадира грузчиков: «Для какой-то конторской работы у меня снимают лучшего грузчика. Нет, Павел Петрович. Блат поломан. Я до Берзина дойду, а всех вас разоблачу».

Началось действительное следствие о вредительстве Миллера, но, к счастью, кто-то из прежнего начальства сделал внушение бригадиру грузчиков. И Виктор Петрович Финдикаки вернулся на инженерную работу.

По-прежнему мы стали засыпать вместе — наши топчаны стояли рядом. Снова я слышал, как Финдикаки

шептал перед сном, как молитву: «Жизнь — это говно. Говенная штука». Пять лет.

Ни тон, ни текст заклинания Виктора Петровича не изменились.

<1967>

БОРИС ЮЖАНИН

В один из осенних дней тридцатого года пришел арестантский этап — теплушка номер сорок какого-то эшелона, идущего на север, на север, на север. Все пути были забиты. Железная дорога едва справлялась с перевозкой «раскулаченных» — с женами и малыми детьми «раскулаченных» гнали на север, чтобы бросить кубанцев, сроду не видевших леса, — в густую уральскую тайгу. По Чердынским леспромхозам уже через год надо было посылать комиссии — переселенцы поумирали, план лесозаготовок был под угрозой. Но все это было потом, а сейчас «лишенцы» еще вытирались украинским пестрым рушником, умывались, радуясь и не радуясь отдыху, задержке их. Поезд задерживали, он уступал дорогу — кому — арестантским эшелонам. Эти знали — их привезут и возьмут под винтовку, а потом каждый будет ловчить, сражаться за свою судьбу, «ломать судьбу». Кубанцы же ничего не знали — какой смертью они умрут, где и когда. Кубанцев всех отправляли в теплушках. И арестантские эшелоны — числом поболее — тоже отправляли в теплушках. Настоящих «столыпинских» вагонов — теплушечных было мало, и под арестантские этапы стали оборудовать, заказывать на заводах обыкновенные вагоны когда-то второго класса. Эти арестантские вагоны по той самой причине, по какой центральные части России на Колыме зовут «материком», хотя Колыма не остров, а область на Чукотском полуострове, — но сахалинский лексикон, отправка только пароходами, многодневный морской путь — все это создает иллюзию острова. Психологически иллюзии нет никакой. Колыма — это остров. С нее возвращаются на «материк», на «Большую землю». И материк, и Большая земля — это словарь повседневности: журнальный, газетный, книжный.

Точно так же за арестантским вагоном с решетками сохранилось название «столыпинский». Хотя арестантский вагон издания 1907 года совсем не таков.

Так вот, в списке теплушки номер сорок — тридцать шесть заключенных. Норма! Этап шел без перегрузки. В списке для конвоя, написанном от руки, была графа «специальность», и какая-то запись привлекла внимание учетчика. «Синеблузник»! Что это за специальность? Не слесарь, не бухгалтер, не культработник, а «синеблузник». Было видно, что этим ответом на лагерную анкету, на тюремный вопрос арестант хочет утвердить что-то важное ему. Или обратить чье-то внимание.

Список был такой.

Гуревич Борис Семенович (Южанин), ст. п-ш. (литер: «Подозрение в шпионаже»), срок 3 года — немыслим для такой статьи даже по тем временам! — год рождения 1900 (ровесник века!), специальность «синеблузник».

Гуревича привели в лагерную контору. Смуглый стриженый большеголовый человек с грязной кожей. Разбитое пенсне без стекол было укреплено на носу. Какой-то веревочкой привязано еще к шее. Рубашки ни нижней, ни верхней не было, белья не было тоже. Только синие тесные хлопчатобумажные штаны без пуговиц, явно чужие, явно сменка. Все обобрали блатари, конечно. Играли на чужие вещи, на тряпки «фраера». Грязные босые ноги с отросшими ногтями и жалкая, доверчивая какая-то улыбка на лице, в крупных коричневатых, хорошо знакомых мне глазах. Это был Борис Южанин, знаменитый руководитель знаменитой «Синей блузы», пятилетие которой праздновалось в Большом театре, и недалеко от меня сидел Южанин, окруженный столпами синеблузного движения: Третьяков, Маяковский, Фореггер, Юткевич, Тенин, Кирсанов — авторы и сотрудники журнала «Синяя блуза» — глядели идеологу и вождю движения Борису Южанину в рот и ловили каждое его слово.

А ловить было что: Южанин беспрерывно что-то говорил, в чем-то убеждал, к чему-то вел.

Сейчас «Синяя блуза» забыта. В начале двадцатых годов на нее возлагалось много надежд. Не только новая театральная форма, которую несла миру революция Октябрьская, перерастающая в мировую.

Синеблузники и Мейерхольда считали недостаточно левым и предлагали новую форму не только театрального действия «Живой газеты» — как называл свою «Синюю блузу» Южанин, но и жизненной философии.

«Синяя блуза», по мысли вождя движения, была неким орденом. Эстетика, поставленная на службу революции, приводила и к этическим победам.

В первых номерах нового литературного сборника журнала «Синяя блуза» (их вышло очень много за пять-шесть лет) авторы, как бы знамениты они ни были (Маяковский, Третьяков, Юткевич), не подписывались вовсе.

Единственная подпись: редактор Борис Южанин. Гонорары поступали в фонд «Синей блузы» — на дальнейшее развитие движения. «Синяя блуза», по мысли Южанина, не должна была быть профессиональной. Каждое учреждение, каждая фабрика и завод должны иметь свои коллективы. Самодеятельные коллективы.

Синеблузные тексты требовали простых известных мелодий. Голосов не требовали никаких. Но если находился голос, талант — тем лучше. Синеблузник переводился в «показательный» коллектив. Те состояли из профессионалов — временно — по мысли Южанина.

Южанин выступил с отрицанием старого театрального искусства. Выступил резко против Художественного и Малого театров, против самого принципа их работы.

Театры долго не могли приспособиться к новой власти. Южанин заговорил от ее имени, обещая новое искусство.

В этом новом искусстве главное место отводилось театру разума, театру лозунга, политическому театру.

«Синяя блуза» резко выступала против театра переживаний. Все то, что называлось «театром Брехта», было открыто и показано Южаниным. Тут дело в том, что, найдя эмпирическим путем целый ряд художественных принципов новых, Южанин не сумел их обобщить, развить, принести на международный форум. Это сделал Брехт — честь ему и хвала!

Первая «Синяя блуза» вышла на сцену клубную, комсомольскую сцену в 1921 году. Через пять лет в России было четыреста коллективов. В качестве основной базы с круглосуточными постановками «Синяя блуза» получила кинотеатр «Ша-нуар» на Страстной площади, тот самый, что сломали летом 1967 года.

Черное знамя анархистов еще висело на доме по соседству — на клубе анархистов на Тверской, где еще недавно выступали Мамонт-Дальский, Иуда Гроссман-Рощин, Дмитрий Фурманов и другие апостолы анархизма. Способный журналист Ярослав Гамза принял участие в полемике о путях и судьбах нового советского театра, новых театральных форм.

Центральных коллективов было восемь: «Показательный», «Образцовый», «Ударный», «Основной» — так они назывались. Южанин хранил равенство.

В 1923 году на правах отдельного в «Синюю блузу» вошел театр Фореггера.

И вот при этом росте, при этом движении вширь и вглубь — «Синей блузе» чего-то не хватало.

Присоединение театра Фореггера было последней победой «Синей блузы».

Внезапно выяснилось, что «Синей блузе» нечего сказать, что театральное «левое» более тяготеет к театру Мейерхольда, к театру Революции, к Камерному театру. Эти театры сохранили и свою энергию, выдумку, сохранили свои кадры — гораздо квалифицированнее «показательных» коллективов Южанина. Борис Тенин и Клавдия Корнеева, перешедшие позднее в «Театр для детей», — единственные имена, рожденные в «Синей блузе». Юткевич стал тяготеть к кино. Третьяков и Кирсанов — к «Новому Лефу». «Синеблузный» композитор Константин Листов и тот изменил «Живой газете».

Выяснилось также, что академические театры оправились от потрясения и согласны, и даже очень согласны обслуживать новую власть.

Зрители вернулись в залы с занавесом, где нарисована была чайка, молодежь ломилась в студии старых театральных школ.

«Синей блузе» не было места. И как-то стало ясно, что все это — блеф, мираж. Что у искусства есть свои надежные пути.

Но это было в конце, а вначале был сплошной триумф. На сцену выходили одетые в синие блузы актеры — парадом-антрэ начинали спектакль. Эти парады-антрэ были одинаковыми — как спортивный марш перед футбольными радиопередачами:

Мы — синеблузники,
Мы — профсоюзники,
Мы не баяны-соловьи
Мы только гайки
Великой спайки
Одной трудящейся семьи.

Лефовец С. М. Третьяков был мастером на эти «гайки и спайки». Редактор «Синей блузы» тоже написал несколько ораторий, скетчей, сценок.

После парада разыгрывали несколько сценок. Актеры без грима, в «прозодежде», как после скажут — «без костюмов», — только аппликации — символы. Парад заканчивался «концовкой»:

Все, что умели,
Мы вам пропели,
Мы вам пропели все, что могли.
И, безусловно, достигли цели,
Если мы пользу вам принесли.

Этот куцый мир газетных передовиц, пересказанный на театральном жаргоне, имел успех необыкновенный. Новое искусство пролетариата.

«Синяя блуза» поехала в Германию. Два коллектива во главе с самим Южаниным. В двадцать четвертом, кажется, году. В рабочие клубы Веймарской республики. Здесь Южанин встретился с Брехтом и ошеломил Брехта новизной своих идей. Ошеломил — это собственное выражение Южанина. Южанин встречался с Брехтом так часто, как можно было в те времена, полные подозрений, взаимной слежки.

Первая поездка «ударников»-рабочих за границу, кругосветное путешествие, относится к 1933 году. Там на каждого ударника был один политкомиссар.

С Южаниным политкомиссаров ездило тоже немало. Андреева Мария Федоровна устраивала эти поездки.

После Германии «Синяя блуза» двинулась в Швейцарию и, изнемогая от триумфа, вернулась на родину.

Через год Южанин повез в Германию еще два синеблузных коллектива — тех, которые не участвовали в первой поездке.

Триумф тот же. Снова встречи с Брехтом. Возвращение в Москву. Коллективы готовятся к поездке в Америку, в Японию.

У Южанина было одно качество, мешавшее ему как вождю движения, — он был плохой оратор. Не умел подготовить выступление, сразить противников в дискуссии, в докладе. А тогда такие дискуссии были в большой моде — совещание за совещанием, диспут за диспутом. Южанин был человек очень скромный, даже пугливый. И в то же время никак не хотел сыграть вторую роль, отойти в тень, в сторону.

Закулисная борьба требует много выдумки, много энергии. Этих качеств у Южанина не было. Южанин

был поэтом, а не политиком. Поэт-догматик, поэт-фанатик своего синеблузного дела.

. . . .

Грязный оборванец стоял передо мной. Босые грязные ноги никак не могли найти места — Борис Южанин переступал ногами.

— Блатные? — спросил я, кивая на его голые плечи.

— Да, блатные. Мне так еще лучше, легче. Загорел в дороге.

. . . .

В высших сферах уже готовились распоряжения и приказы о синеблузниках — сократить им средства, снять с дотации. Уже и на театр «Ша-нуар» объявились претенденты. Теоретическая часть синеблузных манифестов становилась все бледнее и бледнее.

Южанин не привел, не сумел привести свой театр к мировой революции. Да и сама эта перспектива к середине двадцатых годов потускнела.

Любовь к синеблузным идеям! Этого оказалось мало. Любовь — это ответственность, это споры на секции Моссовета, это докладные записки, — буря в стакане воды, беседы с теряющими заработок актерами. Принципиальный вопрос — так кто же «Синяя блуза» — профессионалы или самодеятельность?

Идеолог и руководитель «Синей блузы» разрубил все эти вопросы одним ударом меча.

Борис Южанин бежал за границу.

Ребенок, он бежал неудачно. Все свои деньги он вручил какому-то матросу в Батуме, а матрос отвел его в ОГПУ. В тюрьме Южанин сидел долго.

Московское следствие дало герою новой театральной формы литер «П. Ш.». Подозрение в шпионаже и срок три года концентрационных лагерей.

«То, что я увидел за границей, — было так не похоже на то, что писали в наших газетах. Мне не захотелось быть больше устной газетой. Мне захотелось настоящей жизни».

Я подружился с Южаниным. Я смог оказать ему ряд небольших услуг — вроде белья или бани, но скоро его вызвали в управление, в Вижаиху, где был центр УСЛОНА, — работать по специальности.

Идеолог и создатель синеблузного движения стал руководителем «Синей блузы» в Вишерских концентра-

ционных лагерях, арестантской живой газетой. Эффектный конец!

Для этой лагерной «Синей блузы» и я написал в сотрудничестве с Борисом Южаниным несколько скетчей, ораторий, куплетов.

Южанин стал редактором журнала «Новая Вишера». В Ленинской библиотеке можно найти экземпляры этого журнала.

Имя Южанина сохранено для потомства. Великое дело Гуттенберга, даже если типографский станок заменен стеклографом.

Один из принципов «Синей блузы» — использование любого текста, любого сюжета.

Если полезно — и слова и музыка могут быть любых авторов. Здесь нет литературных краж. Здесь плагиат — принципиальный.

В тридцать первом году Южанина увезли в Москву. Пересмотр дела? Кто знает?

Ряд лет Южанин жил в Александрове — стало быть, дело не очень пересмотрели.

В пятьдесят седьмом году я случайно узнал, что Южанин жив — Москва двадцатых годов не могла его не знать и не помнить.

Я написал ему письмо, предложил рассказать о «Синей блузе» москвичам конца пятидесятых годов. Это предложение вызвало резкий протест главного редактора журнала — тот о «Синей блузе» и слыхом не слыхал. Я не имел возможности подтвердить собственное же предложение и выругал себя за торопливость. А потом я заболел, и южанинское письмо пятьдесят седьмого года так и лежит у меня в столе.

<1967>

ВИЗИТ МИСТЕРА ПОППА

Мистер Попп был вице-директором американской фирмы «Нитрожен», которая ставила газгольдеры на первой очереди Березникхимстроя.

Заказ был крупным, работа шла хорошо, и вице-директор счел необходимым лично присутствовать при сдаче работ.

На Березниках строили разные фирмы. «Капиталистический интернационал», как говорил М. Грановский,

начальник строительства. Немцы — котлы «Ганомага». Паровые машины английской фирмы «Браун-Бовери», котлы «Бабкок-Вилькокса», американские газгольдеры.

Хромало у немцев — потом это все было объявлено вредительством. Хромало у англичан на электроцентрали. Потом это тоже было объявлено вредительством.

Я работал тогда на электроцентрали, на ТЭЦ, и хорошо помню приезд главного инженера фирмы «Бабкок-Вилькокс» мистера Холмса. Это был очень молодой человек, лет тридцати. На вокзале Холмса встретил начальник Химстроя Грановский, но Холмс в гостиницу не поехал, а поехал прямо к котлам, на монтаж. Один из английских монтеров снял пальто с Холмса, надел на инженера спецовку, и Холмс провел три часа в котле, слушая объяснения монтера. Вечером было совещание. Из всех инженеров мистер Холмс был самым молодым. На все доклады, на все замечания мистер Холмс отвечал одним коротким словом, которое переводчик переводил так: «Мистера Холмса это не беспокоит». Однако Холмс провел на комбинате две недели, котел пошел, процентов на восемьдесят проектной мощности, — Грановский подписал акт, и мистер Холмс вылетел в Лондон.

Через несколько месяцев мощность котла пала, и на консультацию был вызван свой специалист Леонид Константинович Рамзин. Герой сенсационного процесса Рамзин, как и следовало по условию, не был еще освобожден, не награжден орденом Ленина, не получил еще Сталинской премии. Все это было в дальнейшем, и Рамзин об этом знал и держался на электростанции весьма независимо. Приехал он не один, а со спутником весьма выразительного вида, и с ним же уехал. В котел, как мистер Холмс, Рамзин не лазил, а сидел в кабинете технического директора станции Капеллера, тоже ссыльного, осужденного по вредительству на шахтах в Кизеле.

Номинальным директором ТЭЦ был некто Рачев, бывший красный директор, малый неплохой и не занимавшийся вопросами, в которых он ничего не понимал. Я работал в Бюро экономики труда на ТЭЦ и много потом возил с собой заявление кочегаров на имя Рачева. В этом заявлении, где кочегары жаловались на многочисленные свои нужды, была характернейшая, простодушнейшая рачевская резолюция: «Зав. БЭТ. Прошу разобраться и по возможности отказать».

Рамзин дал несколько практических советов, но весьма невысоко оценил работу мистера Холмса.

Мистер Холмс появлялся на электростанции в сопровождении — не Грановского, начальника строительства, а его заместителя, главного инженера Чистякова. Нет ничего в жизни более догматического, чем дипломатический этикет, где форма и есть содержание. Это — догма, отравляющая жизнь, заставляет деловых людей тратить время на разработку правил взаимной вежливости, местничества, старшинства, которое исторически — не смешно, а в сущности своей — бессмертно. Так вот Грановский, хотя свободного времени у него было сколько угодно, не считал для себя вправе сопровождать по строительству главного инженера фирмы. Вот если бы сам хозяин приехал.

Мистера Холмса сопровождал по строительству главный инженер Чистяков, грузный, массивный — то, что называется в романах «барского вида». В конторе комбината у Чистякова был огромный кабинет, напротив кабинета Грановского, где Чистяков проводил немало часов, запершись с молодой курьершей конторы.

Я был тогда молод и не понимал того физиологического закона, в котором ответ на вопрос: почему большие начальники живут, кроме своих жен, с курьершами, стенографистками, секретаршами. У меня были часто дела к Чистякову, и матерился я у этой запертой двери немало.

Я жил в той же самой гостинице близ содового завода, где в одной из комнат Константин Паустовский строчил свой «Кара-Бугаз». Судя по тому, что Паустовский рассказал о том времени — тридцатый и тридцать первый год, — он вовсе не увидел главного, чем были окрашены эти годы для всей страны, всей истории нашего общества.

Здесь на глазах Паустовского проводился великий эксперимент растления человеческих душ, распространенный потом на всю страну и обернувшийся кровью тридцать седьмого года. Именно здесь и тогда проводился первый опыт новой лагерной системы — самоохрана, «перековка», питание в зависимости от выработки, зачеты рабочих дней в зависимости от результатов труда. Система, которая достигла расцвета на Беломорканале и потерпевшая крах на Москанале, где и до сих пор находят человеческие кости в братских могилах.

Эксперимент на Березниках проводил Берзин. Не сам, конечно, Берзин. Берзин был всегда верным исполнителем чужих идей, кровавых или бескровных — все равно. Но директором Вишхимза — тоже строительства

первой пятилетки — был Берзин. Ему был подчинен по лагерю Филиппов — а Вишерский лагерь, куда входили и Березники, и Соликамск с его калиевыми рудниками, был огромным. Только на Березниках было 3–4 тысячи человек, на строительстве Березникхимстроя. Рабочие первой пятилетки.

Здесь, и именно здесь, был решен вопрос — быть или не быть лагерям — после проверки рублем, заработком. После опыта Вишеры — удачного, по мнению начальства, опыта — лагеря охватили весь Советский Союз, и не было области, где бы не было лагеря, не было стройки, где бы не работали заключенные. Именно после Вишеры количество заключенных в стране достигло 12 миллионов человек. Именно Вишера знаменовала начало нового пути мест заключения. Исправдома были переданы в НКВД, и те принялись за дело, воспетое поэтами, драматургами, кинорежиссерами.

Вот чего не увидел Паустовский, увлеченный своим «Кара-Бугазом».

В конце тридцать первого года со мной в комнате гостиницы жил молодой инженер Левин. Он работал на Березникхимстрое как переводчик с немецкого языка и был прикреплен к одному из иностранных инженеров. Когда я спросил Левина — почему он, инженер-химик по образованию, работает простым переводчиком на триста рублей в месяц, он сказал: «Да, конечно, но так лучше. Ответственности никакой. Вот пуск откладывают десятый раз, да сто человек посадят — а я? Я — переводчик. Притом работаю я мало, времени свободного сколько угодно. Я его трачу с пользой». Левин улыбнулся.

Улыбнулся и я.

— Не поняли?

— Нет.

— А не заметили, что я возвращаюсь под утро?

— Нет, не заметил.

— Вы ненаблюдательны. Я занимаюсь работой, которая приносит мне достаточный доход.

— Что же это?

— Я в карты играю.

— В карты?

— Да. В покер.

— С иностранцами?

— Ну, зачем с иностранцами. С иностранцами, кроме следственного дела, я нажить ничего не могу.

— Со своими?

— Конечно. Здесь холостяков — тьма. И ставки большие. А денег у меня — живу и благодарю папу: он хорошо меня выучил в покер играть. Да вы не хотите ли попробовать? Я мигом научу.

— Нет, благодарю вас.

Случайно я вставил Левина в повествование о мистере Поппе, рассказ о котором я никак не могу начать.

Монтаж у фирмы «Нитрожен» шел отлично, заказ был крупным, и вице-директор приехал в Россию сам. М. Граневский, начальник Березникхимстроя, был своевременно и тысячекратно извещен о приезде мистера Поппа. Рассудив, в силу дипломатического протокола, что он, М. Грановский, старый член партии и начальник строительства крупнейшего объекта первой пятилетки, выше хозяина американской фирмы, решил лично, на станции Усолье (позднее эта станция стала называться Березниками), мистера Поппа не встречать. Несолидно. А встретить в конторе, у себя в комнате.

М. Грановскому было известно, что американский гость едет в специальном поезде — паровоз и вагон гостя, — о времени прибытия поезда на ст. Усолье начальник строительства знал еще за трое суток по телеграмме из Москвы.

Ритуал встречи был разработан заранее — гостю подают личную машину начальника строительства, и шофер везет гостя в гостиницу для иностранцев, где уже трое суток, как комендант гостиницы, партиец-выдвиженец Цыплаков, берег для заморского гостя лучшую комнату гостиницы для иностранцев. После туалета и завтрака мистер Попп должен быть доставлен в контору, после чего должна была начаться деловая часть свидания, расписанная по минутам.

Экстренный поезд с заморским гостем должен был прийти в 9 часов утра, и еще с вечера личный шофер Грановского был вызван, проинструктирован и обматерен неоднократно.

— Может, я, товарищ начальник, с вечера пригоню машину на станцию? Там и переночую, — беспокоился шофер.

— Ни в коем случае. Надо показать, что у нас все делается минута в минуту. Поезд гудит, замедляет ход, и ты подъезжаешь к станции. Только так.

— Хорошо, товарищ начальник.

Измученный многократными репетициями — машина десять раз ходила на станцию порожняком, шофер

исчислял скорость, рассчитывал время, — в ночь перед приездом мистера Поппа шофер М. Грановского заснул, и ему снился суд — или суды еще не снились в тридцать первом году?

Дежурный по гаражу — с ним никаких доверительных переговоров начальник строительства не вел — разбудил шофера по звонку со станции, и, быстро заведя машину, шофер помчался встречать мистера Поппа.

Грановский был человек деловой. Он пришел в этот день в свой кабинет к 6 часам, провел два совещания, три «накачки». Слушая малейший шум внизу, раздвигал шторы и выглядывал в окно комнаты на дорогу. Заморского гостя не было.

В половине десятого со станции позвонил дежурный, вызывали начальника строительства. Грановский взял трубку и услышал глухой голос с сильным акцентом иностранным. Голос выразил удивление, что мистера Поппа так плохо встречают. Машины нет. Мистер Попп просит прислать машину.

Грановский осатанел. Сбегая через две ступени и тяжело дыша, он добрался до гаража.

— Уехал в половине восьмого ваш шофер, товарищ начальник.

— Как в половине восьмого?

Но загудела машина. Шофер, улыбаясь пьяной улыбочкой, перешагнул порог гаража.

— Ты что же, так твою перетак...

Но шофер объяснил. В половине восьмого пришел московский пассажирский. С ним из отпуска вернулся начальник финансовой части строительства Грозовский с семьей и вызвал машину Грановского, как делал всегда раньше. Шофер пытался объяснить про мистера Поппа. Но Грозовский объявил все это ошибкой — он ничего не знает — и приказал шоферу немедленно ехать на станцию. Шофер поехал. Он думал, что с иностранцем отменили, и вообще, Грозовский, Грановский — он не знает, кого слушать, — у него голова кругом идет. А потом поехали за четыре километра на новый поселок Чуртан, где была новая квартира Грозовского, шофер помогал носить вещи, потом хозяева угощали с дороги...

— Разговор с тобой будет после, кто важней на свете, Грозовский или Грановский. А пока — гони на станцию.

Шофер прилетел на станцию — еще не было десяти часов. Настроение мистера Поппа было неважное.

Шофер, не разбирая дороги, мчал мистера Поппа в гостиницу для иностранцев. Мистер Попп расположился в номере, умылся, переоделся и успокоился.

Волновался теперь Цыплаков, комендант гостиницы для иностранцев — так он назывался тогда, не директор, не заведующий, а комендант. Дешевле ли обходилась такая должность, чем, например, «директор водяной будки», — не знаю, но только называлась эта должность именно так.

Секретарь мистера Поппа появился на пороге номера.

— Мистер Попп просит завтрак.

Комендант гостиницы взял в буфете две больших конфеты без бумажек, два бутерброда с повидлом, два с колбасой, укрепил все это на подносе и, прибавив два стакана чаю — весьма жидкого, — внес в номер мистера Поппа.

Немедленно секретарь вынес поднос обратно и поставил на тумбочку у двери номера:

— Мистер Попп этого завтрака есть не будет.

Цыплаков бросился на доклад к начальству строительства. Но Грановский уже все знал, ему доложили по телефону.

— Что ж ты, сука старая, — ревел Грановский. — Ты не меня позоришь, ты государство позоришь. Сдавай должность! На работу! В песчаный карьер! Лопату в руки! Вредители! Гады! Сгною в лагерях!

Седой Цыплаков, ждавший, пока начальник отматюгается, подумал: «Верно, сгноит».

Пора было переходить к деловой части визита, и тут Грановский немного успокоился. Фирма работала на строительстве хорошо. Газгольдеры ставили в Соликамске и в Березниках. Мистер Попп обязательно побывает и в Соликамске. За этим он приехал и вовсе не хочет сказать, что он огорчен. Да он и не огорчен. Удивлен скорее. Все это пустяки.

На строительство Грановский пошел с мистером Поппом сам, отбросив свои дипломатические расчеты, отложив все совещания, все встречи.

В Соликамск Грановский сам сопровождал мистера Поппа, с ним и вернулся.

Акты были подписаны, довольный мистер Попп собирался домой, в Америку.

— У меня есть время, — сказал мистер Попп Грановскому, — я сэкономил недели две благодаря хорошей работе наших... — гость помолчал, — и ваших мас-

теров. Прекрасная река Кама. Я хочу поехать на пароходе вниз по Каме до Перми, а то и до Нижнего Новгорода. Это можно?

— Конечно, — сказал Грановский.

— А пароход я могу зафрахтовать?

— Нет. У нас ведь другой строй, мистер Попп.

— А купить?

— И купить нельзя.

— Ну, если нельзя купить пассажирский пароход, я понимаю, он нарушит циркуляцию по водной артерии, то, может быть, буксирный, а? Вот, вроде такой «Чайки», — и мистер Попп показал на буксирный пароход, проплывающий мимо окон кабинета начальника строительства.

— Нет, и буксирный нельзя. Я прошу вас понять...

— Конечно, я много слышал... Купить — это было бы всего проще. Я в Перми оставлю его. Подарю вам.

— Нет, мистер Попп, — у нас не берут таких подарков.

— Так что же делать? Ведь это абсурд. Лето, прекрасная погода. Одна из лучших рек в мире — она ведь и есть истинная Волга, — я читал. Наконец, время. Время у меня есть. А уехать нельзя. Запросите Москву.

— Что Москва. Далеко Москва, — процитировал по привычке Грановский.

— Ну, решайте. Я — ваш гость. Как вы скажете, так и будет.

Грановский попросил полчаса на размышление, вызвал к себе в кабинет начальника пароходства Миронова и начальника оперсектора ОГПУ Озолса. Грановский рассказал о желании мистера Поппа.

Мимо Березников ходили тогда всего два пассажирских парохода — «Красный Урал» и «Красная Татария». Рейсы Чердынь — Пермь. Миронов сообщил, что «Красный Урал» внизу, около Перми, и прибыть никак скоро не может. Сверху к Чердыни подходит «Красная Татария». Если ее быстро вернуть назад — а тут помогут твои молодцы, Озолс! — и гнать вниз без остановок, то завтра днем «Красная Татария» придет на пристань Березников. Мистер Попп может ехать.

— Садись на селектор, — сказал Грановский Озолсу, — и жми на своих. Пусть ваш человек сядет на пароход и едет, не дает тратить зря время, не останавливаться. Скажи — государственное задание.

Озолс соединился с Анновом — пристанью Чердыни. «Красная Татария» вышла из Чердыни.

— Жми!

— Жмем.

Начальник строительства посетил мистера Поппа в его гостиничном номере — комендант был уже другой — и сообщил, что пассажирский пароход завтра в два часа дня будет иметь честь принять на свой борт дорогого гостя.

— Нет, — сказал мистер Попп. — Скажите точно, чтобы нам не торчать на берегу.

— Тогда в пять часов. В четыре я пришлю машину за вещами.

В пять часов Грановский, мистер Попп и его секретарь пришли на дебаркадер. Парохода не было.

Грановский попросил прощения, отлучился и кинулся к селектору ОГПУ.

— Да еще Ичер не проходил.

Грановский застонал. Добрых два часа.

— Может быть, мы вернемся в номер и, когда пароход придет — приедем. Закусим, — предложил Грановский.

— По-завтра-каем, вы хотите сказать, — выразительно выговорил мистер Попп. — Нет, благодарю вас. Сейчас прекрасный день. Солнце. Небо. Мы подождем на берегу.

Грановский остался на дебаркадере с гостями, улыбался, что-то говорил, поглядывал на мыс в верхнем течении, откуда должен вот-вот показаться пароход.

Тем временем сотрудники Озолса и сам начальник райотдела сидели на всех проводах и жали, жали, жали.

В восемь часов вечера «Красная Татария» показалась из-за мыса и медленно стала приближаться к дебаркадеру. Грановский улыбался, благодарил, прощался. Мистер Попп благодарил не улыбаясь.

Пароход подошел. И тут-то и возникла та неожиданная трудность, задержка, которая чуть не свела в гроб сердечного больного М. Грановского, и трудность, которая была преодолена лишь благодаря опытности и распорядительности начальника райотдела Озолса.

Пароход оказался занятым, набитым людьми. Рейсы были редки, людей ездила чертова гибель, и забиты были все палубы, все каюты и даже машинное отделение. Мистеру Поппу на «Красной Татарии» не было места. Не только все билеты в каюты были проданы и заняты. В каждой катили в отпуск в Пермь секретари райкомов, начальники цехов, директора предприятий союзного значения.

Грановский почувствовал, что он теряет сознание. Но у Озолса было гораздо больше опыта в таких делах.

Озолс поднялся на верхнюю палубу «Красной Татарии» с четырьмя своими молодцами, с оружием и в форме.

— Выходи все! Выноси вещи!

— Да у нас билеты. До Перми билеты!

— Черт с тобой, с твоим билетом! Выходи вниз, в трюм. Даю три минуты на размышление.

— Конвой поедет с вами до Перми. Я объясню дорогой.

Через пять минут верхняя палуба была очищена, и мистер Попп, вице-директор фирмы «Нитрожен», вступил на палубу «Красной Татарии».

<1967>

БЕЛКА

Лес окружал город, входил в город. Надо перебраться на соседнее дерево — и ты уже в городе, на бульваре, а не в лесу.

Сосны и елки, клены и тополя, вязы и березы — все было одинаковым — и на лесной поляне, и на площади «Борьбы со спекуляцией», как только что переименовали рыночную площадь города.

Когда белка смотрела издали на город, ей казалось, что город разрезан зеленым ножом, зеленым лучом пополам, что бульвар — это зеленая речка, по которой можно плыть и доплыть в такой же зеленый вечный лес, как тот, в котором жила белка. Что камень скоро кончится.

И белка решилась.

Белка перебиралась с тополя на тополь, с березы на березу — деловито, спокойно. Но тополя и береза не кончались, а уводили все глубже в темные ущелья, на каменные поляны, окруженные низкорослыми кустами и одинокими деревьями. Ветки березы были гибче, чем тополиные, — но белка все это знала и раньше.

Скоро белке стало ясно, что путь выбран неверно, что лес не густеет, а редеет. Но возвращаться было поздно.

Надо было перебежать эту серую мертвую площадь — а за ней — снова лес. Но уже тявкали собаки, прохожие задирали головы.

Хвойный лес был надежен — броня сосен, шелк елей. Шелест тополиных листьев был предательским. Березовая ветка держала покрепче, подольше, и гибкое тело зверька, раскачиваясь на весу, само определяло границу пряжения ветки — белка отпускала лапы, летела в воздух — полуптицей, полузверем. Деревья научили белку небу, полету. Выпустив ветки, растопырив когти всех четырех лапок, белка летела, ловя опору более твердую, более надежную, чем воздух.

Белка и впрямь была похожа на птицу, была вроде желтого ястреба, облетающего лес. Как завидовала белка ястребам в их нездешнем полете. Но птицей белка не была. Зов земли, груз земли, стопудовый свой вес белка чувствовала поминутно, чуть начинали слабеть мышцы дерева и ветка начинала сгибаться под телом белки. Нужно было набирать силы, вызвать откуда-то изнутри тела новые силы, чтобы вновь прыгнуть на ветку или упасть на землю и никогда не подняться к зелени крон.

Щуря свои узкие глаза, белка прыгала, цеплялась за ветки, раскачивалась, примерялась, не видя, что за ней бегут люди.

А на улицах города уже собиралась толпа.

Это был тихий, провинциальный город, встававший с солнцем, с петухами. Река в нем текла такая тихая, что иногда течение вовсе останавливалось — и вода текла даже вспять. У города было два развлечения. Первое — пожары, тревожные шары на пожарной каланче, грохот пожарных телег, пролетающих по булыжным мостовым, пожарных команд: лошадей гнедых, серых в яблоках, вороных — по цвету каждой из трех пожарных частей. Участие в пожарах — для отважных, и наблюдение — для всех прочих. Воспитание смелости — для каждого; все, кто мог ходить, взяв детей, оставив дома только паралитиков и слепцов, шли «на пожар».

Вторым народным зрелищем была охота за белкой — классическое развлечение горожан.

Через город проходили белки, проходили часто — но всегда ночью, когда город спал.

Третьим развлечением была революция — в городе убивали буржуев, расстреливали заложников, копали какие-то рвы, выдавали винтовки, обучали и посылали на смерть молодых солдат. Но никакая революция на свете не заглушает тяги к традиционной народной забаве.

Каждый в толпе горел желанием быть первым, попасть в белку камнем, убить белку. Быть самым метким,

самым лучшим стрелком из рогатки — библейской пращи, — брошенной рукой Голиафа в желтое тельце Давида. Голиафы мчались за белкой, свистя, улюлюкая, толкая друг друга в жажде убийства. Здесь был и крестьянин, привезший на базар полмешка ржи, рассчитывающий выменять эту рожь на рояль, на зеркала — зеркала в год смертей были дешевы, — и председатель ревкома железнодорожных мастерских города, пришедший на базар ловить мешочников, и счетовод Всепотребсоюза, и знаменитый с царского времени огородник Зуев, и красный командир в малиновых галифе — фронт был всего в ста верстах.

Женщины города стояли у палисадов, у калиток, выглядывали из окон, подзадоривали мужчин, протягивали детей, чтобы дети могли рассмотреть охоту, научиться охоте...

Мальчишки, которым не было дозволено самостоятельное преследование белки — и взрослых хватало, — подтаскивали камни, палки, чтоб не упустить зверька.

— На, дяденька, ударь.

И дяденька ударял, и толпа ревела, и погоня продолжалась.

Все мчались по городским бульварам за рыжим зверьком: потные, краснорожие, охваченные страстной жаждой убийства хозяева города.

Белка спешила, давно разгадав этот рев, эту страсть.

Надо было спускаться, карабкаться вверх, выбирать сук, ветку, размерить полет, раскачаться на весу, лететь...

Белка разглядывала людей, а люди — белку. Люди следили за ее бегом, за ее полетом — толпа опытных привычных убийц...

Те, что постарше — ветераны провинциальных боев, развлечений, охот и сражений, и не мечтали угнаться за молодыми. Поодаль, двигаясь вслед за толпой, опытные убийцы давали здравые советы, толковые советы, важные советы тем, кто мог мчаться, ловить, убивать. Эти уже не могли мчаться, не могли ловить белку. Им мешала одышка, жир, полнота. Но опыт у них был большой, и они давали советы — с какого конца забегать, чтобы перехватить белку.

Толпа все росла — вот старики разделили толпу на отряды, на армии. Половина ушла в засаду, на перехват.

Белка увидела выбегающих из .переулка людей раньше, чем люди увидели ее, и все поняла. Надо было

спускаться, перебежать десять шагов, а там снова деревья бульвара, и белка еще покажет себя этим псам, этим героям.

Белка спрыгнула на землю, кинулась прямо в толпу, хотя навстречу летели камни, палки. И, проскочив сквозь эти палки, сквозь людей — бей! бей! не давай дыхнуть! — белка оглянулась. Город настигал ее. Камень попал в бок, белка упала, но тут же вскочила и бросилась вперед, Белка добежала до дерева, до спасения, и вскарабкалась по стволу, и перебежала на ветку, на ветку сосны.

— Бессмертная, сволочь!

— Теперь надо окружать у реки, у переката!

Но окружать было не надо. Белка перебиралась по ветке еле-еле, и это сразу заметили и зарычали.

Белка раскачалась на ветке, последний раз напрягла силы и упала прямо в воющую, хрипящую толпу.

В толпе возникло движение, как в закипающем котле, и, как в котле, снятом с огня, движение это затихло, и люди стали отходить от того места на траве, где лежала белка.

Толпа быстро редела — ведь каждому было нужно на работу, у каждого было дело к городу, к жизни. Но ни один не ушел домой, не взглянув на мертвую белку, не убедившись собственными глазами, что охота удачна, долг выполнен.

Я протискался сквозь редеющую толпу поближе, ведь я тоже улюлюкал, тоже убивал. Я имел право, как все, как весь город, все классы и партии...

Я посмотрел на желтое тельце белки, на кровь, запекшуюся на губах, мордочке, на глаза, спокойно глядящие в синее небо тихого нашего города.

1966

ВОДОПАД

В июле, когда температура днем достигает сорока по Цельсию — тепловое равновесие континентальной Колымы, — повинуясь тяжелой силе внезапных дождей, на лесных полянках поднимаются, пугая людей, неестественно огромные маслята со скользкими змеиными шкурами, пестрыми змеиными шкурами — красные, синие, желтые... Внезапные эти дожди приносят тайге,

лесу, камням, мхам, лишайнику только минутное облегчение. Природа и не рассчитывала на этот плодоносящий, животворный, благодетельный дождь. Дождь раскрывает все скрытые силы природы, и шляпки маслят тяжелеют, растут — по полметра в диаметре. Это пугающие, чудовищные грибы. Дождь приносит лишь минутное облегчение — в глубоких ущельях лежит зимний, навечный лед. Грибы, их молодая грибная сила вовсе не для льда. И никакие дожди, никакие потоки воды не страшны этим гладким алюминиевым льдинам. Лед прикрывает собой камень русла, становится похожим на цемент взлетной дорожки аэродрома... И по руслу, по этой взлетной дорожке, убыстряя свое движение, свой бег, летит вода, накопившаяся на горных пластах после многодневных дождей, соединившаяся с растаявшим снегом, снег превратившая в воду и позвавшая в небо, в полет...

Бурная вода сбегает, слетает с горных вершин по ущельям, добирается до русла реки, где поединок солнца и льда уже закончен, лед растаял. В ручье лед еще не растаял. Но трехметровый лед ручью не помеха. Вода бежит прямо к реке по этой мерзлой взлетной дорожке. Ручей в синем небе кажется алюминиевым, непрозрачным, но светлым и легким алюминием. Ручей разбегается по гладкому блестящему льду. Разбегается и прыгает в воздух. Ручей давно, еще в начале бега, в вершинах скал считает себя самолетом, и взвиться над рекой — единственное желание ручья.

Разбежавшийся, сигарообразный, алюминиевый ручей взлетает в воздух, прыгает с обрыва в воздух. Ты — холоп Никитка, придумавший крылья, придумавший птичьи крылья. Ты — Татлин-Летатлин, доверивший дереву секреты птичьего крыла. Ты — Лилиенталь...

Разбежавшийся ручей прыгает и не может не прыгать — набегающие волны теснят те, что ближе к обрыву.

Прыгает в воздух и разбивается о воздух. У воздуха оказывается каменная сила, каменное сопротивление — только на первый взгляд издали воздух кажется «средой» из учебников, свободной средой, где можно дышать, двигаться, жить, летать.

Ясно видно, как хрустальная струя воды ударяется о голубую воздушную стену, прочную стену, воздушную стену. Ударяется и разбивается вдребезги — в брызги, в капли, бессильно падая с десятиметровой высоты в ущелье.

Оказывается, что гигантской воды, скопленной в ущельях, в разбеге силы, достаточной для того, чтобы сокрушить скалистые берега, выворачивать деревья с корнем и бросать их в поток, шатать и разламывать скалы, сметать все на своем пути в законе половодья, потока, — этой силы мало, чтобы справиться с косностью воздуха, того самого воздуха, которым так легко дышать, воздуха, который прозрачен и уступчив, уступчив до невидимости и кажется символом такой свободы. У этого воздуха, оказывается, есть такие косные силы, с которыми не сравнится никакая скала, никакая вода.

Брызги, капли мгновенно соединяются вновь, снова падают, снова разбиваются и с визгом, ревом добираются до русла — огромных каменных валунов, шлифованных веками, тысячелетиями...

Ручей доползает до русла реки по тысяче дорожек между валунов, камней, камешков, которые капли, ручеечки, ниточки укрощенной воды боятся и пошевелить. Ручей, разбитый, укрощенный, тихо, беззвучно вползает в реку, очерчивая светлый полукруг в темной воде бегущей мимо реки. Реке нет дела до этого ручья-Летатлина, ручья-Лилиенталя. Реке некогда ждать. Впрочем, река чуть отступает, давая место светлой воде разбитого ручья, и видно, как поднимаются из глубины к светлому полукругу, заглядывая в ручей, горные хариусы. Хариусы стоят в темной реке близ светлого полукруга воды, на устье ручья. Рыбная ловля здесь неизменно хороша.

1966

УКРОЩАЯ ОГОНЬ

Я бывал в огне, и не один раз. Мальчиком я пробегал по улицам горящего деревянного города и на всю жизнь запомнил яркие, освещенные дневные улицы, как будто солнца городу не хватало и он сам попросил огня. Безветренная тревога горячего светло-голубого раскаленного неба. Сила копилась в самом огне, в самом нарастающем пламени. Никакого ветра не было, но городские дома рычали, дрожа всем телом, и швыряли горящие доски на крыши домов через улицу.

Внутри было просто сухо, тепло, светло, и я мальчиком без труда, без страха прошел эти пропустившие

меня живым и тут же сгоревшие дотла улицы. Сгорело все заречье, и только река спасла главную часть города.

Это чувство покоя в разгар пожара испытал я и взрослым. Лесных пожаров я видел немало. Ступал по горячему, синему, пышному, пережженному, как ткань, мху метровой толщины. Пробирался через поваленный пожаром лиственный лес. Лиственницы выдирало с корнем и валило не ветром — огнем.

Огонь был, как буря, он сам создавал бурю, валил деревья, оставил навечно черный след по тайге. И падал в бессилье на берегу какого-нибудь ручья.

По сухой траве пробегало светлое, желтое пламя. Трава колебалась, шевелилась, как будто там пробежала змея. Но змеи на Колыме не водятся.

Желтое пламя взбегало на дерево, на ствол лиственницы, и, уже набирая силу, огонь ревел, сотрясал ствол.

Эти судороги деревьев, предсмертные судороги, были везде одинаковы. Гиппократову маску дерева видел я не однажды.

Над больницей целых три дня лил дождь, и потому я думал о пожаре, вспоминал огонь. Дождь спас бы город, склад геологов, горящую тайгу. Вода сильнее огня.

Выздоравливающие больные ходили за ягодами, за грибами за речку — там была пропасть голубики, брусники, заросли чудовищных скользких разноцветных маслят с шляпкой скользкой и холодной. Грибы казались холодными, холоднокровными живыми существами, вроде змей, — чем угодно, только не грибами. Здешние грибы не умещались в привычные классификации естествознания и выглядели существами из соседнего ряда амфибий, змей...

Грибы рождаются поздно, после дождей, рождаются не каждый год, но если уж уродились — окружают каждую палатку, заполняют каждый лес, каждый подлесок.

За этими дикоростами мы ходили каждый день.

Сегодня было холодно, дул ветер холодный, но дождь перестал, сквозь рваные тучи виднелось бледное осеннее небо, и было ясно, что дождя сегодня не будет.

Можно, нужно было идти за грибами. После дождя — урожай. В небольшой лодке втроем мы переправлялись через речушку, так, как делали каждое утро. Вода чуть-чуть прибывала, бежала чуть-чуть быстрее, чем обычно. Волны были темнее, чем всегда.

Сафонов показал пальцем на воду, показал вверх по течению, и мы все трое поняли, что он хотел сказать.

— Успеем. Грибов богато, — сказал Веригин.

— Не назад же возвращаться, — сказал я.

— Давайте так, — сказал Сафонов, — к четырем часам вот против той горы бывает солнце, в четыре возвращаться на берег. Лодку привяжем повыше...

Мы разошлись в разные стороны — у всех были любимые грибные места.

Но с первых шагов по лесу я увидел, что спешить не надо, что грибное царство здесь, под ногами. Шляпки опят были с шапку, с ладонь — наполнить две большие корзины было недолго.

Я вынес корзины к поляне около тракторной дороги, чтобы найти сразу, и пошел налегке вперед, чтобы хоть одним глазком взглянуть, какие же грибы выросли там, на лучших моих участках, давно примеченных.

Я вошел в лес, и грибная душа была потрясена: везде стояли огромные боровики, отдельно друг от друга, выше травы, ростом выше брусничных кустов, твердые, упругие, свежие грибы были необыкновенными.

Подхлестываемые дождевой водой, грибы выросли в чудовища, с полуметровыми шляпками, стояли — куда только ни глянь, — и грибы все были так здоровы, так свежи, так крепки, что никакого другого решения нельзя было принять. Вернуться назад, выбросить в траву, что было собрано раньше, и приехать в больницу с этим вот грибным чудом в руках.

Так я и сделал.

На все было нужно время, но я рассчитал, что дошагаю по тропе в полчаса.

Я спустился с пригорка, раздвинул кусты — холодная вода на метры залила тропу. Тропа исчезла под водой, пока я собирал грибы.

Лес шелестел, холодная вода поднималась все выше. Гудело все сильней. Я поднялся по горке и вдоль горы держал направо к месту нашей встречи. Грибов я не бросил — две тяжелые корзины, связанные полотенцем, свисали с моих плеч.

Вверху я подошел к роще, где должна быть лодка. Роща была вся залита водой, вода все прибывала.

Я выбрался на берег, на пригорок.

Река ревела, вырывая деревья и бросая их в поток. От леса, к которому мы причалили утром, не осталось ни куста — деревья были подмыты, вырваны и унесены страшной силой этой мускулистой воды, реки, похожей

на борца. Тот берег был скалистым — река отыгралась на правом, на моем, на лиственном берегу.

Речушка, через которую мы переправлялись утром, превратилась давно в чудовище.

Темнело, и я понял, что мне надо в темноте уходить в горы и там подождать рассвета, подальше от ледяной бешеной воды.

Промокший до нитки, поминутно оступаясь в воду, перескакивая в темноте с кочки на кочку, я выволок корзины к подножью горы.

Осенняя ночь была черной, беззвездной, холодной, глухое рычанье реки не давало мне прислушаться к голосам — да и где я мог слышать чьи-либо голоса.

В распадке неожиданно засиял свет, и не сразу я понял, что это не вечерняя звезда, а костер. Костер геологов? Рыболовов? Сенокосчиков? Я пошел на огонь, оставив две корзины у большого дерева до свету, а маленькую взял с собой.

Расстояния в тайге обманчивы — изба, скала, лес, река, море могут быть неожиданно близко или неожиданно далеко.

Решение «да или нет» было простое. Огонь — на него надо идти не раздумывая. Огонь был новой важной силой в моей нынешней ночи. Спасительной силой.

Я собрался брести неутомимо, хоть на ощупь — ведь ночной огонь был, а значит, там были люди, была жизнь, было спасение. Я шел по распадку, не теряя огонь из виду, и через полчаса, обогнув огромный камень, вдруг увидал костер прямо перед собой, вверху, на небольшой каменной площадке. Костер был разожжен перед палаткой, низенькой, как камень. У костра сидели люди. Люди не обратили на меня ни малейшего внимания. Что они здесь делают, я не спрашивал, а подошел к костру и стал греться.

Размотав грязную тряпку, старший косец молча протянул мне кусочек соли, и скоро вода в котелке завизжала, запрыгала, забелела пеной и жаром.

Я съел свой безвкусный чудо-гриб, запил крутым кипятком и немного согрелся. Я задремал у костра, и медленно, неслышно подошел рассвет, наступал день, и я пошел к берегу, не благодаря сенокосчиков за приют. Две мои корзины у дерева были видны за версту.

Вода уже спадала.

Я прошел по лесу, цепляясь за уцелевшие деревья со сломанными ветками, сорванной корой.

Я шел по камням, иногда наступая на заносы горного песка.

Трава, которой предстояло еще расти после бури, глубоко пряталась в песок, в камень, цепляясь за кору деревьев.

Я подошел к берегу. Да, это был берег — новый берег, — а не зыбкая линия половодья.

Река бежала, еще тяжелая от дождей, но было видно, что вода садится.

Далеко-далеко, на другом берегу, как на другом берегу жизни, увидал я фигурки людей, машущих руками. Увидал лодку. Я замахал руками, меня поняли, узнали. Лодку подняли вдоль берега на шестах, километра на два выше того места, где я стоял. Сафонов и Веригин причалили ко мне много ниже. Сафонов протянул мне мою сегодняшнюю пайку — шестьсот граммов хлеба, но есть мне не хотелось.

Я выволок свои корзины с чудо-грибами.

Дождь, да я тащил грибы через лес, задевая о деревья ночью, — в корзине валялись только обломки, обломки грибов.

— Выбросить, что ли?

— Нет, зачем же...

— Мы свои вчера бросили. Едва успели перегнать лодку. А о тебе так подумали, — твердо сказал Сафонов, — с нас больше будет спроса за лодку, чем за тебя.

— За меня немного спроса, — сказал я.

— Вот то-то. Ни нам, ни начальнику за тебя немного спросу, а за лодку... Правильно я сделал?

— Правильно, — сказал я.

— Садись, — сказал Сафонов, — и бери эти корзины проклятые.

И мы оттолкнулись от берега и пустились в плавание — утлый челнок по бурной, еще грозовой реке.

В больнице меня встретили без ругани и без радости. Сафонов был прав, когда позаботился раньше всего о лодке.

Я пообедал, поужинал, позавтракал и снова пообедал и поужинал — съел весь свой двухдневный рацион, и меня стало клонить в сон. Я согрелся.

Я поставил на огонь котелок с водой. На укрощенный огонь укрощенную воду. И скоро котелок забурлил, закипел. Но я уже спал...

1966

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

Мы суеверны. Мы требуем чуда. Мы придумываем себе символы и этими символами живем.

Человек на Дальнем Севере ищет выхода своей чувствительности — не разрушенной, не отравленной десятилетиями жизни на Колыме. Человек посылает авиапочтой посылку: не книги, не фотографии, не стихи, а ветку лиственницы, мертвую ветку живой природы.

Этот странный подарок, иссушенную, продутую ветрами самолетов, мятую, изломанную в почтовом вагоне, светло-коричневую, жесткую, костистую северную ветку северного дерева ставят в воду.

Ставят в консервную банку, налитую злой хлорированной обеззараженной московской водопроводной водой, водой, которая сама, может, и рада засушить все живое, — московская мертвая водопроводная вода.

Лиственницы серьезней цветов. В этой комнате много цветов, ярких цветов. Здесь ставят букеты черемухи, букеты сирени в горячую воду, расщепляя ветки и окуная их в кипяток.

Лиственница стоит в холодной воде, чуть согретой. Лиственница жила ближе к Черной речке, чем все эти цветы, все эти ветки — черемухи, сирени.

Это понимает хозяйка. Понимает это и лиственница.

Повинуясь страстной человеческой воле, ветка собирает все силы — физические и духовные, ибо нельзя ветке воскреснуть только от физических сил: московского тепла, хлорированной воды, равнодушной стеклянной банки. В ветке разбужены иные, тайные силы.

Проходит три дня и три ночи, и хозяйка просыпается от странного, смутного скипидарного запаха, слабого, тонкого, нового запаха. В жесткой деревянной коже открылись и выступили явственно на свет новые, молодые, живые ярко-зеленые иглы свежей хвои.

Лиственница жива, лиственница бессмертна, это чудо воскрешения не может не быть — ведь лиственница поставлена в банку с водой в годовщину смерти на Колыме мужа хозяйки, поэта.

Даже эта память о мертвом тоже участвует в оживлении, в воскрешении лиственницы.

Этот нежный запах, эта ослепительная зелень — важные начала жизни. Слабые, но живущие, воскрешенные какой-то тайной духовной силой, скрытые в лиственнице и показавшиеся на свет.

Запах лиственницы был слабым, но ясным, и никакая сила в мире не заглушила бы этот запах, не потушила этот зеленый свет и цвет.

Сколько лет — исковерканная ветрами, морозами, вертящаяся вслед за солнцем — лиственница каждую весну протягивала в небо молодую зеленую хвою.

Сколько лет? Сто. Двести. Шестьсот. Зрелость даурской лиственницы — триста лет.

Триста лет! Лиственница, чья ветка, веточка дышала на московском столе, — ровесница Натальи Шереметевой-Долгоруковой и может напомнить о ее горестной судьбе: о превратностях жизни, о верности и твердости, о душевной стойкости, о муках физических, нравственных, ничем не отличающихся от мук тридцать седьмого года, с бешеной северной природой, ненавидящей человека, смертельной опасностью весеннего половодья и зимних метелей, с доносами, грубым произволом начальников, смертями, четвертованием, колесованием мужа, брата, сына, отца, доносивших друг на друга, предававших друг друга.

Чем не извечный русский сюжет?

После риторики моралиста Толстого и бешеной проповеди Достоевского были войны, революции, Хиросима и концлагеря, доносы, расстрелы.

Лиственница сместила масштабы времени, пристыдила человеческую память, напомнила незабываемое.

Лиственница, которая видела смерть Натальи Долгоруковой и видела миллионы трупов — бессмертных в вечной мерзлоте Колымы, видевшая смерть русского поэта, лиственница живет где-то на Севере, чтобы видеть, чтобы кричать, что ничего не изменилось в России — ни судьбы, ни человеческая злоба, ни равнодушие. Наталья Шереметева все рассказала, все записала с грустной своей силой и верой. Лиственница, ветка которой ожила на московском столе, уже жила, когда Шереметева ехала в свой скорбный путь в Березов, такой похожий на путь в Магадан, за Охотское море.

Лиственница источала, именно источала запах, как сок. Запах переходил в цвет, и не было между ними границы.

Лиственница в московской квартире дышала, чтобы напоминать людям их человеческий долг, чтобы люди не забыли миллионы трупов — людей, погибших на Колыме.

Слабый настойчивый запах — это был голос мертвых.

От имени этих мертвецов лиственница и осмеливалась дышать, говорить и жить.

Для воскрешения нужна сила и вера. Сунуть ветку в воду — это далеко не все. Я тоже ставил ветку лиственницы в банку с водой: ветка засохла, стала безжизненной, хрупкой и ломкой — жизнь ушла из нее. Ветка ушла в небытие, исчезла, не воскресла. Но лиственница в квартире поэта ожила в банке с водой.

Да, есть ветки сирени, черемухи, есть романсы сердцещипательные; лиственница — не предмет, не тема для романсов.

Лиственница — дерево очень серьезное. Это — дерево познания добра и зла — не яблоня, не березка! — дерево, стоящее в райском саду до изгнания Адама и Евы из рая.

Лиственница — дерево Колымы, дерево концлагерей.

На Колыме не поют птицы. Цветы Колымы — яркие, торопливые, грубые — не имеют запаха. Короткое лето — в холодном, безжизненном воздухе — сухая жара и стынущий холод ночью.

На Колыме пахнет только горный шиповник — рубиновые цветы. Не пахнет ни розовый, грубо вылепленный ландыш, ни огромные, с кулак, фиалки, ни худосочный можжевельник, ни вечнозеленый стланик.

И только лиственница наполняет леса смутным своим скипидарным запахом. Сначала кажется, что это запах тленья, запах мертвецов. Но приглядишься, вдохнешь этот запах поглубже и поймешь, что это запах жизни, запах сопротивления северу, запах победы.

К тому же — мертвецы на Колыме не пахнут — они слишком истощены, обескровлены, да и хранятся в вечной мерзлоте.

Нет, лиственница — дерево, непригодное для романсов, об этой ветке не споешь, не сложишь романс. Здесь слово другой глубины, иной пласт человеческих чувств.

Человек посылает авиапочтой ветку колымскую: хотел напомнить не о себе. Не память о нем, но память о тех миллионах убитых, замученных, которые сложены в братские могилы к северу от Магадана.

Помочь другим запомнить, снять со своей души этот тяжелый груз: видеть такое, найти мужество не рассказать, но запомнить. Человек и его жена удочерили девочку — заключенную девочку умершей в больнице матери, — хоть в своем, личном смысле взять на себя

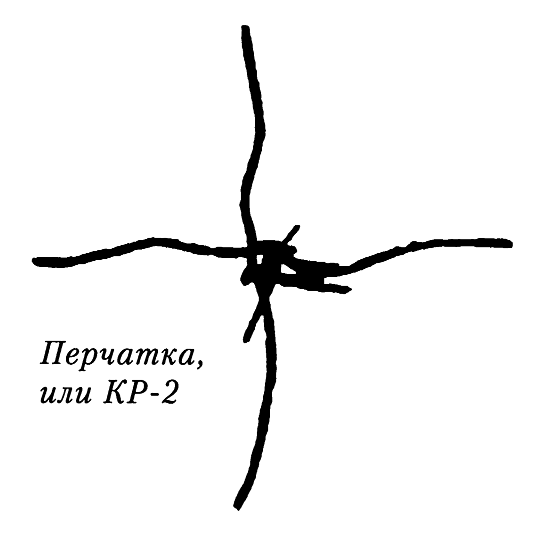
какую-то обязанность, выполнить какой-то личный долг.

Помочь товарищам — тем, кто остался в живых после концлагерей Дальнего Севера...

Послать эту жесткую, гибкую ветку в Москву.

Посылая ветку, человек не понимал, не знал, не думал, что ветку в Москве оживят, что она, воскресшая, запахнет Колымой, зацветет на московской улице, что лиственница докажет свою силу, свое бессмертие; шестьсот лет жизни лиственницы — это практическое бессмертие человека; что люди Москвы будут трогать руками эту шершавую, неприхотливую жесткую ветку, будут глядеть на ее ослепительно зеленую хвою, ее возрождение, воскрешение, будут вдыхать ее запах — не как память о прошлом, но как живую жизнь.

1966



Перчатка,
или КР-2

ПЕРЧАТКА

Ирине Павловне
Сиротинской

Где-то во льду хранятся рыцарские мои перчатки, облегавшие мои пальцы целых тридцать шесть лет теснее лайковой кожи и тончайшей замши Эльзы Кох.

Перчатки эти живут в музейном льду — свидетельство, документ, экспонат фантастического реализма моей тогдашней действительности, ждут своей очереди, как тритоны или целоканты, чтобы стать латимерией из целокантов.

Я доверяю протокольной записи, сам по профессии фактограф, фактолов, но что делать, если этих записей нет. Нет личных дел, нет архивов, нет историй болезни...

Документы нашего прошлого уничтожены, караульные вышки спилены, бараки сровнены с землей, ржавая колючая проволока смотана и увезена куда-то в другое место. На развалинах Серпантинки процвел иванчай — цветок пожара, забвения, враг архивов и человеческой памяти.

Были ли мы?

Отвечаю: «были» — со всей выразительностью протокола, ответственностью, отчетливостью документа.

. . . .

Это рассказ о моей колымской перчатке, экспонате музея здравоохранения или краеведения, что ли?

Где ты сейчас, мой вызов времени, рыцарская моя перчатка, брошенная на снег, в лицо колымского льда в 1943 году?

Я — доходяга, кадровый инвалид прибольничной судьбы, спасенный, даже вырванный врачами из лап

смерти. Но я не вижу блага в моем бессмертии ни для себя, ни для государства. Понятия наши изменили масштабы, перешли границы добра и зла. Спасение может быть благо, а может быть и нет: этот вопрос я не решил для себя и сейчас.

Разве можно держать перо в такой перчатке, которая должна лежать в формалине или спирте музея, а лежит на безымянном льду.

Перчатка, которая за тридцать шесть лет стала частью моего тела, частью и символом моей души.

Все окончилось пустяками, и кожа опять наросла. Выросли на скелете мышцы, пострадали немного кости, искривленные остеомиелитами после отморожений. Даже душа наросла вокруг этих поврежденных костей, очевидно. Даже дактилоскопический оттиск один и тот же на той, мертвой перчатке и на нынешней, живой, держащей сейчас карандаш. Вот истинное чудо науки криминалистики. Эти двойни-перчатки. Когда-нибудь я напишу детектив с таким перчаточным сюжетом и внесу вклад в этот литературный жанр. Но сейчас не до жанра детектива. Мои перчатки — это два человека, два двойника с одним и тем же дактилоскопическим узором — чудо науки. Достойный предмет размышлений криминалистов всего мира, философов, историков и врачей.

Не только я знаю тайну моих рук. Фельдшер Лесняк, врач Савоева держали ту перчатку в руках.

Разве кожа, которая наросла, новая кожа, костевые мускулы имеют право писать? А если уж писать — то те самые слова, которые могла бы вывести та, колымская перчатка — перчатка работяги, мозолистая ладонь, стертая ломом в кровь, с пальцами, согнутыми по черенку лопаты. Уж та перчатка рассказ этот не написала бы. Те пальцы не могут разогнуться, чтоб взять перо и написать о себе.

Тот огонь новой кожи, розовое пламя десятисвечника отмороженных рук разве не был чудом?

Разве в перчатке, которая приложена к истории болезни, не пишется история не только моего тела, моей судьбы, души, но история государства, времени, мира.

В той перчатке можно было писать историю.

А сейчас — хотя дактилоскопический узор одинаков — рассматриваю на свет розовую тонкую кожу, а не грязные окровавленные ладони. Я сейчас дальше от смерти, чем в 1943 или в 1938 году, когда мои пальцы были пальцами мертвеца. Я, как змей, сбросил в снегу

свою старую кожу. Но и сейчас новая рука откликается на холодную воду. Удары отморожения необратимы, вечны. И все же моя рука не та рука колымского доходяги. Та шкура сорвана с моего мяса, отслоилась от мышц, как перчатка, и приложена к истории болезни.

Дактилоскопический узор обеих перчаток один: это рисунок моего гена, гена жертвы и гена сопротивления. Как и моя группа крови. Эритроциты жертвы, а не завоевателя. Первая перчатка оставлена в Магаданском музее, в музее Санитарного управления, а вторая принесена на Большую землю, в человеческий мир, чтобы оставить за океаном, за Яблоновым хребтом — все нечеловеческое.

У пойманных беглецов на Колыме отрубали ладони, чтобы не возиться с телом, с трупом. Отрубленные руки можно унести в портфеле, в полевой сумке, ибо паспорт человека на Колыме — вольняшки или заключенного-беглеца один — узор его пальцев. Все нужное для опознания можно привезти в портфеле, в полевой сумке, а не на грузовике, не на «пикапе» или «виллисе».

А где моя перчатка? Где она хранится? Моя рука ведь не отрублена.

Глубокой осенью 1943 года, вскоре после нового десятилетнего срока, не имея ни силы, ни надежды жить — мускулов, мышц на костях было слишком мало, чтобы хранить в них давно забытое, отброшенное, ненужное человеку чувство вроде надежды, — я, доходяга, которого гнали от всех амбулаторий Колымы, попал на счастливую волну официально признанной борьбы с дизентерией. Я, старый поносник, приобрел теперь веские доказательства для госпитализации. Я гордился тем, что могу выставлять свой зад любому врачу — и самое главное — любому не-врачу, и зад выплюнет комочек спасительной слизи, покажет миру зеленовато-серый, с кровавыми прожилками изумруд — дизентерийный самоцвет.

Это был мой пропуск в рай, где я никогда не бывал за тридцать восемь лет моей жизни.

Я был намечен в больницу — включен в бесконечные списки какой-то дыркой перфокарты, включен, вставлен в спасительное, спасательное колесо. Впрочем, тогда о спасении я думал меньше всего, а что такое больница — и вовсе не знал, подчинялся лишь вековечному закону арестантского автоматизма: подъем — развод — завтрак — обед — работа — ужин, сон или вызов к уполномоченному.

Я много раз воскресал и доплывал снова, скитался от больницы до забоя много лет, не дней, не месяцев, а лет, колымских лет. Лечился, пока не стал лечить сам, и тем же самым автоматическим колесом жизни был выброшен на Большую землю.

. . . .

Я, доходяга, ждал этапа, но не на золото, где мне только что дали десять лет добавки к сроку. Для золота я был слишком истощен. Моей судьбой стали «витаминные» командировки.

Я ждал этапа на комендантском ОЛПе в Ягодном — порядки транзита известны: всех доходяг выгоняют на работы с собаками, с конвоем. Был бы конвой — работяги есть. Вся их работа никуда не записывается, их выгоняют насильно — хоть до обеда долби ямки ломом в мерзлой земле или тащи бревна на дрова в лагерь и хоть пеньки пили в штабелях, от поселка за десять километров.

Отказ? Карцер, трехсотка хлеба, миска воды. Акт. А в 1938 году за три отказа подряд — расстреливали всех на Серпантинке, следственной тюрьме Севера. Хорошо знакомый с этой практикой, я и не думал уклоняться или отказываться, куда бы нас ни приводили.

В одном из путешествий нас завели в швейпром. За забором располагался барак, где шили рукавицы из старых брюк и подошвы тоже из ватного куска.

Новые брезентовые рукавицы с кожаной обшивкой держатся на бурении ломом — а я бурил немало ручным бурением — держатся около получаса. А ватные — минут пять. Разница не слишком велика, чтобы можно было рассчитывать на завоз спецодежды с Большой земли.

В Ягодинском швейпроме рукавицы шило человек шестьдесят. Там были и печки, и забор от ветра — очень мне хотелось попасть на работу в этот швейпром. К сожалению, согнутые черенком лопаты и кайловищем пальцы забойщика золотого забоя не могли удержать иголки в правильном положении, и даже чинить рукавицы взяли людей сильнее меня. Мастер, наблюдавший, как я справляюсь с иглой, сделал отрицательный жест рукой. Я не сдал экзамена на портного и приготовился в дальний путь. Впрочем, далеко или близко — мне было совершенно все равно. Полученный новый срок меня вовсе не пугал. Рассчитывать жизнь дальше чем на один день не было никакого смысла. Само по себе понятие «смысл» вряд ли допустимо в нашем фантастическом

мире. Вывод этот — однодневного расчета — был найден не мозгом, а каким-то животным арестантским чувством, чувством мускулов — найдена аксиома, не подлежащая сомнению.

Кажется, пройдены самые дальние пути, самые темные, самые глухие дороги, освещены глубочайшие уголочки мозга, испытаны пределы унижения, побои, пощечины, тычки, ежедневные избиения. Все это испытал я очень хорошо. Все главное подсказало мне тело.

От первого удара конвоира, бригадира, нарядчика, блатаря, любого начальника я валился с ног, и это не было притворством. Еще бы! Колыма неоднократно испытывала мой вестибулярный аппарат, испытывала не только мой «синдром Меньера», но и мою невесомость в абсолютном, то есть арестантском, смысле.

Я прошел экзамен, как космонавт для полета в небеса, на ледяных колымских центрифугах.

Смутным сознанием я ловил: меня ударили, сбили с ног, топчут, разбиты губы, течет кровь из цинготных зубов. Надо скорчиться, лечь, прижаться к земле, к матери сырой земле. Но земля была снегом, льдом, а в летнее время камнем, а не сырой землей. Много раз меня били. За все. За то, что я троцкист, что я «Иван Иваныч». За все грехи мира отвечал я своими боками, дорвался до официально разрешенной мести. И все же както не было последнего удара, последней боли.

Я не думал тогда о больнице. «Боль» и «больница» — это разные понятия, особенно на Колыме.

Слишком неожидан был удар врача Мохнача, заведующего медпунктом спецзоны Джелгала, где меня судили всего несколько месяцев назад. В амбулаторию, где работал доктор Владимир Осипович Мохнач, я ходил на прием каждый день, пытался хоть на день получить освобождение от работы.

Когда меня арестовали в мае 1943 года, я потребовал и медицинского освидетельствования, и справки о моем лечении в амбулатории.

Следователь записал мою просьбу, и в ту же ночь двери моего карцера, где я сидел без света, с кружкой воды и трехсоткой хлеба целую неделю — лежал на земляном полу, ибо в карцере не было ни койки, ни мебели, — распахнулись, и на пороге возник человек в белом халате. Это был врач Мохнач. Не подходя ко мне, он посмотрел на меня, выведенного, вытолканного из карцера, осветил фонарем мне лицо и сел к столу написать

что-то на бумажке, не откладывая в дальний ящик. И ушел. Эту бумажку я увидел 23 июня 1943 года в ревтрибунале на моем суде. Ее зачли в качестве документа. В бумажке было дословно — я помню тот текст наизусть: «Справка. Заключенный Шаламов в амбулаторию № 1 спецзоны Джелгала не обращался. Заведующий медпунктом врач Мохнач».

Эту справку читали вслух на моем суде, к вящей славе уполномоченного Федорова, который вел мое дело. Все было ложью в моем процессе, и обвинение, и свидетели, и экспертиза. Истинной была только человеческая подлость.

Я даже не успел порадоваться в том июне 1943 года, что десятилетний срок — подарок ко дню моего рождения. «Подарок, — так говорили мне все знатоки подобных ситуаций. — Ты ведь не был расстрелян. Тебе не выдали срока весом — семь граммов свинца».

Все это казалось пустяками перед реальностью иглы, которую я не мог держать по-портновски.

Но и это — пустяки.

. . . .

Где-то — вверху или внизу, я так и не узнал за всю мою жизнь — ходили винтовые колеса, двигающие пароход судьбы, маятник, раскачивающийся от жизни до смерти, — выражаясь высоким штилем.

Где-то писались циркуляры, трещали телефоны селекторной связи. Где-то кто-то за что-то отвечал. И как ничтожный результат казеннейшего медицинского сопротивления смерти перед карающим мечом государства рождались инструкции, приказы, отписки высшего начальства. Волны бумажного моря, плещущие в берега отнюдь не бумажной судьбы. Доходяги, дистрофики колымские не имели права на медпомощь, на больницу по истинной своей болезни. Даже в морге патологоанатом твердо искажал истину, лгал даже после смерти, указывая другой диагноз. Истинный диагноз алиментарной дистрофии появился в лагерных медицинских документах только после Ленинградской блокады, во время войны было разрешено называть голодом голод, а пока доходяг клали умирать с диагнозом полиавитаминоза, гриппозной пневмонии, в редких случаях РФИ — резкое физическое истощение.

Даже цинга имела контрольные цифры, дальше которых врачам не рекомендовалось заходить в койко-

днях, в группе «В» и «Б». Высокий койко-день, окрик высшего начальства, и врач переставал быть врачом.

Дизентерия — вот с чем было разрешено госпитализировать заключенных. Поток дизентерийных больных сметал все официальные рогатки. Доходяга тонко чувствует слабину — куда, в какие ворота пропускают к отдыху, к передышке — хоть на час, хоть на день. Тело, желудок заключенного — не анероид. Желудок не предупреждает. Но инстинкт самосохранения заставляет доходягу смотреть на амбулаторную дверь, которая, может быть, приведет к смерти, а может быть, к жизни.

«Тысячу раз больной» — термин, над которым смеются все больные и медицинские верхи, — глубок, справедлив, точен, серьезен.

Доходяга вырвет у судьбы хоть день отдыха, чтоб снова возвратиться на свои земные пути, очень схожие с путями небесными.

Самое главное — это контрольная цифра, план. Попасть в этот план — трудная задача, каков бы ни был поток поносников — двери в больницу узкие.

Витаминный комбинат, где я жил, имел всего два места на дизентерию в районную больницу, две драгоценные путевки, и то отвоеванные с боем для «витаминки», ибо дизентерия прииска золотого или оловянного рудника или дизентерия дорожного строительства стоит дороже поносников витаминного комбината.

Витаминным комбинатом назывался просто сарай, где в котлах варили экстракт стланика — ядовитую, дрянную, горчайшую смесь коричневого цвета, сваренную в многодневном кипячении в сгущенную смесь. Эта смесь варилась из иголок хвои, которые «щипали» арестанты по всей Колыме, доходяги — обессилевшие в золотом забое. Выбравшихся из золотого разреза заставляли умирать, создавая витаминный продукт — экстракт хвои. Горчайшая ирония была в самом названии комбината. По мысли начальства и вековому опыту мировых северных путешествий — хвоя была единственным местным средством от болезни полярников и тюрем — цинги.

Экстракт этот был взят на официальное вооружение всей северной медицины лагерей как единственное средство спасения, если уж стланик не помогает — значит, никто не поможет.

Тошнотворную эту смесь нам давали трижды в день, без нее не давали пищи в столовой. Как ни напряженно

ждет желудок арестанта любую юшку из муки, чтобы прославить любую пищу, этот важный момент, возникающий трижды в день, администрация безнадежно портила, заставляя вкусить предваряющий глоток экстракта хвои. От этой горчайшей смеси икается, содрогается желудок несколько минут, и аппетит безнадежно испорчен. В стланике этом был тоже какой-то элемент кары, возмездия.

Штыки охраняли узкий проход в столовую, столик, где с ведром и крошечным жестяным черпачком из консервной банки сидел лагерный «лепило» — лекпом — и вливал каждому в рот целительную дозу отравы.

Особенность этой многолетней пытки стлаником, наказания черпачком, проводимой по всему Союзу, была в том, что никакого витамина С, который мог бы спасти от цинги, в этом экстракте, вываренном в семи котлах, не было. Витамин С очень нестоек, он пропадает после пятнадцати минут кипячения.

Однако велась медицинская статистика, вполне достоверная, где убедительно доказывалось «с цифрами в руках», что прииск дает больше золота, снижает койко-день. Что люди, вернее, доходяги, умиравшие от цинги, умерли только оттого, что сплюнули спасительную смесь. Составлялись даже акты на сплюнувших, сажали их и в карцеры, в РУРы. Таблиц таких было немало.

Вся борьба с цингой была кровавым, трагическим фарсом, вполне под стать фантастическому реализму тогдашней нашей жизни.

Уже после войны, когда разобрались на самом высшем уровне в этом кровавом предмете, — стланик был запрещен начисто и повсеместно.

После войны в большом количестве на Север стали завозить плоды шиповника, содержащие реальный витамин С.

Шиповника на Колыме пропасть — горного, низкорослого, с лиловым мясом ягод. А нам, в наше время, запрещали подходить к шиповнику во время работы, стреляли даже в тех и убивали, кто хотел съесть эту ягоду, плод, вовсе не зная об ее целительной сущности. Конвой охранял шиповник от арестантов.

Шиповник гнил, сох, уходил под снег, чтобы снова возникнуть весной, выглянуть из-под льда сладчайшей, нежнейшей приманкой, соблазняя язык только вкусом, таинственной верой, а не знанием, не наукой, умещенной в циркуляры, где рекомендовался только стланик, кедрач, экстракт с Витаминного комбината. Зачарован-

ный шиповником доходяга переступал зону, магический круг, очерченный вышками, и получал пулю в затылок.

Для того чтобы завоевать путевку на дизентерию, надо было предъявить «стул» — комочек слизи из заднего прохода. Арестант-доходяга при нормальной лагерной пище имеет «стул» раз в пять дней, не чаще. Очередное медицинское чудо. Каждая крошка всасывается любой клеткой тела, не только, кажется, кишечником и желудком. Кожа тоже хотела бы, готова была всасывать пищу. Кишечник отдает, выбрасывает нечто малопонятное — трудно даже объяснить, что он выбрасывает.

Арестант не всегда может заставить свою прямую кишку извергнуть в руки врача документальный и спасительный комочек слизи. Ни о какой неловкости, стыде нет и разговора, конечно. Стыдно — это понятие слишком человеческое.

Но вот появляется шанс спастись, а кишечник не срабатывает, не выбрасывает этот комочек слизи.

Врач терпеливо ждет тут же. Не будет комочка, не будет больницы. Путевкой воспользуется кто-то другой, а этих других — немало. Это ты — счастливчик, только задница твоя, прямая кишка не может сделать рывка, плевка, старта в бессмертие.

Наконец что-то выпадает, выжато из лабиринтов кишечника, из этих двенадцати метров труб, чья перистальтика вдруг отказала.

Я сидел за забором, давил на свой живот изо всех сил, умоляя прямую кишку выдавить, выдать заветное количество слизи.

Врач сидел терпеливо, курил махорочную свою папиросу. Ветер шевелил драгоценную путевку на столе, зажатую бензинкой-«колымчанкой». Подписывать такие путевки полагалось только врачу при личной ответственности врача за диагноз.

Я позвал на помощь всю свою злобу. И кишечник сработал. Прямая кишка выбросила какой-то плевок, брызгу — если слово «брызги» имеет единственное число, комочек слизи серо-зеленого цвета с драгоценной красной нитью — прослойкой необычайной ценности.

Количество кала уместилось на середине ольхового листика, и мне сначала показалось, что крови-то в моей слизи и нет.

Но врач был опытней меня. Он поднес плевок моей прямой кишки к глазам, понюхал слизь, отбросил ольховый листок и, не умывая рук, подписал путевку.

В ту же белую северную ночь я был привезен в районную больницу «Беличья». Больница «Беличья» имела штамп «Центральная районная больница Северного горного управления» — это сочетание слов применялось и в разговоре, в быту и в официальной переписке. Что возникло раньше другого — быт ли узаконил бюрократический узор, или формула только выразила душу бюрократа, — не знаю. «Не веришь — прими за сказку», по блатной пословице. На самом же деле наряду с другими — Западным, Юго-Западным, Южным — районами Колымы «Беличья» обслуживала Северный район, была районной больницей. Центральной же больницей для заключенных была огромная, возводящаяся близ Магадана, на 23-м километре главной трассы Магадан — Сусуман — Нера, больница на тысячу коек, позднее переведенная на Левый берег реки Колымы.

Огромная, с подсобными предприятиями, с рыбалкой, совхозом больница на тысячу коек, на тысячу смертей в день в месяцы «пик» доходяг Колымы. Здесь, на 23-м километре, шла актировка — последний этап перед морем — и свободой или смертью где-нибудь в инвалидном лагере под Комсомольском. На 23-м километре зубы дракона, разжимаясь последний раз, выпускали на «волю» — разумеется, случайно уцелевших в колымских сражениях, морозах.

«Беличья» же была на 501-м километре этой трассы близ Ягодного, всего в шести километрах от северного центра, давно превратившегося в город, а в 1937 году я сам переходил вброд речку, и боец наш застрелил большого глухаря, прямо, не отводя в сторону, даже не сажая на землю этапа.

В Ягодном меня и судили несколько месяцев назад.

«Беличья» была больница коек на сто для заключенных, со скромным штатом обслуги — четыре врача, четыре фельдшера и санитара — все из заключенных. Только главный врач была договорница, член партии, Нина Владимировна Савоева, осетинка, по прозвищу «Черная мама».

Кроме этого штата больница могла держать на всевозможных ОП и ОК — дело ведь было не в тридцать восьмом, когда никаких ОК и ОП не было при больнице на «Партизане», в расстрельное гаранинское время.

Ущерб, убыль людей в то время пополнялись с материка легко, и в смертную карусель запускали все новые и новые этапы. В тридцать восьмом даже пешие этапы

водили в Ягодное. Из колонны в 300 человек до Ягодного доходили восемь, остальные оседали в пути, отмораживали ноги, умирали. Никаких оздоровительных команд не было для врагов народа.

Иначе было в войну. Людские пополнения Москва дать не могла. Лагерному начальству было велено беречь тот списочный состав, который уже заброшен, закреплен. Вот тут-то медицине и даны были кое-какие права. В это время я на прииске «Спокойном» встретился с удивительной цифрой. Из списочного состава в 3000 человек на работе в первой смене — 98. Остальные — или в стационарах, или в полустационарах, или в больницах, или на амбулаторном освобождении.

Вот и «Беличья» имела тогда право держать у себя из больных команду выздоравливающих. ОК или даже ОП — оздоровительную команду или оздоровительный пункт.

При больницах тогда и было сосредоточено большое количество даровой арестантской рабочей силы, желающих за пайку, за лишний день, проведенный в больнице, своротить целые горы любой породы, кроме каменного грунта золотого забоя.

Выздоравливающие «Беличьей» и могли, и умели, и уже своротили золотые горы — след их труда — золотые разрезы приисков Севера, но не справились с осушением «Беличьей» — голубой мечтой главврача, «Черной мамы». Не могли засыпать болото вокруг больницы. «Беличья» стоит на горке, в километре от центральной трассы Магадан — Сусуман. Этот километр зимой не составлял проблемы — ни пешей, ни конной, ни автомобильной. «Зимник» — главная сила дорог Колымы. Но летом болото чавкает, хлюпает, конвой ведет больных поодиночке, заставляя их прыгать с кочки на кочку, с камушка на камушек, с тропки на тропку, хотя еще зимой в мерзлоте вырублена идеально расчерченная опытной рукой какого-нибудь инженера из больных тропка.

Но летом мерзлота начинает отступать, и неизвестны пределы, последние рубежи, куда мерзлота отступит. На метр? На тысячу метров? Никто этого не знает. Ни один гидрограф, прибывающий на «Дугласе» из Москвы, и ни один якут, чьи отцы и деды родились тут же, на этой же болотистой земле.

Канавы засыпают камнем. Горы известняка заготовлены здесь же, рядом, подземные толчки, обвалы, оползни, угрожающие жизни, — все это при ослепи-

тельно ярком небе: на Колыме не бывает дождей, дожди, туман — только на побережье.

Мелиорацией занимается само незакатное солнце.

В эту болотистую дорогу — километр от «Беличьей» до трассы — вбиты сорок тысяч трудодней, миллионы часов (труда) выздоравливающих. Каждый должен был бросить камень в бездорожную глубину болота. Обслуга каждый летний день выбрасывала в болото камни. Болото чавкало и проглатывало дары.

Колымские болота — могила посерьезней каких-нибудь славянских курганов или перешейка, который был засыпан армией Ксеркса.

Каждый больной, выписываясь из «Беличьей», должен был бросить камень в больничное болото — плиту известняка, заготовленную здесь другими больными или обслугой во время «ударников». Тысячи людей бросали камни в болото. Болото чавкало и проглатывало плиты.

За три года энергичной работы не было достигнуто никаких результатов. Снова требовался зимник, и бесславная борьба с природой замирала до весны. Весной все начиналось сначала. Но за три лета никакой дороги сделать к больнице не удалось, по которой могла бы проскочить автомашина. По-прежнему приходилось выводить выписанных прыжками с кочки на кочку. И по таким же кочкам приводить на лечение.

После трехлетних непрерывных всеобщих усилий начерчен был только пунктир — некий зигзагообразный ненадежный путь от трассы до «Беличьей», путь, по которому нельзя было бежать, идти или ехать, а можно было только прыгать с плиты на плиту — как тысячу лет назад с кочки на кочку.

Этот бесславный поединок с природой озлобил главврача «Черную маму».

Болото торжествовало.

Я пробирался в больницу прыжками. Шофер, парень опытный, оставался на трассе с машиной — чтоб не увели грузовик прохожие, не раздели мотор. В эту белую ночь грабители возникают неизвестно откуда, и водители не оставляют машины ни на час. Это — быт.

Конвоир заставил меня прыгать по белым плитам до больницы и, оставив меня сидеть на земле у крыльца, понес мой пакет в избушку.

Чуть дальше двух деревянных бараков тянулись серые, как сама тайга, ряды огромных брезентовых палаток. Между палатками был проложен настил из жердей,

тротуар из тальника, приподнятый над камнем значительно. «Беличья» стоит на устье ручья, боится потопов, грозовых ливней, паводков колымских.

Брезентовые палатки не только напоминали о бренности мира, но самым суровым тоном твердили, что ты, доходяга, здесь человек нежелательный, хотя и не случайный. С жизнью твоей считаться тут будут мало. На «Беличьей» не чувствовалось уюта — а лишь аврал.

Брезентовое небо палаток «Беличьей» ничем не отличалось от брезентового неба палаток прииска «Партизан» 1937 года, изорванное, продуваемое всеми ветрами. Не отличалось и от обложенных торфом, утепленных, двухнарных землянок Витаминного комбината, защищавших только от ветра, не от мороза. Но и защита от ветра для доходяги большое дело.

Звезды же, видимые сквозь дырки брезентового потолка, были везде одни и те же: скошенный чертеж небосвода Дальнего Севера.

В звездах, в надеждах разницы не было, но не было и нужды ни в звездах, ни в надеждах.

На «Беличьей» ветер гулял по всем палаткам, именуемым отделениями Центральной районной больницы, открывая для больного двери, захлопывая кабинеты.

Меня это мало смущало. Мне было просто не дано постичь уют деревянной стены — сравнить ее с брезентом. Брезентовыми были мои стены, брезентовым было небо. Случайные ночевки в дереве на транзитках не запоминались ни как счастье, ни как надежда, возможность, которой можно добиться.

Аркагалинская шахта. Там было более всего дерева. Но там было много мучений, и именно оттуда я уехал на Джелгалу получать срок: в Аркагале я уже был намеченной жертвой, уже был в списках и умелых руках провокаторов из спецзоны.

Брезент больничный был разочарованием тела, а не души. Тело мое дрожало от всякого дуновения ветра, я корчился, не мог остановить дрожь всей своей кожи — от пальцев ног до затылка.

В темной палатке не было даже печки. Где-то в середине огромного числа свежесрубленных топчанов было и мое завтрашнее, сегодняшнее место — топчан с деревянным подголовником — ни матраса, ни подушки, а только топчан, подголовник, вытертое, ветхое одеяло, в которое можно обернуться, как в римскую тогу или плащ саддукеев. Сквозь вытертое одеяло ты увидишь

римские звезды. Но звезды Колымы не были римскими звездами. Чертеж звездного неба Дальнего Севера иной, чем в евангельских местах.

Я замотал в одеяло, как в небо, голову наглухо, согреваясь единственным возможным способом, хорошо мне знакомым.

Кто-то взял меня за плечи и повел куда-то по земляной дорожке. Я спотыкался босыми ногами, ушибался обо что-то. Пальцы мои гноились от отморожений, не заживших еще с тридцать восьмого года.

Прежде чем лечь на топчан, я должен быть вымыт. И мыть меня будет некий Александр Иванович, человек в двух халатах поверх телогрейки — больничный санитар из заключенных, к тому же из литерников, то есть из пятьдесят восьмой статьи, значит, на «истории болезни», а не в штате, ибо штатным может быть только бытовик.

Деревянная шайка, бочка с водой, черпак, шкаф с бельем — все это вмещалось в уголок барака, где стоял топчан Александра Ивановича.

Александр Иванович налил мне одну шайку воды из бочки, но я за много лет привык к символическим баням, к сверхбережному расходу воды, которая добывается из пересохших ручьев летом, а зимой топится — из снега. Я мог и умел вымыться любым количеством воды — от чайной ложки до цистерны. Даже чайной ложкой воды я промыл бы глаза — и все. А здесь была не ложка, целая шайка.

Стричь меня было не надо, я был прилично острижен под машинку бывшим полковником Генерального штаба парикмахером Руденко.

Вода, символическая больничная вода была холодной, конечно. Но не ледяной, как вся вода Колымы зимой и летом. Да это и не было важно. Даже кипяток не согрел бы мое тело. А плесни на мою кожу черпак адской кипящей смолы — адский жар не согрел бы нутра. Об ожогах я не думал и в аду, когда прижимался голым животом к горячей бойлерной трубе в золотом разрезе прииска «Партизан». Это было зимой 1938 года — тысячу лет назад. После «Партизана» я устойчив к адской смоле. Но на «Беличьей» адской смолой и не пользовались. Шайка холодной воды на взгляд или, вернее, на ощупь, по мнению пальца Александра Ивановича, горячей или теплой и быть не могла. Не ледяная — и этого вполне достаточно, по мнению Александра Ивановича. А мне все это было и вовсе безразлично, по мнению мое-

го собственного тела, — а тело посерьезнее, покапризней человеческой души — тело имеет больше нравственных достоинств, прав и обязанностей.

Александр Иванович перед моим омовением выбрил мне лобок опасной бритвой собственной рукой, прошелся близ подмышек и повел меня в кабинет врача, одев в чиненое, но чистое ветхое больничное белье; кабинет был выгорожен в тех же брезентовых стенах палатки.

Брезентовый полог откинулся, и на пороге возник ангел в белом халате. Под халат была надета телогрейка. Ангел был в ватных брюках, а на халат был накинут старенький, второсрочный, но вполне добротный полушубок.

Июньские ночи не шутят ни с вольными, ни с заключенными, ни с придурками, ни с работягами. О доходягах и говорить нечего. Доходяги просто перешли границы добра и зла, тепла и холода.

Это был дежурный врач, доктор Лебедев. Лебедев был не врач и не доктор, и даже не фельдшер, а просто учитель истории в средней школе — специальность, как известно, огнеопасная.

Бывший больной, он стал работать фельдшером-практиком. Обращение же «доктор» его давно перестало смущать. Впрочем, он был человек незлой, доносил умеренно, а может быть, и совсем не доносил. Во всяком случае, в интригах, раздиравших на части всякое больничное учреждение, — а «Беличья» не была исключением, — доктор Лебедев не участвовал, понимая, что любое увлечение может ему стоить не только медицинской карьеры, но и жизни.

Меня он принял равнодушно, без всякого интереса заполнил мою «историю болезни». Я же был поражен. Фамилию мою выписывают красивым почерком на настоящий бланк истории болезни, хотя и не печатный, не типографский, но разграфленный аккуратно чьей-то умелой рукой.

Бланк был более достоверен, чем призрачность, фантастичность белой колымской ночи, брезентовая палатка на двести арестантских топчанов. Палатка, откуда сквозь брезент доносился такой знакомый мне ночной барачный колымский арестантский шум.

Записывал человек в белом халате, яростно щелкая ученической ручкой в чернильницу-непроливайку, не обращаясь к помощи стоящего перед ним в центре стола красивого чернильного прибора, кустарной, арестант-

ской, больничной работы: резной сучок, развилка лиственницы трехлетней или трехтысячелетней — ровесницы какого-нибудь Рамзеса или Ассаргадона, — мне было не дано знать сроки, счесть годовые кольца среза. Искусной рукой кустаря был ловко уловлен какой-то единственный, уникальный естественный изгиб дерева, сражавшегося, корчась, с морозами Дальнего Севера. Изгиб пойман, сучок остановлен, срезан рукой мастера, и суть изгиба, суть дерева обнажена. Под очищенной корой показался стандарт из стандартов, вполне рыночный товар — голова Мефистофеля, наклонившаяся над бочонком, откуда вот-вот должно забить фонтаном вино. Вино, а не вода. Чудо в Кане или чудо в погребке Фауста только потому не становилось чудом, что на Колыме могла забить фонтаном человеческая кровь, а не спирт, — вина на Колыме не бывает, — не гейзер теплой подземной воды, лечебный источник якутского курорта Талой.

Вот эта опасность: выбей пробку — и потечет не вода, а кровь — и сдерживала чудотворца Мефистофеля или Христа — все равно.

Дежурный врач Лебедев тоже боялся этой неожиданности и предпочитал пользоваться непроливайкой. Витаминная путевка была аккуратно подклеена к новому бланку. Вместо клея Лебедеву служил тот же экстракт стланика, целая бочка которого стояла у стола. Стланик прихватывал намертво бедную бумажку.

Александр Иванович повел меня на мое место, объясняя мне знаками почему-то; очевидно, официально была ночь, хотя было светло, как днем, и полагалось говорить по инструкции или по медицинской традиции шепотом, хотя колымчан — спящих доходяг нельзя было разбудить даже пушечным выстрелом над самым ухом больного, ибо любой из этих двухсот моих новых соседей считался будущим мертвецом — не более.

Язык жестов Александра Ивановича сводился к немногим советам: если я захочу оправиться, то боже меня сохрани бежать куда-то в уборную на стульчак, на «очко», вырубленное в досках в углу палатки. Я должен сначала записаться, отметиться у Александра Ивановича и обязательно в его присутствии предъявить результат моего сидения на стульчаке.

Александр Иванович собственной рукой, палкой должен столкнуть результат в плещущее вонючее море человеческого кала дизентерийной больницы, море, которое не всасывалось, в отличие от белых плит, никакой

колымской мерзлотой, а ждало вывозки в какие-то другие места больницы.

Александр Иванович не пользовался ни хлоркой, ни карболкой, ни универсальной великой марганцовкой, ничего подобного даже рядом не было. Но какое мне было дело до всех этих слишком человеческих проблем. Наша судьба и не нуждалась в дезинфекции.

Я бегал на «стул» несколько раз, и Александр Иванович записывал результат работы моего кишечника, работающего столь же капризно и своевольно, как и под забором Витаминного комбината — Александр Иванович близко наклонялся к моему калу и ставил какие-то таинственные отметки на фанерную доску, которую держал в руках.

Роль Александра Ивановича в отделении была очень велика. Фанерная доска дизентерийного отделения отражала в высшей степени точную, ежедневную, ежечасную картину хода болезни каждого из поносников...

Александр Иванович дорожил доской, засовывал ее под матрац в те немногие часы, когда обессиленный бдительностью своего круглосуточного дежурства Александр Иванович впадал в забытье — обычный сон колымского арестанта, не снимая ни телогрейки, ни двух своих серых халатов, просто приваливаясь к брезентовой стене своего бытия и мгновенно теряя сознание, чтобы через час, много два, вновь подняться и выползти к дежурному столику, засветить, зажечь «летучую мышь».

Александр Иванович в прошлом был секретарем обкома одной из республик Грузии, по пятьдесят восьмой статье прибыл на Колыму с каким-то астрономическим сроком.

Александр Иванович не имел медицинского образования, не был счетным работником, хотя и был «счетоводом» в терминологии Калембета. Александр Иванович прошел забой, «доплыл» и попал по обычной дороге доходяги в больницу. Он был службист, верная душа для любого начальника.

Александра Ивановича правдами и неправдами держали на «истории болезни» не потому, что он был какой-то тонкий специалист в хирургии или почвоведении; Александр Иванович был службист-крестьянин. Он верно служил начальству любому и своротил бы горы по приказанию высшего начальства. Додумался до фанерной доски не он, а заведующий отделением Калембет. Доска должна быть в верных руках, и эти верные руки

Калембет нашел в лице Александра Ивановича. Услуги были взаимными. Калембет держал Александра Ивановича на «истории болезни», а Александр Иванович обеспечивал отделению точный учет, и притом в динамике.

Штатным санитаром Александр Иванович быть не мог — это я сразу догадался. Какой же штатный санитар моет сам больных. Штатный санитар — это бог, обязательно бытовик, гроза всех осужденных по пятьдесят восьмой, недремлющее око местного райотдела. У штатного санитара — много помощников из добровольцев за «супчик». Разве что получать пищу на кухне штатный санитар из бытовиков ходит сам, да и то в сопровождении десятка рабов разной близости к полубогу — раздатчику пищи, хозяину жизни и смерти доходяг. Я всегда поражался исконной русской привычке обязательно иметь услужающего раба. Так, у бытовиков дневальный — не дневальный, а бог, нанимал за папиросу, махорку, за кусок хлеба работягу по пятьдесят восьмой. Но и работяга по пятьдесят восьмой не зевает. Как-никак он — подрядчик, стало быть, ищет рабов. Работяга отсыплет в карман половину махорки, переполовинит хлеб или суп и приведет на уборку к бытовикам своих товарищей, забойщиков золотого забоя, шатающихся от усталости и голода после четырнадцати часов рабочего дня на прииске. Я сам был таким работягой, рабом рабов и знаю всему этому цену.

Поэтому я сразу понял, почему Александр Иванович стремится все сделать своими руками — и мыть, и стирать, и раздавать обед, и мерить температуру.

Универсальность обязательно должна была сделать Александра Ивановича ценным человеком для Калембета, для любого заведующего отделением из заключенных. Но дело было тут только в анкете, в первородном грехе. Первый же врач из бытовиков, не столь зависимый от работы Александра Ивановича, как Калембет, выписал Александра Ивановича на прииск, где он и умер, ибо до Двадцатого съезда было еще далеко. Умер он, наверное, праведником.

Вот это и составляло главную опасность для многих умирающих доходяг — неподкупность Александра Ивановича, его зависимость от собственной истории болезни. Александр Иванович с самого первого дня, как всегда и везде, сделал ставку на начальство, на исполнительность, честность в главном занятии Александра Ивановича, в охоте за человеческим калом двухсот дизентерийных больных.

Александр Иванович был опорой лечебной работы дизентерийного отделения. И это все понимали.

Учетная фанерная доска была расчерчена на клетки по количеству поносников, нуждающихся в контроле. Никакой блатарь, прибывший в больницу на модной волне дизентерии, не мог бы подкупить Александра Ивановича. Александр Иванович немедленно бы донес по начальству. Не послушался бы голоса страха. У Александра Ивановича были свои счеты с блатарями еще с приисковых, забойных работ. Но блатари подкупают врачей, а не санитаров. Грозят врачам, а не санитарам, тем более не санитарам из больных, находящимся «на истории».

Александр Иванович стремился оправдать доверие врачей и государства. Бдительность Александра Ивановича не касалась политических материалов. Александр Иванович пунктуально выполнял все, что касалось контроля за человеческими экскрементами.

В потоке симулянтов (симулянтов ли?) от дизентерии было крайне важно контролировать ежедневный «стул» больного. Чего же еще? Усталость безмерную? Резкое истощение — все это было вне бдительности не только санитара, но и заведующего отделением. Контролировать «стул» больного обязан только врач. Всякая запись «со слов» на Колыме сомнительна. И поскольку центр центров дизентерийного больного — кишечник, было чрезвычайно важно знать истину, если не воочию, то через доверенное лицо, через личного представителя в фантастическом мире колымского арестантского подземелья, в искаженном свете окон из бутылочного стекла — постичь истину хотя бы в ее грубом, приближенном виде.

Масштабы понятий, оценок на Колыме смещены, а подчас перевернуты вверх ногами.

Александр Иванович был призван контролировать не выздоровление, а обман, кражу койко-дней у благодетеля-государства. Александр Иванович считал за счастье вести учет испражнений дизентерийного барака, а доктор Калембет — действительный врач, а не доктор, — как и символический доктор, доктор Лебедев, — считал бы за счастье считать говно, а не катать тачку, как ему довелось, как всем интеллигентам, всем «Иван Ивановичам», всем «счетоводам» — без исключения.

Петр Семенович Калембет хоть и был профессиональным врачом, даже профессором Военно-медицинской академии, считал за счастье в 1943 году записы-

вать в историю болезни «стул», а не испускать на стульчаке собственный свой «стул» на подсчет и анализ.

Чудесная фанерная доска — основной документ диагностики и клиники в дизентерийном отделении «Беличьей» — содержала список всех поносников, непрерывно менявшийся.

Было правило: днем оправка только на глазах фельдшера. Фельдшером, вернее, исполняющим обязанности фельдшера, неожиданно оказался ангелоподобный доктор Лебедев. Александр Иванович в это время подремывает, чтобы внезапно очнуться в боевой позе, готовым к ночному сражению с поносниками.

Вот какую истинно государственную пользу может принести простая фанерка в добродетельных руках Александра Ивановича.

К сожалению — он не дожил до Двадцатого съезда. Не дожил до этого и Петр Семенович Калембет. Отбыв десять лет и освободившись, заняв пост начальника санотдела какого-то отделения, Калембет ощутил, что ничего в его судьбе не изменилось, кроме названия его должности, — бесправность бывших заключенных бросалась в глаза. Надежд, как и все порядочные колымчане, Калембет не имел никаких. Положение не изменилось и после окончания войны. Калембет покончил с собой в 1948 году на «Эльгене», где он был начальником санитарной части, — ввел себе в вену раствор морфия и оставил записку странного, но вполне калембетовского содержания: «Дураки жить не дают».

И Александр Иванович умер как доходяга, не кончив своего двадцатипятилетнего срока.

Фанерная доска делилась вертикальными графами: номер, фамилия. Апокалиптических граф статьи и срока тут не было, что меня немного удивило, когда я впервые прикоснулся к вытертой ножом, выскобленной битым стеклом драгоценной фанерке, — графа, следующая за фамилией, называлась «цвет». Но речь шла тут не о курах и не о собаках.

Следующая графа не имела названия, хотя название было. Возможно, оно показалось трудным Александру Ивановичу, давно забытым, а то и вовсе неизвестным термином из подозрительной латинской кухни, слово это было «консистенция», но губы Александра Ивановича не могли его правильно повторить, чтобы перенести на новую фанерку важный термин. Александр Иванович просто пропускал его, держал его «в уме» и пре-

красно понимал смысл ответа, который он должен был дать в этой графе.

«Стул» мог быть жидким, твердым, полужидким и полутвердым, оформленным и неоформленным, кашицеобразным... — все эти немногие ответы Александр Иванович держал в уме.

Еще более важной была последняя графа, которая называлась «частота». Составители частотных словарей могли бы вспомнить приоритет Александра Ивановича и доктора Калембета.

Именно «частота» — частотный словарь задницы — вот чем была эта фанерная доска.

В этой графе Александр Иванович и ставил огрызком химического карандаша палочку, как в кибернетической машине, отмечал единицу калоизвержения.

Доктор Калембет очень гордился этой своей хитрой выдумкой, позволяющей математизировать биологию и физиологию — ворваться с математикой в процесс кишечника.

Даже на какой-то конференции доказывал, утверждал пользу своего метода, утверждал свой приоритет; возможно, что это было развлечение, глумление над собственной судьбой профессора Военно-медицинской академии — а возможно, что все это было совершенно серьезным северным сдвигом, травмой, касающейся психологии не только доходяг.

Александр Иванович привел меня к моему топчану, и я заснул. Спал в забытьи, впервые на колымской земле не в рабочем бараке, не в изоляторе, не в РУРе.

Почти мгновенно — а может быть, прошло много часов, лет, столетий — я проснулся от света «летучей мыши», фонаря, светящего мне прямо в лицо, хотя была белая ночь и все и так было хорошо видно.

Кто-то в белом халате, в полушубке, накинутом на плечи поверх халата — Колыма для всех одна, — светил мне в лицо. Ангелоподобный доктор Лебедев возвышался тут же, без полушубка на плечах.

Голос чей-то прозвучал надо мной вопросительным тоном:

— Счетовод?

— Счетовод, Петр Семенович, — утвердительно сказал ангелоподобный доктор Лебедев, тот, что записывал мои «данные» в историю болезни.

Счетоводами заведующий отделением называл всех интеллигентов, попавших в эту истребительную бурю Колымы тридцать седьмого года.

Калембет и сам был счетоводом.

Счетоводом был и фельдщер хирургического отделения Лесняк, студент первого курса медицинского факультета первого МГУ, мой московский земляк и товарищ по высшему учебному заведению, сыгравший самую большую роль в моей колымской судьбе. Он не работал в отделении Калембета. Он работал у Траута — в хирургическом отделении, в соседней хирургической палатке — операционным братом.

В мою судьбу он еще не вмешался, мы друг друга еще не знали.

Счетоводом был и Андрей Максимович Пантюхов, пославший меня на фельдшерские курсы для заключенных, что и решило мою судьбу в 1946 году. Окончание этих фельдшерских курсов, диплом на право лечить разом был ответом на все мои тогдашние проблемы. Но — до 1946 года было еще далеко, целых три года, по колымским понятиям — вечность.

Счетоводом был и Валентин Николаевич Траут — хирург из Саратова, которому, как немцу по происхождению, доставалось больше других, и даже окончание срока не решало его проблем. Только Двадцатый съезд успокоил Траута, внес в его талантливые руки хирурга уверенность и покой.

Как личность на Колыме Траут был совершенно раздавлен, пугался любого начальства, клеветал — на кого прикажет начальство, никого не защищал, кого преследовало начальство. Но душу хирурга и руки хирурга он сохранил.

Самое же главное — счетоводом была Нина Владимировна Савоева, осетинка-договорница, член партии и главврач «Беличьей», молодая женщина лет тридцати.

Вот она могла сделать много добра. И много зла. Важно было направить в нужную сторону ее героическую, невероятную энергию прославленного администратора чисто мужского типа.

Нина Владимировна была очень далека от высоких вопросов. Но то, что она понимала, она понимала глубоко и старалась делом доказать свою правоту или просто силу. Силу знакомства, протекции, влияния, лжи можно использовать и на доброе дело.

Будучи человеком крайне самолюбивым, не терпящим возражений, Нина Владимировна столкнула в колымском верхнем офицерстве тогдашнем всех этих на-

чальников подлые права, сама открыла борьбу против подлости такими же средствами.

Чрезвычайно способный администратор, Нина Владимировна нуждалась в одном: чтобы все ее хозяйство она могла окинуть глазами, непосредственно орать на всех работяг.

Возвышение ее на должность начальника санотдела района не принесло успеха. Командовать и руководить через бумажку она не умела.

Ряд конфликтов с высшим начальством — и Савоева уже в черных списках.

На Колыме все начальство самоснабжается. Нина Владимировна не составляла исключения. Но она хоть на других начальников не писала доносов — и пострадала.

Стали писать доносы на нее, вызывали, допрашивали, советовали — в узком партийном кругу управления.

А когда уехал ее земляк и покровитель полковник Гагкаев, хоть он и уехал на пост в Москву, Нину Владимировну стали теснить.

Ее сожительство с фельдшером Лесняком закончилось исключением Савоевой из партии. Вот в какой момент я познакомился со знаменитой «Черной мамой». Она и сейчас в Магадане. И Борис Лесняк в Магадане, и дети их в Магадане. После освобождения Бориса Лесняка Нина Владимировна сразу же вышла за него замуж, но это не изменило ее судьбы.

Нина Владимировна всегда принадлежала к какой-нибудь партии или сама эту партию возглавляла, тратила нечеловеческую энергию, чтобы добиться снятия с работы какого-нибудь мерзавца. Столь же нечеловеческая энергия тратилась и на то, чтобы одолеть какую-нибудь светлую личность.

Борис Лесняк в ее жизнь внес другие, нравственные цели, внес в ее жизнь культуру того уровня, на каком он был воспитан сам. Борис — потомственный «счетовод», мать отбыла тюрьму, ссылку. Мать его еврейка. Отец работник КВЖД, таможенник.

Борис нашел в себе силы внести свой вклад в вопросы личной порядочности, дал себе какие-то клятвы и выполнял эти клятвы.

Нина Владимировна шла за ним, жила его оценками — и с ненавистью относилась ко всем своим сослуживцам-договорникам.

Доброй воле Лесняка и Савоевой я и обязан в самое трудное для меня время.

Мне не забыть, как каждый вечер, буквально каждый вечер Лесняк приносил мне в барак хлеб или горсть махорки — драгоценные вещи в тогдашнем моем полубытии глубокого колымского доходяги.

Каждый вечер я ждал этого часа, этого кусочка хлеба, этой щепотки махорки и боялся, что Лесняк не придет, что все это моя выдумка, сон, колымский голодный мираж.

Но Лесняк приходил, возникал на пороге.

Я вовсе тогда не знал, что Нина Владимировна, главврач, имеет какую-то дружбу с моим благодетелем. Я принимал эти подачки как чудо. Все доброе, что Лесняк мог сделать для меня, он делал: работу, еду, отдых. Колыму он знал хорошо. Но сделать он мог только руками Нины Владимировны, главврача, а она была человек сильный, выросший во всевозможных склоках, интригах, подсиживаниях. Лесняк показал ей другой мир.

Дизентерии у меня не оказалось.

То, чем я болел, называлось пеллагра, алиментарная дистрофия, цинга, полиавитаминоз крайний, но не дизентерия.

После двухнедельного, что ли, лечения и двухдневного незаконного отдыха я был выписан из больницы и уже надевал свои тряпки с полным, впрочем, безразличием у выхода из брезентовой палатки, но еще внутри, в самый последний момент я был вызван в кабинет доктора Калембета — ту же загородку с Мефистофелем, где меня принимал Лебедев.

Сам ли он затеял этот разговор или Лесняк посоветовал, я не знаю. Калембет не дружил ни с Лесняком, ни с Савоевой.

Разглядел ли Калембет в моих голодных глазах какой-то особый блеск, внушивший ему надежды, не знаю. Но во время госпитализации мою койку несколько раз приближали к разным соседям, самым голодным, самым безнадежным из «счетоводов». Так мой топчан поставлен был в соседство Романа Кривицкого, ответственного секретаря «Известий», однофамильца, но не родственника известного заместителя министра вооруженных сил — расстрелянного Рухимовым.

Роман Кривицкий был обрадован соседством, рассказал кое-что о себе, но пухлость, отечность его белой кожи пугала Калембета. Роман Кривицкий умер рядом со мной. Весь его интерес был, конечно, в пище, как и у всех нас. Но, еще более давний доходяга, Роман менял

супы на кашу, кашу на хлеб, хлеб на табак — все это в зернах, в щепотках, в граммах. Тем не менее это были смертельные потери. Роман умер от дистрофии. Койка моего соседа освободилась. Она не была обычным топчаном из жердей. Койка Кривицкого была пружинная, с настоящей сеткой, с круглыми крашеными бортами, настоящая больничная койка среди двухсот топчанов. Это тоже был каприз тяжелого дистрофика, и Калембет выполнил его.

А сейчас Калембет сказал: «Вот что, Шаламов, дизентерии у тебя нет, но ты истощен. Ты можешь остаться на две недели санитарить, будешь мерить температуру, водить больных, мыть пол. Словом, все то, что делает Макеев, теперешний санитар. Он уже залежался, заелся и идет сегодня на выписку. Решай. Не бойся, что ты попадешь на живое место. Много тебе не обещаю, но две недели на "истории болезни" продержу».

Я согласился, и вместо меня был выписан Макеев, протеже вольнонаемного фельдшера, Михно по фамилии.

Тут была борьба, серьезная война за влияние, и фельдшер-договорник комсомолец Михно подбирал себе штат для борьбы с тем же Калембетом. Анкетная сущность Калембета была более чем уязвима — отряд стукачей, возглавляемый Михно, намеревался обуздать заведующего отделением. Но Калембет нанес свой удар и выписал на прииск доверенное лицо Михно, бытовика Макеева.

Все это я понял позже, а в тот момент взялся горячо санитарить. Но силы у меня не было не только макеевской, а никакой. Я был недостаточно поворотлив, недостаточно почтителен с высшими. Словом, меня вышибли на другой день после перевода куда-то Калембета. Но за это время — за этот месяц я успел познакомиться с Лесняком. И именно Лесняк дал мне целый ряд важных советов. Лесняк говорил: «Ты добивайся путевки. Если будет путевка, тебя не отправят назад, не откажут в госпитализации». Борис со своими добрыми советами не понимал, что я уже давний доходяга, что никакая работа, самая что ни на есть символическая — вроде переписки, самая здоровая — вроде собирания ягод и грибов, или заготовка дров, ловля рыбы — без всякой нормы, на чистом воздухе, помочь мне уже не может.

Тем не менее Борис все это делал вместе с Ниной Владимировной, удивляясь, как мало восстанавливаются мои силы. У меня не было туберкулеза или нефрита для

надежности, а тыкаться в больничную дверь с истощением, с алиментарной дистрофией было рискованно — можно было промахнуться и шагнуть не в больницу, а в морг. С великим трудом удалось попасть мне в больницу вторично, но все же удалось. Фельдшер витаминного пункта — я забыл его фамилию — бил меня и давал бить конвою ежедневно на разводах, как лодыря, филона, спекулянта, отказчика, отказывал наотрез в госпитализации. Мне удалось обмануть фельдшера, ночью мою фамилию приписали к чужому направлению — фельдшера ненавидел весь ОЛП, и мне были рады оказать поддержку по-колымски, и я уполз в «Беличью». Шесть километров полз я буквально, но дополз до приемного покоя. Дизентерийные палатки стояли пустые, и меня положили в главный корпус, где врачом был Пантюхов. Все мы, четверо новых больных, своротили на себя все матрацы и одеяла — лежали вместе, вместе и простучали зубами до утра, — печки топили не во всех палатах. На следующий день меня перевели в палату с печкой, и там я стоял около печки, пока меня не вызывали на уколы или осмотры, трудно понимая, что со мной делается, и ощущая только голод, голод, голод.

Моя болезнь называлась пеллагра.

И вот в эту свою вторую госпитализацию я и познакомился с Лесняком и главврачом Ниной Владимировной Савоевой, Траутом, Пантюховым — всеми врачами «Беличьей».

Состояние у меня было такое, что никакого добра было мне сделать уже нельзя. Мне было безразлично — делают ли мне добро или зло. Вкладывать в мое пеллагрозное тело колымского доходяги даже каплю добра было напрасным поступком. Тепло было для меня важнее добра. Но попытались лечить меня горячими уколами — блатари покупали укол «РР» за пайку хлеба, и пеллагрозники продавали горячий укол за хлеб, обеденную пайку в триста граммов, и в кабинет на вливание входил какой-нибудь уркач вместо доходяги. И получал укол. Я свое «РР» никому не продавал и все получил в свою собственную вену, а не «пер-ос» — в виде хлеба.

Кто тут прав, кто виноват — судить не мне. Я никого не осуждаю — ни продающих горячие уколы доходяг, ни покупающих блатарей.

Ничего не менялось. Желание жить не возникало. Все, что я ел, как бы в мыслях, и без аппетита проглатывал любую пищу.

В эту вторую госпитализацию я почувствовал, как кожа моя неудержимо шелушится, кожа всего тела чесалась, зудела и отлетала шелухой, пластами даже. Я был пеллагрозником классического диагностического образца, рыцарь трех «Д» — деменции, дизентерии и дистрофии.

Не много я запомнил из этой второй госпитализации в «Беличью». Какие-то знакомства новые, какие-то лица, какие-то ложки облизанные, ледяную речку, поход за грибами, где я из-за разлива реки пробродил всю ночь по горам, отступая перед рекой. Видел, как грибы, гигантские опята и подосиновики, растут именно на глазах, превращаясь в пудовый гриб, не влезающий в ведро. Это не было дементивным сигналом, а вполне реальным зрелищем, к каким чудесам может привести гидропоника: грибы превращаются в Гулливеров буквально на глазах. Ягоды, которые я собирал поколымски, боем — машу ведром по кустам голубики... Но все это было после шелушения.

А тогда кожа сыпалась с меня как шелуха. В дополнение к моим язвам цинготным гноились пальцы после остеомиелита при отморожениях. Шатающиеся цинготные зубы, пиодермические язвы, следы от которых есть и сейчас на моих ногах. Помню страстное постоянное желание есть, не утолимое ничем, — и венчающее все это: кожа, отпадающая пластами.

Дизентерии у меня и не было, а была пеллагра — тот комочек слизи, который привел меня на глухие земные пути, был комочком, извергнутым из кишечника пеллагрозника. Мой кал был пеллагрозным калом.

Это было еще грознее, но мне в то время было все равно. Я был не единственным пеллагрозником на «Беличьей», но наиболее тяжелым, наиболее выраженным.

Я уже сочинял стихи: «Мечта полиавитаминозника» — пеллагрозником назвать себя не решался даже в стихах. Впрочем, я толком и не знал, что такое пеллагра. Я только чувствовал, что пальцы мои пишут — рифмованное и нерифмованное, что пальцы мои не сказали еще своего последнего слова.

В этот момент я почувствовал, что у меня отделяется, спадает перчатка с руки. Было занятно, а не страшно видеть, как с тела отпадает пластами собственная кожа, листочки падают с плеч, живота, рук.

Пеллагрозник я был столь выраженный, столь классический, что с меня можно было снять целиком перчатки с обеих рук и ноговицы с обеих стоп.

Меня стали показывать проезжающему медицинскому начальству, но и эти перчатки никого не удивили.

Настал день, когда кожа моя обновилась вся — а душа не обновилась.

Было выяснено, что с моих рук нужно снять пеллагрозные перчатки, а с ног — пеллагрозные ноговицы.

Эти перчатки и ноговицы и сняты с меня Лесняком и Савоевой, Пантюховым и Траутом и приложены к «истории болезни». Направлены в Магадан вместе с историей болезни моей, как живой экспонат для музея истории края, по крайней мере истории здравоохранения края.

Лесняк отправил не все мои останки вместе с историей болезни. Послали только ноговицы и одну перчатку, а вторую хранил я у себя вместе с моей тогдашней прозой, довольно робкой, и нерешительными стихами.

Мертвой перчаткой нельзя было написать хорошие стихи или прозу. Сама перчатка была прозой, обвинением, документом, протоколом.

Но перчатка погибла на Колыме — потому-то и пишется этот рассказ. Автор ручается, что дактилоскопический узор на обеих перчатках один.

. . . .

О Борисе Лесняке, Нине Владимировне Савоевой мне следовало написать давно. Именно Лесняку и Савоевой, а также Пантюхову обязан я реальной помощью в наитруднейшие мои колымские дни и ночи. Обязан жизнью. Если жизнь считать за благо — в чем я сомневаюсь, — я обязан реальной помощью, не сочувствием, не соболезнованием, а реальной помощью трем реальным людям 1943 года. Следует знать, что они вошли в мою жизнь после восьми лет скитаний от золотого забоя прииска к следственному комбинату и расстрельной тюрьме колымской, в жизнь доходяги золотого забоя тридцать седьмого и тридцать восьмого годов, доходяги, у которого изменилось мнение о жизни как о благе. К этому времени я завидовал только тем людям, которые нашли мужество покончить с собой во время сбора нашего этапа на Колыму в июле тридцать седьмого года в этапном корпусе Бутырской тюрьмы. Вот тем людям я действительно завидую — они не увидели того, что увидел я за семнадцать последующих лет.

У меня изменилось представление о жизни как о благе, о счастье. Колыма научила меня совсем другому.

Принцип моего века, моего личного существования, всей жизни моей, вывод из моего личного опыта, правило, усвоенное этим опытом, может быть выражено в немногих словах. Сначала нужно возвратить пощечины и только во вторую очередь — подаяния. Помнить зло раньше добра. Помнить все хорошее — сто лет, а все плохое — двести. Этим я и отличаюсь от всех русских гуманистов девятнадцатого и двадцатого веков.

<1972>

ГАЛИНА ПАВЛОВНА ЗЫБАЛОВА

В первый год войны чадящий фитиль фонаря бдительности был несколько прикручен. С барака пятьдесят восьмой статьи была снята колючая проволока, и враги народа были допущены к исполнению важных функций вроде должности истопника, дневального, сторожа, которую по лагерной конституции мог занимать только бытовик, в худшем случае — рецидивист-уголовник.

Доктор Лунин, наш начальник санчасти из заключенных, реалист и прагматик, справедливо рассудил, что надо ловить момент, ковать железо, пока оно горячо. Дневальный химлаборатории Аркагалинского угольного района попался в краже казенного глицерина (медок! пятьдесят рублей банка!), а сменивший дневального новый сторож украл в первую же ночь вдвое больше — ситуация приобрела остроту. За все свои лагерные скитания я наблюдал, что каждый арестант, приходя на новую работу, прежде всего оглядывается: что бы тут украсть? Это касается всех — от дневальных до начальников управлений. Есть какое-то мистическое начало в этой тяге русского человека к краже. Во всяком случае, в лагерных условиях, в северных условиях, в колымских условиях.

Все эти моменты, развязки регулярно возникающих ситуаций и ловят враги народа. После краха карьеры второго дневального-бытовика подряд Лунин рекомендовал меня в дневальные химлаборатории — не украдет, дескать, химических сокровищ, а топить печку-бочку, да еще каменным углем, каждый заключенный по пятьдесят восьмой статье в те колымские годы мог, и умел топить квалифицированнее всякого истопника. Мытье полов по-матросски, с навязанной тряпкой на палке, было хорошо мне знакомо по 1939 году, по Магаданской пере-

сылке. В конце концов я, знаменитый магаданский поломой, занимаясь этим делом всю весну 1939 года, научился на всю жизнь.

Я работал тогда на шахте, выполнял «процент» — уголь не касался золотого прииска, но, конечно, о сказочной работе дневального в химлаборатории мне и не мечталось.

Я получил возможность отдохнуть, отмыть лицо и руки — пропитанная угольной пылью харкотина должна была стать светлой лишь после многих месяцев моего дневальства, а то и лет. О цвете харкотины думать не приходилось.

Лабораторией, занимавшей на поселке целый барак и имевшей большой штат — два инженера-химика, два техника, три лаборанта, — управляла молодая столичная комсомолка Галина Павловна Зыбалова, договорница, как и ее муж, Петр Яковлевич Подосенов, автоинженер, заведовавший автобазой Аркагалинского угольного района.

Жизнь вольных заключенные смотрят как кинофильм — то драму, то комическую, то видовую картину по классическому дореволюционному делению жанров для кинопроката. Редко герои кинофильмы (фильмы, а не фильма, как теперь) сходят с экрана в зрительный зал электротеатра (так назывался раньше кинотеатр). Жизнь вольных заключенные смотрят как кинофильм. Тут удовольствие особого рода. Ничего решать не надо. Вмешиваться в эту жизнь не должно. Никаких реальных проблем это сосуществование разных миров перед заключенными не ставит. Просто другой мир.

Тут я топил печи. С каменным углем надо уметь обращаться, но это наука несложная. Мыл полы. А главное, лечил свои пальцы на ногах — остеомиелит после тридцать восьмого года закрылся только на материке, чуть не к XX съезду партии. А может быть, и тогда еще не закрылся.

Перематывая чистые тряпочки, меняя повязку на сочащихся гноем пальцах обеих ног, я застывал в блаженстве перед растопленной печкой, ощущая тончайшую боль, ломоту этих пальцев, раненных прииском, изувеченных золотом. Полное блаженство и требует капельку боли — об этом говорит и история общества и литературы.

Теперь у меня ныла, болела голова — о ноющих пальцах я забыл, — ощущение было вытеснено другим, более ярким, более жизненно важным.

Я еще ничего не вспомнил, ничего не решил, ничего не нашел, но весь мой мозг, его иссохшие клетки напряглись в тревоге. Ненужная колымчанину память — в самом деле, зачем лагернику такая ненадежная, и такая хрупкая, и такая цепкая, и такая всесильная память? — должна была подсказать мне решение. Ах, какая у меня была память когда-то — четыре года тому назад! Память у меня была как выстрел, если я не вспоминал чего-либо сразу — я заболевал, ничем не мог заниматься, пока не вспоминал того, чего хотел. Таких случаев выдачи с задержкой в моей жизни было очень мало, считанное количество раз. Само воспоминание о такой задержке как-то подстегивало, убыстряло и без того быстрый бег памяти.

Но мой нынешний аркагалинский мозг, измученный Колымой тридцать восьмого года, измученный четырехлетними скитаниями от больницы до забоя, хранил какую-то тайну и никак не хотел подчиняться приказу, просьбе, мольбе, молитве, жалобе.

Я молил свой мозг, как молят высшее существо, ответить, открыть мне какую-то переборку, осветить какую-то темную щель, где прячется нужное мне.

И мозг сжалился, выполнил просьбу, снизошел к моей мольбе.

Что это была за просьба?

Я повторял без конца фамилию своей заведующей лабораторией — Галина Павловна Зыбалова! Зыбалова, Павловна! Зыбалова!

Где-то я слышал эту фамилию. Знал человека с этой фамилией. Зыбалов — не Иванов, не Петров, не Смирнов. Это столичная фамилия. И вдруг я, вспотев от напряжения, припомнил. Не Москву, не Ленинград, не Киев, где человек со столичной фамилией был близко около меня.

В 1929 году, по первому моему сроку работая на Северном Урале, в Березниках, я встречал на Березниковском содовом заводе экономиста, начальника планового отдела, ссыльного Зыбалова, Павла Павловича, кажется. Зыбалов был членом ЦК меньшевиков, и его показывали другим ссыльным издалека, с порога комнаты в конторе содового завода, где работал Зыбалов. Вскоре Березники были затоплены потоком заключенных разного рода — и ссыльных, и лагерников, и колхозников-переселенцев — по начавшимся громким процессам, и фамилия Зыбалова среди новых героев несколько ото-

шла в тень. Зыбалов перестал быть достопримечательностью Березников.

Сам содовый завод, бывший Сальвэ, стал частью Березниковского химического комбината, влился в одну из строек-гигантов первой пятилетки — Березникхимстроя, вобравшего сотни тысяч рабочих, инженеров и техников — отечественных и иностранных. На Березниках был поселок иностранцев, простых ссыльных, спецпереселенцев и лагерников. Только лагерников в одну смену выходило до десяти тысяч человек. Стройка текучести невероятной, где за месяц принималось три тысячи вольных по договорам и вербовке и бежало без расчета четыре тысячи. Стройка эта еще ждет своего описания. Надежды на Паустовского не оправдались. Паустовский там писал и написал «Кара-Бугаз», прячась от бурливой, кипящей толпы в березниковской гостинице и не высовывая носа на улицу.

Экономист Зыбалов со службы на содовом заводе перешел в Березникхимстрой — там было и денег побольше, да и размах побольше, да и карточная система давала себя знать.

На Березниковском химкомбинате вел кружок экономических знаний для добровольцев. Бесплатный кружок для всех желающих. Кружок был общественной работой Павла Павловича Зыбалова, и занимался он в главной конторе Химстроя. Вот в этом-то кружке я был на нескольких занятиях у Зыбалова.

Зыбалов, столичный профессор, ссыльный, охотно и легко вел занятия. Он скучал по лекционной, по преподавательской работе. Не знаю, прочел ли он за свою жизнь одиннадцать тысяч лекций, как прочел другой мой лагерный знакомый, но что количество измерялось тысячами — это было наверняка.

У ссыльного Зыбалова на Березниках умерла жена, осталась дочь, девочка лет десяти, приходившая к отцу иногда во время наших занятий.

В Березниках меня хорошо знали. Я отказался ехать с Берзиным на Колыму, на открытие Дальстроя, и попытался устроиться в Березниках.

Но кем? Юристом? У меня было незаконченное юридическое образование. Не кто иной, как Зыбалов, посоветовал мне принять должность заведующего бюро экономики труда (БЭТ) Березниковской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в знаменитых тогда лингвистических находках, которые тут же у нас, на стройке первой пятилетки, и рож-

дались. Директором ТЭЦ был вредитель — инженер Капеллер, лицо, прошедшее по процессам не то шахтинских, не то иных списков. ТЭЦ — это была уже эксплуатация, а не строительство, пусковой период затягивался безбожно, но это безбожие было возведено в закон. Капеллер никак не мог поставить себя — осужденного десятилетника или даже пятнадцатилетника — в тон всей этой шумной стройке, где ежедневно менялись рабочие, техники, наконец, где арестовывали и расстреливали начальников и выгружали эшелоны со ссыльными после коллективизации. Капеллер у себя в Кизеле был осужден за гораздо меньшие проступки, [чем] производственные безобразия, которые росли здесь мощной лавиной. Рядом с его кабинетом еще стучали молотки, и к котлу, который монтировала фирма «Ганомага», вызывали московскими телеграммами из-за границы лекарей.

Капеллер принял меня на работу, принял весьма равнодушно — его занимали технические вопросы, технические трагедии, которых было не меньше экономических и бытовых.

В помощь Капеллеру от партийной организации был рекомендован в качестве помощника директора по производственным совещаниям Тимофей Иванович Рачев, малограмотный, но энергичный человек, поставивший главным условием «не давать глотничать». Бюро экономики труда было в подчинении Рачева, и я долго хранил у себя бумагу с его резолюцией. Кочегары подали огромное мотивированное заявление о недоплатах, о перерасчете — долго они ходили к Рачеву по этому вопросу. Не перечитывая их заявление, Рачев написал: «Зав. БЭТ тов. Шаламову. Прошу разобраться и по возможности отказать».

На эту работу я, юрист с незаконченным образованием, попал именно по совету Зыбалова.

— Смелей действуйте. Беритесь и начинайте. Если даже выгонят через две недели — раньше по колдоговору не уволят, — вы за эти две недели наберетесь кое-какого опыта. Потом поступайте опять. Пять таких увольнений — и вы готовый экономист. Не бойтесь. Если встретится что-нибудь сложное — приходите. Я вам помогу. Я-то ведь никуда не денусь. Не подлежу законам текучести.

Я принял эту хорошо оплачиваемую должность.

В это же время Зыбалов организовывал вечерний экономический техникум. Павел Павлович (кажется, Павлович) был главным преподавателем этого технику-

ма. Мне там тоже готовили место преподавателя «гигиены и физиологии труда».

Уже я подал заявление в этот новый техникум, уже подумывал о плане первого урока, но вдруг получил письмо из Москвы. Мои родители были живы, мои товарищи по университету тоже были живы, и оставаться в Березниках было смерти подобно. И я уехал без расчета с ТЭЦ, а Зыбалов остался в Березниках.

Все это я и вспомнил на Аркагале, в химлаборатории Аркагалинского угольного района, в преддверии тайны гуминовых кислот.

Роль случая очень велика в жизни, и хотя общий мировой порядок наказывает за использование случая в личных целях, но бывает так, что и не наказывает. Этот зыбаловский вопрос надо было довести до конца. А может быть, и нет. Я уже не нуждался в то время в куске хлеба. Шахта — не прииск, уголь — не золото. Может быть, этот карточный домик не стоило строить — ветер уронит постройку, разметет ее на четыре стороны света.

Арест по «делу юристов» три года назад учил ведь меня важному лагерному закону: никогда не обращаться с просьбами к людям, которых ты лично знал по воле, — мир мал, такие встречи бывают. Почти всегда на Колыме такая просьба неприятна, иногда невозможна, иногда приводит к смерти просившего.

Такая опасность на Колыме — да и во всем лагере — существует. У меня была встреча с Чекановым, моим сокамерником по Бутырской тюрьме. Чеканов не только узнал меня в толпе работяг, когда принял в качестве десятника наш участок, но ежедневно вытаскивал меня за руку из строя, бил и назначал на самые тяжелые работы, где, конечно, и процента не могло быть у меня. Чеканов каждый день докладывал начальнику участка о моем поведении, заверяя, что уничтожит эту заразу, что не отрицает личного знакомства, но докажет свою преданность, оправдает доверие. Чеканов был осужден по той же статье, что и я. В конце концов Чеканов выпихнул меня на штрафной пункт, и я остался жив.

Я знал также полковника Ушакова, начальника Розыскного, а позднее Речного отдела Колымы, — знал, когда Ушаков был простым агентом МУРа, осужденным за какое-то служебное преступление.

Я никогда не пытался напомнить полковнику Ушакову о себе. Я был бы убит в самом непродолжительном времени.

Наконец, я знал все высокое начальство Колымы начиная с самого Берзина: Васькова, Майсурадзе, Филиппова, Егорова, Цвирко.

Знакомый с лагерной традицией, я никогда не выходил из рядов арестантов, чтобы подать какую-нибудь просьбу лично мне знакомому начальнику, обратить на себя внимание.

По «делу юристов» я случайно только избавился от пули в конце 1938 года на прииске «Партизан» во время колымских расстрелов. В «деле юристов» вся провокация велась против председателя Далькрайсуда Виноградова. Его обвиняли в том, что он дал хлеба и устроил на работу своего сослуживца по факультету советского права Дмитрия Сергеевича Парфентьева, бывшего челябинского прокурора и прокурора Карелии.

Посетив прииск «Партизан», председатель Далькрайсуда Виноградов не счел нужным скрывать свое знакомство с забойщиком — профессором Парфентьевым — и попросил начальника прииска Л. М. Анисимова устроить Парфентьева на работу полегче.

Приказ был немедленно выполнен, и Парфентьев назначен молотобойцем — более легкой работы на прииске не нашлось, но все же не ветер на шестидесятиградусном морозе в открытом забое, не лом, не лопата, не кайло. Правда, кузница с хлопающей полуоткрытой дверью, с открытыми окнами, но все же там огонь горна, там можно укрыться если не от холода, то от ветра. А у троцкиста Парфентьева, у врага народа Парфентьева было оперировано одно легкое по поводу туберкулеза.

Пожелание Виноградова начальник прииска «Партизан» Леонид Михайлович Анисимов выполнил, но тут же донес рапортом по всем нужным и возможным инстанциям. Начало «делу юристов» было положено. Капитан Столбов, начальник СПО Магадана, арестовал всех юристов на Колыме, проверяя их связи, накладывая, захлестывая и натягивая аркан провокации.

На прииске «Партизан» были арестованы я и Парфентьев, увезены в Магадан и посажены в Магаданскую тюрьму.

Но через сутки сам капитан Столбов был арестован и освобождены все арестованные по ордерам, подписанным капитаном Столбовым.

Я рассказал подробно об этом в мемуаре «Заговор юристов», где документальна каждая буква.

Выпущен я был не на свободу, понимая под колымской свободой содержание в лагере же, но в общем бараке, на общих правах. На Колыме нет свободы.

Я был выпущен вместе с Парфентьевым на пересылку, на тридцатитысячную транзитку — выпущен с особым лиловым клеймом на личном деле: «Прибыл из Магаданской тюрьмы». Это клеймо обрекало меня бесконечное количество лет находиться под фонарем бдительности, на внимании начальства до тех пор, пока лиловое клеймо на старом личном деле не заменится чистой обложкой нового личного дела, нового срока наказания. Хорошо еще, что этот новый срок не был выдан «весом» — пулей в семь граммов. Впрочем, хорошо ли, — срок, выданный «весом», избавил бы меня от дальнейших мучений, многолетних, не нужных никому, ни даже мне для пополнения моего душевного или нравственного опыта и физической крепости.

Во всяком случае, вспомнив все свои скитания после ареста по «делу юристов» на прииске «Партизан», я взял себе за правило: никогда по своей инициативе к знакомым не обращаться и тени с материка на Колыму не вызывать.

Но в случае с Зыбаловой мне почему-то казалось, что я не принесу вреда хозяйке этой фамилии. Человек она была хороший, и если различала вольного от заключенного, то не с позиции активного врага заключенных — так учат всех договорников во всех политотделах Дальстроя еще при заключении договоров. Заключенный всегда чувствует в вольном оттенок: есть ли в договорах что-либо, кроме казенных инструкций, или нет. Оттенков тут много — так много, как самих людей. Но есть рубеж, переход, граница добра и зла, моральная граница, которая чувствуется сразу.

Галина Павловна, как и ее муж Петр Яковлевич, не занимала крайней позиции активного врага всякого заключенного только потому, что он — заключенный, хотя Галина Павловна была секретарем комсомольской организации Аркагалинского угольного района. Петр Яковлевич был беспартийным.

Вечерами Галина Павловна часто засиживалась в лаборатории — семейный барак, где они жили, вряд ли был уютней кабинетиков химической лаборатории.

Я спросил Галину Павловну, не жила ли она в Березниках на Урале в конце двадцатых годов, в начале тридцатых.

— Жила!
— А ваш отец — Павел Павлович Зыбалов?
— Павел Осипович.
— Совершенно верно. Павел Осипович. А вы были девочкой лет десяти.
— Четырнадцати.
— Ходили в таком бордовом пальто.
— В шубе вишневой.
— Ну, в шубе. Вы завтрак носили Павлу Осиповичу.
— Носила. Там мама моя умерла, на Чуртане. Петр Яковлевич сидел здесь же.
— Смотри-ка, Петя, Варлам Тихонович знает папу.
— Я у него в кружке занимался.
— А Петя родом из Березников. Он — местный. У его родителей дом в Веретье.
Подосенов назвал мне несколько фамилий, известных в Березниках, и в Усолье, и в Соликамске, и в Веретье, на Чуртане и в Дедюхине, вроде Собяниковых, Кичиных, но я по обстоятельствам моей биографии не получил возможности помнить и знать местных уроженцев.
Для меня все эти названия звучали как «Чиктосы и Команчи», как стихи на чужом языке, но Петр Яковлевич читал их как молитвы, все более воодушевляясь.
— Теперь все это засыпано песком, — сказал Подосенов. — Химкомбинат.
— А папа сейчас в Донбассе, — сказала Галина Павловна, и я понял, что ее отец в очередной ссылке.
Этим все и кончилось. Я испытывал истинное удовольствие, праздник оттого, что бедный мой мозг так хорошо сработал. Чисто академическое удовольствие.
Прошло месяца два, не больше, и Галина Павловна, придя на работу, вызвала меня в свой кабинет.
— Я получила письмо от папы. Вот.
Я прочел разборчивые строки крупного, вовсе не знакомого мне почерка:
«Шаламова я не знаю и не помню. Я ведь вел такие кружки в течение двадцати лет в ссылке, где бы я ни находился. Веду их и сейчас. Не в этом дело. Что за письмо ты мне написала? Что это за проверка? И кого? Шаламова? Себя? Меня? Что касается меня, — писал крупным почерком Павел Осипович Зыбалов, — то мой ответ таков. Поступи с Шаламовым так, как ты поступила бы со мной, если бы встретила на Колыме. Но чтобы знать мой ответ, тебе не надо было писать письма».

— Вот видите, что получилось... — огорченно сказала Галина Павловна. — Вы папу не знаете. Он мне не забудет этой оплошности никогда.

— Я ничего особенного вам не говорил.

— Да и я ничего особенного папе не писала. Но видите, как папа смотрит на эти вещи. Теперь уж вам нельзя работать дневальным, — грустно размышляла Галина Павловна. — Опять нового дневального искать. А вас я оформлю техником — у нас есть свободная должность по штатам для вольнонаемных. Как начальник угольного района Свищев уедет, его будет замещать главный инженер Юрий Иванович Кочура. Через него я и оформлю вас.

Из лаборатории никого не увольняли, идти мне на «живое место» не пришлось, и под руководством и с помощью инженеров Соколова и Олега Борисовича Максимова, ныне здравствующего члена Дальневосточной академии наук, я начал карьеру лаборанта и техника.

Для мужа Галины Павловны, Петра Яковлевича Подосенова, я написал по его просьбе большую литературоведческую работу — составил на память словарь блатных слов, их возникновение, изменения, толкования. В словаре было около шестисот слов — не вроде той специальной литературы, которую издает уголовный розыск для своих сотрудников, а в ином, более широком плане и более остром виде. Словарь, подаренный Подосенову, — единственная моя прозаическая работа, написанная на Колыме.

Мое безоблачное счастье не омрачалось тем, что Галина Павловна уходила от мужа, кинороман оставался кинороманом. Я был только зрителем, зрителю даже крупный план чужой жизни, чужой драмы, чужой трагедии не давал иллюзии жизни.

И не Колыма, страна с чрезвычайным обострением всех сторон семейной и женской проблемы, обострением до уродливости, до смещения всех и всяческих масштабов, была причиной распада этой семьи.

Галина Павловна была умница, красавица слегка монгольского типа, инженер-химик, представительница самой модной тогда, самой новой профессии, единственная дочь русского политического ссыльного.

Петр Яковлевич был застенчивый пермяк, всячески уступавший жене — и в развитии, и в интересах, и в требованиях. Что супруги были не пара, бросалось в глаза, и хотя для семейного счастья нет законов, в этом

случае, кажется, семье было суждено распасться, как всякой семье, впрочем.

Процесс распада ускорила, катализировала Колыма.

У Галины Павловны был роман с главным инженером угольного района Юрием Ивановичем Кочурой, вернее не роман, а вторая любовь. А у Кочуры — дети, семья. Я тоже был показан Кочуре перед своим посвящением в техники.

— Вот этот человек, Юрий Иванович.

— Хорошо, — сказал Юрий Иванович, не глядя ни на меня, ни на Галину Павловну, а глядя прямо в пол перед собой. — Подайте рапорт о зачислении.

Однако все в этой драме было еще впереди. Жена Кочуры подала заявление в политуправление Дальстроя, начались выезды комиссии, опросы свидетелей, сбор подписей. Государственная власть со всем своим аппаратом встала на защиту первой семьи, на которую подписывала договор с Дальстроем в Москве.

Высшие магаданские инстанции по совету Москвы, что разлука обязательно убьет любовь и возвратит Юрия Ивановича супруге, сняли Галину Павловну с работы и перевели на другое место.

Разумеется, из таких переводов никогда ничего не выходило и выйти не могло. Тем не менее разлука с любимой — единственный апробированный государством путь к исправлению положения. Иных способов, кроме указанного в «Ромео и Джульетте», не существует. Это традиция первобытного общества, и ничего нового цивилизация в эту проблему не внесла.

После отцовского ответа отношения мои с Галиной Павловной стали более доверительными.

— Вот, Варлам Тихонович, этот Постников, что с руками.

Еще бы я не хотел посмотреть Постникова с руками!

Несколько месяцев назад, когда я еще ишачил на Кадыкчане, а перевод на Аркагалу — пусть в шахту, не в лабораторию — казался чудом несбыточным, именно на наш барак, то есть палатку брезентовую, утепленную к шестидесяти градусам мороза слоем толя или рубероида, не помню, и двадцатью сантиметрами воздуха — воздушная прокладка по инструкции магаданско-московской, — вышел ночью беглец.

По Аркагале, по аркагалинской тайге, ее речкам, сопкам и распадкам проходит кратчайший путь от материка по суше — через Якутию, Алдан, Колыму, Индигирку.

Перелетный путь беглецов, его таинственная карта таится в груди беглецов — люди идут, внутренним чутьем угадывая направление. И это направление верно, как перелет гусей или журавлей. Чукотка ведь не остров, а полуостров, материком Большая земля зовется по тысяче аналогий: дальний путь морем, отправление в портах, мимо острова Сахалин — места царской каторги.

Все это знает и начальство. Поэтому летом именно вокруг Аркагалы — посты, летучие отряды, оперативка и в штатском и в военном.

Несколько месяцев назад младший лейтенант Постников задержал беглеца, вести на Кадыкчан за десять-пятнадцать километров ему не хотелось, и младший лейтенант застрелил беглеца на месте.

Что нужно предъявить в учетном отделе при розыске чуть не по всему миру? Как опознать человека? Такой паспорт существует, и очень точный, — это дактилоскопический оттиск десяти пальцев. Такой оттиск хранится в личном деле каждого заключенного — в Москве, в Центральной картотеке, и в Магадане, в местном управлении.

Не утруждая себя доставкой задержанного заключенного на Аркагалу, молодой лейтенант Постников отрубил топором обе кисти беглеца, сложил их в сумку и повез рапорт о поимке арестанта.

А беглец встал и ночью пришел в наш барак, бледный, потерявший много крови, говорить он не мог, а только протягивал руки. Наш бригадир сбегал за конвоем, и беглеца увели в тайгу.

Доставили беглеца живым на Аркагалу или просто отвели в кусты и окончательно убили — это было бы самым простым выходом и для беглеца, и для конвоя, и для младшего лейтенанта Постникова.

Никакого взыскания Постников не получил. Да никто и не ждал такого взыскания. Но разговоров о Постникове даже в том голодном подневольном мире, в котором я жил тогда, было много, случай был свежий.

Потому я, захватив кусок угля, чтобы заправить, подшуровать печку, вошел в кабинет заведующей.

Постников был светлый блондин, но не из породы альбиносов, а скорее северного, голубоглазого, поморского склада, — чуть выше среднего роста. Самый, самый обыкновенный человек.

Помню, вглядывался я жадно, ловя хоть ничтожную отметку лафатеровского, ломброзовского типа на испуганном лице младшего лейтенанта Постникова...[1]

Мы сидели вечером у печки, и Галина Павловна сказала:

— Я хочу посоветоваться с вами.

— О чем же?

— О своей жизни.

— Я, Галина Павловна, с тех пор как стал взрослым, живу по важной заповеди: «Не учи ближнего своего». На манер евангельской. Всякая судьба — неповторима. Всякий рецепт — фальшив.

— А я думала, что писатели...

— Несчастье русской литературы, Галина Павловна, в том, что она лезет в чужие дела, направляет чужие судьбы, высказывается по вопросам, в которых она ничего не понимает, не имея никакого права соваться в моральные проблемы, осуждать, не зная и не желая знать ничего.

— Хорошо. Тогда я вам расскажу сказку, и вы оцените ее как литературное произведение. Всю ответственность за условность или за реализм — что мне кажется одним и тем же — я принимаю на себя.

— Отлично. Попробуем со сказкой.

Галина Павловна быстро начертила одну из самых банальных схем треугольника, и я посоветовал ей не уходить от мужа.

По тысяче причин. Во-первых, привычка, знание человека, как ни малое, а единственное, тогда как там — сюрприз, коробка с неожиданностями. Конечно, и оттуда можно уйти.

Вторая причина — Петр Яковлевич Подосенов был хороший человек явно. Я бывал на его родине, написал

---

[1] В первоначальном варианте

«Волновался он ужасно Ведь он пропустил целых два занятия по политучебе, и Зыбалова, секретарь комсомольской организации, достойным образом распекала младшего лейтенанта С трудом умолив свою комсомольскую начальницу о том, чтобы ему, Постникову, ничего не заносили в личное дело, младший лейтенант удалился, краснея, извиняясь и едва попадая в рукава новенькой своей шинели. Для ответственного визита младший лейтенант был в новой военной форме, и новенькая, новенькая золотая медаль «За отличную службу» дрожала на его гимнастерке. Я не мог выяснить, получил ли Постников эту медаль за руки аркагалинского беглеца или медаль заслужена была младшим лейтенантом ранее за подвиги подобного рода» (*Примеч. сост.*)

для него с истинной симпатией работу о блатарях, Кочуру же я совершенно не знал.

Наконец, в-третьих, и в самых главных, я не люблю никаких перемен. Я возвращаюсь спать домой, в тот дом, в котором я живу, ничего нового я даже в меблировке не люблю, с трудом привыкаю к новой мебели.

Бурные перемены в моей жизни всегда возникали помимо моей воли, по чьей-то явно злой воле, ибо я никогда не искал перемен, не искал лучшего от хорошего.

Была и причина, облегчающая советчику его смертный грех. По делам собственного сердца советы принимаются только такие, которые не противоречат внутренней воле человека, — все остальное отвергается или сводится на нет подменой понятий.

Как всякий оракул, я рисковал немногим. Даже своим добрым именем не рисковал.

Я предупредил Галину Павловну, что совет мой — чисто литературный и никаких нравственных обязательств не скрывает.

Но прежде чем Галина Павловна приняла решение, в дело вмешались высшие силы в полном соответствии с традициями природы, поспешившими на помощь Аркагале.

Петр Яковлевич Подосенов, муж Галины Павловны, был убит. Композиция эсхиловская. С хорошо изученной сюжетной ситуацией. Подосенов был сбит проходившей машиной в зимней темноте и умер в больнице. Таких автомобильных катастроф на Колыме много, и о возможности самоубийства вовсе не говорили. Да он и не покончил бы с собой. Он был фаталист немного: не судьба, значит, не судьба. Оказалось, очень даже судьба, чересчур судьба. Подосенова-то как раз убивать было не надо. Разве за добрый характер убивают? Конечно, на Колыме добро — грех, но и зло — грех. Смерть эта ничего не разрешила, никаких узлов не развязала, не разрубила — все осталось по-прежнему. Было только видно, что высшие силы заинтересовались этой маленькой, ничтожной колымской трагедией, заинтересовались одной женской судьбой.

На место Галины Павловны прибыл новый химик, новый заведующий. Первым же распоряжением он снял меня с работы, этого я ждал. В отношении заключенных — да и вольных, кажется, тоже — колымское

начальство не нуждается в формулировках причин, да и я не ждал никаких объяснений. Это было бы слишком литературно, слишком во вкусе русских классиков. Просто лагерный нарядчик на утреннем разводе по работам выкрикнул мою фамилию по списку арестантов, посылаемых в шахту, я встал в ряды, поправил рукавицы, конвой нас сосчитал, дал команду, и я пошел хорошо знакомой дорогой.

Больше никогда в жизни Галину Павловну я не видел.

1970—1971

ЛЁША ЧЕКАНОВ, ИЛИ ОДНОДЕЛЬЦЫ НА КОЛЫМЕ

Лёша Чеканов, потомственный хлебороб, техник-строитель по образованию, был моим соседом по нарам 69-й камеры Бутырской тюрьмы весной и летом 1937 года.

Так же, как и многим другим, я как староста камеры оказал Лёше Чеканову первую помощь: сделал ему первый укол, инъекцию эликсира бодрости, надежды, хладнокровия, злости и самолюбия — сложного лекарственного состава, необходимого человеку в тюрьме, особенно новичку. То же чувство блатные — а в вековом опыте им отказать нельзя — выражают в знакомых трех заповедях: не верь, не бойся и не проси.

Дух Лёши Чеканова был укреплен, и он отправился в июле в дальние колымские края. Лёша был осужден в один и тот же день со мной, осужден по одной статье на одинаковый срок. Нас везли на Колыму в одном вагоне.

Мы мало оценили коварство начальства — из земного рая Колыма должна была к нашему приезду превратиться в земной ад.

На Колыму нас везли умирать и с декабря 1937 года бросили в гаранинские расстрелы, в побои, в голод. Списки расстрелянных читали день и ночь.

Всех, кто не погиб на Серпантинной — следственной тюрьме Горного управления, а там расстреляли десятки тысяч под гудение тракторов в 1938 году, — расстреляли по спискам, ежедневно под оркестр, под туш читаемым дважды в день на разводах — дневной и ночной смене.

Случайно оставшийся в живых после этих кровавых событий, я не избежал своей, намеченной мне еще в Москве, участи: получил новый десятилетний срок в 1943 году.

Я «доплывал» десятки раз, скитался от забоя до больницы и обратно и к декабрю сорок третьего оказался на крошечной командировке, которая строила новый прииск — «Спокойный».

Десятники, или, как их называют по-колымски, — смотрители, были для меня лицами слишком высокого ранга, с особой миссией, с особой судьбой, чьи линии жизни не могли пересечься с моими.

Десятника нашего куда-то перевели. У каждого арестанта есть судьба, которая переплетается со сражениями каких-то высших сил. Человек-арестант, или арестант-человек, сам того не зная, становится орудием какого-то чужого ему сражения и гибнет, зная за что, но не зная почему. Или знает почему, но не знает за что.

Вот по законам этой-то таинственной судьбы нашего десятника сняли и перевели куда-то. Я не знаю, да мне это и не нужно было знать, ни фамилии десятника, ни нового его назначения.

К нам в бригаду, где было всего десять доходяг, был назначен новый десятник.

Колыма, да и не только Колыма, отличается тем, что там все — начальники, все. Даже маленькая бригада в два человека имеет старшего и младшего; при всей универсальности двоичной системы людей всегда делят не на равные части, двух людей не делят на равные части. На пять человек выделяется постоянный бригадир, не освобожденный от работы, конечно, а такой же работяга. А на бригаду в пятьдесят человек всегда бывает освобожденный бригадир, то есть бригадир с палкой.

Живешь ведь без надежд, а колесо судьбы — неисповедимо.

Орудие государственной политики, средство физического уничтожения политических врагов государства — вот главная роль бригадира на производстве, да еще на таком, которое обслуживает лагеря уничтожения.

Бригадир тут защитить никого не может, он сам обречен, но будет карабкаться вверх, держаться за все соломинки, которые бросает ему начальство, и во имя этого призрачного спасения — губит людей.

Подбор бригадиров для начальства — задача первоочередная.

Бригадир — это как бы кормилец и поилец бригады, но только в тех пределах, которые ему отведены свыше. Он сам под строгим контролем, на приписках далеко не уедешь — маркшейдер в очередном замере разоблачит фальшивые, авансированные кубики, и тогда бригадиру крышка.

Поэтому бригадир идет по проверенному, по надежному пути — выбивать эти кубики из работяг-доходяг, выбивать в самом реальном физическом смысле — кайлом по спине, и как только выбивать становится нечего, бригадир, казалось бы, должен стать работягой, сам разделить судьбу убитых им людей.

Но бывает не так. Бригадира переводят на новую бригаду, чтобы не пропал опыт. Бригадир расправляется с новой бригадой. Бригадир жив, а бригада его — в земле.

Кроме самого бригадира в бригаде живет еще его заместитель по штатам — дневальный, помощник убийцы, охраняющий его сон от нападения.

В охоте за бригадирами в годы войны на «Спокойном» пришлось взорвать аммонитом весь угол барака, где спал бригадир. Вот это было надежно. Погиб и бригадир, и дневальный, и их ближайшие друзья, которые спят рядом с бригадиром, чтоб рука мстителя с ножом не дотянулась до самого бригадира.

Преступления бригадиров на Колыме неисчислимы — они-то и есть физические исполнители высокой политики Москвы сталинских лет.

Но и бригадир не без контроля. За ним наблюдают по бытовой части надзиратели в ОЛПе, те несколько часов, которые заключенный оторван от работы и в полузабытьи спит.

Наблюдает и начальник ОЛПа, наблюдает и следователь-уполномоченный.

Все на Колыме следят друг за другом и доносят куда надо ежедневно.

Доносчики-стукачи испытывают мало сомнения — доносить нужно обо всем, а там начальство разберется, что было правдой, что ложью. Правда и ложь — категории вовсе не подходящие для осведомителя.

Но это — наблюдения изнутри зоны, изнутри лагерной души. За работой бригадира весьма тщательно и весьма официально следит его производственное начальство — десятник, называемый на Колыме по-сахалински смотрителем. За смотрителем наблюдает старший смотритель, за старшим смотрителем — про-

раб участка, за прорабом — начальник участка, за начальником участка — главный инженер и начальник прииска. Выше эту иерархию я вести не хочу — она чрезвычайно разветвлена, разнообразна, дает простор и для фантазии любого догматического или поэтического вдохновения.

Важно подчеркнуть, что именно бригадир есть точка соприкосновения неба и земли в лагерной жизни.

Из лучших бригадиров, доказавших свое рвение убийц, и вербуются смотрители, десятники — ранг уже более высокий, чем бригадир. Десятник уже прошел кровавый бригадирский путь. Власть десятника для работяг беспредельна.

В колеблющемся свете колымской бензинки, консервной банки с четырьмя трубочками с горящими фитилями из тряпки, — единственный, кроме печей и солнца, свет для колымских работяг и доходяг — я разглядел что-то знакомое в фигуре нового десятника, нового хозяина нашей жизни и смерти.

Радостная надежда согрела мои мускулы. Что-то знакомое было в облике нового смотрителя. Что-то очень давнее, но существующее, вечно живое, как человеческая память.

Ворочать память очень трудно в иссохшем голодном мозгу — усилие вспомнить сопровождалось резкой болью, какой-то чисто физической болью.

Уголки памяти давно вымели весь ненужный сор вроде стихов. Какая-то более важная, более вечная, чем искусство, мысль напрягалась, звенела, но никак не могла вырваться в мой тогдашний словарь, на какие-то немногие участки мозга, которыми еще пользовался мозг доходяги. Чьи-то железные пальцы давили память, как тюбик с испорченным клеем, выдавливая, выгоняя наверх каплю, капельку, которая еще сохранила человеческие свойства.

Этот процесс припоминания, в котором участвовало все тело, — холодный пот, выступивший на иссохшей коже, и пота-то не было, чтобы мне помочь ускорить этот процесс, — закончился победой... В мозгу возникла фамилия: Чеканов!

Да, это был он, Лёша Чеканов, мой сосед по Бутырской тюрьме, тот, кого я избавил от страха перед следователем. Спасение явилось в мой холодный и голодный барак — восемь лет прошло с тех пор, восемь столетий, давно наступил двенадцатый век, скифы седлали коней

на камнях Колымы, скифы хоронили царей в мавзолеях, и миллионы безымянных работяг тесно ложились в братские могилы Колымы.

Да, это был он, Лёша Чеканов, спутник моей светлой юности, светлых иллюзий первой половины тридцать седьмого года, которые еще не знали предназначенной им судьбы.

Спасение явилось в мой голодный и холодный барак в образе Лёши Чеканова, техника-строителя по специальности, десятника нашего нового.

Вот это было здорово! Вот этот чудесный случай, которого стоило ждать восемь лет!

«Доплывание» — позволяю заявить приоритет на этот неологизм или, по крайней мере, на его временную форму. Доходяга, тот, кто «доплыл», не делает этого в один день. Копятся какие-то потери, сначала физические, потом нравственные, — остатков тех нервов, сосудов, ткани уже не хватает, чтобы удержать старые чувства.

На смену им приходят новые — эрзац-чувства, эрзац-надежды.

В процессе «доплывания» есть какой-то предел, когда теряются последние опоры, тот рубеж, после которого все лежит по ту сторону добра и зла, и самый процесс «доплывания» убыстряется лавинообразно. Цепная реакция, выражаясь современным языком.

Тогда мы не знали об атомной бомбе, о Хиросиме и Ферми. Но неудержимость, необратимость «доплывания» была нам известна отлично.

Для этой цепной реакции в блатном языке есть гениальное прозрение — вошедший в словарь термин «лететь под откос», абсолютно точный термин, созданный без статистики Ферми.

Потому-то и была отмечена в немногочисленной статистике и многочисленных мемуарах точная, исторически добытая формула: «Человек может доплыть в две недели». Это — норма для силача, если его держать на колымском, в пятьдесят-шестьдесят градусов, холоде по четырнадцать часов на тяжелой работе, бить, кормить только лагерным пайком и не давать спать.

К тому же акклиматизация на Крайнем Севере — дело очень непростое.

Потому-то дети Медведева и не могут понять, почему так скоро умер их отец — здоровый мужчина лет сорока, если первое письмо он прислал из Магадана с парохода, а второе из больницы Сеймчан, и это больнич-

ное стало последним. Потому-то и генерал Горбатов, попав на прииск «Мальдяк», сделался полным инвалидом в две недели, и только случайное отправление на рыбалку на Олу, на побережье, спасло ему жизнь. Потому-то и Орлов, референт Кирова, ко времени своего расстрела на «Партизане» зимой 1938 года уже был доходягой, который все равно не нашел бы места на земле.

Две недели — это и есть тот срок, который превращает здорового человека в доходягу.

Я все это знал, понимал, что в труде нет спасения, и скитался от больницы до забоя и обратно восемь лет. Спасение наконец пришло. В самый нужный момент рука провидения привела Лешу Чеканова в наш барак.

Я спокойно заснул крепким веселым сном со смутным ощущением какого-то радостного события, которое вот-вот наступит.

На следующий день на разводе — так называется коротко процедура развода по работам, которая делается на Колыме и для десятников, и для миллионов человек в один и тот же час дня по звону рельса, как крику муэдзина, как звону колокола с колокольни Ивана Великого — а Грозный и Великий синонимы в русском языке, — я убедился в своей чудесной правоте, в своей чудесной надежде.

Новый десятник был действительно Лёша Чеканов.

Но мало узнать самому в такой ситуации, надо, чтоб и тебя узнали в этом двустороннем взаимном облучении.

По лицу Лёши Чеканова было ясно видно, что он меня узнал и, конечно, поможет. Лёша Чеканов тепло улыбнулся.

У бригадира он тут же осведомился о моем трудовом поведении. Характеристика была дана отрицательная.

— Что же, блядь, — громко сказал Лёша Чеканов, глядя мне прямо в глаза, — думаешь, если мы из одной тюрьмы, так тебе и работать не надо? Я филонам не помогаю. Трудом заслужи. Честным трудом.

С этого дня меня стали гонять более усердно, чем раньше. Через несколько дней Лёша Чеканов объявил на разводе:

— Не хочу тебя бить за твою работу, а просто отправлю тебя на участок, в зону. Там тебе, бляди, и место. В бригаду Полупана пойдешь. Он тебя научит, как жить! А то, видишь, знакомый! По воле! Друг! Это вы, суки, нас погубили. Все восемь лет я тут страдал из-за этих гадов — грамотеев!

В тот же вечер бригадир увел меня на участок с пакетом. На центральном участке управления прииском «Спокойный» я был помещен в барак, где жила бригада Полупана.

С самим бригадиром я познакомился на следующее же утро — на разводе.

Бригадир Сергей Полупан был молодой парень лет двадцати пяти, с открытым лицом и белокурым чубом под блатаря. Но блатарем Сергей Полупан не был. Он был природный крестьянский парень. Железной метлой Полупан был сметен в тридцать седьмом году, получил срок по пятьдесят восьмой и предложил начальству искупить свою вину — приводить врагов в христианский вид.

Предложение было принято, и из бригады Полупана было оборудовано нечто вроде штрафной роты со скользящим, переменным списочным составом. Штрафняк на самом штрафняке, тюрьма в тюрьме самого штрафного прииска, которого еще не было. Мы и строили для него зону и поселок.

Барак из свежих бревен лиственницы, сырых бревен дерева, которое, как и люди на Крайнем Севере, бьется за свою жизнь, а потому угловато и суковато, и ствол у него перекручен. Эти сырые бараки не прогревались печами. Никаких дров не хватило бы, чтобы осушать эти трехсотлетние, выросшие в болоте тела. Барак сушили людьми, телами строителей.

Здесь и началась одна из моих страстей.

Каждый день на глазах всей бригады Сергей Полупан меня бил: ногами, кулаками, поленом, рукояткой кайла, лопатой. Выбивал из меня грамотность.

Битье повторялось ежедневно. Бригадир Полупан носил телячью куртку, розовую куртку из телячьей шкуры — чей-то подарок или взятка, чтобы откупиться от кулаков, вымолить отдых хоть на один день.

Таких ситуаций я знаю много. У меня самого не было куртки, да если бы и была, я бы не отдал ее Полупану — разве только блатари вырвали бы из рук, сдернули с плеч.

Разгорячившись, Полупан снимал куртку и оставался в телогрейке, управляясь с ломиком и кайлом еще более свободно.

Полупан выбил у меня несколько зубов, надломил ребро.

Все это делалось на глазах всей бригады. В бригаде Полупана было человек двадцать. Бригада была скользящего переменного состава, учебная бригада.

Утренние избиения продолжались столько времени, сколько я пробыл на этом прииске, на «Спокойном»...

По рапорту бригадира Полупана, утвержденному начальником прииска и начальством ОЛПа, я был отправлен в Центральное северное управление — в поселок Ягодный, как злостный филон, для возбуждения уголовного дела и нового срока.

Я сидел в изоляторе в Ягодном под следствием, завелось дело, шли допросы. Инициатива Лёши Чеканова обозначилась достаточно ясно.

Была весна сорок четвертого, яркая колымская военная весна.

В изоляторе гоняют следственных на работы, стремясь выбить хоть один рабочий час из транзитного дня, и следственные не любят этой укоренившейся традиции лагерей и транзиток.

Но я ходил на работу не затем, конечно, чтобы попытаться выбить какую-то норму в ямке из камня, а просто подышать воздухом, попросить, если дадут, лишнюю миску супа.

В городе, даже в лагерном городе, каким был поселок Ягодный, было лучше, чем в изоляторе, где пропахло смертным потом каждое бревно.

За выходы на работу давали суп и хлеб, или суп и кашу, или суп и селедку. Гимн колымской селедке я еще успею написать, единственному белку арестанта, — ведь не мясо же на Колыме сохраняет белковый баланс. Это сельдь подбрасывает последние поленья в энергетическую топку доходяги. И если доходяга сохранил жизнь, то именно потому, что он ел сельдь, соленую, конечно, и пил — вода в этом смертном балансе не в счет.

А самое главное — на воле было можно разжиться табаком, курнуть, понюхать, когда товарищ курит, если уж не покурить. В зловредность никотина, в канцерогенность табака ни один арестант не поверит. Впрочем, дело может объясняться ничтожным разведением этой капли никотина, которая убивает лошадь.

«Дыхнуть» — курнуть раз, все-таки, наверное, мало яда и много мечтательности, удовлетворения.

Табак — это высшая радость арестанта, продолжение жизни. Повторяю, что я не знаю, жизнь — благо или нет.

Доверяя лишь звериному чутью, я двигался по улицам Ягодного. Работал, долбил ямки ломом, скреб лопатой, чтоб хоть что-нибудь выскрести для столбов поселка, известного мне очень хорошо. Там меня судили всего

год назад — дали десять лет, оформили «врага народа». Этот приговор десятилетний, новый срок, начатый так недавно, и остановил, конечно, оформление нового дела отказчика. За отказы, за филонство срок добавить можно, но когда новый срок только начат — трудно.

Водили нас на работу под большим конвоем — как-никак мы были люди следственные, если еще люди...

Я занимал свое место в каменной ямке и старался разглядывать прохожих — мы работали как раз на дороге, а зимой новые тропы на Колыме не пробиваются ни в Магадане, ни на Индигирке.

Цепочка ямок тянулась вдоль улицы — конвой наш, как ни велик, растянут был вне положенного по инструкции предела.

Навстречу нам, вдоль наших ямок, вели большую бригаду или группу людей, еще не ставших бригадой. Для этого надо разделить людей на группы по количеству не менее трех и дать им конвой с винтовками. Людей этих только что сгрузили с машин. Машины стояли тут же.

Боец из охраны, которая привела людей в наш ОЛП Ягодный, что-то спросил у нашего конвоира.

И вдруг я услышал голос, истошный радостный крик:

— Шаламов! Шаламов!

Это был Родионов из бригады Полупана, работяга и доходяга, как я, с штрафняка «Спокойного».

— Шаламов! Я Полупана-то зарубил. Топором в столовой. Меня на следствие везут по этому делу. Насмерть! — Исступленно плясал Родионов. — В столовой топором.

От радостного известия я действительно испытал теплое чувство.

Конвоиры растащили нас в разные стороны.

Следствие мое кончилось ничем, нового срока мне не намотали. Кто-то высший рассудил, что государство мало получит пользы, добавляя мне снова новый срок.

Я был выпущен из следственной тюрьмы на одну из витаминных командировок.

Чем кончилось следствие об убийстве Полупана, не знаю. Тогда рубили бригадирских голов немало, а на нашей витаминной командировке блатари ненавистному бригадиру отпилили голову двуручной пилой.

С Лёшей Чекановым, моим знакомым по Бутырской тюрьме, я больше не встречался.

1970—1971

ТРИАНГУЛЯЦИЯ III КЛАССА

Летом 1939 года выброшенный бурной волной на болотистые берега Черного озера, в угольную разведку, как инвалид, нетрудоспособный после золотого забоя 1938 года на прииске «Партизан», расстреливаемый, но не расстрелянный, — я не думал по ночам, как и что со мной случилось. За что? — этот вопрос не вставал в отношении человека и государства.

Но я хотел слабой своей волей, чтобы кто-нибудь рассказал мне тайну моей собственной жизни.

Я встретил в тайге весну и лето тридцать девятого года и все еще не мог понять, кто я такой, не мог понять, что жизнь моя — продолжается. Как будто умер в золотых забоях «Партизана» в тридцать восьмом году.

Прежде всего надо было узнать, был ли этот тридцать восьмой год? Или этот год — бред, все равно чей — мой, твой, истории.

Мои соседи, те пять человек, что прибыли со мной из Магадана несколько месяцев назад, не могли рассказать ничего: губы их были навеки закрыты, языки навеки привязаны. Я и не ждал от них ничего другого — начальник Василенко, работяга Фризоргер, скептик Нагибин. Среди них был даже стукач Гордеев. Все вместе они были Россией.

Не от них я ждал подтверждения моих подозрений, проверки моих чувств и мыслей — не от них. И не от начальников, конечно.

Начальник разведки Парамонов, когда получал в Магадане «людей» для своего района, уверенно брал инвалидов. Бывший начальник «Мальдяка» хорошо знал, как умирают и как цепляются за жизнь. И как быстро забывают.

Через какой-то срок — может быть, многомесячный, а может быть — мгновенный — Парамонову показалось, что отдых достаточен, — поэтому инвалидов перестали считать инвалидами. Но Филипповский был паровозный машинист, Фризоргер — столяр, Нагибин — печник, Василенко — горный десятник. Только я, литератор России, оказался пригодным для черных работ.

Меня уже выводили на эти черные работы. Десятник Быстров брезгливо оглядел мое грязное, вшивое тело, мои гнойные раны на ногах, расчесы от вшей, голодный блеск глаз и с наслаждением произнес свою любимую

остроту: «Какую вы хотите работу? Белую? Или черную? У нас нет работы белой. Есть только работа черная».

Тогда я был кипятильщиком. Но давно выстроили баню, кипятили воду в бане — меня нужно было куда-то послать.

Высокий человек в новом дешевом вольном синем костюме стоял на пеньке перед палаткой.

Быстров — строительный десятник, вольняшка, бывший зэка, приехавший на Черное озеро заработать денег на материк. «В цилиндрах поедете на Большую землю», — как острил начальник Парамонов. Быстров ненавидел меня. В грамотных людях Быстров видел главное зло жизни. Он видел во мне воплощение всех своих бед. Ненавидел и мстил слепо и злобно.

Быстров прошел золотой прииск 1938 года как десятник, смотритель. Мечтал скопить столько, сколько скапливал раньше. Но мечта его была разрушена той же волной, которая смела всех и вся, — волной тридцать седьмого года.

Теперь он без копейки денег жил на этой проклятой Колыме, где враги народа работать не хотят.

Меня, прошедшего тот же ад, только снизу, от забоя, от тачки и кайла, — а Быстров знал об этом и видел — наша история пишется вполне открыто на лицах, на телах, — хотел бы меня побить, но у него не было власти.

Вопрос о черной и белой работе — единственная острота — Быстровым мне был задан вторично, — ведь я уже отвечал на него весной. Но Быстров забыл. А может — не забыл, а нарочно повторил, наслаждаясь возможностью задать этот вопрос. Кому и где он его задавал раньше?

А может быть, я все это выдумал, и Быстрову было совершенно все равно — что у меня спросить и какой ответ получить.

Может быть, весь Быстров — это только мой воспаленный мозг, который не хочет прощать ничего.

Словом, я получил новую работу — помощником топографа, вернее, реечником.

В Черноозерский угольный район приехал вольный топограф. Комсомолец, журналист ишимской газеты, Иван Николаевич Босых, мой однолеток, был осужден по пятьдесят восьмой, пункт 10 — на три года, а не на пять, как я. Осужден значительно раньше меня, еще в тридцать шестом году, и тогда же привезен на Колыму. Тридцать восьмой, так же как и я, он провел в забоях, в

больнице, «доплывал», но, к собственному его удивлению, остался жив и даже получил документы на выезд. Сейчас он здесь для кратковременной работы — сделать топографическую «привязку» Черноозерского района для Магадана.

Вот я и буду его работником, буду таскать рейку, теодолит. Если нужно будет два реечника, будем брать еще рабочего. Но все, что можно, будем делать вдвоем.

Я из-за своей слабости не мог таскать теодолита на плечах, но Иван Николаевич Босых таскал теодолит сам. Я таскал только рейку, но и рейка мне была тяжела, пока я не привык.

В это время острый голод, голод золотого прииска уже прошел — но жадность осталась прежней, я попрежнему съедал все, что мог увидеть и достать рукой.

Когда мы вышли первый раз на работу и сели в тайге отдохнуть, Иван Николаевич развернул сверток с едой — для меня. Мне это не понадобилось, хотя я и не стеснялся, пощипал печенье, масло и хлеб. Иван Николаевич удивился моей скромности, но я объяснил, в чем дело.

Коренной сибиряк, обладатель классического русского имени — Иван Николаевич Босых пытался у меня найти ответ на неразрешимые вопросы.

Было ясно, что топограф — не стукач. Для тридцать восьмого года никаких стукачей не надо — все делалось помимо воли стукачей, в силу более высших законов человеческого общества.

— Ты обращался к врачам, когда ты заболел?

— Нет, я боялся фельдшера прииска «Партизан» Легкодуха. Доплывающих он не спасал.

— А хозяином моей судьбы на Утиной был доктор Беридзе. У врачей-колымчан могут быть два вида преступления — преступление действием, когда врач направляет в штрафзону под пули, — ведь юридически без санкции врачей не обходится ни один акт об отказе от работы. Это — один род преступления врачей на Колыме.

Другой род врачебных преступлений — это преступление бездействием. В случае с Беридзе было преступление бездействием. Он ничего не сделал, чтобы мне помочь, смотрел на мои жалобы равнодушно. Я превратился в доходягу, но не успел умереть. «Почему мы с тобой выжили? — спрашивал Иван Николаевич. — Потому что мы — журналисты». В таком объяснении есть резон. Мы умеем цепляться за жизнь до конца.

— Мне кажется, это свойственно более всего животным, а не журналистам.

— Ну нет. Животные слабее человека в борьбе за жизнь.

Я не спорил. Я все это и сам знал. Что лошадь на севере умирает, не выдерживая сезона в золотом забое, что собака подыхает на человеческом пайке.

В другой раз Иван Николаевич поднимал семейные проблемы.

— Я холост. Отец мой погиб в Гражданскую войну. Мать умерла, пока я был в заключении. Мне некому передать ни свою ненависть, ни свою любовь, ни свои знания. Но у меня есть брат, младший брат. Он верит в меня, как в бога. Вот я и живу, чтобы добраться до Большой земли, до города Ишима — войти в нашу квартиру, улица Воронцова, два, — посмотреть в глаза брату и открыть ему всю правду. Понял?

— Да, — сказал я, — это — стоящая цель.

Каждый день, а дней было очень много — более месяца, Иван Николаевич приносил мне еду свою — она ничем не отличалась от нашего полярного пайка, и я, чтобы не обидеть топографа, ел вместе с ним его хлеб и масло.

Даже свой спирт — вольным давали спирт — Босых приносил мне.

— Я не пью.

Я пил. Но спирт этот был такой пониженной крепости после того, как прошел несколько складов, несколько начальников, что Босых ничем не рисковал. Это была почти вода.

В тридцать седьмом году летом Босых был на «Партизане» несколько дней — еще в берзинские времена — и присутствовал при аресте знаменитой бригады Герасимова. Это — таинственное дело, о котором мало кто знает. Когда меня привезли на «Партизан» 14 августа 1937 года и поместили в брезентовой палатке — напротив нашей палатки был низкий деревянный бревенчатый барак-полуземлянка, где двери висели на одной петле. Петли у дверей на Колыме не железные, а из куска автомобильной шины. Старожилы объяснили мне, что в этом бараке жила бригада Герасимова — семьдесят пять человек не работающих вовсе троцкистов.

Еще в тридцать шестом году бригада провела ряд голодовок и добилась от Москвы разрешения не работать, получая «производственный» паек, а не штрафной.

Питание тогда имело четыре «категории» — лагерь использовал философскую терминологию в самых неподходящих местах: «стахановская» — при выполнении нормы на 130% и выше — 1000 граммов хлеба, «ударная» — от 110 до 130% — 800 граммов хлеба, производственная — 90—100% — 600 граммов хлеба, штрафная — 300 граммов хлеба. Отказчики переводились в мое время на штрафной паек, хлеб и воду. Но так было не всегда.

Борьба шла в тридцать пятом и тридцать шестом годах — и рядом голодовок троцкисты прииска «Партизан» добились узаконенных 600 граммов.

Их лишали ларьков, выписок, но не заставляли работать. Самое главное тут — отопление, десять месяцев зимы на Колыме. Им разрешали ездить за дровами для себя и для всего лагеря. Вот на таких кондициях бригада Герасимова и существовала на приисках «Партизана».

Если кто-нибудь в любой час суток любого времени года заявлял о желании перейти в «нормальную» бригаду — его сейчас же переводили. И с другой стороны — любой отказчик от работы прямо с развода мог идти не просто в РУР, или штрафную роту, или в изолятор — а в бригаду Герасимова. Весной 1937 года в бараке этом жило семьдесят пять человек. В одну из ночей этой весны все они были увезены на Серпантинную в тогдашнюю следственную тюрьму Северного горного управления.

Никого из них никто больше нигде не видел. Иван Николаевич Босых видел этих людей, а я видел только отворенную ветром дверь в их бараке.

Иван Николаевич объяснял мне премудрости топографического дела: вон от этой треноги мы, опустив в ущелье ряд колышков, наводили на треногу теодолит, поймав в «крест нитей».

— Хорошая штука топография. Лучше медицины.

Мы рубили просеки, рисовали цифры на затесах, истекающих желтой смолой. Цифры рисовали простым черным карандашом, только черный графит, брат алмаза, был надежен — всякие краски, синие, зеленые химического состава для измерения земли не годились.

Наша командировка постепенно окружалась легкой воображаемой линией сквозь просеки, в которые разглядывал глаз теодолита номер на очередном столбе.

Ледком, белым ледком уже схватывало речки, ручейки. Мелкие огненные листья засыпали наши пути, и Иван Николаевич заторопился:

— Мне надо возвращаться в Магадан, сдать свою работу скорее в управление, получить расчет и уехать. Пароходы еще ходят. Мне хорошо платят, но я должен спешить. Тут две причины моей спешки. Первая — я хочу на Большую землю, трех колымских лет достаточно для изучения жизни. Хоть говорят, что Большая земля еще в тумане для таких путешественников, как ты и я. Но я вынужден быть смелым по второй причине.

— Какая же вторая?

— Вторая в том, что я не топограф. Я журналист, газетчик. Топографии я обучался здесь же, на Колыме, на прииске «Разведчик», где я был реечником у топографа. Выучился этой премудрости, не надеясь на доктора Беридзе. Это мой начальник посоветовал мне взять эту работу по привязке Черного озера к надлежащим местам. Но я что-то напутал, что-то пропустил. А начинать всю привязку сначала у меня нет времени.

— Вот что...

— Та работа, которую мы делаем с тобой, — черновая топографическая работа. Она называется триангуляцией третьего класса. А есть и высшие разряды — второго класса, первого класса. О них я и думать не смею, да вряд ли буду в жизни заниматься.

Мы попрощались, и Иван Николаевич уехал в Магадан.

Уже на следующий год, летом сорокового, хоть я давно работал с кайлом и лопатой в разведке, мне снова повезло — новый топограф из Магадана начал повторную «привязку». Я был отряжен как опытный реечник, но, разумеется, не обмолвился и словом о сомнениях Ивана Николаевича. Все же спросил нового топографа о судьбе Ивана Босых.

— Давно на материке, сука. Исправляем вот его работу, — мрачно выговорил новый топограф.

1973

ТАЧКА I

Золотой сезон короток. Золота много — но как его взять. Золотая лихорадка Клондайка, заморского соседа Чукотки, могла бы поднять к жизни безжизненных — и в очень короткий срок. Но нельзя ли обуздать эту золотую лихорадку, сделать пульс старателя, добытчика зо-

лота, не лихорадочным, а, наоборот, замедленным, даже бьющимся чуть-чуть, чтобы только теплилась жизнь в умирающих людях. А результат был поярче клондайкского. Результат, о котором не будет знать тот, кто берется за лоток, за тачку, кто добывает. Тот, кто добывает, — он только горняк, только землекоп, только каменотес. Золотом в тачке он не интересуется. И даже не потому, что «не положено», а от голода, от холода, от истощения физического и духовного.

Завезти на Колыму миллион людей и дать им работу на лето трудно, но возможно. А что этим людям делать зимой? Пьянствовать в Даусоне? Или Магадане? Чем занять сто тысяч, миллион людей зимой? На Колыме климат резко континентальный, морозы зимой до шестидесяти, а в пятьдесят пять — это рабочий день.

Всю зиму тридцать восьмого года актировали, и арестанты оставались в бараке лишь при температуре пятьдесят шесть градусов, с пятьдесят шестого градуса Цельсия, разумеется, не Фаренгейта.

В сороковом году этот градус был снижен до пятидесяти двух!

Как колонизовать край?

В 1936 году решение было найдено.

Откатка и подготовка грунта, взрыв и кайление, погрузка были связаны друг с другом намертво. Было рассчитано инженерами оптимальное движение тачки, время ее возвращения, время погрузки в тачку лопатами с помощью кайла, а иногда лома для разбора скалы с золотым содержанием.

Каждый не возил на себя — так делалось только у старателей-одиночек. Государство организовало работу для заключенных иначе.

Пока откатчик катил тачку, его товарищи или товарищ должен был успеть нагрузить новую тачку.

Вот этот расчет — сколько надо людей ставить на погрузку, на откатку. Достаточно ли двух человек в звене или нужно три человека.

В этом золотом забое тачка всегда была сменная. Своеобразный конвейер безостановочной работы.

Если приходилось работать с отвозкой на грабарках, с лошадьми, это использовалось обычно на «вскрыше», на снятии торфов летом.

Оговоримся сразу: торф по-золотому — это слой породы, в котором нет золота. А песок — слой, содержащий золото.

Вот эта летняя работа с грабаркой, с лошадью была по вывозке торфов, обнажению песка. Обнаженный песок возили уже другие бригады, не мы. Но нам было все равно.

Грабарка была тоже сменная: мы отцепляли у коногона порожнюю тележку, цепляли груженую, уже готовую. Колымский конвейер действовал.

Золотой сезон — короток. Со второй половины мая до половины сентября — три месяца всего.

Поэтому для того, чтобы выбить план, продумывались все технические и сверхтехнические рецепты.

Забойный конвейер — это минимум, хотя именно сменная тачка лишала нас сил, добивала, заставляла превращаться в доходяг.

Никаких механизмов не было, кроме канатной дорожки на бесконечной лебедке. Забойный конвейер — берзинский вклад. Как только выяснилось, что рабсилой каждый прииск будет обеспечен любой ценой и в любом количестве — хоть сто пароходов в день будет привозить пароходство Дальстроя, — людей перестали жалеть. И стали выбивать план буквально. При полном одобрении, понимании и поддержке сверху, из Москвы.

Но что золото? Что на Колыме есть золото — известно триста лет. К началу деятельности Дальстроя на Колыме было много организаций — бессильных, бесправных, боящихся переступить какую-то черту в отношениях со своими завербованными работягами. На Колыме были и конторы «Цветметзолото» и культбазы — все они работали с вольными людьми, вербованными во Владивостоке.

Берзин привез заключенных.

Берзин стал не искать путей, а строить дорогу, шоссе колымское сквозь болота, горы — от моря...

ТАЧКА II

Тачка — символ эпохи, эмблема эпохи, арестантская тачка.

Машина ОСО —
Две ручки, одно колесо.

ОСО — это особое совещание при министре, наркоме ОГПУ, чьей подписью без суда были отправлены мил-

лионы людей, чтобы найти свою смерть на Дальнем Севере. В каждое личное дело, картонную папочку, тоненькую, новенькую, было вложено два документа — выписка из постановления ОСО и спецуказания — о том, что заключенного имярек должно использовать только на тяжелых физических работах и имярек должен быть лишен возможности пользоваться почтово-телеграфной связью — без права переписки. И что лагерное начальство должно о поведении заключенного имярек сообщать в Москву не реже одного раза в шесть месяцев. В местное управление такой рапорт-меморандум полагалось присылать раз в месяц. «С отбыванием срока на Колыме» — это был смертный приговор, синоним умерщвления, медленного или быстрого в зависимости от вкуса местного начальника прииска, рудника, ОЛПа.

Этой новенькой, тоненькой папке полагалось потом обрасти грудой сведений — распухнуть от актов об отказе от работы, от копий доносов товарищей, от меморандумов следственных органов о всех и всяческих «данных». Иногда папка не успевала распухнуть, увеличиться в объеме — немало людей погибло в первое же лето общения с «машиной ОСО, две ручки, одно колесо».

Я же из тех, чье личное дело распухло, отяжелело, будто пропиталась кровью бумага. И буквы не выцвели — человеческая кровь хороший фиксаж.

На Колыме тачка называется малой механизацией. Я — тачечник высокой квалификации. Я катал тачку в открытых забоях прииска «Партизан» золотой дальстроевской Колымы всю осень тридцать седьмого года. Зимой, когда нет золотого сезона, промывочного сезона, на Колыме катают короба с грунтом — по четыре человека на короб, воздвигая горы отвалов, снимая торфяную рубашку и обнажая к лету пески — слой с содержанием золота. Ранней весной тридцать восьмого года я снова взялся за ручки машины ОСО и выпустил их только в декабре 1938 года, когда был арестован на прииске и увезен в Магадан по «делу юристов» Колымы.

Тачечник, прикованный к тачке, — это эмблема каторжного Сахалина. Но Сахалин — не Колыма. Около острова Сахалин — теплое течение Куросио. Там теплее, чем в Магадане, чем на побережье, тридцать-сорок градусов, зимой снег, летом всегда дождь. Но золото — не в Магадане. Яблоновый перевал — граница высотой в тысячу метров, граница золотого климата. Тысяча мет-

ров над уровнем моря — первый серьезный перевал на пути к золоту. Сто километров от Магадана и дальше по шоссе — все выше, все холоднее.

Каторжный Сахалин — нам не указ. Приковать к тачке — это было скорее нравственной мукой. Так же, как и кандалы. Кандалы царского времени были легкими, легко снимались с ног. Тысячеверстные этапы арестанты делали в этих кандалах. Это была мера унижения.

На Колыме к тачке не приковывали. Весной тридцать восьмого года несколько дней со мной в паре работал Дерфель, французский коммунист из Кайенны, из каторжных каменоломен. Дерфель был на французской каторге года два. Все это совсем не похоже. Там было легче, тепло, да и не было политических. Не было голода, холода адского, отмороженных рук и ног.

Дерфель умер в забое — остановилось сердце. Но кайеннский опыт все же помог ему — продержался Дерфель на месяц дольше, чем его товарищи. Хорошо это или плохо? Этот лишний месяц страданий.

Вот в звене Дерфеля я катал тачку самый первый раз.

Тачку нельзя любить. Ее можно только ненавидеть. Как всякая физическая работа, работа тачечника унизительна безмерно от своего рабского, колымского акцента. Но как всякая физическая работа, работа с тачкой требует кое-каких навыков, внимания, отдачи.

И когда это немногое твое тело поймет, катать тачку становится легче, чем махать кайлом, бить ломом, шаркать подборной лопатой.

Трудность вся в равновесии, в удержании колеса на трапе, на узкой доске.

В золотом забое для пятьдесят восьмой статьи есть только кайло, лопата с длинным черенком, набор ломов для бурения, ложечка железная для выскребания грунта из бурок. И тачка. Другой работы нет. На промывочном приборе, где надо «бутарить» — двигать взад-вперед деревянным скребком, подгоняя и размельчая грунт, — пятьдесят восьмой места нет. Работа на бутаре — для бытовиков. Там полегче и поближе к золоту. Промывальщиком работать над лотком пятьдесят восьмой было запрещено. Можно работать с лошадью — коногонов берут из пятьдесят восьмой. Но лошадь существо хрупкое, подверженное всяким болезням. Паек ее северный обкрадывают конюхи, начальники конюхов и коногоны. Лошадь слабеет и умирает на шестидесяти-

градусном морозе раньше, чем человек. Забот лишних столько, что тачка кажется проще, лучше грабарки, честнее перед самим собой, ближе к смерти.

Государственный план доведен до прииска, до участка, до забоя, до бригады, до звена. Бригада состоит из звеньев, и на каждое звено дается тачка, две или три, сколько нужно, только не одна!

Здесь скрыт большой производственный секрет, каторжная тайна колымская.

Есть еще одна работа в бригаде, постоянная работа, о которой мечтает каждый рабочий утром каждого дня, — это работа подносчика инструмента.

Кайла быстро тупятся при ударах о камень. Ломы быстро тупятся. Требовать хороший инструмент — право рабов, и начальство стремится все сделать, чтобы инструмент был остер, лопата удобна, колесо тачки хорошо смазано.

На каждом производственном золотом участке есть своя кузница, где круглые сутки кузнец с молотобойцем могут оттянуть кайло, заострить лом. Кузнецу работы много, и единственный миг, когда может вздохнуть арестант, — когда нет инструмента, в кузницу унесли. Конечно, он не сидит на месте — он подгребает забой, насыпает тачку. Но все же...

Вот на эту работу — подносчика инструмента — и хотелось каждому попасть хоть на один день, хоть до обеда.

Вопрос о кузницах изучен начальством хорошо. Было много предложений улучшить это инструментальное хозяйство, изменить эти порядки, вредящие выполнению плана, чтобы рука начальства на плечах арестанта была еще тяжелей.

Нет ли здесь сходства с инженерами, работавшими над техническим решением научной проблемы создания атомной бомбы? Превосходством физики — как говаривали Ферми и Эйнштейн.

Какое мне дело до человека, до раба. Я — инженер и отвечаю на технический вопрос.

Да, на Колыме, на совещании, как можно лучше организовать труд в золотом забое, то есть как лучше убивать, быстрее убивать, выступил инженер и сказал, что он перевернет Колыму, если ему дадут походные горны, походные кузнечные горны. Что уж тогда-то при помощи этих горнов все будет решено. Не нужно будет подносить инструменты. Подносчики инструмента должны

взяться за ручки тачки и расхаживать по забою, не ждать в кузнице, не задерживать всех и вся.

В нашей бригаде подносчиком инструмента был мальчик, шестнадцатилетний школьник из Еревана, обвиненный в покушении на Ханджяна — первого секретаря Ереванского крайкома. У мальчика было двадцать лет заключения в приговоре, и он умер очень скоро — не перенес тяжестей колымской зимы. Через много лет из газет я узнал правду об убийстве Ханджяна. Оказывается, Берия застрелил Ханджяна у себя в кабинете собственноручно. Все это дело — смерть школьника в колымском забое — случайно запомнилось мне.

Мне очень хотелось хоть на один день стать подносчиком инструмента, но я понимал, что мальчик, школьник с замотанными в грязные варежки обмороженными пальцами, с голодным блеском в глазах — лучшая кандидатура, чем я.

Мне оставалась только тачка. Я должен был уметь и кайлить, и управляться лопатой, и бурить — да, да, но в этой каменной яме золотого разреза я предпочитал тачку.

Золотой сезон короток, — с половины мая до половины сентября. Но в сорокаградусную дневную жару июля под ногами арестантов — ледяная вода. Работают в чунях резиновых. Резиновых чуней, так же как и инструмента, в забоях не хватает.

На дне разреза — каменной ямы неправильной формы — настланы толстые доски, и не просто, а соединены друг с другом намертво в особое инженерное сооружение — центральный трап. Ширина этого трапа полметра, не больше. Трап укреплен неподвижно, чтобы доски не провисали, чтобы колесо не вильнуло, чтобы тачечник мог прокатить свою тачку бегом.

Этот трап длиной метров триста. Трап стоял в каждом разрезе, был частью разреза, душой разреза, ручного каторжного труда с применением малой механизации.

От трапа отходят отростки, много отростков — в каждый забой, в каждый уголочек разреза. К каждой бригаде тянутся доски, скрепленные не так основательно, как на центральном трапе, но тоже надежно.

Лиственные плахи центрального трапа, истертые бешеным кружением тачек — золотой сезон короток, — заменяются новыми. Как и люди.

Выехать на центральный трап надо было умело: выкатить со своего трапа тачку, повернуть, не заводя колесо на главную колею, протертую в середине доски и

тянущуюся ленточкой или змеей — впрочем, змей на Колыме нет, — от забоя до эстакады, от самого начала и до самого конца, до бункера. Важно было, пригнав тачку к самому центральному трапу, повернуть ее, удерживая в равновесии собственными мускулами, и, поймав момент, включиться в бешеную гонку на центральном трапе — там ведь не обгоняют, не опережают, — нет места для обгона, и ты должен гнать свою тачку вскачь вверх, вверх, вверх по медленно поднимающемуся на подпорках центральному трапу, неуклонно вверх, вскачь, чтобы тебя не сбили с дороги те, кого хорошо кормят, или новички.

Тут надо не зевать, остерегаться, чтоб тебя не сшибли, и пока ты не вывезешь тачку на эстакаду метра три вышиной, дальше тебе не надо — там бункер деревянный, обитый бревнами, и ты должен опрокинуть тачку в бункер, высыпать в бункер — дальше не твое дело. Под эстакадой ходит тележка железная, и тележку эту увезешь к промприбору, к бутаре — не ты. Тележка ходит по рельсам на бутару — на промывочный прибор. Но это дело не твое.

Ты должен бросать тачку ручками вверх, опустив ее вовсе над бункером, — самый шик! — а потом подхватить пустую тачку и быстро отходить в сторону, чтобы осмотреться, передохнуть немножко, уступить дорогу тем, кого еще хорошо кормят.

Назад от эстакады к забою идет запасной трап — из старых досок, изношенных на центральном трапе, но тоже добротных, скрепленных гвоздями надежно. Уступи дорогу тем, кто бежит бегом, пропускай их, сними свою тачку с трапа — предупреждающий крик ты услышишь, — если не хочешь, чтобы тебя столкнули. Отдохни как-нибудь — чистя тачку или давая дорогу другим, ибо помни: когда ты возвратишься по холостому трапу в свой забой — ты не будешь отдыхать ни минуты, тебя ждет на рабочем трапе новая тачка, которую насыпали твои товарищи, пока ты гнал тачку на эстакаду.

Поэтому помни: искусство возить тачку состоит и в том, что назад пустую тачку по холостому трапу надо катить совсем не так, как ты катил груженую. Пустую тачку надо перевернуть, толкать колесом вперед, положив пальцы на поднятые вверх ручки тачки. Здесь и есть отдых, экономия сил, отлив крови из рук. Возвращается тачечник с поднятыми руками. Кровь отливает. Тачечник сохраняет силы.

Докатив тачку до своего забоя, ты просто бросаешь ее. Тебе готова другая тачка на рабочем трапе, а стоять без дела, без движения, без шевеления в забое не может никто — во всяком случае никто из пятьдесят восьмой статьи. Под жестким взглядом бригадира, смотрителя, конвоира, начальника ОЛПа, начальника прииска ты хватаешься за ручки другой тачки и уезжаешь на центральный трап — это и называется конвейер, сменная тачка. Один из самых страшных законов производства, за которым следят всегда.

Хорошо, если свои же товарищи будут милостивы — от бригадира этого ждать не приходится, но от старшего в звене — ведь всюду есть старшие и младшие, возможность стать старшим ни для кого не закрыта, и для пятьдесят восьмой также. Если товарищи будут милостивы и позволят тебе вздохнуть чуть-чуть. Ни о каком перекуре не может быть и речи. Перекур в 1938 году был политическим преступлением, саботажем, каравшимся по статье пятьдесят восемь, пункт четырнадцатый.

Нет. Свои же товарищи следят, чтобы ты не обманывал государство, не отдыхал, когда это не положено. Чтобы ты вырабатывал пайку. Товарищи не хотят тебя обрабатывать, обрабатывать твою ненависть, твою злость, твой голод и холод. А если товарищам все равно — таких было очень-очень мало в тридцать восьмом году на Колыме, — то за ними бригадир, а если бригадир ушел куда-нибудь греться, он оставил за себя официального наблюдателя — помощника бригадира из работяг. Так, доктор Кривицкий, бывший заместитель наркома оборонной промышленности, пил из меня кровь день за днем в колымской спецзоне.

А если бригадир не увидит, то увидит десятник, смотритель, прораб, начальник участка, начальник прииска. Увидит конвоир и отучит прикладом винтовки от вольностей. Увидит дежурный по прииску от местной партийной организации, уполномоченный райотдела и сеть его осведомителей. Увидит представитель Западного, Северного и Юго-Западного управлений Дальстроя или самого Магадана, представитель ГУЛАГа из Москвы. Все смотрят за каждым твоим движением — вся литература и вся публицистика, не пошел ли ты срать не вовремя: трудно застегивать штаны — руки не гнутся. Они разгибаются по рукоятке кайла, по ручке тачки. Это — почти контрактуры. А конвоир кричит:

— Где твое говно? Где твое говно, я спрашиваю.

И замахивается прикладом. Конвоиру не надо знать ни пеллагры, ни цинги, ни дизентерии.

Поэтому тачечник отдыхает в пути.

Теперь наша повесть о тачке прервется документом: пространной цитатой из статьи «Проблема тачки», опубликованной в газете «Советская Колыма» в ноябре 1936 года:

«...Мы вынуждены проблему откатки грунтов, торфов и песков на какой-то период тесно связать с проблемой тачки. Трудно сказать, как продолжителен будет этот период, в течение которого мы будем производить откатку ручными тачками, но мы можем с достаточной точностью сказать, что от конструкции тачки в огромной степени зависят и производительные темпы, и себестоимость продукции. Дело в том, что эти тачки оказались емкостью всего 0,075 кубометра, тогда как емкость нужна не менее 0,12 кубометра... Для наших приисков на ближайшие годы требуется несколько десятков тысяч тачек. Если эти тачки не будут соответствовать всем требованиям, которые предъявляют сами рабочие и производственный темп, то мы, во-первых, будем замедлять производство, во-вторых, непроизводительно затрачивать мускульную силу рабочих и, в-третьих, растрачивать бесцельно огромные денежные средства».

Все справедливо. Неточность только одна: на 1937 год и далее потребовалось не несколько десятков тысяч, а несколько миллионов этих больших, в десятую часть кубометра, тачек, «соответствующих требованиям, которые предъявляют сами рабочие».

Через много-много лет после этой статьи, лет через тридцать, хороший мой друг получил квартиру, и мы собрались на новоселье. Каждый дарил что мог, и очень полезным подарком были абажуры с проводкой. В шестидесятые годы в Москве уже можно было купить такие абажуры.

Мужчины никак не могли справиться с электросетью подарка. В это время вошел я, и другая моя знакомая крикнула: «Раздевайтесь-ка и покажите этим шляпам, что колымчанин все умеет, обучен любой работе».

— Нет, — сказал я. — На Колыме я обучен только катать тачку. И кайлить камень.

Действительно, никаких знаний, никакого уменья не принес я с Колымы.

Но всем своим телом я знаю, умею и могу повторить, как катать, как возить тачку.

Когда берешься за тачку — ненавистную большую (десять тачек на кубометр) или «любимую» малую, то первое дело тачечника — распрямиться. Расправить все свое тело, стоя прямо и держа руки за спиной. Пальцы обеих рук должны плотно охватывать ручки груженой тачки.

Первый толчок к движению дается всем телом, спиной, ногами, мускулами плечевого пояса — так, чтобы был упор в плечевой пояс. Когда тачка поехала, колесо двинулось, можно перенести руки немного вперед, плечевой пояс чуть ослабить.

Колеса тачечник не видит, только чувствует его, и все повороты делаются наугад с начала до конца пути. Мускулы плеча, предплечья годятся для того, чтобы повернуть, переставить, подтолкнуть тачку вверх на эстакадном подъеме. В самом движении тачки по трапу эти мускулы — не главные.

Единство колеса и тела, направление, равновесие поддерживается и удерживается всем телом, шеей и спиной не меньше, чем бицепсом.

Пока не выработается автоматизм этого движения, этого посыла силы на тачку, на тачечное колесо — тачечника нет.

Приобретенные же навыки тело помнит всю жизнь, вечно.

Тачки на Колыме бывают трех видов: первая, обыкновенная «старательская» тачка, емкостью 0,03 кубометра, три сотых кубометра, тридцать тачек на кубометр породы. Сколько весит такая тачка?

На Колыме в золотых ее забоях к сезону тридцать седьмого были изгнаны старательские тачки, как маломерки чуть не вредительские.

Гулаговские, или берзинские, тачки к сезону тридцать седьмого года и тридцать восьмого года были емкостью в 0,1–0,12 кубометра и назывались большими тачками. Десять тачек на кубометр. Сотни тысяч таких тачек были изготовлены для Колымы, завезены с материка как груз поважней витаминов.

Были на приисках и металлические тачки, также изготовленные на материке, клепаные, железные. Тачки эти были емкостью в 0,075 кубометра, вдвое больше старательской, но, разумеется, не устраивали хозяев. ГУЛАГ набирал силу.

Эти тачки не годились для забоев Колымы. Раза два в своей жизни мне пришлось поработать на такой тачке.

В их конструкции была ошибка — тачечник не мог распрямиться, толкая тачку, — единства тела и металла не получилось. С деревянной конструкцией тело человека ладит, находит союз легко.

Тачку эту можно было толкать вперед, только согнувшись в три погибели, и колесо само съезжало с трапа. Поставить тачку на трап человек один не мог. Нужна была помощь.

Металлические тачки нельзя было удержать за ручки, распрямляясь и выталкивая тачку вперед, а изменить конструкцию, длину рукоятки, угол наклона было невозможно. Так эти тачки и отслужили свой срок, мучая людей хуже, чем большие.

Мне случалось видеть отчеты колымские по «основному производству», по «первому металлу» — если помнить, что статистика — наука фальшивая, точной цифры никогда не опубликуют. Но даже если признать цифру сообщения официально, то и тогда читатель и зритель разберутся в колымских секретах легко. Можно принять за правду эти колымские цифры, а цифры эти заключались в том, что:

1) добыча песков из разрезов с ручной откаткой до 80 метров и так далее,

2) вскрыша торфов (то есть зимняя работа, вывозка камня, породы) с ручной откаткой до 80 метров.

Восемьдесят метров — это значительная откатка. Эта средняя цифра значит, что лучшим бригадам — бытовикам, блатарям, любым «передовикам производства», еще получающим не ставки доходяг, еще получающим стахановский или ударный паек, еще вырабатывающим норму, — давались забои близкие, выгодные, с откаткой пять-шесть метров от бункера эстакады.

Тут был производственный резон, политический резон, и был резон бесчеловечия, убийства.

Я не помню за полтора года работы на прииске «Партизан», с августа тридцать седьмого года по декабрь тридцать восьмого, чтобы я, наша бригада работала хоть день и час в ближайшем, выгодном, единственно возможном для доходяг забое.

Но мы не обеспечивали «процента», и потому наша бригада (всегда находилась такая бригада, и всегда я работал именно в такой бригаде доходяг) ставилась на дальнюю откатку. Триста, двести пятьдесят метров откатки — это убийство, запланированное убийство для любой передовой бригады.

И вот мы катали на эти триста метров под улюлюканье собак, но даже и эти триста метров, если средняя — восемьдесят, скрывали за собой еще один секрет. Бесправную пятьдесят восьмую всегда обсчитывали, присчитывая выработку тем же блатарям или бытовикам, что катали по десяти метров от эстакады.

Я хорошо помню летнюю ночь, когда выкатил груженную моими товарищами большую тачку на трап. Маленькими тачками не разрешалось пользоваться в нашем забое. Тачка, груженная плывуном — на Колыме слой, содержащий золото, разный: и галька, и плывун, и скала с плывуном.

Мускулы мои тряслись от слабости и дрожали каждую минуту в моем истощенном, измученном теле, в язвах от цинги, от незалеченных отморожений, ноющем от побоев. Надо было выезжать на центральный трап из нашего угла, выезжать с доски, которая ведет из нашего забоя на центральный трап. На центральный трап катили несколько бригад — с грохотом и шумом. Тут ждать тебя не будут. Вдоль трапа ходили начальники и подгоняли палками и руганью, похваливая возивших тачку бегом и ругая голодных улиток вроде меня.

Ехать все же было надо сквозь побои, сквозь ругань, сквозь рев, и я вытолкнул тачку на центральный трап, повернул ее вправо и сам повернулся, ловя движение тачки, чтобы успеть подправить, если колесо свернет в сторону.

Хорошо возишь только тогда, когда ты телом с ней, с тачкой, только тогда ты можешь ею управлять. Это вроде велосипеда в физическом ощущении. Но велосипед был победой когда-то. Тачка же поражением, оскорблением, вызывающим ненависть, презрение к самому себе.

Я вытащил тачку на трап, и тачка покатилась к эстакаде, и я побежал за тачкой, пошел за тачкой по трапу, ступая мимо трапа, качаясь, лишь бы удержать колесо тачки на доске.

Несколько десятков метров — и на центральный трап входил причал другой бригады, и с этой доски, с этого места можно было катить тачку только бегом.

Меня сейчас же столкнули с трапа, грубо столкнули, и я едва удержал тачку в равновесии, ведь же был плывун, а все, что просыпано по дороге, полагается собрать и везти дальше. Я был даже рад, что меня столкнули, я мог немного отдохнуть.

Отдыхать в забое ни минуты было нельзя. За это били бригадиры, десятники, конвой — я это хорошо

знал, поэтому я «ворочался», просто меняя мускулы, вместо мышц плечевого пояса и плеча другие какие-то мускулы удерживали меня на земле.

Бригада с большими тачками проехала, мне было снова можно выезжать на центральный трап.

Дадут ли тебе что-нибудь есть в этот день — об этом не думалось, да ни о чем не думалось, ничего в мозгу не оставалось, кроме ругательств, злости и — бессилия.

Не меньше получаса прошло, пока я добрался со своей тачкой до эстакады. Эстакада невысокая, в ней всего метр, настил из толстых досок. Есть яма — бункер, в огороженный этот бункер-воронку надо ссыпать грунт.

Под эстакадой ходят железные вагонетки, и вагоны по канату уплывают на бутару — на промывочный прибор, где под струей воды промывается грунт и на дно колоды оседает золото. Вверху на бутаре-колоде метров двадцати длиной работают люди, посыпают лопаточками грунт, бутарят. Бутарят не тачечники, да и к золоту близко пятьдесят восьмую не подпускают. Почему-то работа на бутаре — она полегче, конечно, чем забой, — считалась допустимой только для «друзей народа». Я выбрал время, когда на эстакаде не было тачек и других бригад.

Эстакада невысока. Я работал и на эстакадах высоких — метров десять подъема. Там у въезда на эстакаду стоял специальный человек, помогавший тачечнику вывезти свой груз на вершину, к бункеру. Это — посерьезней. В эту ночь эстакада была маленькой, но все равно не было сил толкать тачку вперед.

Я чувствовал, что я опаздываю, и напряжением последних сил вытолкнул тачку к началу подъема. Но не было сил толкать эту тачку, неполную тачку, вверх. Я, который давно уже ходил по приисковой земле, шаркая подошвами, передвигая ноги, не отрывая подошв от земли, не имея сил сделать иначе — ни выше поднять ногу, ни быстрее. Я давно уже ходил так по лагерю и по забою — под тычки бригадиров, конвоиров, десятников, прорабов, дневальных и надзирателей.

Я почувствовал толчок в спину, несильный, и почувствовал, что падаю вниз с эстакады вместе с тачкой, которую я еще удерживал за ручку, как будто мне было еще надо куда-то ехать, куда-то править, кроме ада.

Меня просто столкнули — большие тачки пятьдесят восьмой шли к бункеру. Это были наши же товарищи, бригада, жившая в соседней секции. Но и бригада и ее бригадир Фурсов хотели только показать, что он-то, и

его бригада, и его большая тачка не имеют ничего общего с таким голодным фашистом, как я.

У бункера стоял прораб нашего участка, вольняшка Петр Бражников, и начальник прииска Леонид Михайлович Анисимов.

И вот я принялся собирать плывун лопатой — это скользкая каменная каша, по тяжести похожая на ртуть, и такое же неуловимое, скользкое, каменное тесто. Лопатой нужно было разрубить на куски и поддеть для того, чтобы закинуть на тачку, [и] было невозможно, не хватало сил, и я руками отрывал куски от этого плывуна, тяжелого, скользкого, драгоценного плывуна.

Рядом стояли Анисимов и Бражников и дожидались, пока соберу все до последнего камушка в тачку. Я подтащил тачку к трапу и начал подъем и снова стал толкать тачку наверх. Начальники были обеспокоены только тем, чтобы я не загородил дорогу другим бригадам. Я снова поставил тачку на трап и пытался вытолкнуть ее на эстакаду.

И снова меня сбили. На этот раз я ждал удара, и мне удалось оттащить тачку в сторону на самом подъеме. Приехали и уехали другие бригады, и я снова начал свой подъем. Я выкатил, опрокинул — груза там было немного, отскреб лопатой с бортов своей тачки остатки драгоценного плывуна и выкатил тачку на обратный трап, на запасной трап, на второй трап, где катили пустые тачки, возвращаемые в золотой забой.

Бражников и Анисимов дождались конца моей работы и стали около меня, пока я давал дорогу порожняку других бригад.

— А где же компенсатор высоты? — тенорком сказал начальник прииска.

— Тут не положено, — сказал Бражников. Начальник прииска был из работников НКВД и овладевал горной специальностью по вечерам.

— Так ведь бригадир не хочет давать человека, пусть, говорит, из бригады доходяг ставят. И Венька Бык не хочет. Крючок, говорит, — это дело не мое на такой эстакаде. Кто это не может вытолкнуть тачку на два метра высоты по отлогому подъему? Враг народа, преступник.

— Да, — сказал Анисимов, — да!

— Ведь он же нарочно падает на наших глазах. Компенсатор высоты тут не нужен.

Компенсатором высоты называли крючника, дополнительного рабочего, который цеплял на подъемах к

бункеру тачку спереди специальным крючком и помогал выдернуть драгоценный груз на эстакаду. Крючки эти были сделаны из бурильных ложечек с метр длиной, ложка была в кузнице расплющена, согнута и превращена в крючок.

Наш бригадир не хотел давать человека, чтобы помогать чужим бригадам.

Можно было возвращаться в забой.

Тачечник обязан чувствовать тачку, центр тяжести тачки, ее колесо, ось колеса, направление колеса. Колесо ведь тачечник не видит — и в дороге, и с грузом, и назад. Он должен чувствовать колесо. Колеса тачки бывают двух типов: одно с более тонкой полосой круга и шире диаметром, другое с более широкой полосой. В полном соответствии с законом физики первое — легче на ходу, зато второе — более устойчиво.

В колесо вставляется чека, смазывается дегтем, солидолом, колесной мазью и вставляется наглухо в отверстие у подошвы тачки. Тачку надо смазывать аккуратно.

Обычно бочки с этой смазкой стоят у инструменталок.

Сколько же сотен тысяч тачек разбито за золотой сезон на Колыме? Сведения о десятках тысяч есть лишь по одному очень маленькому управлению.

В дорожном управлении, где золото не добывают, пользуются теми же тачками, большими и малыми. Камень везде камень. Кубометр везде кубометр. Голод везде голод.

Сама трасса — это своеобразный центральный трап колымского золотого края. В сторону от трассы отходят отростки — каменные отростки дорог с двусторонним движением, — на центральной трассе движение в восемь рядов машин, связывающих прииски, рудники с трассой.

Трасса до Неры в прямом направлении тысяча двести километров, а с дорогой в Делянкир-Кулу — Тенькинском направлении — и больше двух тысяч километров.

Но во время войны на трассу пришли бульдозеры. Еще раньше экскаваторы.

В 1938 году экскаваторов не было.

Было отстроено шестьсот километров трассы за Ягодный, дороги к приискам Южного и Северного управлений уже были построены. Колыма уже давала золото, начальство уже получало ордена.

Все эти миллиарды кубометров взорванных скал, все эти дороги, подъезды, пути, установка промывочных приборов, возведение поселков и кладбищ — все это сделано от руки, от тачки и кайла.

<1972>

ЦИКУТА

Условились так: если будет отправка в спецлаг «Берлаг» — все трое покончат с собой, в номерной этот мир не поедут.

Обычная лагерная ошибка. Каждый лагерник держится за пережитый день, думает, что где-то вне его мира есть места и похуже, чем то, где он переночевал ночь. И это верно. Такие места есть, и опасность переместиться туда всегда над головой арестанта, ни один лагерник не стремится куда-то уехать. Даже ветры весны не приносят желания перемен. Перемена всегда опасна. Это один из важных уроков, усвоенных человеком в лагере.

Верят в перемены не побывавшие в лагере. Лагерник против всяких перемен. Как ни плохо здесь — там за углом может быть еще хуже.

Поэтому решено умереть в решительный час.

Художник-модернист Анти, эстонец, поклонник Чюрлениса, говорил по-эстонски и по-русски. Врач без диплома Драудвилас, литовец, студент пятого курса, любитель Мицкевича, говорил по-литовски и по-русски. Студент второго курса медфака Гарлейс говорил по-латышски и по-русски.

Договаривались о самоубийстве все трое прибалтов на русском языке.

Анти, эстонец, был мозгом и волей этой прибалтийской гекатомбы.

Но как?

Письма нужны ли? Завещания? Нет. Анти был против писем, да и Гарлейс тоже. Драудвилас «за», но друзья убедили его, что, если попытка не удастся, письма будут обвинением, осложнением, требующим объяснения на допросе.

Решили писем не оставлять.

Все трое давно попали в эти списки, и всем было известно: их ждет номерной лагерь, спецлаг. Все трое решили не испытывать больше судьбы. Драудвиласу как

врачу спецлагерь ничем не грозил. Но литовец вспомнил, как трудно было ему попасть на медицинскую работу в обыкновенном-то лагере. Нужно было случиться чуду. Так же думал и Гарлейс, а художник Анти понимал, что его искусство хуже даже, чем искусство актера и певца, и наверняка не будет нужно в лагере, как не было нужно до сих пор.

Первый способ самоубийства — броситься под пули конвоя. Но это ранение, побои. Кого там застрелят сразу? Лагерные стрелки вроде солдат короля Георга из пьесы Бернарда Шоу «Ученик дьявола» и могут промахнуться. Надежды на конвой не было, и вариант этот — отпал.

Утопиться в реке? Колыма — рядом, но сейчас зима, и где найти дыру, чтоб просунуть тело. Трехметровый лед затягивает проруби на глазах почти мгновенно. Найти веревку — просто. Способ надежный. Но где подвеситься самоубийце — на работе, в бараке? Нет такого места. Спасут и опозорят навсегда.

Стреляться? У заключенных нет оружия. Напасть на конвой — еще хуже, чем бежать от конвоя, — мученье, а не смерть.

Вскрыть вены, как Петроний, и совсем невозможно. Нужна теплая вода, ванна, а то останешься инвалидом со скрюченной рукой — инвалидом, если доверишься природе, собственному телу.

Только отрава — чаша цикуты, вот надежный способ.

Но что будет цикутой? Ведь цианистого калия не достать. Но ведь больница, аптека — это хранилище ядов. Яд идет по болезни, уничтожая больное, давая место жизни.

Нет, только отрава. Только чаша цикуты — сократовский смертный кубок.

Цикута нашлась, а Драудвилас и Гарлейс ручались за ее достоверное действие.

Это — фенол. Карболовая кислота в растворе. Сильнейший антисептик, постоянный запас которого хранится в тумбочке того же хирургического отделения, где работают Драудвилас и Гарлейс.

Драудвилас показал эту заветную бутылку Анти — эстонцу.

— Как коньяк, — сказал Анти.

— Похож.

— Я сделаю этикетку «Три звездочки».

Спецлаг собирает свои жертвы раз в квартал. Устраиваются просто облавы, ибо даже в таком учрежде-

нии, как Центральная больница, есть места, где можно «затыркаться», переждать грозу. Но если ты не способен затыркаться, ты должен одеться, собрать вещи, рассчитаться с долгами, сесть на скамью и терпеливо ждать, не обрушится ли потолок над головой приехавших или, в другом варианте, — над твоей. Ты должен покорно ждать, не оставит ли начальник больницы — не выпросит ли у покупателей товар, начальнику нужный, а покупателю — безразличный.

Пришел этот час или день, и выясняется, что никто тебя спасти и отстоять не может, ты все еще в списках «на этап».

Тогда наступает время цикуты.

Анти взял из рук Драудвиласа бутылку и прикрепил на ней коньячную этикетку, поскольку Анти вынужден был быть художником-реалистом, упрятав свои модернистские вкусы на дне души.

Последней работой поклонника Чюрлениса была коньячная этикетка «Три звездочки» — чисто реалистическое изображение. Таким образом Анти в последний момент отступил перед реализмом. Реализм оказался дороже.

— А зачем три звездочки?

— Три звездочки — это мы трое, аллегория, символ.

— Что же ты так натуралистически изобразил эту аллегорию? — пошутил Драудвилас.

— Так ведь если войдут, если схватят, объясним — пьем коньяк на прощанье, по консервной банке.

— Умно.

И действительно, вошли, но не схватили. Анти успел сунуть бутылку в аптечный шкаф и вынул ее, едва вошедший стражник ушел.

Анти разлил по кружкам фенол.

— Ну, ваше здоровье!

Анти выпил, выпил и Драудвилас. А Гарлейс хлебнул, но не проглотил, а выплюнул, и через тела упавших добрался до водопровода, прополоскал водой обожженный свой рот. Драудвилас и Анти корчились и хрипели. Гарлейс пытался сообразить, что же ему придется сказать на следствии.

Пролежал Гарлейс в больнице два месяца — обожженная гортань восстановилась. Через много лет в Москве Гарлейс был у меня проездом. Уверял меня клятвенно, что самоубийство — трагическая ошибка, что коньяк «Три звездочки» был настоящий, что Анти спу-

тал бутылку с коньяком в аптечном шкафу и вынул похожую бутылку с фенолом, со смертью.

Следствие тянулось долго, но Гарлейс не был осужден, был оправдан. Бутылка с коньяком никогда не была найдена. Трудно судить, кому дана в виде премии, если существовала. Следователь ничего не имел против версии Гарлейса, чем мучиться, добиваясь признания, сознания и прочего. Гарлейс предлагал следствию разумный и логический выход. Драудвилас и Анти, организаторы прибалтийской гекатомбы, никогда не узнали, говорили о них много или мало. А говорили о них много.

Свою медицинскую специальность Гарлейс за это время изменил, сузил. Он оказался зубным протезистом, овладел этим доходным ремеслом.

Гарлейс был у меня, ища юридического совета. Ему не разрешили прописку в Москве. Разрешили только в Риге, на родине жены. Жена Гарлейса тоже врач, москвичка. Дело в том, что, когда Гарлейс писал заявление о реабилитации, он попросил совета у одного из своих колымских друзей, рассказав подробно все свое латышское юношеское дело, вроде скаутизма и чего-то еще.

— Я попросил совета, спросил: писать ли все. И мой лучший друг сказал: «Пиши всю правду. Все, как было дело». Я так и написал и не получил реабилитации. Получил только разрешение на жительство в Риге. Как он меня подвел, мой лучший друг...

— Он не подвел вас, Гарлейс. Это вам понадобился совет по делу, по которому нельзя советовать. При всяком другом его ответе что бы вы делали? Ваш друг мог думать, что вы — шпион, стукач. А если вы не стукач, то зачем ему рисковать. Вы получили тот единственный ответ, который может быть дан на ваш вопрос. Чужая тайна гораздо тяжелее, чем своя.

1973

ДОКТОР ЯМПОЛЬСКИЙ

В воспоминаниях моих военного времени часто будет встречаться фамилия доктора Ямпольского. Судьба нас сводила неоднократно в штрафных участках Колымы во время войны. После войны я сам работал фельдшером после окончания медицинских курсов в Магада-

не в 1946 году и с деятельностью доктора Ямпольского, как практикующего врача и начальника санитарной части прииска, встречаться перестал.

Доктор Ямпольский был не доктор и не врач. Москвич, осужденный по какой-то бытовой статье, Ямпольский в заключении быстро сообразил, какую прочность дает медицинское образование. Но времени, чтобы получить врачебное или хотя бы фельдшерское образование, у Ямпольского не было.

Ему удалось с больничной койки, меряя температуру больного, санитаром, убирая палаты, ухаживая за тяжело больными, выполнять обязанности фельдшера-практика. Это — не запрещено и на воле, а в лагере открывает большие перспективы. Фельдшерский опыт — опыт легкий, а людям при вечном недостатке медицинских кадров в лагерях — это кусок хлеба надежный.

Среднее образование у Ямпольского было, поэтому из объяснений врача он кое-что улавливал.

Практика под руководством врача, не одного, а нескольких, ибо медицинские начальники Ямпольского менялись, увеличивала и знания, а самое главное — росла самоуверенность Ямпольского. Это не была чисто фельдшерская самоуверенность, они, как известно, про себя знают, что у больных пульса нету, и все же щупают руку, считают, сверяют с часами — самоуверенность, давно ставшая анекдотом.

Ямпольский был умнее. Он уже несколько лет фельдшерил и понимал, что фонендоскоп не откроет ему никаких тайн при аускультации, если у него не будет медицинских знаний.

Фельдшерская карьера в заключении дала Ямпольскому спокойно пережить срок заключения, благополучно его окончить. И вот тут, на важном распутье, Ямпольский наметил для себя вполне безопасный, юридически оправданный план жизни.

Ямпольский решил остаться медиком после заключения. Но не затем, чтобы получить врачебное образование, а затем, чтобы войти в кадровые списки именно медиков, а не счетных работников или агрономов.

Ямпольскому, как бывшему зэка, не полагалось надбавки, но он и не думал о длинном рубле.

Длинный рубль был уже обеспечен самой врачебной ставкой.

Но если фельдшер-практик может работать фельдшером под руководством врача, то кто будет руководить врачебной работой врача?

В лагере и на Колыме, и везде есть административная должность начальника санитарной части. Поскольку 90% врачебной работы состоит из писанины, то по идее такая должность должна высвободить время для специалистов. Это административно-хозяйственная, канцелярская должность. Хорошо, если ее занимает врач, но если не врач — тоже не беда, если это человек энергичный, понимающий толк в организации дела.

Такие все начальники больниц, начальники санитарных частей — санитарные врачи, а то и просто начальники больниц. Ставки у них побольше, чем получает врач-специалист.

Вот к этой-то должности и устремил помыслы Ямпольский.

Лечить он не умел и не мог. Смелости у него хватало. Он брался за ряд врачебных должностей, но всякий раз оттеснялся на позиции начальника санчасти, администратора. В этой должности он был неуловим для всякой ревизии.

Смертность велика. Ну что ж! Нужен специалист. А специалиста нет. Значит, придется оставить доктора Ямпольского на своем месте.

Постепенно от должности к должности Ямпольский неизбежно набирался и врачебного опыта, а главное — научился уменью вовремя промолчать, уменью вовремя написать донос, информировать.

Все это было бы неплохо, если бы вместе не росла у Ямпольского ненависть ко всем доходягам вообще и к доходягам из интеллигенции в особенности. Вместе со всем лагерным начальством Колымы Ямпольский видел в каждом доходяге — филона и врага народа.

И, не умея понять человека, не желая ему верить, Ямпольский брал на себя большую ответственность посылать в колымские лагерные печи — то есть на мороз в 60 градусов — доходивших людей, которые в этих печах умирали. Ямпольский смело брал на себя свою долю ответственности, подписывая акты о смерти, заготовленные начальством, даже сам эти акты писал.

Впервые я встретился с доктором Ямпольским на прииске «Спокойном». Расспросив больных, доктор в белом халате с фонендоскопом через плечо выбрал меня для санитарной должности — мерить температуру, убирать палаты, ходить за тяжело больными.

Все это я уже умел по своему опыту в «Беличьей» — в начале моего трудного медицинского пути. После того

как я «дошел», был с пеллагрой положен в районную больницу Севера и неожиданно выздоровел, поднялся, остался там санитарить, а потом был низвержен высшим начальством на этот же самый «Спокойный» — и заболел, у меня была «температура», — доктор Ямпольский, исследовавший мое устное колымское досье, ограничился медицинской стороной дела, понимая, что я не обманывал и не путал в именах-отчествах больничных врачей, сам предложил мне санитарить.

Я же был тогда в таком состоянии, что и санитарить не мог. Но пределы человеческой выносливости неисповедимы — я стал мерить температуру, получив в руки драгоценность — настоящий градусник, и стал заполнять температурные листки.

Как ни скромен был мой опыт в больнице, я ясно понимал, что в больнице лежат только умирающие.

Когда опухшего гиганта лагерника, раздутого от отеков и никак не согревающегося, заталкивали в теплую ванну, то и в ванне дистрофик не мог согреться.

На всех этих больных заполнялись истории болезни, записывались какие-то назначения, которые никем не исполнялись. Ничего в аптеке санчасти не было, кроме марганцовки. Ее-то и давали, то внутрь в слабом растворе, то как повязку на цинготные и пеллагрозные раны.

Возможно, что это и не было самым худшим лечением по существу, но на меня производило угнетающее впечатление.

В палате лежали шесть или семь человек.

И вот этих-то завтрашних, а то и сегодняшних мертвецов ежедневно посещал начальник санитарной части прииска из вольнонаемных доктор Ямпольский в белоснежной рубашке, в отглаженном халате, в сером вольном костюме, который врачу подарили блатари за то, что он отправил их в Центральную больницу на Левый берег, здоровых, а этих мертвецов оставил у себя.

Тут-то я и встретил махновца Рябоконя.

Доктор в сверкающем накрахмаленном халате прохаживался вдоль восьми топчанов с матрацами, набитыми ветками стланика, хвойными иглами, стертыми в песок, в зеленый порошок, и сучьями, выгибавшимися как живые или по крайней мере мертвые человеческие руки, такие же худые, такие же черные.

На этих матрацах, покрытых выношенными десятисрочными одеялами, не умевшими удержать даже капли тепла, не могли согреться ни я, ни мои умирающие соседи — латыш и махновец.

Доктор Ямпольский объявил мне, что начальник велел ему строить свою больницу хозяйственным способом, и вот мы — он и я — завтра начнем это строительство. «Ты пока будешь на истории болезни».

Предложение меня не радовало. Мне хотелось только смерти, но на самоубийство я не решался, а тянул, тянул день за днем.

Увидев, что я вовсе не могу помогать ему в его строительных планах — бревна, даже тонкие палки я толкать не мог, а просто сидел (хотел написать — на земле, но на Колыме не сидят на земле — из-за вечной мерзлоты, там это не принято из-за возможности летального исхода) на каком-то бревне, на валежнике сидел и смотрел на своего начальника и на его упражнение по окорке бревна — балана, — Ямпольский держать меня в больнице не стал, а сразу же взял другого санитара, и нарядчик прииска «Спокойный» послал меня в помощь углежогу.

У углежога я проработал несколько дней, а потом ушел на какую-то другую работу, а потом встреча с Лешей Чекановым придала моей жизни смертный вращательный ход.

В Ягодном во время дела об отказах, прекращенного дела, мне удалось связаться с Лесняком, моим ангеломхранителем на Колыме. Не то что Лесняк был единственным хранителем назначенной мне судьбы — для этого сил Лесняка и его жены, Нины Владимировны Савоевой, не могло хватить — это понимали мы все трое. Но все-таки попытка не пытка — сунуть палку в колеса этой смертной машины.

Но я, человек «дерзкий на руку», как говорят блатари, предпочитаю рассчитаться с моими врагами раньше, чем отдать долг друзьям.

Сначала очередь грешников, потом праведников. Поэтому Лесняк и Савоева уступают место подлецу Ямпольскому.

Так, очевидно, и надо. У меня рука не поднимется, чтобы прославить праведника, пока не назван негодяй. После этого отнюдь не лирического, но необходимого отступления возвращаюсь к рассказу о Ямпольском.

Когда я вернулся на «Спокойный» из следственного изолятора, для меня, конечно, были закрыты все двери в санчасти, свой лимит внимания я уже исчерпал до дна, и, встретив меня в зоне, доктор Ямпольский отвернул голову в сторону, будто он никогда меня и не видал.

Но доктор Ямпольский получил уже письмо еще до нашей встречи в зоне, письмо от вольнонаемной начальницы районной больницы доктора Савоевой, договорницы и члена партии, где Савоева просила оказать мне помощь — Лесняк сообщил ей о моем положении, — попросту направить в районную больницу как больного. Больным я и был.

Письмо это было привезено на «Спокойный» кем-то из врачей.

Доктор Ямпольский, не вызывая меня, не рассказывая ничего мне, просто передал письмо Савоевой начальнику ОЛПа Емельянову. То есть сделал донос на Савоеву.

Когда я, также извещенный об этом письме, загородил дорогу Ямпольскому в лагере и, разумеется, в самых почтительных выражениях, как мне подсказывал лагерный опыт, осведомился о судьбе этого письма, Ямпольский сказал, что письмо передал, вручил начальнику ОЛПа, и я должен обращаться туда, а не в санчасть к Ямпольскому.

Я не стал долго ждать, записался на прием к Емельянову. Начальник ОЛПа меня немного знал и лично — мы вместе шли в буран открывать этот прииск — одним переходом, — ветер валил всех с ног, вольных, заключенных, начальников и работяг. Меня он, конечно, не помнил, но отнесся к письму главврача как к вполне нормальной просьбе.

— Отправим, отправим.

И через несколько дней я попал на «Беличью» — через лесную командировку Ягодинского ОЛПа, где фельдшером был некий Эфа, тоже практик, как почти все колымские фельдшера. Эфа согласился известить Лесняка о моем приезде. «Беличья» находится в шести километрах от Ягодного. Тем же вечером пришла машина из Ягодного, и я попал в третий, и последний, раз в Северную районную больницу — ту самую, где снимали год назад с моих рук перчатки для истории болезни.

Здесь я работал культоргом вполне официально, если на Колыме бывает какая-то официальность. Здесь я читал больным газеты до конца войны, до весны сорок пятого года. А весной сорок пятого года главврача Савоеву перевели на другую работу, и больницу приняла новый главврач, с искусственным не то правым, не то левым глазом, по прозвищу Камбала.

Эта Камбала немедленно сняла меня с работы и в тот же вечер с конвоем отправила на комендантский

ОЛП в Ягодное, где той же ночью я был отправлен на заготовку столбов для высоковольтной линии на ключ Алмазный. События, происходившие там, описаны мной в очерке «Ключ Алмазный».

Там хотя и не было конвоя, условия были нечеловеческими, редкостными даже для Колымы.

Не выполнившим суточной нормы там просто не давали хлеба. Вывешивали списки, кому хлеба завтра по сегодняшней выработке не дадут.

Я много видал произвола, но таких вещей не видал никогда и нигде. Когда я сам попал в эти списки, я не стал ждать, а бежал, ушел пешком в Ягодный. Побег мой удался. Его можно было назвать и самовольной отлучкой — ведь я ушел не «во льды», а явился в комендатуру. Меня опять посадили и опять завели следствие. И опять государство рассудило, что новый мой срок еще слишком рано начат.

Но на этот раз я не вышел на пересылку, а получил перевод в спецзону Джелгала — ту самую, где год назад меня судили. Обычно в то место, откуда привезли на суд, — не возвращают после суда. Тут было иначе, по ошибке, что ли.

Я вошел в те же ворота, поднялся на ту же самую гору прииска, где я уже был и получил десять лет.

Ни Кривицкого, ни Заславского в Джелгале уже не было, и я понял, что начальство со своими сотрудниками рассчитывается честно, не ограничиваясь окурками и миской баланды.

Внезапно обнаружилось, что у меня в Джелгале есть очень сильный враг из вольнонаемного состава. Кто же? Новый начальник санитарной части прииска доктор Ямпольский, который только что переведен сюда на работу. Ямпольский всем кричал, что он меня хорошо знает, я стукач — ему известный, что о моей судьбе было даже личное письмо вольнонаемного врача Савоевой, что я лодырь, филон, осведомитель по лагерной профессии, чуть не сгубивший несчастных Кривицкого и Заславского.

Письмо Савоевой! Несомненный стукач! Но он, Ямпольский, получил указание смягчить мою участь от высшего начальства и выполнил приказ, сохранил жизнь этого негодяя. Но здесь-то, в спецзоне, он, Ямпольский, мне пощады не даст.

Ни о какой медицинской работе не могло быть и речи, и я в очередной раз приготовился к смерти.

Это было осенью 1945 года. Вдруг Джелгалу закрыли. Спецзона с ее продуманной географией и топографией понадобилась, и понадобилась срочно.

Весь «контингент» перебрасывали на Запад, в Западное управление под Сусуман, и пока ищут место для спецзоны — разместят в Сусуманской тюрьме.

На Джелгалу направляли репатриантов — первый заграничный улов прямо из Италии. Это были русские солдаты, служившие в итальянских войсках. Те самые репатрианты, которые после войны последовали призыву вернуться на родину.

На границе их эшелоны были окружены конвоем, и все они прошли экспрессом Рим — Магадан — Джелгала.

Все, хотя и не сохранившие ни белья, ни золотых вещей, — все променяли на хлеб по дороге, но все еще в форме итальянской. Еще бодрились. Кормили их так же, как нас, тем же, что и нас. После первого обеда в лагерной столовой один наиболее любознательный итальянец спросил меня:

— Почему ваши все в столовой едят суп и кашу, а хлеб, пайку хлеба, держат в руках и уносят с собой? Почему?

— Все это ты сам поймешь через неделю, — сказал я.

С этапом спецзоны увезли и меня — в Сусуман, в малую зону. Там я попал в больницу и с помощью врача Андрея Максимовича Пантюхова попал на фельдшерские курсы для заключенных в Магадане, точнее, на 23-м километре трассы.

Вот этими-то курсами, которые я благополучно закончил, и делилась моя колымская жизнь пополам: с 1937 по 1946 год — десять лет скитаний от больницы до забоя и обратно с добавкой срока в 10 лет в 1943 году. И с 1946 по 1953-й — когда я работал фельдшером, освободился в 1951 году по зачетам рабочих дней.

После 1946 года я понял, что в самом деле остался в живых и что доживу до срока и дальше срока, что задачей будет — в качестве основного — продолжать жить и дальше, как жил все эти четырнадцать лет.

Я поставил себе не много правил, но выполняю их, выполняю и сейчас.

1970—1971

ПОДПОЛКОВНИК ФРАГИН

Подполковник Фрагин, начальник спецотдела, был разжалованный милицейский генерал. Генерал-майор московской милиции, успешно боровшийся с троцкизмом на всем своем доблестном пути, надежный работник СМЕРШа во время войны. Маршал Тимошенко, ненавидевший евреев, разжаловал Фрагина в подполковники и предложил демобилизоваться. Большие пайки, чины и перспективы, несмотря на разжалование, были только на лагерной работе — только там героям войны сохраняли чины, должности и пайки. После войны генерал милиции стал подполковником в лагерях. У Фрагина была большая семья, на Дальнем Севере ему приходилось искать работу, где семейные дела нашли бы свое удовлетворительное решение: ясли, детсад, школа, кино.

Так Фрагин попал на Левый берег в больницу для заключенных на должность не кадровика, как хотелось ему и начальству, а начальника КВЧ — культурно-воспитательной части. Его уверили, что он справится с воспитанием заключенных. Уверения были основательными. Хорошо понимая, какое пустое место всякое КВЧ, что это синекурное дело, назначение Фрагина было принято с одобрением, в лучшем случае с безразличием. Да и в самом деле, седовласый, с вьющимися кудрями подполковник, элегантный, с всегда чистым подворотничком, надушенный каким-то дешевым, но не тройным, одеколоном, был гораздо симпатичнее, чем младший лейтенант Живков, предшественник Фрагина на посту начальника КВЧ.

Живков не интересовался ни концертами, ни кино, ни собраниями, а всю свою активную деятельность сосредоточил и благополучно разрешил вокруг вопроса брачного. Живков — холостяк, здоровяк и красавец — жил сразу с двумя заключенными женщинами. Обе они работали в больнице. В больнице, как в глухом тверском селе, нет секретов — все всё знают. Одна его приятельница была блатарка, «завязавшая» и перешедшая в мир «фраеров», смелая красавица из Тбилиси. Неоднократно блатари пытались урезонить Тамару. Все было бесполезно. И на все приказания «паханов» явиться туда-то для исполнения своих классических обязанностей Тамара отвечала руганью и смехом, отнюдь не трусливым молчанием.

Вторая пассия Живкова была медсестрой-эстонкой по пятьдесят восьмой статье, белокурой красоткой в

резко немецком стиле — полной противоположностью смуглянке Тамаре. Ничего похожего по внешности не было у этих двух женщин. Обе очень любезно принимали ухаживания младшего лейтенанта. Живков был человек щедрый. Тогда было трудно с пайками. Вольнонаемным выдавали в определенные дни продукты, и Живков приносил в больницу всегда две одинаковые связки — одну Тамаре, а другую эстонке. Известно было, что и любовные посещения делаются Живковым в один день, чуть ли не в один и тот же час.

Вот этот Живков, хороший малый, треснул кого-то из заключенных по шее у всех на глазах, но так как начальство — это иной, высший мир, эти толчки не осуждались. Вот его-то и сменил седовласый красавец Фрагин. Фрагин искал место начальника ИСЧ, третьей части, то есть работы по специальности, но такой работы не нашлось. И специалист-кадровик вынужден был заняться культвоспитанием заключенных. Ставка в КВЧ и ИСЧ была одинакова, так что Фрагин тут ничего не терял. Романов с заключенными женщинами седовласый подполковник не заводил. Мы впервые услышали чтение газет и, что еще более важно, услышали личный рассказ о войне участника войны.

До сих пор о войне нам рассказывали власовцы, полицаи, мародеры и те, кто сотрудничал с немцами. Мы понимали разницу в информации, хотелось послушать победителя-героя. Таким для нас и был подполковник, (сделавший) в первом своем собрании заключенных доклад о войне, рассказ о полководцах. Естественно, особый интерес вызывал Рокоссовский. О нем мы были наслышаны давно. Фрагин же как раз из работников СМЕРШа Рокоссовского. Фрагин хвалил Рокоссовского как командира, который ищет боя, однако на главный вопрос — сидел ли Рокоссовский в тюрьме и правда ли, что в его частях блатари, — Фрагин ответа не дал. Это был первый рассказ о войне из живых уст, услышанный мною с января 1937 года, со дня ареста. Помню, я ловил каждое слово. Было это дело летом 1949 года на лесной командировке большой. Среди лесорубов был Андрусенко, белокурый командир танка, участник сражения за Берлин, Герой Советского Союза, осужденный за мародерство, за грабежи в Германии. Нам хорошо был известен юридический рубеж, который рассекает жизнь человека на события до и после даты принятия закона, один и тот же человек при одинаковом поведении сего-

дня герой, а завтра — преступник, и он сам не знает, преступник он или нет.

Андрусенко был осужден на десять лет за мародерство. Закон был только что принят. Лейтенант Андрусенко пал под его ударами — и из советской военной тюрьмы в Берлине был занесен на Колыму. Чем дальше, тем труднее было доказывать, что он истинный Герой Советского Союза, имеющий это звание и ордена. Количество лжегероев все увеличивалось. Аресты и разоблачения авантюристов, возмездие шло тем же потоком, запаздывая на несколько месяцев. В 1949 году у нас был арестован из фронтового начальства главный врач, Герой Советского Союза — не герой и не врач. Жалобы Андрусенко не находили ответа. В отличие от других заключенных, попавших с войны на Колыму, Андрусенко хранил газетную вырезку из фронтовой газеты 1945 года с собственной фотографией. Фрагин, как местный КВЧ, работник СМЕРШа в прошлом, мог оценить искренность и способствовал освобождению Андрусенко.

Я прожил всю жизнь с резко выраженным чувством справедливости, не умею различать масштабы событий. Вот и в этой больнице, в этом звоне имен — Андрусенко, Фрагин — мне больше вспоминается шахматный турнир для заключенных, организованный Фрагиным, с огромной доской, висевшей в вестибюле больницы, — доской хода турнира, где первое место должен был занять, по расчетам Фрагина, Андрусенко, и уже куплен был какой-то приз — подарок. Карманные шахматы были этим призом, вроде кожаного портсигара вещичка. Этот портсигар начальник уже подарил Андрусенко, не дожидаясь конца состязания, а турнир выиграл я. И не получил приза.

Португалов, пытавшийся оказать влияние на начальство, потерпел полный крах, и Фрагин, выйдя к арестантам в коридор, объяснил, что у КВЧ нет средств для приобретения приза. Нет, и все.

Прошла война, победа, свержение Сталина, Двадцатый съезд, резко повернула линия моей жизни — я уже много лет в Москве, а первые послевоенные годы вспоминаю вот этим уколом по самолюбию, фрагинским выпадом по моему адресу. Голод, расстрелы вспоминаются рядом с таким пустяком. Впрочем, Фрагин был способен и не на пустяки.

Я переехал в больницу в приемный покой, и по долгу службы мы чаще с ним встречались. К этому времени

Фрагин с должности КВЧ перешел на УРЧ, на учетную часть, ведающую делами заключенных, и проявил рвение и бдительность. У меня был санитар Гринкевич, хороший парень, явно попавший в лагерь зря, тоже с войны, в этом мутном потоке лжегенералов и скрывающихся блатарей. Дома у Гринкевича много писали заявлений, жалоб, и вот пришел пересмотр дела и отмена приговора. Подполковник Фрагин не вызвал для извещения Гринкевича в свою УРЧ, а явился в мой приемный покой сам и громким голосом прочел Гринкевичу текст полученной бумаги.

— Вот видите, гражданин Шаламов, — сказал Фрагин, — кого нужно — освобождают. Все ошибки исправляют, а кого не нужно — не освобождают. Вы поняли, гражданин Шаламов?

— Вполне, гражданин начальник.

Когда я освободился по зачетам рабочих дней в октябре 1951 года, Фрагин самым решительным образом возражал против моей работы в больнице по вольному найму до весны — до новой навигации. Но вмешательство тогдашнего начальника больницы Н. Винокурова решило дело. Винокуров пообещал отправить меня с этапом весной, в штат не зачислять, а до весны он подберет работника в приемный покой. Такая юридическая возможность была, такой статус существовал.

Освободившиеся из лагеря сохраняли права на бесплатную казенную дорогу этапом на Большую землю. А ехать как договорник слишком дорого — билет до Москвы с Левого берега Колымы стоил более трех тысяч, не говоря уже о ценах на продукты; главное несчастье, главное неудобство в жизни человека — необходимость есть три или четыре раза в день. А в этапе были попутные кормежки, столовые, котлы в бараках транзитно-арестантского типа. Иногда в тех же самых бараках: при путешествии в одну сторону барак называется этапом, при путешествии в другую — «карпунктом» (то есть карантинным пунктом). А бараки одни и те же, и никаких вывесок за загородками из колючей проволоки нет.

Словом, я остался на зиму 1951–1952 года в больнице фельдшером приемного покоя в статусе «находящегося в пути». Весной меня никуда не отправили, и начальник больницы дал мне слово отправить осенью. Но и осенью никуда не отправил.

— Как-никак, — сыпал на дежурстве в приемном покое молодой новый психиатр доктор Шафран, либе-

рал и трепач, сосед подполковника по квартире, — хочешь, я тебе расскажу, почему ты остался в больнице, почему ты не в этапе?

— Расскажи, Аркадий Давыдович.

— Ты уже был в списках, еще с осени, уже машину собирали. И ты бы уехал, если бы не подполковник Фрагин. Он посмотрел твои документы и понял, кто ты такой. «Кадровый троцкист и враг народа» — так сказано в твоих документах. Правда, это колымский меморандум, а не московский. Но ведь из воздуха меморандума не составляют. У Фрагина столичная школа, он сразу понял, что тут надо проявить бдительность, и в результате — только польза.

— Спасибо, что вы мне сказали, доктор Шафран. Запишу в свой поминальник подполковника Фрагина.

— Культура обслуживания, — весело орал Шафран. — Если бы списки готовил какой-нибудь младший лейтенант, а Фрагин — он ведь генерал. Генеральская бдительность.

— Или генеральская трусость.

— Но ведь бдительность и трусость почти одно и то же в наши дни. Да и не в наши, пожалуй, — сказал молодой врач, получивший образование психиатра.

Я подал письменное заявление о расчете, но получил винокуровскую резолюцию: «Уволить по КЗОТу». Таким образом, я терял права «находящегося в пути» и право на бесплатный проезд. Денег у меня заработано не было ни копейки, но, разумеется, я и не думал изменить решение. У меня был на руках паспорт, хоть и без прописки — прописку на Колыме делают иным способом, чем на Большой земле, — все штампы ставятся задним числом, при увольнении. Я надеялся получить в Магадане разрешение на выезд, на включение в ускользнувший от меня год назад этап. Я потребовал документы, выписал первую и единственную свою трудовую книжку, она и сейчас хранится у меня, сложил вещи, распродал все лишнее — полушубок, подушку, сжег свои стихи в дезкамере приемного покоя и стал ловить попутку в Магадан. Ловил эту попутку я недолго.

В ту же ночь меня разбудил подполковник Фрагин с двумя конвоирами, отобрал у меня паспорт, запечатал паспорт в пакет вместе с какой-то бумажкой и вручил пакет конвоиру и протянул руку в пространство:

— Там сдашь его.

Он — это я.

Привыкший за много лет заключения относиться с достаточным уважением к форме «человек с ружьем» и видевший миллионы раз произвол в миллион раз сильнее — Фрагин был только робким учеником своих многочисленных учителей самого высшего ранга, — я промолчал и подчинился оскорбительно беззаконному, неожиданному удару в спину. Наручников мне, правда, не надели, но достаточно ярко показали мне мое место и что такое бывший зэка в нашем серьезном мире. Еще раз проехал я под конвоем эти пятьсот верст до Магадана, которые столько раз проезжал. В райотдел Магадана не приняли меня, и конвоир остался на улице, не зная, куда меня сдать. Я посоветовал конвоиру сдать в отдел кадров санотдела, куда я по смыслу увольнения и должен был быть направлен. Начальник отдела кадров, не помню его фамилию, выразил величайшее удивление такой переброской вольнонаемного состава. Однако он дал конвоиру расписку, вручил мне мой паспорт, и я вышел на улицу под серый магаданский дождь.

<1973>

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

Я первый раз начал свою самостоятельную фельдшерскую работу, приняв фельдшерский участок, где врачи могли быть только наездами, — на Адыгалахе, из Дорожного управления, — первый раз не из-под руки врача, как на Левом берегу в Центральной больнице, где я работал не вполне самостоятельно.

Я был самый главный по врачебной линии. Всего в трех местах было около трехсот человек лагерников, которых я обслуживал. После объезда, поголовных медосмотров всех моих подопечных я наметил себе кое-какой план действий, по которому мне надлежало шагать по Колыме.

В моем списке было шесть фамилий.

Номер один — Ткачук. Ткачук был начальником ОЛПа, где мне предстояло работать. Ткачуку надлежало услышать от меня, что на всех командировках у всех заключенных найдены вши, но что я, новый фельдшер, имею план надежной и быстрой ликвидации всякой вшивости, с полной ответственностью всю прожарку

буду проводить сам, приглашаю любых зрителей. Вши — это давний бич лагерей. Все дезкамеры Колымы, за исключением магаданской транзитки, — все это лишь мучение для заключенных, а не ликвидация вшивости. Я же знал способ верный — научился у банщика на лесной командировке на Левом берегу: прожарка в бензиновых баках горячим паром, ни вшей, ни гнид не остается. Только в каждую бочку можно вкладывать не более пяти комплектов одежды. Это я делал полтора года на Дебине, показал и в Барагоне.

Номер два — Зайцев. Зайцев был заключенный-повар, которого я знал еще по двадцать третьему километру, по Центральной больнице. Сейчас он работал поваром здесь же под моим наблюдением. Ему надо было доказать, взывая к его поварской совести, что из раскладки, которую мы знаем оба, можно получить вчетверо больше блюд, чем выдавалось у нас из-за лености Зайцева. Там не в кражах надзирателей и прочих было дело. Ткачук был человек строгий, не давал спуску ворам, а питание заключенных ухудшал простой каприз повара. Мне удалось убедить Зайцева, пристыдить, Ткачук кое-что ему пообещал, и Зайцев из тех же продуктов стал готовить гораздо больше и даже горячие суп и кашу стал в бидонах возить на производства — невиданная вещь для Кюбюмы и Барагона.

Третий — Измайлов. Был вольнонаемный банщик, стирал белье заключенным, и стирал его плохо. Ни в забой, ни на разведку чрезвычайно здорового физически человека выставить было невозможно. Банщик для заключенных получает гроши. Но Измайлов держался за свою работу, не хотел слушать никаких советов, оставалось только снять его с работы. Большой тайны в его поведении не было. Стирая небрежно заключенным, Измайлов отлично стирал всем вольным начальникам вплоть до уполномоченного, получал за все щедрые подарки — и деньги, и продукты, — но Измайлов ведь был вольнонаемный, и я надеялся, что должность заключенного для этой работы мне удастся отстоять.

Четвертый — Лихоносов. Это был заключенный, которого не оказалось на медосмотре в Барагоне, и так как мне надо было уезжать, я решил не задерживать отъезд из-за одного человека и подтвердить старые формулы по личному делу. Но личного дела Лихоносова в УРЧ не оказалось, и так как Лихоносов работал дневальным, мне надлежало вернуться к этой щекотливой теме.

Я как-то проездом застал Лихоносова на участке и побеседовал с ним. Это был сильный, упитанный, розовощекий человек лет сорока, с блестящими зубами и густой шапкой седых волос и седой окладистой огромной бородой. Возраст? Личное дело Лихоносова интересовало меня именно с этой стороны.

— Шестьдесят пять.

Лихоносов был возрастной инвалид и по своей инвалидности работал дневальным в конторе. Здесь был явный обман. Передо мной был взрослый, здоровый мужчина, который вполне может работать на общих. Срок у Лихоносова был пятнадцатилетний, а статья не пятьдесят восьмая, а пятьдесят девятая, но тоже — по его собственному ответу.

Пятый — Нишиков. Нишиков был мой санитар в амбулатории, из больных. Такой санитар существует во всех амбулаториях лагерных. Но Нишиков был слишком молод, лет двадцати пяти, слишком краснощек. О нем надо было подумать.

Когда я написал номер шесть, в дверь постучали, и порог моей комнаты в вольном бараке переступил Леонов — номер шесть моего списка. Я поставил около фамилии Леонова вопрос и повернулся к вошедшему.

В руках у Леонова были две половые тряпки и таз. Таз, конечно, не казенного образца, а колымский, искусно сделанный из консервных банок. В бане были тоже такие консервные тазы.

— А как тебя пропустили через вахту в такое время, Леонов?

— Они меня знают, я всегда мыл полы у прежнего фельдшера. Тот был очень чистоплотный человек.

— Ну, я не такой чистоплотный. Мыть сегодня не надо. Иди в лагерь.

— А другим вольным?..

— Тоже не надо. Сами вымоют.

— Я хотел попросить вас, гражданин фельдшер, оставьте меня на этом месте.

— А ты ни на каком месте.

— Ну, проводили меня кем-то. Я буду мыть полы, чисто будет, полный порядок, я болен, внутри что-то ноет.

— Ты не болен, ты просто обманываешь врачей.

— Гражданин фельдшер, я боюсь забоя, боюсь бригады, боюсь общих работ.

— Ну, всякий боится. Ты вполне здоровый человек.

— Вы ведь не врач.

— Верно, не врач, но — или завтра на общие работы, или я тебя отправлю в управление. Там пусть врачи тебя осматривают.

— Я предупреждаю вас, гражданин фельдшер, я жить не буду, если меня снимут с этой работы. Я буду жаловаться.

— Ну, хватит болтать, иди. Завтра в бригаду. Перестанешь разбрасывать чернуху.

— Я не разбрасываю чернухи.

Леонов бесшумно закрыл дверь. Под окном прошуршали его шаги, а я лег спать.

На разводе Леонова не оказалось, и, по соображениям Ткачука, наверное, Леонов сел на какую-нибудь попутную машину и давно в Адыгалахе, жалуется.

Часов в двенадцать дня бабьего лета Колымы, отметного ослепительными лучами холодного солнца на ярко-голубом небе, в холодном безветренном воздухе, меня позвали в кабинет Ткачука.

— Пойдем-ка акт составим. Заключенный Леонов покончил с собой.

— Где же?

— В бывшей конюшне висит. Я не велел снимать. Послал за уполномоченным. Ну и ты как медик засвидетельствуешь смерть.

В конюшне повеситься было трудно, тесно. Тело Леонова заняло место двух лошадей, единственное возвышение, на которое он привстал, чтобы сбить ногой опору, был банный тазик. Леонов висел уже давно — обозначился рубец на шее. Уполномоченный, тот самый, которому стирал белье вольнонаемный банщик Измайлов, писал: «Страгуляционная борозда проходит...» Ткачук сказал:

— А вот у топографов есть триангуляция. Это не имеет отношения к страгуляции?

— Никакого, — сказал уполномоченный.

И мы все подписали акт. Заключенный Леонов не оставил письма. Труп Леонова увезли, чтобы привязать ему на левую ногу бирку с номером личного дела и зарыть в камни вечной мерзлоты, где покойник будет ждать до Страшного Суда или до любого другого воскресения из мертвых. И я понял внезапно, что мне уже поздно учиться и медицине, и жизни.

1970

ИВАН БОГДАНОВ

Иван Богданов, однофамилец начальника района на Черном озере, был белокурым сероглазым красавцем атлетического сложения. Богданов был осужден по статье сто девятой — за служебное преступление — на десять лет, но, хорошо разбираясь в ситуации, понимал что к чему в то время, когда головы косила сталинская коса. Богданов понимал, что только чистый случай сохранил его от смертного клейма пятьдесят восьмой статьи.

Богданов работал у нас в угольной разведке бухгалтером, нарочно бухгалтером из заключенных, на которого можно накричать, которому можно приказать заштопать, залатать плохо поставленный учет утечек, вокруг которых кормилось семейство первого начальника района Парамонова и его ближайшего окружения, попавшего под золотой дождь в виде концентратов, полярных пайков и прочего.

Задачей Богданова, так же как и его однофамильца, начальника района, бывшего следователя тридцать седьмого года — о нем я написал в очерке «Богданов» исчерпывающим образом, — было не вскрыть злоупотребления, а, наоборот, залатать все огрехи, привести в достаточно христианский вид.

Заключенных было в районе в 1939 году, когда разведка начиналась, всего пять (в том числе и я — инвалид после бури в золотых забоях 1938 года), и, конечно, ничего из труда заключенных тут выжать не было возможно.

Обычай — эта многовековая лагерная традиция еще со времен Овидия Назона, который, как известно, был начальником ГУЛАГа в Древнем Риме, — говорит, что любые прорехи можно залатать бесплатным принудительным, неоплачиваемым арестантским трудом, который по трудовой стоимости Маркса и составляет главную ценность продукта. На этот раз трудом рабов воспользоваться было нельзя, нас было слишком мало для сколько-нибудь серьезных экономических надежд.

Воспользоваться трудом полурабов-вольняшек, бывших зэкашек, было можно, их было более сорока человек, которым Парамонов обещал, что через год они поедут на материк «в цилиндрах». Парамонов, бывший начальник прииска «Мальдяк», на котором отбывал свои колымские две или три недели, пока не дошел, не

«доплыл», не вступил в ряды доходяг, генерал Горбатов, — Парамонов имел большой опыт «открывать» полярные предприятия, хорошо зная что к чему. В результате Парамонов не попал под суд за произвол, как на «Мальдяке», ибо никакого произвола и не было, а была рука судьбы, размахивавшая смертной косой и уничтожавшая вольных, а главное, заключенных по статье КРТД.

Парамонов оправдался, ибо «Мальдяк», где умирало тридцать человек в день в тридцать восьмом, отнюдь не был худшим местом Колымы.

Парамонов и его заместитель по хозяйственной части Хохлушкин хорошо понимали, что нужно действовать быстро, пока в районе нет учета, нет бухгалтерии, ответственной и квалифицированной.

Это кража — а такая вещь, как пищевой концентрат, как консервы, как чай, как вино, как сахар, делает миллионером любого начальника, который прикоснулся к царству современного колымского Мидаса, — все это Парамонов отчетливо понимал.

Понимал он также, что он окружен стукачами, что любой его шаг будет изучен. Но нахальство — второе счастье, по блатной поговорке, а блатную феню Парамонов знал.

Короче говоря, после его управления, очень гуманного, как бы устанавливающего равновесие после произвола прошлого года, то есть тридцать восьмого года, когда Парамонов был на «Мальдяке», оказалась огромная нехватка из самых, самых мидасовских ценностей.

У Парамонова нашлись возможности откупиться, задарить своих следователей. Его не арестовали, а только отстранили от работы. Наводить порядок явились два Богданова — начальник и бухгалтер. Порядок был наведен, но за все растраты начальников пришлось платить тем самым четырем десяткам вольняшек, которые ничего не получали (как и мы) — получали вдесятеро меньше положенного. Фальшивыми актами обоим Богдановым удалось залатать зияющую на глазах Магадана дыру.

Вот эта задача и была поставлена перед Иваном Богдановым. Его образование — средняя школа и бухгалтерские курсы на воле.

Богданов был односельчанином Твардовского и немало подробностей его истинной биографии рассказывал, но судьба Твардовского мало нас тогда интересовала — были проблемы посерьезней...

Мы сдружились с Иваном Богдановым, и хотя по инструкции бытовик должен возвышаться над лагерником, каким был я, — Богданов на крошечной нашей командировке действовал совершенно иначе.

Иван Богданов был любитель пошутить, послушать «роман», сам рассказать — это с его рассказом вошла в мою жизнь классическая история о брюках жениха. История рассказывалась от первого лица, и суть была в том, что жениху Ивану невеста заказала брюки перед свадьбой. Жених был победнее, семья невесты побогаче, и это был поступок вполне в духе века.

У меня также при моем первом браке по настоянию невесты были сняты все деньги с книжки и заказаны черные брюки лучшего качества у лучшего портного Москвы. Правда, мои брюки не испытали тех превращений, что брюки Ивана Богданова. Но психологическая правда, достоверность документа была в богдановском эпизоде с брюками.

Сюжет богдановских брюк в том, что перед свадьбой невеста заказала ему костюм. И костюм был сшит за сутки перед свадьбой, но брюки были сантиметров на десять длиннее. Решили завтра отвезти портному. Мастер жил за несколько десятков километров — день свадьбы был назначен, гости позваны, пироги испечены. Свадьба срывалась из-за этих брюк. Сам-то Богданов согласился явиться на свадьбу и в старом, но невеста и слышать не хотела об этом. Так в спорах и упреках разошлись по домам жених и невеста.

А за ночь произошло следующее. Жена решила исправить ошибку портного самолично и, отрезав на десять сантиметров брюки будущего мужа, радостная, улеглась спать и заснула крепким сном верной жены.

В это время проснулась теща, для которой эта проблема имела то же решение. Теща встала, орудуя сантиметром и мелом, отрезала еще десять сантиметров, прогладила понадежней складки и загиб и заснула крепким сном верной тещи.

Катастрофа была обнаружена самим женихом, у которого брюки были убавлены на двадцать сантиметров и испорчены безнадежно. Пришлось гулять свадьбу в старых, что, собственно, и предлагал жених.

Потом я это все читал не то у Зощенко, не то у Аверченко, не то в каком-то московском Декамероне. Но впервые этот сюжет возникает в моей жизни именно в бараках Черного озера в угольной разведке Дальугля.

У нас освободилось место ночного сторожа — весьма важная проблема, возможность благостного существования на длительный срок.

Сторож был вольнонаемный, вольняшка, а теперь это завидное место.

— Чего же ты не просился на это место? — спросил Иван меня вскоре после этих важных событий.

— Мне не дадут такого места, — сказал я, вспомнив тридцать седьмой и тридцать восьмой годы, когда я на «Партизане» обратился к начальнику КВЧ вольнонаемному Шарову с просьбой дать мне какой-нибудь заработок по писательской части.

— Этикетки к консервным банкам ты и то не будешь у нас писать! — радостно возгласил начальник КВЧ, живо мне напомнив беседу с товарищем Ежкиным в Вологодском РОНО 1924 года.

Начальник КВЧ Шаров был арестован и расстрелян по берзинскому делу через два месяца после этого разговора, но я себя не воображаю духом из «Тысячи и одной ночи», хотя все, что я видел, превышает воображение персиан, равно как и других наций.

— Мне не дадут такой работы.

— Почему же?

— У меня КРТД.

— Десятки моих знакомых в Магадане, такие же КРТД, получали такую работу.

— Ну, тогда, значит, действует лишение права переписки.

— А что это такое?

Я объяснил Ивану, что в каждое личное дело отправленного на Колыму вложена вкладка типографского шрифта с пустым местом для фамилии и прочих установочных данных: 1) лишить права переписки, 2) использовать исключительно на тяжелых физических работах. Вот этот второй пункт был главный, право переписки по сравнению с этим указанием было пустяком, воздушным шаром. Дальше шли указания: не давать пользоваться аппаратом связи — явная тавтология, если толковать о праве переписки содержащихся в особорежимных условиях.

Последний пункт — каждому начальнику лагерного подразделения извещать о поведении имярек не реже одного раза в квартал.

— Только я не видел такой вкладки. Я ведь смотрел твое дело, я по совместительству еще и завУРЧ нынче.

Потом прошел день, не больше. Я работал в забое, на закопушке на склоне горы, вдоль ручья, на Черном озере. Разводил костер от комаров и не очень следил за тем, чтобы выполнять норму.

Кусты раздвинулись, и к закопушке моей подошел Иван Богданов, сел, закурил, порылся в карманах.

— Это, что ли?

В его руках был один из двух экземпляров пресловутого лишения «права переписки», выдранный из личного дела.

— Конечно, — раздумчиво сказал Иван Богданов, — личное дело составляется в двух экземплярах: один хранится в центральной картотеке УРО, а второй путешествует по всем ОЛПам и их закоулкам вместе с заключенным. Но все-таки ни один местный начальник не будет запрашивать Магадан, есть ли в твоем деле бумажка о лишении права переписки.

Богданов показал мне еще раз бумажку и сжег ее на огне моего маленького костра.

— А теперь подавай заявление о стороже.

Но сторожем меня все же не взяли, а дали эту должность Гордееву, эсперантисту с двадцатилетним сроком по пятьдесят восьмой статье, но стукачу.

Через короткое время Богданов — начальник района, а не бухгалтер — был снят за пьянство, и место его занял инженер Виктор Плуталов, впервые организовавший работу в нашей угольной разведке по-деловому, по-инженерному, по-строительному.

Если правление Парамонова знаменовалось хищениями, а правление Богданова — преследованием врагов народа и беспробудным пьянством, то Плуталов впервые показал, что такое фронт работы — не донос, а именно фронт работы, количество кубометров, которое каждый может выкопать, если работает и в ненормальных колымских условиях. Мы же знали только унизительность бесперспективного труда, многочасового, бессмысленного.

Впрочем, мы, наверное, ошибались. В нашем подневольном принудительном труде от солнца до солнца — а знающий привычки полярного солнца знает, что это такое, — был скрыт какой-то высокий смысл, государственный смысл именно в бессмысленности труда.

Плуталов пытался показать нам другую сторону нашей же собственной работы. Плуталов был человеком новым — только что приехал с материка.

Любимой его поговоркой было: «Я ведь не работник НКВД».

К сожалению, наша разведка угля не нашла, и район наш закрыли. Часть людей отправили на Хету (где тогда дневалил Анатолий Гидаш) — Хета в семи километрах от нас, — а часть на Аркагалу, в шахту Аркагалинского угольного района. На Аркагалу уехал и я, и уже через год, гриппуя в бараке и боясь попросить освобождения у Сергея Михайловича Лунина, покровителя лишь блатарей и тех, кому благоволит начальство, я перемогался, ходил в шахту, переносил грипп на ногах.

Вот тут-то в гриппозном бреду аркагалинского барака мне страстно захотелось луку, которого я не пробовал с Москвы, и хотя никогда не был поклонником луковой диеты — неизвестно, по каким причинам мне приснился этот сон со страстной жаждой укусить луковицу. Легкомысленный сон для колымчанина. Так я и рассудил при пробуждении. Но проснулся я не со звоном рельса, а, как и часто было, за час до развода.

Рот мой был наполнен слюной, призывающей лук. Я подумал, что, если бы случилось чудо — явилась луковица, я бы поправился.

Я встал. Вдоль всего барака стоял у нас, как и везде, длинный стол с двумя скамейками вдоль стола.

Спиной ко мне в бушлате и полушубке сидел какой-то человек, который повернулся ко мне лицом. Это был Иван Богданов.

Мы поздоровались.

— Ну, хоть чайку попьем для встречи, а хлебушек у каждого свой, — сказал я и пошел за кружкой. Иван достал свою кружку, хлеб. Мы начали чаепитие.

— Черное озеро закрыли, даже сторожа нет. Все, уехали. Я как учетчик в самой последней партии и сюда. Я думал, что у вас получше с продуктами. Понадеялся, мог бы набрать консервов. У меня в мешке на дне только с десяток луковиц — не было куда девать, я их в мешок.

Я побледнел.

— Лук?

— Ну да, луковицы. Что ты так психуешь?

— Давай сюда!

Иван Богданов вывернул мешок. Штук пять луковиц застучали по столу.

— У меня было больше, да я по дороге роздал.

— Не важно сколько. Лук! Лук!

— Да что у вас тут, цинга, что ли?

— Не цинга, да тебе я потом расскажу. После чая.

Я всю свою историю рассказал Богданову.

Потом Иван Богданов работал по специальности в бухгалтерии лагеря и на Аркагале встретил войну. Аркагала была управлением района — свидания бытовика и литерки пришлось прекратить. Но иногда мы видались — рассказывали друг другу кое-что.

В сорок первом году, когда над моей головой грянул первый гром в виде попытки навязать фальшивое дело об аварии в шахте, — попытка сорвалась из-за неожиданного упрямства моего напарника, который и совершил аварию, черноморского матроса, бытовика Чудакова, и когда Чудаков, отсидев три месяца в изоляторе, вышел на волю, то есть в зону, и мы повидались, Чудаков рассказал мне подробности своего следствия. Я рассказал обо всем этом Богданову, не то что прося совета — в советах никто на Колыме не только не нуждается, но не имеет права на советы, могущие отяготить психику того, у кого просят совета, и вызвать неожиданный взрыв в результате обратного желания, а в лучшем случае не ответит, не обратит внимания, не поможет.

Богданова заинтересовала моя проблема.

— Я узнаю! У них узнаю, — сказал он, показывая выразительным жестом на горизонт, в сторону конбазы, где ютился домик уполномоченного. — Я узнаю. Я ведь у них работал. Я — стукач. От меня они не скроют.

Но Иван не успел выполнить обещания. Меня уже отправили в спецзону на Джелгалу.

1970—1971

ЯКОВ ОВСЕЕВИЧ ЗАВОДНИК

Яков Овсеевич Заводник был постарше меня — в революцию ему было лет двадцать, а то и двадцать пять. Он был из какой-то громадной семьи, но не из тех, что были украшением Ешибота. При типичной ярко еврейской внешности — чернобородый, черноглазый, большеносый — Заводник не знал еврейского языка, а на русском произносил короткие зажигательные речи, речи-лозунги, речи-команды, и я легко представлял Заводника в роли боевого комиссара Гражданской войны, поднимающего красноармейцев на колчаковские окопы и увлекающего в бой личным примером. Заводник и был

комиссаром — боевым комиссаром колчаковского фронта, имел два ордена Боевого Красного Знамени. Горластый крикун, драчун, не дурак выпить, «дерзкий на руку», как говорят на блатном языке, Заводник лучшие годы, свою страсть, оправдание жизни вложил в рейды, в бои, атаки. Кавалеристом Заводник был превосходным. После гражданской Заводник работал в Белоруссии, в Минске, на советской работе вместе с Зеленским, с которым сдружился во время Гражданской войны. Зеленский, переехав в Москву, взял с собой и Заводника в Наркомат торговли.

В 1937 году Заводник был арестован «по делу Зеленского», но не был расстрелян, а получил пятнадцать лет лагерей, что по началу тридцать седьмого было крупным сроком. Как и у меня, в его московском приговоре было оговорено отбывание срока на Колыме.

Дикий характер, слепое бешенство, которое охватывало Заводника в важные моменты судьбы, заставляло скакать навстречу колчаковским пулям, не изменило Заводнику и на следствии. В Лефортове он со скамейкой бросился на следователя и пытался его ударить в ответ на предложение разоблачить врага народа Зеленского. Заводнику сломали бедро в Лефортове, надолго загнали в больницу. Когда бедренная кость срослась, Заводника отправили на Колыму. С этой лефортовской хромотой Заводник и жил на приисках и в штрафных зонах.

Заводник не был расстрелян, он получил пятнадцать лет и пять «по рогам», то есть поражение в правах. Его одноделец Зеленский был давно на луне. Заводник подписал в Лефортове все, что могло спасти жизнь, и Зеленский был расстрелян, и нога была сломана.

— Да, подписал все, что у меня просили. После того как у меня сломали бедренную кость и кость срослась, я был выписан из Бутырской больницы и доставлен для продолжения следствия в Лефортово. Я все подписал, не читая ни одного протокола. Зеленский уже был расстрелян к тому времени.

Когда в лагере спрашивали происхождение хромоты, Заводник отвечал: «Это еще с Гражданской». Но на самом деле хромота была лефортовского происхождения.

На Колыме дикий характер Заводника, взрывы бешенства быстро привели к целому ряду конфликтов. Во время своей жизни на приисках Заводник был неоднократно избиваем бойцами, надзирателями из-за его громогласных и бурных скандалов, возникающих по каким-

то пустякам незначительным. Так, в драку, в целое сражение с надзирателями штрафной зоны Заводник вступил из-за нежелания остричь бороду и волосы. В лагерях стригут под машинку всех; сохранение прически, волос у арестантов — некая привилегия, поощрение, которым все заключенные пользуются неукоснительно. Медицинским, например, работникам из заключенных разрешается носить волосы, и это вызывает всегда всеобщую зависть. Заводник был не врач и не фельдшер, но зато борода его была густая, черная, длинная. Волосы не волосы, а какой-то костер черного огня. Защищая свою бороду от стрижки, Заводник кинулся на надзирателя, получил месяц штрафняка — штрафного изолятора, — но продолжал носить бороду и насильно [был] острижен надзирателями. «Восемь человек держали», — с гордостью рассказывал Заводник, борода отросла, и Заводник опять носил [ее] открыто и вызывающе.

Борьба за эту бороду была самоутверждением бывшего фронтового комиссара, нравственной его победой после стольких нравственных поражений. После многих приключений Заводник попал надолго в больницу.

Было ясно, что никакого пересмотра дела он не добьется. Оставалось ждать и жить.

Кто-то подсказал начальству использовать склад характера, натуру героя Гражданской войны, его крикливость, напористость, личную честность, неуемную энергию для исполнения обязанности лагерного десятника или бригадира. Но ни о какой легальной штатной работе для врагов народа, для троцкистов, не могло быть и речи. И вот Заводник появляется в статусе члена команды выздоравливающих известного ОП (оздоровительный пункт), ОК — оздоровительной команды, — появляется со стихотворной присказкой:

Сначала ОП, потом ОК,
На ногу бирку, и — пока.

Но Заводнику не привязали бирку на левую щиколотку, как делают при погребении лагерника. Заводник стал заготовлять дрова для больницы.

На планете, где десять месяцев зима, это очень серьезная проблема. Сто человек круглый год держит на этой работе Центральная больница для заключенных. Зрелость лиственницы — триста-пятьсот лет. Лесосеки, отводимые больнице, были хищничеством, конечно. Во-

прос возобновления лесного фонда на Колыме не ставился, а если и ставился, то как бюрократическая отписка или романтическая мечта. В этих двух понятиях есть очень много общего, и когда-нибудь историки, литературоведы, философы это поймут.

Лес на Колыме — в ущельях, распадках, по руслам речек. Вот Заводник и объезжал верхом все окружающие большие речки и ключи, свой доклад он представил начальнику больницы. Начальником больницы был тогда Винокуров, самоснабженец, но не подлец, не из тех, кто желает зла людям. Командировку лесную открыли, лес заготовили. Конечно, тут, как и во всех больницах, работали здоровые люди, а не больные — ну, ОП или ОК, которым давно было пора на прииск, но другого выхода не было. Винокуров считался хозяйственником хорошим. Трудность была и в том, что какое-то количество топлива (очень большое!) нужно было заготовить, помимо всякого учета, в резервный фонд, из которого уполномоченные, местные хозяйственники, сам начальник привыкли черпать бесконтрольно и безбрежно, совершенно бесплатно и неограниченно. В больнице за такие блага, как дрова, платит средний слой вольнонаемных, а высокое начальство получает все бесплатно, и это немалая сумма.

Вот во главе этой сложной кухни заготовки, склада и поставлен был Яков Заводник. Не будучи идеалистом, он охотно пошел на то, чтобы возглавить и производство и склад, подчиняясь только начальнику. И вместе с начальником обкрадывал государство без зазрения совести каждый день и каждый час. Начальник принимал гостей со всей Колымы, держал повара, открытый стол, а Заводник, начальник топсклада, стоял с котелком около обеденного бака, когда привозили обед. Заводник был из тех бригадиров лагерных, бывших партийцев, которые едят всегда с бригадой, открыто и не пользуются лично ни малейшей поблажкой ни в одежде, ни в еде, за исключением черной бороды, пожалуй.

Я и сам так делал всегда, когда работал фельдшером. Мне пришлось уйти из больницы после большого и острого конфликта, в который был вовлечен и Магадан, весной 1949 года. И меня направили в лес фельдшером к Заводнику, на лесную командировку километрах в пятидесяти от больницы, на ключ Дусканья.

— Третьего фельдшера снимает Заводник, все ему, суке, не нравятся.

Так меня напутствовали товарищи.

— А у кого я буду принимать медучасток?

— У Гриши Баркана.

Гришу Баркана я знал, хотя и не лично, а со стороны. Баркан был военный фельдшер из репатриантов, поставленный на работу в больницу год назад и работавший в туберкулезном отделении. Этого Гришу не очень хвалили товарищи, но я приучен мало обращать внимания на разговоры об осведомителях и стукачах. Слишком я бессилен перед этой высшей властью природы. Но случилось так, что мы выпускали стенгазету к какой-то праздничной годовщине, а членом редколлегии была жена нашего нового уполномоченного Бакланова. Я ее ждал у кабинета мужа, пришел, чтобы получить от нее цензурованные заметки, и на стук услышал голос: «Войдите!» И вошел.

Жена уполномоченного сидела на диване, а сам Бакланов проводил очную ставку.

— Вот вы, Баркан, пишете в своем заявлении, что Савельев, фельдшер (тот был вызван сюда же), что Савельев ругал советскую власть, восхвалял фашистов. Где это было? На больничной койке. А какая была у Савельева в это время температура? Может быть, у него был бред. Возьмите ваше заявление.

Вот так я узнал, что Баркан стукач. Сам же Бакланов — единственный уполномоченный за всю мою лагерную жизнь — производил впечатление не настоящего следователя, был не чекистом, конечно. Он приехал на Колыму прямо с фронта, в лагерях не работал никогда. И не научился. Ни Бакланову, ни его жене работа на Колыме не понравилась. Отбыв свой срок выслуги, оба вернулись на материк и живут уже много лет в Киеве. Сам Бакланов из Львова.

Фельдшер жил в отдельной избушке, половина ее — амбулатория. Избушка примыкала к бане. Более десяти лет я не оставался один ни ночью, ни днем и всем своим существом ощутил это счастье, да еще пропитанное тонким запахом зеленых лиственниц, несчетных, бурно цветущих трав. Горностай пробежал по последнему снегу, медведи прошли, поднявшись из берлог, сотрясая деревья... Здесь я начал писать стихи. Эти тетради мои сохранились. Грубая желтая бумага... Часть тетрадок — из оберточной, белой, лучшего качества. Эту бумагу, два или три рулона прекраснейшей бумаги в мире, мне подарил стукач Гриша Баркан. У него вся амбулатория

была заставлена такими рулонами, откуда он взял и куда увез — не знаю. В больнице он работал недолго, перевелся на соседний прииск, но в больнице бывал часто, уезжал на попутках.

Щеголь, красавец Гриша Баркан вздумал проехать на бочках стоя, чтобы не пачкать о бензин хромовых своих сапог и синих вольных брюк. Кабина была занята. Водитель разрешил сесть в кузов на эти десять километров, но на подъеме тряхнуло, Баркан вылетел на шоссе и расколол череп о камни. Я видел его тело в морге. Смерть Баркана — единственный, кажется, случай вмешательства рока не на стороне стукачей.

Почему Баркан не поладил с Заводником, я разгадал быстро. Давал, наверное, «сигналы» о таком тонком деле, как лесозаготовка, не интересуясь, чем вызвана эта ложь и кому она в пользу. При первом же знакомстве с Заводником я сказал, что мешать ему не буду, но и в мои дела попрошу не мешаться. Все мои освобождения от работы не могут быть оспариваемы. Никакого отдыха от работ по его указаниям давать я не буду. Отношение мое к блатарям широко известно, и давления и сюрпризов по этой линии Заводник может не опасаться.

Как и сам Заводник, я ел из общего котла. Лесорубы жили в трех местах от первого участка радиусом в сто километров. Я и передвигался, ночуя две-три ночи на каждом участке. Базой была Дусканья. На Дусканье узнал одну очень важную для каждого медика вещь — у банщика (был там татарин один с войны) я научился проводить дезинфекцию без дезкамеры. Вопрос для лагерей колымских, где вши постоянный спутник работяги, немаловажный. Я проводил со стопроцентной удачей дезинфекцию в бочках железных.

Потом в дорожном управлении эти мои знания вызвали сенсацию — вши ведь грызут не только арестанта, но и конвоира, бойца. Я провел много дезинфекций с неизменной удачей, но научился этому делу у Заводника на Дусканье. Увидев, что я намеренно не вникаю в сложные комбинации с пеньками, штабелями, фесметрами, Заводник подобрел, а найдя, что у меня никаких любимчиков нет, и совсем оттаял. Вот тут он мне и рассказал о Лефортове и о своей борьбе за бороду. Подарил он мне книжку стихов Эренбурга. Всякого рода литература была ему чужда абсолютно. Но и вообще романы и прочее Заводник не любил, зевал на первых строках. Газета, политические новости — другое дело. Это вызы-

вало отклик всегда. Заводник любил живое дело с живыми людьми. А самое главное, он скучал, томился, не знал, куда деть свои силы, и старался наполнить заботами сегодняшними и завтрашними весь свой день с пробуждения до сна. Даже спал он всегда поближе к делу — к рабочим, к реке, к сплаву, в палатке спал или на топчане в каком-нибудь бараке, без всякого матраца и подушки — только телогрейку под голову.

В 1950 году летом мне надо было попасть на Бахайгу, вверх по Колыме километров сорок, где был наш участок, жили заключенные на берегу, и мне надо было попасть туда в очередной свой объезд. Течение на Колыме сильное — катер эти сорок километров вверх проходит за десять часов. Обратно на плоту возвращаются за один час, даже меньше. Моторист катера был вольнонаемный, даже какой-то договорник, механик, дефицитная специальность; как всякий колымский моторист и механик, при отъезде своего катера был сильно пьян, но разумно, по-колымски пьян, на ногах стоял и разговаривал здраво, только тяжело дышал спиртным перегаром. Моторист обслуживал перевозки лесорубов. Катер должен был отвалить еще вчера, но отплывал только на рассвете белой ночи колымской. О моей поездке моторист знал, конечно, но в катер, разводящий пары, уселся какой-то начальник, или знакомый начальника, или просто пассажир за большие деньги и, отвернув лицо, ждал, пока моторист закончит разговор со мной, откажет.

— Нет мест. Сказал — нет. В следующий раз поедешь.

— Да ведь ты же вчера...

— Мало ли что я сказал вчера... А сегодня передумал. Отходи от причала.

Все это пересыпается отборным матом колымским, лагерной бранью.

Заводник жил неподалеку, на горке, в палатке и спал не раздеваясь. Он сразу понял, в чем дело, и выскочил на берег в одной рубашке, без шапки, кое-как натянув резиновые сапоги. Моторист стоял в воде около катера в резиновых броднях, сталкивая катер в воду. Заводник подошел к самой воде:

— Ты что, не хочешь брать фельдшера, что ли?

Моторист выпрямился и повернулся к Заводнику:

— Да! Не беру. Сказал — не беру, и все!

Заводник ударил моториста кулаком в лицо, и тот упал и исчез под водой. Я уж думал, что случилось не-

счастье, двинулся к воде, но моторист поднялся, вода текла с его брезентового комбинезона. Он добрался до катера, молча залез на свое место и запустил мотор. Я со своей медицинской сумкой сел к борту, вытянул ноги, и катер отчалил. Еще не стемнело, когда мы причалили в устье Бахайги.

Вся энергия Заводника, все его душевные силы были сосредоточены на выполнении желания начальника больницы Винокурова. Тут был безмолвный договор господина и раба. Господин берет на себя полную ответственность за то, что скрывает врага народа, троцкиста, которому участь — жить в спецзонах, а благодарный раб, не ожидая ни зачетов рабочих дней, никаких послаблений, создает для господина материальные блага в виде дров, свежей рыбы, дичи, ягод и прочих даров природы. Своих лесорубов Заводник держит твердой рукой, и одет во все казенное, и ест из общего котла. Раб понимает, что никакие ходатайства о досрочном освобождений его господин выполнить не властен, но господин дает рабу сохранить жизнь — в самом буквальном, в самом элементарном смысле слова. Заводника освободили по сроку, по календарному сроку в пятнадцать лет, зачеты рабочих дней не могли быть применены к его статье. Заводник освободился в 1952 году в день окончания календарного срока в пятнадцать лет, полученного в 1937 году в Москве, в Лефортовской тюрьме. Заводник давно понял, что писать о пересмотре дела бесполезно. Ни на одну свою жалобу первых наивных колымских лет Заводник не получил ответа. Заводник вечно возился с проектами вроде устройства «ледянки» для лесозаготовок, сочинил и выстроил для лесорубов вагон на колесах, вернее, не на колесах, а на тракторных санях. Бригада могла двигаться за лесом. На Колыме ведь редколесье, полоса лесотундры, толстых деревьев нет; чтобы не ставить палатки, не рубить избушки, спроектировал вечный вагон с двухэтажными нарами на санях. Бригада лесорубов в двадцать человек и инструмент размещались удобно. Но пока было лето, а лето на Колыме очень жаркое, только жаркие дни, а ночи холодные, вагон был хорош, но гораздо хуже простой брезентовой палатки. Зимой же стены вагона были слишком холодны, тонки. Колымский мороз проверяет любой рубероид, толь, фанеру — крошит, ломает. В вагоне жить зимой было нельзя, и лесорубы вернулись в проверенные тысячелетиями избушки. Вагон был брошен в лесу.

Я советовал Заводнику сдать его в магаданский музей краевой, но не знаю, послушался ли он моего совета.

Второй забавой Заводника и Винокурова были аэросани — вроде глиссера, летящего по снегу. Аэросани, полученные откуда-то с Большой земли, усиленно рекомендовались в учебниках по освоению Севера. Но аэросани требуют бескрайних белых пространств, а колымская почва на сто процентов — кочки, ямы, чуть засыпанные сверху снегом, который выдувается из всех щелей во время ветра, бури. Колыма малоснежна, и аэросани сломались при первых же опытах. Но, разумеется, Винокуров в своих отчетах на все эти вагоны и аэросани напирал очень сильно.

Заводника звали Яков Овсеевич. Не Евсеевич, не Евгеньевич, а Овсеевич, на чем он настаивал громогласно во время всех проверок и перекличек, что приводило всегда в волнение работников регистрации. Заводник был абсолютно грамотный человек, обладавший каллиграфическим почерком. Я не знаю мнения Зуева-Инсарова на предмет характеристики почерка Заводника, но удивительно был обязательный, неторопливый, очень сложный росчерк. Не инициалы, не Я. З. — небрежный хвостик, а тщательно, неторопливо выписанный сложный узор, научиться которому и запомнить можно лишь в ранней юности или в поздней тюрьме. На выведение своей фамилии Заводник тратил не меньше минуты. Там тончайшим и ярчайшим образом находили место и инициал Я, и инициал отчества О — круглейшее, особенное О, и фамилия Заводник, крупно выведенная ясными большими буквами, и энергичный росчерк, захватывающий только фамилию, и последующие какие-то особенно сложные, особенно воздушные завитушки — как бы прощание художника с любовно им выполненной работой. Я проверял много раз в любой обстановке, хоть на седле, на планшете, но подпись комиссара Заводника будет неторопливой, уверенной и ясной.

Отношения у нас были отличные, мало сказать, хорошие. В это время, летом 1950 года, мне предложили вернуться в больницу на должность заведующего приемным покоем. Приемный покой огромной лагерной больницы на тысячу коек — дело непростое, и не могли наладить работу его годами. По совету всех организаций пригласили меня. Я договорился с Амосовым, новым главврачом, о кое-каких принципах, на которых будет построена работа приемного покоя, и согласился. Заводник прибежал ко мне.

— Я сейчас добьюсь отмены, этот блат будет поломан.

— Нет, Яков Овсеевич, — сказал я. — Вы и я оба знаем лагерь. Ваша судьба — это Винокуров, начальник. Он собирается ехать в отпуск. Через неделю после его [отъезда] вас выпишут из больницы. Для моей же работы Винокуров не имеет такого большого значения. Я хочу спать в тепле, раз это возможно, и хочу поработать над одним вопросом, принести кое-какую пользу.

Я понимал, что в приемном покое стихи писать мне не удастся, разве только редко. Вся бумага Баркана была уже записана. И там я писал каждую свободную [минуту]. Стихотворение с последней строкой «Морозы бывают в раю» написано на вымерзшем устье ключа Дусканья, записано каракулями на рецептурной тетради. А напечатано лишь через пятнадцать лет в «Литературной газете».

Заводник не знал, что я пишу стихи, да и не понял бы ничего. Для прозы территория Колымы была слишком опасна, рисковать можно было стихами, а не прозаической записью. Вот главная причина, почему я писал на Колыме только стихи. Правда, у меня был и другой пример — Томаса Гарди, английского писателя, который последние десять лет жизни писал только стихи, а на вопросы репортеров отвечал, что его тревожит судьба Галилея. Если бы Галилей писал стихами, у него бы не было неприятностей с церковью. Я на этот галилеевский риск идти не хотел, хотя, разумеется, не по соображениям литературной и исторической традиции, а просто арестантское чутье мне говорило, что хорошо, что плохо, где тепло, где холодно при игре в жмурки с судьбой.

И верно, я как в воду глядел: Винокуров уехал, и Заводник был через месяц отправлен куда-то на прииски, где, впрочем, скоро и дождался окончания срока. Но в воду глядеть было не надо. Все это очень просто, элементарно в том искусстве или науке, которая называется жизнью. Это — азы.

Когда освобождается такой человек, как Заводник, на его арестантском личном текущем счету должно быть ноль целых ноль десятых. Так было и у Заводника. На Большую землю его, конечно, не пускали, и он устроился диспетчером на автобазе в Сусумане. Хотя, как бывшему зэка, ему не платили северных надбавок, ставки хватало на жизнь.

Зимой пятьдесят первого года мне привезли письмо. Врач Мамучашвили привезла мне письмо Пастернака

на Колыму. И вот, взяв отпуск — я работал фельдшером в дорожном управлении, — я отправился в поездку на попутках. Такса попуток — морозы уже начались — рубль километр. Работал я тогда близ Оймякона, полюса холода, добрался оттуда до Сусумана. В Сусумане на улице встретил Заводника, диспетчера автобазы. Что может быть лучше? В пять часов утра Заводник меня посадил в кабину огромного «Татра» с прицепом. Я опустил чемодан в кузов — я мог бы ехать и в кузове, но водитель хотел [выполнить] просьбу своего начальника и посадил меня в кабину. Пришлось рискнуть — выпустить чемодан с глаз.

«Татр» летел.

Машина шла порожней, тормозила на каждом поселке, набирая попутчиков. Одни слезали, другие влезали. В небольшом поселке какой-то боец остановил «Татра» и посадил человек десять бойцов с материка — молодежь, прибывшую на военную службу. Все они были не тронуты еще резким северным загаром, не обожжены колымским солнцем. Километров через сорок их встретила военная машина, завернула. Бойцы перегрузили вещи и тронулись в путь. Была какая-то тревога, сомнение у меня. Я попросил остановить машину и заглянул в кузов. Чемодана не было.

— Это бойцы, — сказал водитель. — Но мы их нагоним, никуда не денутся.

«Татр» загудел, заворчал и кинулся вперед по трассе. Действительно, через полчаса «Татр» нагнал машину с бойцами, обогнав ЗИС, водитель перегородил «Татром» дорогу. Мы объяснили, в чем дело, и я нашел свой чемодан с письмом Пастернака.

— Я просто снял чемодан как наш, без всякого умысла, — объяснил старшой.

— Ну, без умысла так без умысла — самое главное результат.

Мы доехали до Адыгалаха, и я стал ловить свою оймяконскую или барагонскую машину.

В пятьдесят седьмом году я уже жил в Москве и узнал, что Заводник вернулся и работает в Министерстве торговли на той же должности, что и двадцать лет назад. Рассказал мне об этом Яроцкий, ленинградский экономист, очень много сделавший для Заводника в винокуровские времена. Я поблагодарил, взял у Яроцкого адрес Заводника, написал и получил приглашение повидаться — прямо на работе, где будет заказан пропуск, и так

далее. Письмо было подписано известным мне каллиграфическим росчерком. Точь-в-точь, ни одной лишней загогулины. Здесь я узнал, что Заводник «добивает» до пенсии, каких-то месяцев формально не хватает. Я посетовал, что Яроцкому не удалось возвратиться в Ленинград, хотя он расстался много раньше с Колымой, чем я и Заводник, и что теперь он вынужден быть в Кишиневе.

Дело Яроцкого, дело ленинградского комсомольца, голосовавшего за оппозицию, я знал очень хорошо. Не было никаких причин не жить ему в столице, но Заводник вдруг сказал:

— Правительству виднее. Это ведь у меня и у вас все ясно, а у Яроцкого, наверное, совсем другое дело...

Больше я у Якова Овсеевича Заводника не бывал, хотя и остаюсь его другом.

1970—1971

ШАХМАТЫ ДОКТОРА КУЗЬМЕНКО

Доктор Кузьменко высыпал шахматы на стол.

— Прелесть какая, — сказал я, расставляя фигурки на фанерной доске. Это были шахматы тончайшей, ювелирной работы. Игра на тему «Смутное время в России». Польские жолнеры и казаки окружали высокую фигуру первого самозванца — короля белых. У белого ферзя были резкие, энергичные черты Марины Мнишек. Гетман Сапега и Радзивилл стояли на доске как офицеры самозванца. Черные стояли на доске как в монашеской одежде — митрополит Филарет возглавлял их. Пересвет и Ослябя в латах поверх иноческих ряс держали короткие обнаженные мечи. Башни Троице-Сергиева стояли на полях a8 и h8.

— Прелесть и есть. Не нагляжусь...

— Только, — сказал я, — историческая неточность: первый самозванец не осаждал Лавры.

— Да-да, — сказал доктор, — вы правы. А не казалось ли вам странным, что до сих пор история не знает, кто такой был первый самозванец, Гришка Отрепьев?

— Это лишь одна из многих гипотез, причем не очень вероятная. Пушкинская, правда. Борис Годунов тоже был не таким, как у Пушкина. Вот роль поэта, драматурга, романиста, композитора, скульптора. Им принадлежит толкование события. Это — девятнадцатый

век с его жаждой объяснения необъяснимого. В половине двадцатого века документ вытеснил бы все. И верили бы только документу.

— Есть письмо самозванца.

— Да, царевич Дмитрий показал, что он был культурный человек, грамотный государь, достойный лучших царей на русском престоле.

— И все же, кто он? Никто не знает, кто был русский государь. Вот что такое польская тайна. Бессилие историков. Стыдная вещь. Если бы дело было в Германии — где-нибудь да нашлись бы документы. Немцы любят документы. А высокие хозяева самозванца хорошо знали, как хранится тайна. Сколько людей убито — из тех, кто прикоснулся к этой тайне.

— Вы преувеличиваете, доктор Кузьменко, отрицая наши способности хранить тайну.

— Ничуть не отрицаю. Разве смерть Осипа Мандельштама не тайна? Где и когда он умер? Есть сто свидетелей его смерти от побоев, от голода и холода — в обстоятельствах смерти расхождений нет, — и каждый из ста сочиняет свой рассказ, свою легенду. А смерть сына Германа Лопатина, убитого только за то, что он сын Германа Лопатина? Его следы ищут тридцать лет. Родственникам бывших партийных вождей вроде Бухарина, Рыкова выдали справки о смерти, справки эти растянуты на многие годы от тридцать седьмого до сорок пятого. Но никто и нигде не встречался с этими людьми после тридцать седьмого или тридцать восьмого года. Все эти справки — для утешения родственников. Сроки смерти произвольные. Вернее будет предположить, что все они расстреляны не позже тридцать восьмого года в подвалах Москвы.

— Мне кажется...

— А вы помните Кулагина?

— Скульптора?

— Да! Он исчез бесследно, когда многие исчезали. Он исчез под чужой фамилией, смененной в лагере на номер. А номер был вновь сменен на третью фамилию.

— Слышал о таких штуках, — сказал я.

— Вот эти шахматы его работы. Кулагин сделал их в Бутырской тюрьме из хлеба в тридцать седьмом году. Все арестанты, сидевшие в кулагинской камере, жевали часами хлеб. Тут важно было уловить момент, когда слюна и разжеванный хлеб вступят в какое-то уникальное соединение, об этом судил сам мастер, его удача —

вынуть изо рта тесто, готовое принять любую форму под пальцами Кулагина и затвердеть навеки, как цемент египетских пирамид.

Две игры Кулагин так сделал. Вторая — «Завоевание Мексики Кортесом». Мексиканское смутное время. Испанцев и мексиканцев Кулагин продал или отдал за так кому-то из тюремного начальства, а русское «Смутное время» увез с собой в этап. Сделано спичкой, ногтем — ведь всякая железка запрещена в тюрьме.

— Тут не хватает двух фигур, — сказал я. — Черного ферзя и белой ладьи.

— Я знаю, — сказал Кузьменко. — Ладьи нет вовсе, а черный ферзь — у него нет головы — заперт в моем письменном столе. Так я до сих пор и не знаю, кто из черных защитников Лавры Смутного времени был ферзем.

Алиментарная дистрофия — страшная штука. Только после ленинградской блокады эту болезнь в наших лагерях назвали ее настоящим именем. А то ставили диагноз: полиавитаминоз, пеллагра, исхудание на почве дизентерии. И так далее. Тоже погоня за тайной. За тайной арестантской смерти. Врачам было запрещено говорить и писать о голоде в официальных документах, в истории болезни, на конференциях, на курсах повышения квалификации.

— Я знаю.

— Кулагин был высоким грузным человеком. Когда его привезли в больницу, он весил сорок килограммов — вес костей и кожи. Необратимая фаза алиментарной дистрофии.

У всех голодающих в какой-то тяжелый час наступает помрачение сознания, логический сдвиг, деменция, одно из «Д» знаменитой колымской триады «Д» — деменция, диарея, дистрофия... Вы знаете, что такое деменция?

— Безумие?

— Да, да, безумие, приобретенное безумие, приобретенное слабоумие. Когда Кулагина привезли, я, врач, сразу понял, что признаки деменции новый больной обнаружил давно... Кулагин не пришел в себя до смерти. С ним был мешочек с шахматами, которые выдержали все — и дезинфекцию, и блатарскую жадность.

Кулагин съел, иссосал, проглотил белую ладью, откусил, отломил, проглотил голову черного ферзя. И только мычал, когда санитары попытались взять у Кулагина мешочек из рук. Мне кажется, он хотел про-

глотить свою работу, просто чтобы уничтожить, стереть свой След с земли.

На несколько месяцев раньше надо было начинать глотать шахматные фигурки. Они спасли бы Кулагина.

— Но нужно ли было ему спасение?

— Я не велел доставать ладью из желудка. Во время вскрытия это можно было сделать. И голову ферзя также... Поэтому эта игра, эта партия без двух фигур. Ваш ход, маэстро.

— Нет, — сказал я. — Мне что-то расхотелось...

<1967>

ЧЕЛОВЕК С ПАРОХОДА

— Пишите, Крист, пишите, — говорил пожилой усталый врач.

Был третий час утра, гора окурков росла на столе в процедурной. На стеклах окон налип мохнатый толстый лед. Сиреневый махорочный туман наполнял комнату, но открыть форточку и проветрить кабинет не было времени. Мы начали работу вчера в восемь вечера, и конца ей не было. Врач курил папиросу за папиросой, быстро свертывая «флотские», отрывая листы от газеты. Либо — если хотел чуть отдохнуть — вертел «козью ножку». По-крестьянски обгоревшие в махорочном дыму пальцы мелькали перед моими глазами, чернильница-непроливайка стучала, как швейная машинка. Силы врача были на исходе — глаза его слипались, ни «козьи ножки», ни «флотские» не могли победить усталость.

— А чифирку. Чифирку подварить... — сказал Крист.

— А где его возьмешь, чифирку-то...

Чифирь был особо крепкий чай — отрада блатарей и шоферов для дальней дороги, — пятьдесят граммов на стакан, особо надежное средство от сна, колымская валюта, валюта длинных путей, многодневных рейсов.

— Не люблю, — сказал врач. — Впрочем, разрушительного действия на здоровье в чифире я не усматриваю. Повидал чифиристов немало. Да и давно известно это средство. Не блатные придумали и не шофера. Жак Паганель варил чифирь в Австралии, угощал напитком детей капитана Гранта. «На литр воды полфунта чая и варить три часа» — вот рецепт Паганеля... А вы говорите: «водилы»! блатари! В мире нет новостей.

— Ложитесь.

— Нет, после. Вам нужно научиться опросу и первому осмотру. Это хотя и запрещено медицинским законом, но должен же я когда-нибудь спать. Больные прибывают круглые сутки. Большой беды не будет, если первый осмотр сделаете вы, вы — человек в белом халате. Кто знает — санитар вы, фельдшер, врач, академик, еще попадете в мемуары как врач участка, прииска, управления.

— А будут мемуары?

— Обязательно. Если что-нибудь важное будет, разбудите меня. Ну, — сказал врач, — начнем. Следующий.

Голый, грязный больной сидел перед нами на табуретке. Похожий не на учебный муляж, а на скелет.

— Хорошая школа для фельдшеров, а? — сказал врач. — И для врачей тоже. Впрочем, медику нужно видеть и знать совсем другое. Все, что перед нами сегодня, — это вопрос узкой, весьма специфической квалификации. И если бы наши острова — вы поняли меня? — наши острова провалились сквозь землю... Пишите, Крист, пишите.

Год рождения 1893-й. Пол — мужской. Обращаю ваше внимание на этот важный вопрос. Пол — мужской. Этот вопрос занимает хирурга, патологоанатома, статистика морга, столичного демографа. Но вовсе не занимает самого больного, ему нет дела до своего пола...

Непроливайка моя застучала.

— Нет, пусть больной не встает, принесите ему горячей воды напиться. Снеговой воды из бачка. Он согреется, и тогда мы приступим к анализу «вита», данные о болезнях родителей, — врач постучал печатным бланком по истории болезни, — можете не собирать, не тратить время на чепуху. Ага, вот — перенесенные заболевания: алиментарная дистрофия, цинга, дизентерия, пеллагра, авитаминозы А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я... Можете прервать перечень в любом месте. Венерические заболевания отрицает, связь с врагами народа отрицает. Пишите... Поступил с жалобами на отморожение обеих стоп, возникшее в результате длительного действия холода на ткани. Написали? На ткани... Закройтесь вот одеялом. — Врач сдернул тощее одеяло, залитое чернилами, с койки дежурного врача и набросил на плечи больного. — Когда же принесут этот проклятый кипяток? Надо бы чаю сладкого, но ни чай, ни сахар не пре-

дусмотрены в приемном покое. Продолжаем. Рост — средний. Какой? У нас нет ростомера. Волосы — седые. Упитанность, — врач поглядел на ребра, натянувшие бледную сухую дряблую кожу, — когда вы видите такую упитанность, надо писать «ниже среднего».

Двумя пальцами врач оттянул кожу больного.

— Тургор кожи слабый. Вы знаете, что такое тургор?

— Нет.

— Упругость. Что в нем терапевтического? Нет, это хирургический больной, правда? Оставим место в истории болезни для Леонида Марковича, он завтра, вернее, сегодня утром посмотрит и напишет. Пишите русскими буквами «статус локалис». Ставьте две точки. Следующий!

<1962>

АЛЕКСАНДР ГОГОБЕРИДЗЕ

Вот так: прошло всего пятнадцать лет, а я забыл отчество лагерного фельдшера Александра Гогоберидзе. Склероз! Казалось, имя его должно бы врезаться в клетки мозга навсегда — Гогоберидзе был из тех людей, которыми гордится жизнь, а я забыл его отчество. Он был не просто фельдшер кожного отделения Центральной больницы для заключенных на Колыме. Он был мой профессор фармакологии, лектор фельдшерских курсов. Ах, как трудно было найти преподавателя фармакологии для двадцати счастливцев заключенных, для которых ученье на фельдшерских курсах было гарантией жизни, спасения. Брюссельский профессор Уманский согласился читать латинский язык. Уманский был полиглот, блестящий знаток восточных языков и морфологию слова знал еще лучше, чем патологическую анатомию, которую он читал на фельдшерских курсах. Впрочем, курс патологической анатомии был с некоторым изъятием. Немножко зная лагерь (Уманский сидел третий или четвертый срок, как все по сталинским делам тридцатых годов), брюссельский профессор наотрез отказался читать своим колымским студентам главу о половых органах — мужских и женских. И не от чрезмерной стыдливости. Словом — эту главу студентам было предложено освоить самостоятельно. На фармакологию было много желающих, но случилось так, что тот, кто должен был преподавать сей предмет, уехал «на пе-

риферию» или «в тайгу», «на трассу» — так выражались в те времена. Открытие курсов и так затянулось, и тут Гогоберидзе — в прошлом директор крупного научно-исследовательского фармакологического института в Грузии, — видя, что курсы стоят под угрозой срыва, неожиданно дал свое согласие. Курсы открылись.

Гогоберидзе понимал значение этих курсов и для двадцати «студентов», и для Колымы. Курсы учили доброму, сеяли разумное. Власть лагерного фельдшера велика, польза (или вред) весьма значительна.

Об этом мы с ним говорили после, когда я стал полноправным лагерным «лепилой» и бывал у него в его «кабинке» при кожном отделении больницы. Больничные бараки строились по типовым проектам — в отличие от построек подальше от Магадана, где больницы и амбулатории были вроде землянок «по-таежному». Впрочем, процент смертности был таков, что землянки пришлось оставить и под медицинские учреждения отвести жилые бараки. Помещений требовала и пресловутая «группа В» — временно освобожденных от работы, количество которых все росло и росло неудержимо. Смерть есть смерть, как ее ни объясняй. В объяснениях можно врать и заставлять врачей сочинять самые витиеватые диагнозы — всю клавиатуру с окончаниями на «ос» и на «ит», если имелись хоть какие-нибудь возможности сослаться на побочное, прикрывая явное. Но даже тогда, когда явное было прикрыть нельзя, на помощь врачам спешили «полиавитаминоз», «пеллагра», «дизентерия», «цинга». Никто не хотел произнести слово «голод». Только со времени ленинградской блокады в патологоанатомических и реже в клинических диагнозах историй болезни появился термин «алиментарная дистрофия». Он сразу заменил полиавитаминозы, упростил дело. Именно в это время в лагере получила большую популярность строка «Пулковского меридиана» Веры Инбер:

Горение истаявшей свечи,
Все признаки и перечни сухие
Того, что по-ученому врачи
Зовут алиментарной дистрофией.
И что не латинист и не филолог
Обозначает русским словом: «Голод».

Увы, профессор Уманский, как патологоанатом, был и филолог и латинист. Много лет он вписывал в протоколы секции мудреные «осы» и «иты».

Александр Гогоберидзе был молчалив, нетороплив — в лагере он выучился сдержанности, терпению, выучился принимать человека не по одежке — по бушлату и шапке-бамлаговке, а по целому ряду необъяснимых, но верных признаков. Симпатии опираются именно на эти неуловимые признаки. Люди не сказали друг с другом двух слов, но чувствуют обоюдное душевное расположение, или враждебность, или равнодушие, или осторожность. «На воле» этот процесс медленнее. Здесь же подсознательные эти симпатии или антипатии возникают увереннее, быстрее, безошибочнее. Огромный жизненный опыт лагерника, напряженность его нервов и большая простота человеческих отношений, большая простота познания людей — причина безошибочности таких суждений.

В больничном бараке — здании с двумя выходами, с коридором посредине — были комнатки — «кабинки» так называемые, которые легко было превратить в кладовую, в аптечку или в больничный «бокс» — изолятор. В этих «кабинках» обычно и жили заключенные-врачи, фельдшера. Весьма существенная бытовая привилегия.

«Кабинки» были крошечные, два на два метра или два на три. В комнатке там стояла кровать, тумбочка, иногда подобие крошечного стола. Посредине «кабинки» зимой и летом топилась печечка маленькая, вроде печки для кабин шоферов колымских. Печка эта и дрова к ней — маленькие чурки отнимали тоже немало жилплощади хозяина. Но все же это была собственная жилплощадь — вроде отдельной московской квартиры. Маленькое оконце, затянутое марлей. Все остальное пространство «кабинки» занимал Гогоберидзе. Огромного роста, широкоплечий, толсторукий и толстоногий, всегда бритоголовый, большеухий, он очень был похож на слона. Белый фельдшерский халат сидел на нем в обтяжку, усиливая это «зоологическое» впечатление. Только глаза у Гогоберидзе были не слоновьи — серые, быстрые, орлиные глаза.

Гогоберидзе думал по-грузински, а говорил по-русски, медленно подбирая слова. Понимал он и схватывал суть сказанного сразу — это было видно по блеску глаз.

Я думаю, ему было много за шестьдесят, когда мы встретились в 1946 году, близ Магадана. Большие кисти

рук были пухлы, синеваты по-старчески. Ходил он медленно, почти всегда с палкой. Очки для дальнозорких, «старческие» очки надевались привычной рукой. Мы скоро узнали, что это гигантское тело еще сохранило гибкость движений и всю свою грозность.

Прямым начальником Гогоберидзе был доктор Кроль, врач по специальности кожных болезней, осужденный по бытовой статье не то за спекуляции, не то за мошенничество. Хихикающий подхалим, пошляк, убеждавший на лекциях курсантов, что они «не останутся без масла», если изучат кожные болезни, — как огня боявшийся всякой «политики» (впрочем, кто ее в те годы не боялся!). Взяточник, лагерный спекулянт, комбинатор, вечно связанный с ворами, которые носили ему «лепехи и шкеры».

У воров Кроль был давно «на крючке», и они помыкали им как хотели. Гогоберидзе не разговаривал со своим начальником вовсе — делал свое дело — уколы, перевязки, назначения, но в беседы с Кролем не вступал. Но однажды Гогоберидзе узнал, что от одного из заключенных — не блатаря, а фраера — Кроль требует хромовые сапоги за то, чтобы положить того на лечение в отделение, и что мзда уже вручена, — через все отделение зашагал к комнате Кроля. Кроль уже сидел дома, комната была заложена на тяжелую задвижку, искусно изготовленную для Кроля кем-то из больных. Гогоберидзе сорвал дверь и шагнул в комнату Кроля. Лицо его было багровым, руки дрожали. Гогоберидзе ревел, трубил, как слон. Он схватил сапоги и этими хромовыми сапогами исхлестал Кроля на глазах санитаров и больных. И вернул сапоги владельцу. Гогоберидзе стал ждать визита нарядчика или коменданта. Комендант, конечно, по рапорту Кроля посадит хулигана в изолятор, а может быть, лагерный начальник пошлет Гогоберидзе на общие физические работы — в таких «штрафных» случаях преклонный возраст не мог избавить от наказания. Но Кроль не подал рапорта. Ему было невыгодно навести малейший свет на след своих темных дел. Врач и фельдшер продолжали работать вместе.

Рядом со мной на школьной парте сидел курсант Баратели. Я не знаю, по какой статье он был осужден, думаю, что не по пятьдесят восьмой. Баратели называл мне однажды, но уголовные кодексы были в те времена витиеваты — я забыл эту статью. Баратели плохо владел русским языком, не выдержал приемных испыта-

ний, но Гогоберидзе в больнице работал давно, его уважали, знали, и он сумел добиться, чтобы Баратели был принят. Гогоберидзе занимался с ним, кормил его целый год своим пайком, покупал ему махорку, сахар, Баратели относился к старику благодарно, тепло. Еще бы!

Прошло восемь месяцев героического этого ученья. Я уезжал, полноправный фельдшер, на работу в новую больницу за 500 километров от Магадана.

И пришел проститься с Гогоберидзе. И тогда он спросил меня медленно, медленно:

— Вы не знаете, где Эшба?

Вопрос был задан в октябре 1946 года. Эшба, один из видных деятелей компартии Грузии, был репрессирован давным-давно, в ежовские времена.

— Эшба умер, — сказал я, — умер на Серпантинке в самом конце тридцать седьмого года, а может быть, дожил до тридцать восьмого. Он был со мной на прииске «Партизан», а в конце 1937 года, когда на Колыме «началось», Эшбу в числе многих, многих других увезли «по спискам» на Серпантинную, где была следственная тюрьма Северного горного управления и где весь тридцать восьмой год почти непрерывно шли расстрелы.

«Серпантинная» — имя-то какое! Дорога там среди гор вьется, как серпантинная лента, — картографы так и назвали. У них ведь права большие. На Колыме есть и речка с фокстротным названием «Рио-Рита», и «Озеро танцующих хариусов», и ключи «Нехай», «Чекай» и «Ну!». Развлечение стилистов.

В 1952 году зимой случилось мне ехать на перекладных — олени, собаки, лошади, кузов грузовика, пеший переход и снова кузов грузовика — огромного чехословацкого «Татра», лошади, собаки, олени — в больницу, где когда-то — еще год назад — работал я. Здесь и узнал от врачей той больницы, где я учился, что Гогоберидзе — у него был срок 15 лет плюс 5 поражения в правах — окончил срок живым и получил ссылку на вечное поселение в Якутию. Это было еще жестче, чем обычное пожизненное прикрепление в ближайшем от лагеря поселке — так практиковали там и позднее, чуть не до 1955 года. Гогоберидзе сумел добиться права остаться в одном из поселков Колымы, не переезжая в Якутию. Было ясно, что организм старика не выдержит такой поездки по Дальнему Северу. Гогоберидзе поселился в поселке Ягодном, на 543-м километре от Магадана. Работал там в больнице. Когда я возвращался на

место своей работы под Оймякон, я остановился в Ягодном и зашел повидать Гогоберидзе, он лежал в больнице для вольнонаемных, лежал как больной, а не работал там фельдшером или фармацевтом. Гипертония! Сильнейшая гипертония!

Я зашел в палату. Красные и желтые одеяла, ярко освещенные откуда-то сбоку, три пустых койки — и на четвертой, закрытый ярким желтым одеялом до пояса, лежал Гогоберидзе. Он узнал меня сразу, но говорить почти не мог из-за головной боли.

— Как вы?

— Да так. — Серые глаза блестели по-прежнему живо. Прибавилось морщин.

— Поправляйтесь, выздоравливайте.

— Не знаю, не знаю. Мы распрощались.

Вот и все, что я знаю о Гогоберидзе. Уже на Большой земле из писем я узнал, что Александр Гогоберидзе умер в Ягодном, так и не дождавшись реабилитации прижизненной.

Такова судьба Александра Гогоберидзе, погибшего только за то, что он был братом Левана Гогоберидзе. О Леване же — смотри воспоминания Микояна.

1970—1971

УРОКИ ЛЮБВИ

— Вы — хороший человек, — сказал мне недавно наш траповщик — бригадный плотник, налаживающий трапы, по которым катают тачки с породой и песками на промывочный прибор, на бутару. — Вы никогда не говорите плохо и грязно о женщинах.

Траповщик этот был Исай Рабинович, бывший управляющий Госстрахом Советского Союза. Когда-то он ездил принимать золото от норвежцев за проданный Шпицберген в Северном море, в штормовую погоду перегружал мешки с золотом с одного корабля на другой в целях конспирации, заметания следов. Прожил он чуть ли не всю жизнь за границей, был связан многолетней дружбой со многими крупными богачами — Иваром Крейгером, например. Ивар Крейгер, спичечный король, покончил жизнь самоубийством, но в 1918 году он был еще жив, и Исай Рабинович с дочерью гостил у Крейгера на французской Ривьере.

Советское правительство искало заказов за границей, и поручителем для Крейгера был Исай Рабинович. В 1937 году он был арестован, получил десять лет. В Москве у него оставались жена и дочь — единственные его родственники. Дочь во время войны вышла замуж за морского атташе Соединенных Штатов Америки, капитана I ранга Толли. Капитан Толли получил линкор на Тихом океане, уехал из Москвы на новое место службы. Еще раньше капитан Толли и дочь Исая Рабиновича написали письма в концентрационный лагерь — к отцу и будущему тестю, — капитан просил разрешения на брак. Рабинович погоревал, покряхтел и дал положительный ответ. Родители Толли прислали свое благословение. Морской атташе женился. Когда он уезжал, жене его, дочери Исая Рабиновича, не разрешили сопровождать мужа. Супруги немедленно развелись, и капитан Толли убыл к месту нового своего назначения, а бывшая его жена работала на какой-то незначительной должности в Наркоминделе. Она прекратила переписку с отцом. Капитан Толли не писал ни бывшей жене, ни бывшему тестю. Прошло целых два года войны, и дочь Рабиновича получила кратковременную командировку в Стокгольм. В Стокгольме ее ждал специальный самолет, и жена капитана Толли была доставлена к мужу...

После этого Исай Рабинович стал получать в лагерь письма с американскими марками и на английском языке, что чрезвычайно раздражало цензоров... Эта история с бегством после двух лет ожидания — ибо капитан Толли вовсе не считал свою женитьбу московской интрижкой — одна из историй, в которых мы очень нуждались. Я никогда не замечал, говорю ли я о женщинах хорошо или плохо, — все ведь, кажется, было давно вытравлено, забыто, и я вовсе не мечтал ни о каких встречах с женщинами. Для того чтобы быть онанистом на тюремный манер, надо быть прежде всего сытым. Развратника, онаниста, а равно и педераста нельзя представить голодным.

Был красавец парень лет двадцати восьми, десятник на больничном строительстве, заключенный Васька Швецов. Больница была при женском совхозе, надзор слабоват, да и закуплен — Васька Швецов пользовался сногсшибательным успехом.

— Много я знал баб, много. Дело это простое. Только ведь, верите, дожил почти до тридцати лет и ни разу еще с бабой в кровати не лежал — не пришлось. Все

второпях, на каких-то ящиках, мешках, скороговоркой... Я ведь с мальчиков в тюрьме-то...

Другой был Любов, блатарь, а скорее «порчак», «порченый штымп» — а ведь из «порченых штымпов» выходят люди, которые по своей злобной фантазии могут превзойти болезненное воображение любого вора. Любов, высокий, улыбающийся, нагловатый, постоянно в движении, рассказывал о своем счастье:

— Везло мне на баб, грех сказать, везло. Там, где я до Колымы был, — лагерь женский, а мы — плотники при лагере, нарядчику брюки почти новые, серые отдал, чтоб туда попасть. Там такса была, пайка хлеба, шестисотка, и уговор — пока лежим, пайку эту она должна съесть. А что не съест — я имею право забрать назад. Давно они уж так промышляют — не нами начато. Ну, я похитрей их. Зима. Я утром встаю, выхожу из барака — пайку в снег. Заморожу и несу ей — пусть грызет замороженную — много не угрызет. Вот выгодно жили...

Может ли придумать такое человек?

И кто представит себе женский лагерный барак ночью, барак, где все — лесбиянки, барак, куда не любят ходить сохранившие каплю человеческого надзиратели и врачи и любят ходить надзиратели-эротоманы и врачи-эротоманы. И плачущая Надя Громова, девятнадцатилетняя красавица, лесбиянка — «мужчина» лесбийской любви, подстриженная под бокс, в мужских штанах, усевшаяся, к ужасу санитаров, на заповедное кресло заведующей приемным покоем — только одно, сделанное на заказ, кресло вмещало зад заведующей, — Надя Громова, плачущая оттого, что ее не кладут в больницу.

— Дежурный врач не кладет меня потому, что думает, что я... а я, клянусь честью, никогда, никогда. Да посмотрите мои руки — видите, ногти какие длинные, — разве можно?

И возмущенный старик санитар Ракита негодующе плюнул: «Ах, стерва, стерва».

А Надя Громова плакала и не могла понять, почему никто не хочет ее понять — ведь она выросла в лагерях, около лесбиянок.

И слесарь-водопроводчик Харджиев, молодой, розовощекий, двадцатилетний, бывший власовец, сидевший в тюрьме в Париже за воровство. В парижской тюрьме Харджиева изнасиловал негр. У негра был сифилис — того самого острого сорта последней войны, у Харджиева в заднем проходе были кандиломы — сифилитичес-

кие разращения, пресловутая «капуста». С прииска в больницу он был направлен с диагнозом «проляпсус ректи» — то есть «выпадение прямой кишки». Таким вещам в больнице давно не удивлялись — одного выброшенного на ходу из машины стукача, получившего множественный перелом бедра и голени, местный фельдшер направил с диагнозом «проляпсус из машины». Слесарь Харджиев был очень хороший слесарь, нужный больнице человек. Удобно, что у него был сифилис, — целый курс ему провели, пока он работал на сборке парового отопления совершенно бесплатно, числясь на больничной койке.

В следственной тюрьме, в Бутырках, о женщинах почти не говорили. Там каждый стремился представить себя хорошим семьянином — а может, так это и было, да и некоторые жены, не партийные, ходили на свидания и носили денежные передачи, доказывая правоту оценок Герцена, данных им в томе первом «Былого и дум» о женщинах русского общества после 14 декабря.

К любви ли относится растление блатарем суки-собаки, с которой блатарь жил на глазах всего лагеря, как с женой. И развращенная сучонка виляла хвостом и вела себя с любым человеком, как проститутка. За это почему-то не судили, хотя ведь в уголовном кодексе есть статья о «скотоложестве». Но мало ли кого и за что в лагере не судили. Не судили доктора Пенелопова, старика педераста, женой которого был фельдшер Володарский.

Относится ли к теме судьба невысокой женщины, никогда не бывшей в заключении, приехавшей сюда с мужем и двумя детьми несколько лет назад. Муж ее был убит — он был десятником и ночью в темноте на льду наткнулся на железный скрепер, который тащила лебедка, и скрепер ударил ее мужа в лицо, и еще живым его привезли в больницу. Удар пришелся прямо поперек лица. Все кости лица и черепной коробки ниже лба были смещены назад, но он был еще жив, жил несколько дней. Жена осталась с двумя маленькими детьми, четырех и шести лет, мальчиком и девочкой. Она скоро вышла замуж снова за лесничего и жила с ним три года в тайге, не показывалась в большие поселки. Она родила еще двух детей за три года — девочку и мальчика и принимала роды у себя сама, муж дрожащими руками подавал ей ножницы, она сама перевязывала и обрезала собственную пуповину и смазывала йодом конец пуповины. С четырьмя детьми она пробыла в

тайге еще год, муж простудил ухо, в больницу не поехал, началось гнойное воспаление среднего уха, затем воспаление пошло еще глубже, поднялась температура, и он приехал в больницу. Ему срочно была сделана операция, но было уже поздно — он умер. Она вернулась в лес, не плача — чему помогут слезы?

Имеет ли отношение к теме ужас Игоря Васильевича Глебова, который забыл имя и отчество своей собственной жены? Мороз был большой, звезды — высокими и яркими. Ночью конвоиры бывают более людьми — днем они боятся начальства. Ночью нас отпускали погреться к бойлеру по очереди, бойлер — это котел, где вода нагревается паром. От котла идут трубы с горячей водой в забои, и там бурильщики с помощью пара бурят отверстия в породе — бурки, и взрывники взрывают грунт. Бойлер в дощатой избушке-шалаше, и там — тепло, когда топится бойлер. Бойлерист — самая завидная должность на прииске, мечта всех. На эту работу берут и людей пятьдесят восьмой статьи. Бойлеристами в 1938 году были на всех приисках инженеры, блатарям начальство не особенно любило доверять такую «технику», боясь картежной игры или чего-нибудь еще.

Но Игорь Васильевич Глебов не был бойлеристом. Он был забойщик из нашей бригады, а до тридцать седьмого года был профессором философии в Ленинградском университете. Это мороз, холод, голод заставили его забыть имя жены. На морозе нельзя думать. Нельзя ни о чем думать — мороз лишает мыслей. Поэтому лагеря устраивают на севере.

Игорь Васильевич Глебов стоял у бойлера и, завернув руками телогрейку и рубашку вверх, грел голый свой замерзший живот о бойлер. Грел и плакал, и слезы не застывали на ресницах, на щеках, как у каждого из нас, — в бойлере было тепло. Через две недели Глебов разбудил меня ночью в бараке сияющий. Он вспомнил: Анна Васильевна. И я не ругал его и постарался заснуть снова. Глебов умер весной тридцать восьмого года — он был слишком крупен, велик для лагерного пайка.

Медведи казались мне настоящими только в зоологическом саду. В Колымской тайге и еще раньше в тайге Северного Урала я несколько раз встречался с медведями, всякий раз днем, и всякий раз они казались мне игрушечными медведями. И той весной, когда везде была прошлогодняя трава, и ни одна ярко-зеленая травинка еще не распрямлялась, и ярко-зеленым был только

стланик, и еще коричневые лиственницы с изумрудными когтями, и запах хвои — только молодая лиственница да цветущий шиповник на Колыме и пахнут.

Медведь пробежал мимо избы, где жили наши бойцы, наша охрана — Измайлов, Кочетов и еще третий, фамилию которого я не помню. Этот третий в прошлом году часто приходил в барак, где жили заключенные, и брал у нашего бригадира шапку и телогрейку — он ездил на «трассу» продавать бруснику стаканами или «чохом», а в форменной фуражке ему было неловко. Бойцы были смирные, понимали, что вести себя в лесу надо иначе, чем в поселке. Бойцы не грубили, никого не заставляли работать. Измайлов был старшим. Когда ему нужно было уходить, он прятал тяжелую винтовку под пол, вывертывая топором и сдвигая с места тяжелые лиственничные плахи. Другой, Кочетов, прятать под пол винтовку боялся и все таскал ее с собой. В этот день дома был только Измайлов. Услышав от повара про подошедшего медведя, Измайлов надел сапоги, схватил винтовку и выбежал на улицу в нижнем белье — но медведь уже ушел в тайгу. Измайлов с поваром побежали за ним, но медведя нигде не было видно, болото было топким, и они вернулись в поселок. Поселок стоял на берегу небольшого горного ключа, но другой берег был почти отвесной горой, покрытой невысокими редкими лиственницами и кустами стланика.

Гора вся была видна — сверху донизу, до воды — и казалась очень близкой. На небольшой полянке стояли медведи — один побольше, другой поменьше — медведица. Они боролись, ломали лиственницы, швыряли друг в друга камнями, не спеша, не замечая людей внизу, бревенчатых изб нашего поселка, которых и всех-то было пять вместе с конюшней.

Измайлов в нижнем бязевом белье с винтовкой и за ним жители поселка, каждый кто с топором, а кто с куском железа, повар с огромным кухонным ножом в руках подбирались с наветренной стороны к играющим медведям. Казалось, что они подошли близко, и повар, потрясая огромным ножом над головой конвоира Измайлова, хрипел: «Бей! Бей!»

Измайлов приладил винтовку на упавшей гнилой лиственнице, и медведи услышали что-то, или то предчувствие охотника, дичи, предчувствие, которое, несомненно, существует, предупредило медведей об опасности.

Медведица кинулась вверх по склону — бежала она вверх быстрее зайца, а старый самец не побежал, нет — он пошел вдоль горы, не спеша, убыстряя шаг, принимая на себя всю опасность, о которой зверь, конечно, догадывался. Щелкнул винтовочный выстрел, и в этот момент медведица исчезла за гребнем горы. Медведь побежал быстрее, побежал по бурелому, по зелени, мшистым камням, но тут Измайлов изловчился и ударил из винтовки еще раз — и медведь скатился с горы, как бревно, как огромный камень, скатился прямо в ущелье на толстый лед ручья, который тает только с августа. На ослепительном льду лежал медведь неподвижно, на боку, похожий на огромную детскую игрушку. Он умер, как зверь, как джентльмен.

Много лет раньше в разведочной партии я шел с топором по медвежьей тропе. Сзади меня шел геолог Махмутов с мелкокалиберкой через плечо. Тропа огибала огромное дуплистое, полусгнившее дерево, и я на ходу ударил обухом топора по дереву, а из дупла на траву выпала ласка. Ласка была на сносях и еле передвигалась по тропе, не пытаясь убежать. Махмутов снял мелкокалиберку с плеча и в упор выстрелил в ласку. Убить он ее не смог, а только оторвал ей ноги, и крошечный окровавленный зверек, умирающая брюхатая мать поползла молча на Махмутова, кусая его кирзовые сапоги. Блестящие глаза ее были бесстрашны и злобны. И геолог испугался и побежал по тропе от ласки. И я думаю, что он может молиться своему богу, что я не зарубил его тут же на медвежьей тропе. Было в моих глазах что-то такое, почему Махмутов не взял меня в следующий свой геологический поиск...

Что знаем мы о чужом горе? Ничего. О чужом счастье? Еще того меньше. Мы и о своем-то горе стремимся забыть, и память добросовестно слаба на горе и несчастье. Уменье жить — это уменье забывать, и никто не знает этого так хорошо, как колымчане, как заключенные.

Что такое Освенцим? Литература или... а ведь за Освенцимом у Стефы была редкая радость освобождения, а затем она, в числе десятков тысяч других, жертва шпиономании, попала в нечто худшее, чем Освенцим, попала на Колыму. Конечно, на Колыме не было душегубок, здесь предпочитали вымораживать, «доводить» — результат был самый утешительный.

Стефа была санитаркой женского туберкулезного отделения больницы для заключенных — все санитарки

были из больных. Десятками лет лгали, что горы Дальнего Севера — что-то вроде Швейцарии, и «Дедушкина лысина» выглядела чем-то вроде Давоса. Во врачебных сводках первых лагерных лет Колымы вовсе туберкулез не упоминался или упоминался крайне редко.

Но болота, сырость и голод сделали свое, анализы лабораторий доказывали рост туберкулеза, подтверждали смертность от туберкулеза. Тут нельзя было сослаться (как в будущем), что, дескать, сифилис в лагере — немецкий, вывезенный из Германии.

Туберкулезных стали класть в больницы, освобождать от работы, туберкулез завоевал себе «права гражданства». Какой ценой? Работа на Севере была страшнее всякой болезни — здоровые бесстрашно поступали в туберкулезные отделения, обманув врачей. У заведомо туберкулезных, у умирающих больных подбирали мокроту, «харчок», бережно завертывали эту мокроту в тряпочку, прятали ее, как талисман, и когда собирали анализ для лаборатории — брали чужую мокроту «с благодетельными палочками» себе в рот и харкали в подставленную лаборантом посуду. Лаборант был человеком бывалым и верным — что было важнее медицинского образования, по тогдашним понятиям начальства, заставлял больного отхаркивать мокроту в присутствии лаборанта. Никакая разъяснительная работа не действовала — жизнь в лагере и работа на холоде были страшнее смерти. Здоровые быстро становились больными и уже на законном основании использовали пресловутый койко-день.

Стефа была санитаркой и стирала, и горы грязного бязевого белья и едкий запах мыла, щелока, людского пота и вонючего теплого пара окутывали ее «рабочее место»...

<1963>

АФИНСКИЕ НОЧИ

Когда я кончил фельдшерские курсы и стал работать в больнице, главный лагерный вопрос — жить или не жить — был снят и было ясно, что только выстрел, или удар топора, или рухнувшая на голову вселенная помешают мне дожить до своего намеченного в небесах предела.

Все это я чувствовал всем своим лагерным телом без всякого участия мысли. Вернее, мысль являлась, но без логической подготовки, как озарение, венчающее чисто физические процессы. Эти процессы приходили в изможденные, измученные цинготные раны — раны эти не затягивались десяток лет в лагерном теле, в человеческой ткани, испытанной на разрыв и сохраняющей, к моему собственному удивлению, колоссальный запас сил.

Я увидел, что формула Томаса Мора наполняется новым содержанием. Томас Мор в «Утопии» так определил четыре основные чувства человека, удовлетворение которых доставляет высшее блаженство по Мору. На первое место Мор поставил голод — удовлетворение съеденной пищей; второе по силе чувство — половое; третье — мочеиспускание; четвертое — дефекация.

Именно этих главных четырех удовольствий мы были лишены в лагере. Начальникам любовь казалась чувством, которое можно изгнать, заковать, исказить... «Всю жизнь живой п... не увидишь» — вот стандартная острота лагерных начальников.

С любовью лагерное начальство боролось по циркулярам, блюло закон. Алиментарная дистрофия была постоянным союзником, могучим союзником власти в борьбе с человеческим либидо. Но и три другие чувства испытали под ударами судьбы в лице лагерного начальства те же изменения, те же искажения, те же превращения.

Голод был неутолим, и ничто не может сравниться с чувством голода, сосущего голода — постоянного состояния лагерника, если он из пятьдесят восьмой, из доходяг. Голод доходяг не воспет. Собирание мисок в столовой, облизывание чужой посуды, крошки хлеба, высыпаемые на ладонь и вылизываемые, двигаются к желудку лишь качественной реакцией. Удовлетворить такой голод непросто, да и нельзя. Много лет пройдет, пока арестант не отучит себя от всегдашней готовности есть. Сколько бы ни съел — через полчаса-час хочется есть опять.

Мочеиспускание? Но недержание мочи — массовая болезнь в лагере, где голодают и доходят. Какое уж тут удовольствие от такого мочеиспускания, когда с верхних нар на твое лицо течет чужая моча — но ты терпишь. Ты сам лежишь на нижних нарах случайно, а мог бы лежать и наверху, мочился бы на того, кто внизу. Поэтому ты ругаешься невсерьез, просто стираешь мочу с лица и дальше спишь тяжелым сном с единст-

венным сновидением — буханками хлеба, летящими, как ангелы на небесах, парящим полетом.

Дефекация. Но испражнение доходяг непростая задача. Застегнуть штаны в пятидесятиградусный мороз непосильно, да и доходяга испражняется один раз в пять суток, опровергая учебники по физиологии, даже патофизиологии. Извержение сухих катышков кала — организм выжал все, что может сохранить жизнь.

Удовольствия, приятного ощущения ни один доходяга от дефекации не получает. Как и при мочеиспускании — организм срабатывает помимо воли, и доходяга должен торопиться снять штаны. Хитрый полузверь-арестант пользуется дефекацией как отдыхом, передышкой на крестном пути золотого забоя. Единственная арестантская хитрость в борьбе с мощью государства — миллионной армией солдат-конвоиров, общественных организаций и государственных учреждений. Инстинктом собственной задницы сопротивляется доходяга этой великой силе.

Доходяга не надеется на будущее — во всех мемуарах, во всех романах доходягу высмеют как лодыря, мешающего товарищам, предателя бригады, забоя, золотого плана прииска. Придет какой-нибудь писатель-делец и изобразит доходягу в смешном виде. Он уже делал такие попытки, этот писатель, считает, что над лагерем не грех и посмеяться. Всему, дескать, свое время. Для шутки путь в лагерь не закрыт.

Мне же такие слова кажутся кощунством. Я считаю, что сочинить и протанцевать румбу «Освенцим» или блюз «Серпантинная» может только подлец или делец, что часто одно и то же.

Лагерная тема не может быть темой для комедии. Наша судьба не предмет для юмористики. И никогда не будет предметом юмора — ни завтра, ни через тысячу лет.

Никогда нельзя будет подойти с улыбкой к печам Дахау, к ущельям Серпантинной.

Попытки отдохнуть, расстегнув штаны и присев на секунду, на миг, меньше секунды, отвлечься от муки работы достойны уважения. Но делают эту попытку только новички — потом ведь спину разгибать еще труднее, еще больнее. Но новичок применяет иногда этот незаконный способ отдыха, крадет казенные минуты рабочего дня.

И тогда конвой вмешивается с винтовкой в руках в разоблачение опасного преступника-симулянта. Я сам

был свидетелем весной 1938 года в золотом забое прииска «Партизан», как конвоир, потрясая винтовкой, требовал у моего товарища:

— Покажи твое говно! Ты третий раз садишься. Где говно? — обвиняя полумертвого доходягу в симуляции.

Говна не нашли.

Доходяга Серёжа Кливанский, мой товарищ по университету, вторая скрипка театра Станиславского, был обвинен на моих глазах во вредительстве, незаконном отдыхе во время испражнения на шестидесятиградусном морозе, — обвинен в задержке работы звена, бригады, участка, прииска, края, государства: как в известной песне о подкове, которой не хватило гвоздя. Обвиняли Серёжу не только конвоиры, смотрители и бригадиры, а и свои же товарищи по целебному, искупающему все вины труду.

А говна в кишечнике Серёжи действительно не было; позывы же «на низ» были. Но надо было быть медиком, да еще не колымским, каким-нибудь столичным, материковским, дореволюционным, чтобы все это понять и объяснить другим. Здесь же Серёжа ждал, что его застрелят по той простой причине, что у него не оказалось в кишечнике говна.

Но Серёжу не расстреляли.

Его расстреляли позднее, чуть позднее, — на Серпантинке во время массовых гаранинских акций.

Моя дискуссия с Томасом Мором затянулась, но она подходит к концу. Все эти четыре чувства, которые были растоптаны, сломлены, смяты — их уничтожение еще не было концом жизни, — все они все же воскресли. После воскресения — пусть искаженного, уродливого воскресения каждого из этих четырех чувств — лагерник сидел над «очком», с интересом чувствуя, как что-то мягкое ползет по изъязвленному кишечнику, без боли, а ласково, тепло, и калу будто жаль расставаться с кишками. Кал падает в яму с брызгами, всплеском — в ассенизационной яме кал долго плавает по поверхности, не находя себе места: это — начало, чудо. Уже ты можешь мочиться даже по частям, прерывая мочеиспускание по собственному желанию. И это тоже маленькое чудо.

Уже ты встречаешь глаза женщин с некоторым смутным и неземным интересом — не волнением, нет, не зная, впрочем, что у тебя для них осталось и обратим ли процесс импотенции, а правильнее было бы сказать — оскопления. Импотенция для мужчин, аменорея

для женщин — постоянное законное следствие алиментарной дистрофии, а попросту голода. Это — тот нож, который судьба всем арестантам втыкает в спину. Оскопление возникает не из-за длительного воздержания в тюрьме, в лагере, а из-за других причин, более прямых и более надежных. В лагерной пайке — разгадка, несмотря на любые формулы Томаса Мора.

Голод победить важнее. И все органы твои напрягаются, чтобы не есть слишком много. Ты голоден на много лет. Ты с трудом разрываешь день на завтрак, обед и ужин. Всего остального не существует в твоем мозгу, в твоей жизни не один год. Вкусно пообедать, сытно пообедать, плотно пообедать ты не можешь — тебе все время хочется есть.

Но наступает час, день, когда ты волевым усилием отбрасываешь от себя мысли о еде, о пище, о том, будет ли гречка на ужин или ее оставят до завтрака следующего дня. Картошки на Колыме нет. Поэтому из меню моих гастрономических мечтаний картошка исключена, вполне основательно исключена, ибо тогда мечты перестали бы быть мечтами: стали бы чересчур нереальными. Гастрономические сны колымчан о хлебе, а не о пирожном, о манке, гречке, овсянке, перловке, магаре, пшене, но не о картофеле.

Я пятнадцать лет не держал картофеля во рту, а когда уже на воле, на Большой земле, в Туркмене Калининской области отведал — картофель показался мне отравой, незнакомым опасным блюдом, как кошке, которой хотят вложить в рот что-то угрожающее жизни. Не меньше года прошло, пока я снова привык к картофелю. Но только привык — смаковать картофельные гарниры я и сейчас не в состоянии. Я убедился лишний раз в том, что советы лагерной медицины, «таблицы замен» и «нормы питания» основаны на глубоко научных соображениях.

Подумаешь, картофель! Да здравствуют доколумбовы времена! Человеческий организм может обойтись без картофеля.

Острее мысли о еде, о пище является новое чувство, новая потребность, вовсе забытая Томасом Мором в его грубой классификации четырех чувств.

Пятым чувством является потребность в стихах.

У каждого грамотного фельдшера, сослуживца по аду, оказывается блокнот, куда записываются случайными разноцветными чернилами чужие стихи — не ци-

таты из Гегеля или Евангелия, а именно стихи. Вот, оказывается, какая потребность стоит за голодом, за половым чувством, за дефекацией и мочеиспусканием.

Потребность слушать стихи, не учтенная Томасом Мором.

И стихи находятся у всех.

Добровольский извлекает из-за пазухи какой-то толстый грязный блокнот, откуда слышатся божественные звуки. Бывший киносценарист Добровольский работал фельдшером в больнице.

Португалов, руководитель культбригады больницы, поражает образцами прекрасно действующей актерской памяти, уже смазанной чуть-чуть маслом культработы. Португалов ничего не читает по бумажке — все на память.

Я напрягаю свой мозг, отдавший когда-то столько времени стихам, и, к собственному удивлению, вижу, как помимо моей воли в гортани появляются давно забытые мной слова. Я вспоминаю не свои стихи, а стихи любимых мной поэтов — Тютчева, Баратынского, Пушкина, Анненского — в моей гортани.

Нас трое в перевязочной хирургического отделения, где я работаю фельдшером и дежурю. Дежурный фельдшер глазного отделения — Добровольский, Португалов — актер из культобслуги. Помещение — мое, ответственность за этот вечер — также. Но об ответственности никто не думает — все делается явочным порядком. Верный своей старой, даже всегдашней привычке сначала делать, а потом спрашивать разрешения, я начал эти чтения в нашей перевязочной гнойного хирургического отделения.

Час чтения стихов. Час возвращения в волшебный мир. Мы все взволнованы. Я даже продиктовал Добровольскому бунинского «Каина». Стихотворение осталось в памяти случайно — Бунин поэт небольшой, но для устной антологии, составлявшейся на Колыме, прозвучало весьма и весьма.

Эти поэтические ночи начинались в девять часов вечера после поверки в больнице и кончались в одиннадцать-двенадцать часов ночи. Я и Добровольский были на дежурстве, а Португалов имел право опаздывать. Таких поэзоночей, которые позднее в больнице получили название афинских ночей, мы провели несколько.

Выяснилось сразу, что все мы — поклонники русской лирики начала двадцатого века.

Мой взнос: Блок, Пастернак, Анненский, Хлебников, Северянин, Каменский, Белый, Есенин, Тихонов, Ходасевич, Бунин. Из классиков: Тютчев, Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Алексей Толстой.

Взнос Португалова: Гумилев, Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Тихонов, Сельвинский. Из классиков — Лермонтов и Григорьев, которого мы с Добровольским знали больше понаслышке и лишь на Колыме испытали меру его удивительных стихов.

Доля Добровольского: Маршак с переводами Бернса и Шекспира, Маяковский, Ахматова, Пастернак — до последних новинок тогдашнего «самиздата». «Лилечке вместо письма» было прочитано именно Добровольским, да и «Зима приближается» мы заучили тогда же. Первый ташкентский вариант будущей «Поэмы без героя» был прочтен тоже Добровольским. Пырьев и Ладынина прислали бывшему сценаристу «Трактористов» и эту поэму.

Все мы понимали, что стихи — это стихи, а не стихи — не стихи, что в поэзии известность ничего не решает. У каждого из нас был свой счет к поэзии, я назвал бы его гамбургским, если бы этот термин не был так затаскан. Мы дружно решили не тратить время наших поэтических ночей на включение в нашу поэтическую устную антологию таких имен, как Багрицкий, Луговской, Светлов, хотя Португалов и был с кем-то из них в одной литературной группе. Список наш отстоялся давно. Наше голосование было тайным из тайных — ведь мы проголосовали за одни и те же имена много лет назад, каждый отдельно от другого, на Колыме. Выбор совпадал в именах, в стихотворениях, в строфах и даже в строчках, особо отмеченных каждым. Стихотворное наследство девятнадцатого века не удовлетворяло нас, казалось недостаточным. Каждый читал, что вспомнит и запишет за время перерыва между этими стихотворными ночами. Мы не успели перейти к чтению собственных стихов, было ясно, все трое пишут или писали стихи, как наши афинские ночи были прерваны неожиданным образом.

В хирургическом отделении лежало более двухсот больных заключенных, а всего больница была на тысячу арестантских коек. Часть Т-образного корпуса отведена была для больных вольнонаемных. Это было грамотное и полезное мероприятие. Врачи из заключенных — а среди них было немало светил медицинских союзного

масштаба — получали официально право лечить вольнонаемных как консультанты, находящиеся под рукой наготове в любое время суток, лет, десятилетий...

В зиму наших поэтических вечеров отделения для вольнонаемных еще не было. Лишь в хирургическом отделении арестантской больницы была палата на две койки — для вольнонаемных на случай неотложной госпитализации, травмы, автомобильной например. Палата не пустовала. На этот раз в палате лежала девушка лет двадцати трех, одна из московских комсомолок по набору на Дальний Север. Окружали ее сплошь уголовники, но девушку это не смущало — она была секретарем комсомольской организации какого-то соседнего прииска. Об уголовниках девушка не думала, держалась просто, скорее всего по незнанию колымской специфики. Девушка эта умирала от скуки. Болезни, по которой девушка была срочно госпитализирована, у нее не оказалось. Но медицина есть медицина, девушке нужно было вылежать положенный карантинный срок, чтобы шагнуть за больничный порог и исчезнуть в морозной бездне. У нее были какие-то большие связи в самом управлении в Магадане. Потому-то ее и госпитализировали в мужскую лагерную больницу.

Девушка спросила меня, можно ли ей послушать такой поэтический вечер. Я разрешил. Как только очередное чтение началось, она вошла в перевязочную гнойного отделения и оставалась до конца чтения. На следующем поэтическом вечере она была тоже. Вечера эти были в мое дежурство — через двое суток на третьи. И еще прошел один вечер, а при начале третьего в перевязочной распахнулась дверь, и порог перешагнул сам начальник больницы доктор Доктор.

Доктор Доктор ненавидел меня. Что ему донесут о наших вечерах — я не сомневался. Колымские начальники обычно поступают так: есть «сигнал» — принимают меры. «Сигнал» здесь закреплен как термин информации еще до рождения Норберта Винера, применялся именно в смысле информации в тюремном и следственном деле всегда. Но если «сигнала» нет, то есть нет заявления — устного, но формального «стука» или приказа высшего начальства, уловившего «сигнал» раньше: с горы не только лучше видно, но и лучше слышно. По собственной инициативе начальники редко поднимают официальное изучение какого-либо нового явления в лагерной жизни, ему вверенной.

Доктор Доктор был не таков. Он считал своим призванием, долгом, нравственным императивом преследование всех «врагов народа» в любой форме, по любому поводу, при любой обстановке и при любой возможности.

В полной уверенности, что он может изловить что-то важное, он влетел в перевязочную, даже не надев халата, хотя халат нес за ним на вытянутых руках дежурный фельдшер терапевтического отделения, бывший румынский офицер, любимец короля Михая, красноположий Поманэ. Доктор Доктор вошел в перевязочную в кожаной куртке покроя сталинского кителя, даже пушкинские белокурые баки доктора Доктора — доктор Доктор гордился своим сходством с Пушкиным — торчали от охотничьего напряжения.

— А-а-а, — протянул начальник больницы, переводя глаза с одного участника чтения на другого и останавливаясь на мне, — ты-то мне и нужен!

Я встал, руки по швам, отрапортовал как положено.

— А ты откуда? — Доктор Доктор перевел перст на девушку, сидевшую в углу и не вставшую при появлении грозного начальника.

— Я здесь лежу, — сухо сказала девушка, — и попрошу не тыкать.

— Как здесь лежит?

Комендант, вошедший вместе с начальником, объяснил доктору Доктору статус больной девушки.

— Хорошо, — грозно сказал доктор Доктор, — я выясню. Мы еще поговорим! — И вышел из перевязочной. И Португалов и Добровольский выскользнули из перевязочной давно.

— Что теперь будет? — сказала девушка, но в тоне ее не чувствовалось испуга, а только интерес к юридической природе дальнейших событий. Интерес, а не боязнь или страх за свою или чью-то судьбу.

— Мне, — сказал я, — ничего, я думаю, не будет. А вас могут выписать из больницы.

— Ну, если он меня выпишет, — сказала девушка, — я этому доктору Доктору обеспечу хорошую жизнь. Пусть только пикнет, я его познакомлю со всем высшим начальством, какое на Колыме есть.

Но доктор Доктор промолчал. Ее не выписали. Доктор ознакомился с ее возможностями и решил пройти мимо этого события. Девушка пролежала положенное для карантина время и уехала, растворилась в небытии.

Меня начальник больницы тоже не арестовал, не посадил в карцер, не загнал на штрафняк, не перевел на общие работы. Но в очередном отчетном докладе на общем собрании сотрудников больницы, в битком набитом кинозале мест на шестьсот, начальник рассказал подробно о тех безобразиях, которые он, начальник, собственными глазами видел в хирургическом отделении во время обхода, когда фельдшер имярек сидел в операционной и ел бруснику из одной миски с пришедшей туда женщиной. Здесь, в операционной...

— Это не операционная, а перевязочная гнойного отделения.

— Ну, все равно!

— Совсем не все равно!

Доктор Доктор сощурил глаза. Подавал голос Рубанцев, новый заведующий хирургическим отделением, — фронтовой хирург с войны. Доктор Доктор отмахнулся от критикана и продолжал инвективы. Женщина не была названа по имени. Доктор Доктор, полновластный хозяин наших душ, сердец и тел, почему-то скрыл фамилию героини. Во всех подобных случаях в докладах, приказах расписываются все подробности, возможные и невозможные.

— А что этому фельдшеру из зэка было за столь явное нарушение, да еще установленное лично начальником?

— А ничего.

— А ей?

— Тоже ничего.

— А кто она?

— Никто не знает.

Кто-то посоветовал доктору Доктору сдержать на сей раз свой административный восторг.

Через полгода или через год после этих событий, когда и доктора Доктора в больнице не было давно — он был переведен за свое рвение куда-то вперед и выше, — фельдшер, однокурсник мой, спросил меня, когда мы проходили по коридору хирургического отделения больницы:

— Вот это и есть та самая перевязочная, где проходили ваши афинские ночи? Там, говорят, было...

— Да, — сказал я, — та самая.

1973

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОЛУ

В магаданский солнечный день, в какое-то светлое воскресенье, я посмотрел матч местных команд «Динамо-3» и «Динамо-4». Дыхание сталинской унификации определило это скучное однообразие имен. И финальная группа, и предварительная — все состояли из команд «Динамо», что, впрочем, и следовало ожидать в городе, где мы находились. Я сидел далеко, на дальних верхних местах, и сделался жертвой оптического обмана, мне показалось, что игроки обеих команд бегают очень медленно, готовя голевую комбинацию, и когда удар по воротам наносится, мяч описывает в воздухе такую медленную траекторию, что весь голевой акт можно сравнить с телевизионной съемкой замедленной. Но телевизионная замедленная съемка еще не родилась, не родился и сам телевизор, так что мое сравнение будет грехом, хорошо известным в литературоведении. Впрочем, замедленная киносъемка была и в мое время, появилась на свет раньше меня или моя ровесница. Я мог бы сравнить с замедленной киносъемкой этот футбольный матч и уже потом сообразил, что тут дело не в киносъемке, а просто футбольный матч происходит на Крайнем Севере, в иных долготах и широтах, что движение игроков тут замедленно, как замедленна вся их жизнь. Не знаю, были ли среди участников жертвы знаменитой сталинской расправы с футболистами. Сталин вмешивался не только в литературу, в музыку, но и в футбол. Команду ЦСКА, лучшую команду страны, чемпиона тех лет, разогнали в 1952 году после проигрыша на Олимпиаде. И команда эта никогда не воскресла. Среди участников магаданского матча тех игроков не должно было быть. Но зато мог играть квартет братьев Старостиных — Николай, Андрей, Александр и Пётр — все игроки сборной страны. В мое время, в описываемое, как выражаются историки, время все братья Старостины сидели в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу Японии.

Председатель ВСФК — Высшего совета физической культуры — Манцев был уничтожен, расстрелян. Манцев входил в ряды старых большевиков, активных деятелей Октябрьского переворота. Это и было причиной его уничтожения. Синекурная должность, которую Манцев занимал в последние месяцы, отделявшие его от смерти, не могла, конечно, успокоить, насытить жажду мести у Сталина.

В магаданском райотделе мне сказали:

— Мы не имеем никаких возражений против вашего отъезда на материк, на Большую землю. Устраивайтесь на работу, увольняйтесь, уезжайте — от нас не будет никаких препятствий, и к нам не надо обращаться вовсе.

Это был старый трюк, известная мне с детства игра. Безвыходность, необходимость есть три раза в день заставляли бывших арестантов слушать подобные наставления. Я сдал первые свои вольные документы, тощие вольные документы в отдел кадров Дальстроя, трудовую книжку с единственной записью, копию свидетельства об окончании фельдшерских курсов, заверенную свидетельскими показаниями двух врачей, бывших преподавателей. На третий день поступила заявка на фельдшеров для Олы, национального района, где государственная власть оберегала население от арестантского потока — многомиллионный поток шел мимо, на север по колымской трассе. Побережье — Арман, Ола, поселки, в которых останавливались если не Колумб, то Эрик Рыжий, были известны с древности на побережье Охотском. Была на Колыме и топонимическая легенда, что река и сам край назван так по имени Колумба — ни больше ни меньше, и что сам знаменитый мореплаватель неоднократно бывал там во время своего посещения Англии и Гренландии. Побережье охраняли законы. Там бывшим зэка можно было жить не всем — блатарей, ни бывших, ни сущих, ни завязавших, ни действующих, в этот край не допускали, но я как новоиспеченный вольняшка имел право посетить благословенные острова. Там была рыбалка, а значит — пища. Там была охота — еще раз пища. Там были сельхозы — пища в третий раз. Там были оленьи стада — пища в четвертый раз.

Эти оленьи стада — да еще, кажется, каких-то яков Берзин завозил в начале деятельности Дальстроя — представляли собой немалую заботу для государства. Дотаций требовали огромных. Среди многочисленных курьезов хорошо помню многолетние безнадежные усилия Дальстроя приучить овчарок стеречь оленей. Овчарки, которые по всему Союзу с высшей степенью успеха несли охрану людей, вели лагерные этапы, искали беглецов в тайге, — вовсе отказались охранять стада оленей, и местное население вынуждено было с помощью обычных своих лаек охранять оленьи стада. Этот удивительный исторический факт мало кому известен. В чем тут было дело? В мозг овчарки заложена про-

грамма для людей, а не для оленей? Так, что ли? Групповая охота, которую ведут, например, волки в оленьих стадах, — содержит все элементы охраны оленей. Но овчарки, ни одна, никогда, не могли научиться охранять стада. Ни опытных не могли переучить, ни из щенков вырастить пастухов, а не охотников. Попытка окончилась неудачей, полной победой природы.

Вот на эту оленную, рыбную, ягодную Олу я и выразил желание поехать. Конечно, там были ставки вдвое меньше лагерных, дальстроевских, но зато там в государственном порядке боролись с лодырями, с ворами, пьяницами, просто высылали из района в Магадан, на земли Дальстроя, где действовали другие законы. Председатель исполкома имел право такой высылки — без суда и следствия — возвращения праведника в грешный мир. Это распоряжение не касалось, конечно, националов. Высылка эта совершалась не каким-нибудь сложным путем — до Магадана морем было сто километров, а тайгой — тридцать. Милиционер брал за руки и вел грешника в чистилище магаданской транзитки, где и для вольных была пересылка, «карпункт» — на тех же правах, что и для заключенных. Все это привлекало меня, и я взял путевку на Олу.

Но как добраться до Олы? Конечно, мне оплатят суточные с того часа, как я взял в руки путевку, высунутую из окна туннеля благоухающей рукой какого-то лейтенанта-инспектора отдела кадров, но зима здесь приходит быстро, хотелось бы добраться до места работы — ведь новичков на самой Оле не оставят. Ловить машину? Я доверил решение институту общественного мнения, наподобие Геллапского, опросил всех соседей, стоявших со мной в бесконечной очереди в отделе кадров, — и 99,9% были в пользу катера. Я решился на катер, ходивший из бухты Веселой. Тут мне повезло сказочно, удивительно. Я встретил на улице Бориса Лесняка, который со своей женой Савоевой так много оказал мне помощи в один из моих голодных годов, тощих фараоновских годов.

Есть в науке жизни хорошо известное выражение «полоса удачи». Удача бывает маленькая и большая. Беда, говорят, одна не приходит. Неудача тоже не приходит одна. На следующий день, обдумывая, как мне попасть на катер, я встретил тоже на улице Яроцкого, бывшего главного бухгалтера больницы. Яроцкий работал в бухте Веселой, жена его разрешила мне высти-

рать в его квартире белье, и я целый (день) с удовольствием стирал то, что скопилось за время моего пути в руках подполковника Фрагина. И это тоже была удача. Яроцкий дал мне записку к диспетчеру. Катер ходил раз в день, я затащил на борт свои два чемодана, я хитрил по-блатному, один чемодан был пустой, а во втором — единственный мой дешевый синий костюм, купленный на Левом берегу еще тогда, когда я был заключенным, и тетрадки со стихами, тонкие тетрадочки, уже не из бумаги Баркана. Тетрадочка постепенно заполнялась рифмованными строками помимо моей воли и не должна была вызвать подозрения у того, кто ее украдет. Но — не украли. Катер в известный час отвалил и доставил меня на Олу, в туберкулезную больницу для националов. В гостинице — бараке размещен был и санотдел района во главе с врачом молодым. Заведующий был в командировке, и мне предстояло ждать два-три дня. Я познакомился с Олой.

Ола была пуста, беззвучна. Шел ход обратный кеты и горбуши с нерестилищ в открытое море, сопровождаемый той же спешкой, той же страстью проскочить стремительно ущелье. Те же охотники ждали в тех же засадах. Весь поселок — мужчины, женщины, дети, начальники и подчиненные — все стояли на реке в эти дни уборки рыбного урожая. Рыбозаводы, коптильни, засолки работали круглосуточно. В больнице оставались только дежурные, а все выздоравливающие больные были тоже на рыбе. Время от времени через пыльный поселок проезжала телега, где в огромном ящике из двухметровых досок плескалось серебряное море кеты, горбуши. Кто-то кричал отчаянным голосом: «Сенька, Сенька!» Кто мог кричать в этот безумный уборочный день? Лодырь? Вредитель? Тяжелобольной?

— Сенька, дай рыбину!

И Сенька, не останавливая телеги, опустив на минуту вожжи, выбрасывал в пыль огромную, двухметровую, сверкающую на солнце кету. Местный старичок, ночной сторож и фельдшер дежурный, когда я намекнул, что хорошо бы поесть что-нибудь, если есть у хозяев, сказал:

— Так ведь что дать-то? У нас есть суп из кеты, вчерашний, но — кета, не горбуша. Стоит. Возьми и погрей. Но ведь ты есть не будешь. Вчерашний мы, например, не едим.

Съев полкотелка этой вчерашней кеты и отдохнув, я пошел на берег купаться. Купание в Охотском море —

грязном, холодном, соленом было известно, но в целях общего образования я поплавал немножко.

Поселок Ола был пыльным. Телега, проезжая, вздымала горы пыли. Но жара стояла давно, и обратится ли эта пыль в каменноподобную глину, как, например, в Калининской области, я так никогда и не узнал. День, проведенный мной в поселке Ола, помог мне увидеть две особенности этого северного рая.

Необычайное количество кур итальянской породы, белокрылых леггорнов — все хозяева держали только эту породу за яйценоскость, очевидно. Одно яйцо на магаданском базаре стоило сто рублей в те времена. И так как все куры похожи друг на друга, то каждый хозяин краской метил крылья своих кур. Комбинация цветов — если семи красок не хватало — куры были раскрашены, как футболисты (массовых) зрелищ, и (напоминали) парад государственных флагов или географическую карту. Словом, все, что угодно, только не куриное стадо.

Вторым были одинаковые заборы у домиков хозяев. Заборы были очень тесно прижаты к домику, усадьба была крошечная, но все-таки это была усадьба. А так как глухие заборы из досок или из колючей проволоки — привилегия государства, а российский палисадник — ненадежная изгородь для хозяина, то заборы всех домов на Оле были завешаны старыми сетями. Это создавало и красоту и колорит, будто весь ольский мир посажен на миллиметровку для тщательного изучения: рыболовные сети охраняли кур.

У меня была путевка на остров Сиглан — в Охотском море, но заведующая райотделом не взяла меня туда «по анкете» и предложила вернуться обратно в Магадан. Большой потери я не ощутил — получил документы. Случайно эти мои путевки сохранились. Надо было добраться до Магадана, сесть на тот же самый катер, который привез меня сюда. Это оказалось непросто, и не потому, что я был какой-то беспаспортный бродяга или бывший зэка.

Моторист катера жил в самой Оле постоянно, и вытолкнуть его на свой катер, на свою работу оказалось очень непросто. После трех дней пьянства и простоя катера моториста наконец вывели под руки из родной избы и медленно повели, то опуская его на землю, то поднимая, километра два до причала, где стоял катер и набралась большая группа пассажиров — человек десять. Вели его не меньше часу, а то и два. Огромная

туша приблизилась, влезла в рулевую будку, запустила мотор «Кавасаки». Катер дрогнул, но до отъезда было еще очень далеко. После всяких обиваний, оттираний руки моториста заняли привычное положение на штурвале. Девять пассажиров из десяти (десятым был я) бросились к рулевой будке, умоляя остановить и вернуться домой. Время отлива упущено, в Магадан не попасть вовремя. Все равно придется возвращаться или дрейфовать в открытом море. В ответ раздался рев моториста, что он в рот и в нос всех пассажиров катера, он, моторист, не упустит прилив. «Кавасаки» помчался в открытое море, и жена моториста обошла пассажиров с шапкой «на опохмелку» — я дал пятерку. И вылез на палубу посмотреть, как играют нерпы, киты, как приближается Магадан. Магадана тут не было, но берег, скалистый берег, к которому мы все шли, шли и не могли подойти.

— Прыгай, прыгай, — вдруг услышал я совет какой-то женщины, путешествующей не впервые морем Ола — Магадан, — прыгай, прыгай, я тебе кину чемоданы, тут еще достанешь до дна.

Женщина прыгнула и протянула руки вверх. Море ей было по пояс. Понимая, что прилив не ждет, я кинул в море оба своих чемодана — вот когда я благословлял блатареи за мудрый их совет, — и спрыгнул сам, ощутив скользкое, но крепкое, надежное дно океана. Я поймал в волнах свои чемоданы, подвергшиеся действию не только морской соли, но и закона Архимеда, и двинулся к берегу вслед за своими попутчиками, которые с чемоданами над головой приближались к берегу, перегоняя волны прилива, выбрался на пирс бухты Веселой, помахав рукой Оле и мотористу, — навсегда. Моторист, увидев, что все пассажиры благополучно выбрались на пристань, развернул «Кавасаки» и ушел в Олу — допивать то, что осталось.

1973

ПОДПОЛКОВНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ

На Колыму подполковника Рюрикова привела боязнь старости — дело шло к пенсии, а северные оклады были вдвое выше московских. Подполковник медицинской службы Рюриков не был ни хирургом, ни терапевтом, ни

венерологом. В первые годы революции он — рабфаковцем — пришел на медицинский факультет университета, закончил его как невропатолог, но все давно забыл — он никогда, ни одного дня не работал лечащим врачом — он был всегда администратором — главным врачом больницы, заведующим. Вот и сюда он приехал начальником большой больницы для заключенных — Центральной больницы на тысячу коек. Не то что ему не хватало оклада начальника одной из московских больниц. Подполковнику Рюрикову было далеко за шестьдесят, и жил он одиноко. Дети его были взрослые — все трое работали где-то врачами, но Рюриков и слышать не хотел, чтобы жить на средства детей или пользоваться их помощью. Еще в юности выработал он себе на сей счет твердое убеждение, что ни от кого никогда зависеть не будет, а если случится так, то лучше умрет. Была и еще одна сторона дела, о которой подполковник Рюриков даже и себе старался не рассказывать. Мать его детей умерла давно, взяв с Рюрикова странное слово перед смертью — никогда ни на ком больше не жениться. Рюриков дал это слово покойнице и с тех пор, с тридцати пяти лет, твердо это слово держал, никогда не пытаясь даже подумать о каком-то ином решении вопроса.

Ему казалось, что он если подумает об этом иначе, то тронет что-то такое болезненное и святое, что хуже всякого кощунства. Потом он привык, и ему не было трудно. Никому он не рассказывал об этом, ни с кем не советовался — ни с детьми, ни с женщинами, с которыми он был близок. Та женщина, с которой он жил последние годы, врач его больницы, от первого мужа имела детей — двух девочек-школьниц, и Рюрикову хотелось, чтоб и эта его семья жила хоть немного лучше. Это была вторая причина, заставившая его предпринять такое серьезное путешествие.

Была и третья причина — мальчишеская. Дело в том, что подполковник Рюриков нигде в своей жизни не бывал, нигде, кроме Тумского района Московской области, откуда он был родом, и самого города Москвы, где он рос, учился, работал. Даже в молодые годы до женитьбы и в годы обучения в университете Рюриков ни одного отпуска и ни одних каникул не провел иначе, как у своей матери в Тумском районе. Ему казалось неудобным, неприличным поехать в отпуск на курорт или куда-либо еще. Он слишком боялся укоров собственной совести. Мать жила долго, переезжать к сыну не соглашалась, и

Рюриков понимал ее — прожившую жизнь в родном селе. Мать умерла перед самой войной. На фронт Рюриков не попал, хотя и облачился в военную форму, и всю войну был начальником госпиталя в Москве.

Он не бывал ни за границей, ни на юге, ни на востоке, ни на западе и часто думал, что вот он скоро умрет и так ничего и не повидает в жизни. Особенно его волновали и интересовали арктические полеты и вообще вся эта необычайная, романтическая жизнь завоевателей Севера. Не только Джек Лондон, которого подполковник очень любил, поддерживал в нем интерес к Северу — но и полеты Слепнёва и Громова, дрейф «Челюскина».

Неужели он так и проживет свою жизнь, не повидав самого заветного? И когда ему предложили поездку на Север на три года — Рюриков сразу понял, что это — исполнение всех его желаний, что это удача, награда за весь его многолетний труд. И он согласился, не советуясь ни с кем.

Одно только обстоятельство немного смущало Рюрикова. Его назначили в больницу для заключенных. Конечно, он знал, что на Дальнем Севере, как и на Дальнем Востоке, и на ближнем юге, и на ближнем западе, есть трудовые лагеря. Но он предпочел бы работу среди вольнонаемного персонала. Но вакансий там не было, да и оклады вольнонаемных врачей для заключенных были опять-таки гораздо выше — и Рюриков отбросил сомнения. В тех двух беседах, которые начальство вело с подполковником, эта сторона дела отнюдь не затенялась, не маскировалась, а, наоборот, подчеркивалась. Было обращено серьезнейшее внимание подполковника Рюрикова на то, что там содержатся враги народа, враги родины, колонизующие сейчас Крайний Север, военные преступники, которые используют всякий момент слабости, нерешительности начальства для своих подлых, коварных целей, что нужно проявлять величайшую бдительность в отношении этого «контингента», так выразилось начальство. Бдительность и твердость. Но пусть Рюриков не пугается. Верным помощником ему будут все вольнонаемные работники больницы, значительный партийный коллектив, который работает в труднейших северных условиях.

Рюриков за тридцать лет административной работы видел в подчиненных нечто другое. Ему надоели до смерти расхищения казенного инвентаря, взаимные подсиживания, пьянство. Рюриков обрадовался этому рассказу, его как бы призывали на войну против врагов

государства. Он на своем участке сумеет выполнить свой долг. Рюриков прилетел на Север на самолете, в мягком кресле. На самолете подполковник тоже не летал никогда — все как-то не приходилось, и ощущение было великолепное. Рюрикова не тошнило, и только при посадках у него чуть кружилась голова. Он искренне пожалел, что не летал раньше. Скалы и чистые краски северного неба привели его в восхищение. Он развеселился, почувствовал себя чуть не двадцатилетним и не хотел остаться даже на несколько дней, чтобы познакомиться получше с городом, — он рвался к работе.

Начальник Санитарного управления дал ему свой личный ЗИС-110, и подполковник прибыл в Центральную больницу, расположенную в пятистах километрах от местного «столичного» города.

О приезде подполковника любезный начальник Санитарного отдела предупредил не только больницу. Прежний начальник уезжал в отпуск «на материк» и еще не освободил жилья. Рядом с больницей в трехстах метрах от шоссе был так называемый Дом дирекции — одна из дорожных гостиниц для самого высокого начальства — для генеральских чинов.

Там Рюриков провел ночь, с удивлением разглядывал вышитые бархатные шторы, ковры, резные вещи из кости, расставленные массивные резные шкафы для одежды ручной работы.

Вещей Рюриков не развязывал, утром напился чаю и пошел в больницу.

Здание больницы было построено незадолго до войны для военной части. Однако большое, трехэтажное здание в форме буквы «Т» среди голых скал представляло слишком удобный ориентир для неприятельских самолетов (техника далеко ушла вперед, пока решался вопрос о постройке и двигалась сама постройка) — и здание оказалось ненужным хозяину и было передано медицине.

За короткое время, пока уезжал полк и здание оставалось без призора, — были разрушены канализация и водопровод, и угольная электростанция с двумя котлами пришла в полную негодность. Уголь не привозили, дрова сожгли, какие можно было сжечь, и для последней армейской вечеринки сожгли на электростанции все кресла из зрительного зала.

Санитарное управление все это понемногу восстановило — бесплатным трудом заключенных-больных, и сейчас больница производила внушительный вид.

Подполковник пришел в свой кабинет и был поражен его размерами. Еще никогда в Москве ему не приходилось иметь личные кабинеты такой вместимости. Это был не кабинет, а зал для совещаний, человек на сто, по московским масштабам.

Стены соседних комнат были сломаны, комнаты соединены, окна затянуты полотняными шторами с чудесной вышивкой, и красное осеннее солнце бродило по золотым рамам картин, по кожаной обивке кустарной работы диванов, двигалось по полированной поверхности письменного стола необычайных размеров.

Все это понравилось подполковнику. Ему не терпелось назначить часы приема, но немедленно этого сделать было нельзя и удалось только через два дня. Прежний начальник тоже не хотел терять времени с отъездом — билет на самолет был давно заказан, еще раньше, чем подполковник Рюриков выехал из столицы.

Эти два дня он приглядывался к людям, к больнице. В больнице было большое терапевтическое отделение, заведовал им врач Иванов, бывший военврач и бывший заключенный. Нервно-психиатрическим отделением заведовал Пётр Иванович Ползунов, тоже бывший заключенный, хоть и кандидат наук. Это была категория лиц, внушающая особое подозрение, и об этом Рюрикова предупреждали еще в Москве. Это были люди, с одной стороны, прошедшие лагерную школу, несомненно, враги, а с другой — имевшие право на общество вольнонаемных «договорников». «Ведь не кончается же их ненависть к государству и родине в тот день, как они получают документ об освобождении, — думал подполковник. — И все же ведь они имеют другое право, другое положение, вынуждающее меня им верить». Оба заведующих-заключенных не понравились подполковнику — он не знал, как себя держать с ними. Зато заведующий хирургическим отделением полковой хирург Громов понравился Рюрикову чрезвычайно — он был вольнонаемным, хоть и беспартийным, воевал, здесь, в отделении, все ходили по струнке у него — чего же лучше.

Сам Рюриков армейскую службу, да притом на медицинских ролях, попробовал только во время войны — поэтому военная субординация нравилась ему больше, чем следует. Тот элемент организованности, который она вносила в жизнь, был, безусловно, полезен, и Рюриков иногда с досадой и обидой вспоминал довоенные свои труды: бесконечные уговаривания, объяснения, подска-

зы, ненадежные обещания подчиненных вместо короткого приказа и рапорта во всей его определенности.

Вот и в хирурге Громове ему нравилось, что тот сумел обстановку военного госпиталя перенести в хирургическое отделение больницы. Он побывал у Громова — в мертвой тишине больничных коридоров, в начищенности медных ручек.

— Чем ты чистишь ручки?

— Ягодой брусникой, — отрапортовал Громов, и Рюриков подивился. Сам он, чтобы чистить пуговицы своего кителя и шинели, захватил из Москвы специальную мазь. И вот, оказывается, ягода-брусника.

В хирургической все сверкало чистотой. Выскобленные полы, отчищенные алюминиевые ящики в раздатке, шкафы с инструментарием...

А за дверями палат дышало многоликое чудовище, которого Рюриков немного побаивался. Все заключенные казались ему на одно лицо: озлобленные, ненавидящие...

Громов отворил одну из небольших палат перед начальником. Тяжелый запах гноя, грязного белья не понравился Рюрикову; он затворил дверь и прошел дальше.

Сегодня уезжал прежний начальник с женой. Приятно было думать, что завтра он — уже самостоятельный начальник. Он остался один в огромной пятикомнатной квартире с широким балконом-верандой. Комнаты были пусты, мебель прежнего начальника — великолепные зеркальные шкафы кустарной работы, какие-то секретеры под красное дерево, массивный резной буфет — все это было мечтой собственника — прежнего начальника. Мягкие диваны, какие-то пуфы, стулья — все это было имуществом прежнего начальника. Квартира была голая и пустая.

Подполковник Рюриков велел завхозу хирургического отделения принести себе койку и постельное белье из больницы, и завхоз, на свой страх и риск, захватил еще тумбочку и поставил к стене в большой комнате.

Рюриков стал разбирать вещи. Вынул из чемодана полотенце, мыло, отнес их в кухню.

Прежде всего он повесил на стену свою гитару с красным выцветшим бантом. Это была не простая гитара. В начале Гражданской войны, когда еще у советской власти не было ни орденов, ни прочих знаков отличия, когда в восемнадцатом Подвойский выступал в печати за введение орденов, а его крыли за «отрыжку царизма», — на фронте за боевые заслуги награждали

и без орденов — именным оружием или гитарами, балалайками.

Вот так красногвардеец Рюриков был удостоен за бои под Тулой — ему была вручена гитара. Сам Рюриков не имел музыкального слуха и, только когда оставался один, бережно и боязливо дергал то одну, то другую струну. Струны гудели, и старик возвращался хоть на минуту в великий и дорогой ему мир своей юности. Так он хранил свое сокровище более тридцати лет.

Он постелил постель, поставил на тумбочку зеркало, разделся и, сунув ноги в туфли, в одном белье подошел к окну и выглянул: горы стояли кругом, как молящиеся на коленях. Как будто много людей пришло сюда к какому-то чудотворцу — молиться, просить наставления, указать пути.

Рюрикову показалось, что и природа не знает решения своей судьбы, что и природа ищет совета.

Он снял со стены гитару, аккорды ночью в пустой комнате, оказалось, были особо звучны, особо торжественны и значительны. Как всегда, подергивание струн успокоило его. Первые решения были обдуманы сейчас в этой ночной игре на гитаре. Он обрел волю для их выполнения. Он лег на койку и сразу заснул.

Утром, еще до начала своего служебного дня в новом, просторном кабинете, Рюриков вызвал лейтенанта Максимова, своего заместителя по хозяйственной части, и сказал, что будет занимать только одну комнату из пяти — самую большую. В остальные пусть вселят тех сотрудников, у которых нет площади. Лейтенант Максимов помялся и попытался объяснить, что это — несолидно.

— У меня же нет семьи, — сказал Рюриков.

— У прежнего начальника тоже была только жена, — сказал Максимов. — Ведь будут ездить гости — многочисленные начальники из столицы, которые будут останавливаться, гостить.

— Они могут гостить в том доме, где я ночевал первую ночь. Здесь два шага. Словом, делайте, как вам сказано.

Но еще несколько раз в течение этого дня Максимов приходил в кабинет и спрашивал, не переменил ли Рюриков решение. И только тогда, когда новый начальник стал сердиться, он сдался.

Первым на приеме был местный уполномоченный Королёв. После знакомства, короткого доклада Королёв сказал:

— У меня к вам просьба. Завтра я еду в Долгое.

— Что это за Долгое?

— Это районный центр — восемьдесят километров отсюда... Туда автобус большой ходит каждое утро.

— Ну, поезжай, — сказал Рюриков.

— Нет, вы не поняли, — улыбнулся Королёв, — Я прошу разрешения воспользоваться вашей личной машиной...

— У меня здесь есть личная машина? — сказал Рюриков.

— Да.

— И шофер?

— И шофер...

— А Смолокуров (это была фамилия прежнего начальника) куда-нибудь ездил на этой личной машине?

— Он ездил мало, — сказал Королёв. — Что верно, то верно. Мало.

— Вот что, — Рюриков уже все понял и принял решение. — Ты поезжай на автобусе. Машину поставьте на прикол пока. А шофера передайте в гараж для работы на грузовиках... Мне она тоже не нужна. А будет нужно ехать, поеду либо на «скорой помощи», либо на грузовике.

Секретарша приоткрыла дверь.

— К вам слесарь Федотов — говорит, что очень срочно...

Слесарь был испуган. Из его бессвязного и торопливого рассказа Рюриков понял, что в квартире слесаря на первом этаже обвалился потолок — штукатурка рухнула, и сверху течет. Нужен ремонт, а хозяйственная часть ремонт делать не хочет, а у самого слесаря не хватит денег на такой ремонт. Да и несправедливо. Платить должен тот, по чьей вине рухнула штукатурка, хоть он и член партии. Ведь протекло...

— Подожди-ка, — сказал Рюриков. — Почему же протекло? Вверху-то ведь люди живут.

Рюриков с трудом понял, что в верхней квартире живет поросенок, копится навоз, моча, и вот штукатурка первого этажа отвалилась, поросенок мочится на головы нижних жильцов.

Рюриков рассвирепел.

— Анна Петровна, — кричал он секретарше, — вызовите мне секретаря парторганизации сюда и того негодяя, чей поросенок.

Анна Петровна взмахнула руками и исчезла.

Минут через десять в кабинет вошел Мостовой, секретарь парторганизации, и сел у стола. Все трое — Рюриков, Мостовой и слесарь — молчали. Так прошло минут десять.

— Анна Петровна!

Анна Петровна пролезла в дверь.

— Где же хозяин поросенка?

Анна Петровна исчезла.

— Хозяин поросенка — вот он, товарищ Мостовой, — сказал слесарь.

— Ах, вот что, — и Рюриков встал. — Идите пока домой, — и выпроводил слесаря.

— Да как вы смели? — закричал он на Мостового. — Как вы смели держать у себя в квартире?..

— Ты не ори, — сказал Мостовой спокойно. — Где же его держать? На улице? Вот сам заведешь птицу или кабанчика — увидишь — каково. Я много раз просил — дайте мне квартиру на первом этаже. Не дают. Во всех домах так. Только это такой слесарь разговорчивый. Прежний начальник умел им глотку-то закрывать. А ты вот слушаешь всякого зря.

— Весь ремонт будет за твой счет, товарищ Мостовой.

— Нет уж, не будет этого...

Но Рюриков уже звонил, вызывал бухгалтера, диктовал приказ.

Прием был скомкан, смят. Подполковнику не удалось познакомиться ни с одним своим заместителем, ставя бесконечное число раз подпись на бесконечных бумагах, которые перед ним развертывали ловкие, привычные руки. Каждый из докладчиков вооружался огромным пресс-папье, стоявшим на столе начальника, — кустарной резки кремлевской башней с красными пластмассовыми звездами — и бережно сушил подпись подполковника.

Так продолжалось до обеда, а после обеда начальник пошел по больнице. Доктор Громов, краснорожий, белозубый, уже ждал начальника.

— Хочу посмотреть вашу работу, — сказал начальник. — Покажите, кого сегодня выписываете?

В чересчур просторный кабинет Громова вереницей двигались больные. Впервые Рюриков видел тех, кого он должен был лечить. Вереница скелетов двигалась перед ним.

— А вши у вас есть?

Больной пожал плечами и испуганно посмотрел на доктора Громова.

— Позвольте, это ведь хирургические... Чего бы им быть такими?

— Это уж не наше дело, — весело сказал доктор Громов.

— А выписывать?

— А до каких же пор их держать? А койко-день?

— А этого как можно выписать? — Рюриков показал на больного с темными гнойными ранами.

— Этот — за кражу хлеба у своих соседей.

Приехал полковник Акимов — начальник той самой неопределенной воинской части — полка, дивизии, корпуса, армии, которая была размещена на огромном пространстве Севера. Эта воинская часть когда-то строила больничное здание — для себя. Акимов был моложав для своих пятидесяти лет, подтянут, весел. Повеселел и Рюриков. Акимов привез больную жену — никто помочь не может, такая штука, а у вас ведь врачи.

— Я сейчас же распоряжусь, — сказал Рюриков, позвонил, и Анна Петровна появилась в двери с выражением полной готовности к исполнению дальнейших приказаний.

— Не торопитесь, — сказал Акимов. — Я здесь лечусь не первый год. Кому вы хотите показать жену?

— Да хотя бы Стебелёву. — Стебелёв был заведующим терапевтическим отделением.

— Нет, — сказал Акимов. — Такой Стебелёв есть у меня и дома. Мне надо, чтобы вы показали доктору Глушакову.

— Хорошо, — сказал Рюриков. — Но ведь доктор Глушаков — заключенный. Не думаете ли вы...

— Нет, я не думаю, — твердо сказал Акимов, и в глазах его не было улыбки. Он помолчал. — Дело в том, — сказал он, — что моей жене нужен врач, а не... — полковник не договорил.

Анна Петровна побежала заказывать пропуск и вызов на Глушакова, а полковник Акимов представил Рюрикову свою жену.

Вскоре из лагеря привезли Глушакова, седого морщинистого старика.

— Здравствуйте, профессор, — сказал Акимов, вставая и здороваясь с Глушаковым за руку, — вот, с просьбой к вам.

Глушаков предложил посмотреть его жену в санчасти лагеря («там у меня все под рукой, а здесь я ничего не знаю»), и Рюриков позвонил своему заместителю по

лагерю, чтоб выписали пропуск для полковника и его жены.

— Послушайте, Анна Петровна, — сказал Рюриков секретарше, когда гости ушли. — Правда ли, что Глушаков такой специалист?

— Да уж понадежнее наших, — хихикнула Анна Петровна.

Подполковник Рюриков вздохнул. Каждый прожитый день жизни был для Рюрикова окрашен особой, неповторимой краской. Были дни потерь, дни неудач, дни счастья, дни доброты, дни сочувствия, дни недоверия, дни злобы... Все, что свершалось в этот день, носило определенный характер, и Рюриков иногда умел приспособить свои решения, свои поступки к этому «фону», как бы не зависящему от его воли. Сегодня был день сомнений, день разочарований.

Замечание полковника Акимова коснулось чего-то важного, основного в нынешней жизни Рюрикова. Открылось какое-то окно, о существовании которого до визита полковника Акимова Рюриков не решался думать. Оказывается, окно не только существовало, в него можно было видеть такое, чего Рюриков не видел, не замечал раньше.

Все в этот день было в сговоре с полковником Акимовым. Новый, временный заведующий хирургическим отделением врач Браудэ доложил, что ухо-горловые операции, намеченные на сегодняшний день, отложены из-за того, что гордость больницы — тонкий диагност, хирург-артист Аделаида Ивановна Симбирцева — пожилая специалистка, ученица знаменитого Воячека, недавно приехавшая в больницу на работу, «нахваталась наркотика», как выразился Браудэ, и сейчас бушует в процедурной комнате хирургического отделения. Бьет все стеклянное, что попадает под руки. Что делать? Можно ли ее связать, вызвать конвой и отвести на квартиру?

Полковник Рюриков распорядился не связывать Аделаиду Ивановну, а замотать ей рот шалью и отвести домой и там запереть. Или влить ей чего-нибудь снотворного в глотку — хлоралгидрата двойную, обязательно двойную дозу — и сонную унести. Только пусть водят и носят вольнонаемные, а не заключенные.

В нервно-психиатрическом отделении больной убил своего соседа железной заостренной пикой. Доктор Пётр Иванович, заведующий, сообщил, что убийство вызвано

какой-то кровавой враждой среди уголовников, оба больные — и убийца и убитый — были ворами.

В терапевтическом отделении у Стебелёва завхоз-заключенный украл и продал сорок простыней. Львов, уполномоченный, уже разыскал эти простыни где-то под лодкой, на берегу реки.

Заведующая женским отделением требовала себе офицерского пайка, а вопрос ее решался где-то в столице.

Но самое неприятное было сообщенное Анисимовым, заместителем по лагерю. Анисимов долго сидел на кожаном глубоком диване в кабинете Рюрикова, дожидаясь, пока иссякнет поток посетителей. И когда они остались одни, сказал:

— А что делать, Василий Иванович, с Люсей Поповкиной?

— С какой Люсей Поповкиной?

— Да разве вы не знаете?

Оказалось, что это была балерина из заключенных, с которой путался Семён Абрамович Смолокуров, прежний начальник. Она нигде не работала и служила только для увеселений Смолокурова. Теперь («чуть не месяц» — подумал Рюриков) она все еще без работы — распоряжений нет.

Рюрикову захотелось вымыть руки.

— Каких еще распоряжений? Отправьте ее к черту немедленно.

— На штрафной?

— Почему же обязательно на штрафной? Разве она виновата? Да и тебе выговор дам — целый месяц ведь не работает.

— Мы берегли ее, — сказал Анисимов.

— Для кого? — И Рюриков встал и заходил по комнате. — Немедленно, завтра же отправьте.

* * *

Когда Пётр Иванович поднимался по узкой деревянной лестнице на второй этаж к Антонине Сергеевне, он подумал, что за два года, как они работают вместе в этой больнице, он еще не бывал дома у главного врача. Он усмехнулся, понимая, зачем его пригласили. Что ж, этим приглашением его, бывшего заключенного, вводят в местный «высший круг». Пётр Иванович не понимал таких людей, как Рюриков, и не понимая — презирал.

Ему казалось, что это какой-то особый путь карьеры, путь «честняги» в больших кавычках, «честняги», который хочет стать ни более ни менее, как начальником санитарного управления. И вот ломается, выкручивается, изображая из себя святую невинность.

Пётр Иванович угадал верно. В накуренной комнате было тесно. Тут сидел и врач-рентгенолог, и Мостовой, и главный бухгалтер. Сама Антонина Сергеевна разливала из алюминиевого больничного чайника теплый и слабый чай.

— Входите, Пётр Иванович, — сказала она, когда невропатолог снял свой брезентовый плащ.

— Начнем, — сказала Антонина Сергеевна, и Пётр Иванович подумал: «Недурна еще», — и стал смотреть в другую сторону.

Начальник лагеря сказал:

— «Я пригласил вас, господа (Мостовой поднял брови), с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие». — Все засмеялись, и Мостовой засмеялся, тоже подумал, что это что-то литературное. Мостовой успокоился, а то слово «господа» внушало ему тревогу, даже если бы это была острота или обмолвка.

— Что будем делать? — сказала Антонина Сергеевна. — Мы будем нищие через год. А он приехал на три года. Всем нам запретили держать прислугу из заключенных. За что должны страдать эти несчастные девушки на общих работах? Из-за кого? Из-за него. О дровах я и говорить не буду. Прошлую зиму я не положила на книжку ни рубля. В конце концов, у меня дети.

— У всех дети, — сказал главный бухгалтер. — Но что, что можно сделать тут?

— Отравить его к чертовой матери, — зарычал Мостовой.

— Потрудитесь в моем присутствии таких вещей не говорить, — сказал главный бухгалтер. — Иначе я буду вынужден сообщить куда следует.

— Я пошутил.

— Потрудитесь так не шутить.

Пётр Иванович поднял руку.

— Надо вызвать сюда Чурбакова. И вам, Антонина Сергеевна, с ним поговорить.

— Почему мне? — Антонина Сергеевна покраснела. Майор медицинской службы Чурбаков — начальник Санитарного управления — славился своим буйным развратом и невероятной крепостью в пьянках. Чуть не

на каждом прииске у него были дети — от врачих, от фельдшериц, от медсестер и от санитарок.

— Да уж именно вам. И разъяснить майору Чурбакову, что подполковник Рюриков добивается его места, понятно? Скажите ему, что майор — вчерашний член партии, а Рюриков...

— Рюриков — член партии с 1917 года, — сказал, вздохнув, Мостовой. — Но зачем ему чурбаковское место.

— Ах, вы ничего не понимаете. Пётр Иванович совершенно прав.

— А если написать Чурбакову?

— А кто свезет это письмо? Кому не люба на плечах голова? А вдруг нашего гонца перехватят или, еще проще, он с письмом явится прямо в кабинет Рюрикова. Бывали такие истории.

— А по телефону?

— По телефону только пригласите. Вы же знаете, что у Смолокурова сидели слухачи.

— Ну, у этого не сидят.

— Как знать. Словом, осторожность и деятельность, деятельность и осторожность...

<1963>

ВОЕННЫЙ КОМИССАР

Операция — извлечение инородного тела из пищевода — была записана в операционный журнал рукой Валентина Николаевича Траута, одного из трех хирургов, делавших извлечение. Главным тут был не Траут — а Анна Сергеевна Новикова, ученица Воячека, отоларинголог столичный, южная красавица, никогда не бывшая в заключении, как оба ее ассистента — Траут и Лунин. Именно потому, что главной была Новикова, операция была проведена на двое суток позже возможного срока. Сорок восемь часов блистательную ученицу Воячека отливали водой, отпаивали нашатырем, промывали желудок и кишечник, накачивали крепким чаем. Через двое суток перестали дрожать пальцы Анны Сергеевны — и операция началась. Запойная алкоголичка, наркоманка, с похмелья выливавшая все флаконы в одну общую темную чашку-миску и хлебавшая это пойло, чтобы вновь захмелеть и заснуть. Пойла в этих случаях надо было немного. Сейчас Новикова в халате и в

маске покрикивала на ассистентов, подавала короткие команды — рот был прополоскан, промыт, и только иногда до ассистентов доносился запах перегара. Операционная сестра поводила ноздрями, вдыхая этот неуместный перегар, и чуть-чуть улыбалась под маской и торопливо сгоняла с лица улыбку. Ассистенты не улыбались и не думали о перегаре. Операция требовала внимания. Траут такие операции делал раньше, но редко, а Лунин видел впервые. Для Новиковой же это был повод показать свой особый класс, свои золотые руки, свою высочайшую квалификацию.

Больной не понимал, почему операция откладывается на сутки и еще на сутки, но помалкивал — командовать тут не приходилось. Больной жил у начальника больницы — ему было сказано: вызовут. Сначала было известно, что операцию будет делать Траут, потом прошел еще один день — и сказали: завтра, и не Траут, а Новикова. Все это было для больного мучительно, но он был человек военный, притом недавно с войны — он взял себя в руки. Больной этот имел чин высокий, полковничьи погоны, был райвоенком одного из восьми округов Колымы.

К концу войны лейтенант Кононов командовал полком, с армией не хотел расставаться, но для мирного времени требовались другие знания. Всем проходившим переаттестацию предлагалось продолжить службу в армии в тех же чинах, но в войсках МВД, используемых для лагерной охраны. В 1946-м вся лагерная охрана была передана кадровым частям, не ВОХРу, а кадровикам с нашивками, с орденами. Всем сохранялся прежний чин, полярный паек, ставка, отпуск, все полярные льготы Дальстроя. Кононов — у него была жена, дочь — быстро разобрался и уже в Магадане уперся и на лагерную работу не пошел. Жену и дочь он отправил на материк, а сам получил назначение на должность райвоенкома. «Хозяйство» его было раскинуто вдоль трассы на сотни километров — десять километров в сторону — жили люди, которых райвоенком должен был учесть. Кононов быстро понял, что тут вызывать к себе когонибудь — это потеря времени вызываемых. В неделю добирались до поселка, где жил военком. Неделю — назад. Поэтому весь учет, переписка велись с попутной оказией, а раз в месяц и чаще сам Кононов на машине объезжал свой район. С работой он справлялся, но ждал не повышения, а окончания «севера» — перевода, про-

сто демобилизации, забыв о полковничьих погонах. Все это вместе — Север, неустроенность привели к тому, что Кононов помаленьку начал пить. Именно поэтому он не мог объяснить, как в пищевод могла попасть какая-то большая на ощупь кость, сжавшая его дыхательное горло — даже говорил лишь трудным шепотом.

Кононов со своим инородным телом в пищеводе, конечно, мог добраться до Магадана, где при Управлении были врачи, которые оказали бы ему помощь... Но около года Кононов работал в военкомате и знал, что хвалили «Левый берег» — большую больницу для заключенных. Работники больницы — мужчины и женщины — хранили свои воинские билеты у Кононова. Когда кость встала Кононову поперек горла и стало ясно, что никакая сила ее не вытолкнет без врачей, Кононов взял машину и приехал в больницу для заключенных на Левый берег.

Начальником больницы был тогда Винокуров. Он хорошо понимал, как укрепится престиж больницы, которую он только что принял, если операция будет удачной. Самая главная надежда была на ученицу Воячека, ибо таких специалистов не было в Магадане. Увы, Новикова работала и в Магадане еще год назад: «Перевод на Левый берег или увольнение из Дальстроя». «На Левый, на Левый», — кричала Новикова в отделе кадров. До Магадана Новикова работала на Алдане, до Алдана — в Ленинграде. Всюду гнали ее все дальше на север. Сто обещаний, тысяча нарушенных клятв. На Левом ей нравилось — она крепилась. Высокая квалификация была видна в любом замечании Анны Сергеевны. Она принимала как отоларинголог и вольных и заключенных, вела больных, делала операции, консультировала — и вдруг начинался запой, больные оставались без присмотра, вольнонаемные уезжали, а заключенных пользовал фельдшер. Анна Сергеевна и глаз не казала в отделение.

Но когда Кононов приехал и выяснилось, что необходима срочная операция, было велено Анну Сергеевну поднять. Но трудность была в том, что Кононов должен был лежать в больнице долго. Извлечение инородного тела — чистая операция. Конечно, в большой больнице было два хирургических отделения — гнойное и чистое, разный персонал — в чистом пограмотнее, в гнойном поплоше. Надо проследить, как пройдет заживление раны, тем более — на пищеводе. Конечно, отдельная палата для комиссара найдется. Кононов не хотел ехать в Магадан, там с его полковничьим чином в колымской сто-

лице делать нечего. Его там примут, конечно, но внимания и забот не будет. Там генералы и жены генералов отнимают время у врачей. Кононов там умрет. Умереть в сорок лет из-за какой-то проклятой кости в глотке. Кононов дал все расписки, все, какие с него потребовали. Он понимал, что дело идет о его жизни и смерти. Кононов мучился.

— Вы, Валентин Николаевич, будете делать?

— Да, я, — неуверенно сказал Траут.

— Так что же, что же мы ждем?

— Подождем еще денек.

Кононов ничего не понимал. Кормили его через нос, заливали пищу, и умереть от голода он не должен был.

— Вас завтра посмотрит еще один врач.

К кононовской койке подвели женщину-врача. Опытные пальцы сразу нащупали кость и почти безболезненно к ней прикоснулись.

— Ну, Анна Сергеевна?

— Завтра с утра.

Операция эта дает тридцать процентов смертей. Послеоперационную палату занял Кононов. Кость оказалась такой огромной, что Кононову было стыдно на нее смотреть, ему приносили ее в стакане на несколько часов. Кононов лежал в послеоперационной палате. Начальник приносил ему газеты иногда.

— Все идет хорошо.

Кононов лежал в крошечной палате, где едва умещалась одна койка. Контрольные сроки прошли, все было благополучно — лучше не надо, — сказалась квалификация ученицы Воячека, но какой контрольный срок для тоски! Арестант, заключенный еще может удержать это чувство в каких-то материальных рамках, умеет им управлять с помощью конвоя, решеток, поверок, перекличек, раздачи пищи, а как это все полковнику. Кононов посоветовался с начальником больницы.

— Я давно жду этого вопроса — человек есть всегда человек. Конечно, тоска. Но я не могу выписать вас раньше чем через месяц — слишком велик риск и редок успех, чтоб им не дорожить. Я могу разрешить вам перейти в палату для заключенных, там будет четыре человека, вы — пятый. Тогда и интересы больницы, и ваш точно придут в равновесие.

Кононов немедленно согласился. Это был выход хороший. Заключенных полковник не боялся. Больничное знакомство уверило Кононова, что заключенные все та-

кие же люди, кусать его, полковника Кононова, не будут, не перепутают с каким-нибудь чекистом или прокурором, как-никак он, полковник Кононов, кадровый солдат. Изучать, наблюдать новых людей, новых соседей он, полковник Кононов, не будет. Ему просто скучно лежать одному, и все.

Много недель еще бродил полковник в сером больничном халате по коридору. Халат был казенный, арестантский. В раскрытую дверь видел я полковника, закутанным в халат, внимательно слушающим какого-нибудь очередного романиста.

Я был старшим фельдшером в хирургическом отделении тогда, а потом меня перевели в лес, и Кононов ушел из моей жизни, как уходили тысячи людей, оставляя чуть заметные следы в памяти, чуть ощутимую симпатию.

Еще раз на какой-то врачебной конференции фамилию Кононова напомнил мне докладчик, новый главврач больницы, медицинский майор Королёв. Это был любитель выпить, закусить, фронтовик. Главврачом в больнице он удержался недолго — не мог удержаться от мелких взяток, от стопки казенного спирта — и после громкого дела был снят с начальников, был отстранен от работы, потом снова допущен и возник уже в качестве начальника санотдела Северного управления.

После войны на Колыму в Дальстрой, на длинные рубли хлынул поток авантюристов, самозванцев, скрывавшихся от суда и тюрьмы.

Начальником больницы был назначен какой-то майор Алексеев, носивший Красную Звезду и погоны майора. Однажды Алексеев пешком пришел ко мне, интересуясь участком, но не задал ни одного вопроса и отправился в обратный путь. Лесной медпункт был в двадцати километрах от больницы. Едва Алексеев успел вернуться, как <в тот же день> был арестован приехавшими из Магадана. Алексеев был осужден за убийство жены. Не был ни врачом, ни военным, но успел по фальшивым документам отползти от Магадана до наших левобережных кустов и там спрятаться. Орден, погоны — все было фальшивым.

Еще раньше на Левый берег часто приезжал начальник санотдела Северного управления. Эту должность <потом> занял пьяница главврач. Приезжий, очень хорошо одетый, раздушенный холостяк, получил разрешение стажироваться, присутствовать на операциях.

— Решил переучиваться на хирурга, — покровительственно улыбаясь, шептал Пальцын.

Месяц шел за месяцем, каждый операционный день Пальцын приезжал на своей машине из центра Северного — поселка Ягодный, обедал у начальника, слегка ухаживал за его дочерью. Наш врач Траут обратил внимание, что Пальцын плохо владеет врачебной терминологией, но — фронт, война, все верили и охотно посвящали нового начальника в тайны операции, тем более что такое (диурез). И вдруг Пальцын был арестован — снова какое-то убийство на фронте, Пальцын и не врач, какой-то полицай скрывающийся.

Все ждали, что с Королёвым случится нечто похожее. Отнюдь, все — и орден, и партбилет, и чин — все было на месте. Вот этот Королёв, в бытность главврачом в Центральной больнице, и делал доклад на одной из врачебных конференций. Доклад нового главврача был не хуже и не лучше любого другого доклада. Конечно, Траут был интеллигент, ученик Краузе, правительственного хирурга, когда тот работал в Саратове.

Но непосредственность, искренность, демократичность находят отклик в любом сердце, поэтому, когда главврач, начальник левобережных хирургов, на научной конференции, собранной со всей Колымы, со смаком приступил к рассказу о хирургическом достижении...

— У нас один больной кость проглотил — вот такая кость, — Королёв показал. — И что вы думаете — извлекли кость. Врачи эти здесь, и больной здесь.

Но больного тут не было. Вскоре я заболел, был переведен на работу в лесную командировку, вернулся через год в больницу заведовать приемным покоем, начал работать и чуть не на третий день встретил полковника Кононова в приемном покое. Полковник был рад мне несказанно. Начальство все переменилось. Кононов никого знакомого не нашел, только я был ему знаком, и знаком хорошо.

Я сделал все то, что мог, — снимки, запись к врачам, позвонил начальнику, объяснил, что это и есть герой знаменитой левобережной операции. Все оказалось в порядке у Кононова, и перед отъездом он зашел ко мне в приемный покой.

— Я тебе должен подарок.

— Я не беру подарки.

— Ведь я всем — и начальнику больницы, и хирургам, и сестре, даже больным, что со мной лежали, при-

вез подарки, хирургам — по отрезу на костюм. А тебя не нашел. Я отблагодарю. Деньгами, ведь все равно пригодятся тебе.

— Я не беру подарков.

— Ну, бутылку, наконец, привезу.

— И коньяк не возьму, не возите.

— Что же я могу для тебя сделать?

— Ничего.

Кононова увели в рентгенокабинет, а вольная медсестра из рентгенокабинета, приходившая за Кононовым, сказала:

— Это ведь военный комиссар, да?

— Да, райвоенком.

— Вы, вижу, хорошо знаете его?

— Да, знаю, он лежал здесь, в больнице.

— Попросите его, если уж вам для себя ничего не надо, пусть отметит мне в военном билете явку на учет. Я комсомолка, тут такой случай — за триста километров не ехать, сам бог послал.

— Ладно, я скажу.

Кононов вернулся, я изложил ему просьбу медсестры.

— Ну, где она?

— Вон стоит.

— Ну, давай билет, у меня с собой штампов нет, но привезу через неделю, буду ехать мимо и привезу. — И Кононов засунул военный билет в карман. Машина загудела у подъезда.

Прошла неделя — военный комиссар не приехал. Две недели... Месяц... Через три месяца медсестра пришла ко мне для разгрвора.

— Ах, какую я сделала ошибку! Надо было... Тут какая-то ловушка.

— Какая ловушка?

— Я не знаю какая, меня из комсомола исключают.

— За что же вас исключают?

— За связь с врагом народа, что выпустила из рук военный билет.

— Да ведь вы отдали комиссару.

— Нет, не так было. Я отдала вам, а вы — то ли комиссару... Вот это и выясняют в комитете. Кому я отдала в руки — вам или комиссару прямо. Я сказала — вам. Ведь вам?

— Да, мне, но я ведь при вас отдал военкому.

— Ничего этого я не знаю. Знаю только, что случилось ужасное несчастье, меня исключают из комсомола, увольняют из больницы.

— Надо съездить в поселок, в райвоенкомат.

— Потерять две недели? Надо было с самого начала так сделать.

— Когда вы едете?

— Завтра.

Через две недели в коридоре я встретил медсестру чернее тучи.

— Ну что?

— Военком уехал на материк, рассчитался уже. Теперь у меня хлопоты — новый билет. Я добьюсь, что вас выгонят из больницы, на штрафной прииск загонят.

— Я-то тут при чем?

— А кто же? Это ловушка хитрая — так мне и объяснили в МВД.

Я старался забыть об этой истории. В конце концов, никто меня еще ни в чем не обвинял и на допрос не вызывал, но память о полковнике Кононове окрасилась в какие-то новые тона.

Внезапно ночью меня вызвали на вахту.

— Вот он и есть, — кричал из-за барьера полковник Кононов. — Пропустите!

— Проходите. А говорят, вы на материк собрались?

— Я собрался в отпуск, но в отпуск меня не отпустили. Я добился расчета и уволился. Совсем. Уезжаю. Заехал проститься.

— Только проститься?

— Нет. Когда я сдавал дела, в углу стола нашел военный билет — никак не мог вспомнить, где я его взял. Если бы на твою фамилию, вспомнил бы. А на Левом берегу я с тех пор не был. Вот тут все поставлено. Штамп, подпись, возьми и отдай этой даме.

— Нет, — сказал я. — Сами ей отдайте.

— Что так? Сейчас ночь.

— Я вызову ее сюда из дома с курьером. А передать нужно лично, полковник Кононов.

— Смотри.

Медсестра примчалась, и Кононов вручил ей документ.

— Поздно уже, все заявления я уже подала, меня из комсомола исключили. Подождите, напишите на бланке несколько слов.

— Прошу прощения.

И исчез в морозном тумане.

— Ну, поздравляю. Если бы тридцать седьмой год — вас бы расстреляли за такие штучки, — со злобой сказала сестра.

— Да, — сказал я, — и вас также.

1970—1971

РИВА-РОЧЧИ

Смерть Сталина не внесла каких-нибудь новых надежд в загрубелые сердца заключенных, не подстегнула работавшие на износ моторы, уставшие толкать сгустившуюся кровь по суженным, жестким сосудам.

Но по всем радиоволнам передач, отражаясь многократным эхом гор, снега, неба, ползло по всем закоулкам поднарного арестантского жития одно слово, важное слово, обещавшее разрешить все наши проблемы: то ли праведников объявить грешниками, то ли злодеев наказать, то ли найден способ безболезненно вставить все выбитые зубы обратно.

Возникли и ползли слухи классического характера — толки об амнистии.

Юбилей любого государства от годовщины до трехсотлетия, коронации наследников, смена властей, даже кабинетов, — все это является в подземный мир из заоблачной выси в виде амнистии. Это классическая форма общения верха и низа.

Традиционная параша, которой все верят, — самая бюрократическая форма арестантских надежд.

Правительство, отвечая на традиционные ожидания, делает и традиционный шаг — объявляет эту самую амнистию.

Не отступило от обычая и правительство послесталинской эпохи. Ему казалось, что совершить этот традиционный акт, повторить царский жест — значит выполнить какой-то нравственный долг перед человечеством, что сама форма амнистии в любом ее виде полна значительного и традиционного содержания.

Для выполнения нравственного долга любого нового правительства есть старая традиционная форма, не применить которую — значит нарушить долг перед историей, страной.

Амнистия готовилась, и даже в спешном порядке, чтобы не отступить от классического образца.

Берия, Маленков и Вышинский мобилизовали верных и неверных юристов — дали им идею амнистии, все остальное было делом бюрократической техники.

Амнистия явилась на Колыму после 5 марта 1953 года к людям, прожившим всю войну в размахах маятника арестантской судьбы от слепых надежд до глубочайшего разочарования — при каждом военном поражении и каждом военном успехе. И не было прозорливого, мудрого, который определил бы, что лучше, выгоднее, спасительнее для арестанта — победы или поражения страны.

Амнистия пришла к уцелевшим троцкистам и литерникам, оставшимся в живых после гаранинских расстрелов, пережившим холод и голод золотого забоя Колымы тридцать восьмого года — сталинских лагерей уничтожения.

Всем, кто не был убит, расстрелян, забит до смерти сапогами и прикладами конвоиров, бригадиров, нарядчиков и десятников, — всем, кто уцелел, заплатив полную цену за жизнь — двойные, тройные добавки срока к своему пятилетнему, который арестант привез на Колыму из Москвы...

Не было заключенных на Колыме, осужденных по пятьдесят восьмой статье на пять лет. Пятилетники — это узкий, тончайший слой осужденных в 1937 году до свидания Берии со Сталиным и Ждановым на даче у Сталина в июне 1937 года, когда были забыты пятилетние сроки и разрешен метод номер три для добывания показаний.

Но из этого краткого списка крошечной цифры пятилетников не было к войне и во время войны ни одного, кто не получил бы довеска в десять, пятнадцать, двадцать пять лет.

А те единицы из единиц пятилетников, кто не получил довеска, не умер, не попал в архив номер три, те давно освободились и поступили на службу — убивать — десятником, надзирателем, бригадиром, начальником участка на том же самом золоте и сами стали убивать бывших своих товарищей.

Пятилетние сроки на Колыме в 1953 году имели только осужденные по местным процессам по бытовым статьям. Таких было очень немного. Им следователи просто поленились пришить, припаять пятьдесят восьмую. Иначе: лагерное дело было так убедительно, так по-бытовому ясно, что не надо было прибегать к старому, но грозному оружию пятьдесят восьмой статьи, ста-

тьи универсальной, не щадящей ни пола, ни возраста. Заключенный, отбывший срок по пятьдесят восьмой и оставленный на вечное поселение, ловчил, чтобы его снова закурочили, но по всеми уважаемой — людьми, богом и государством — краже, растрате. Словом, поймавший срок по бытовой статье отнюдь не грустил.

Колыма была лагерем рецидива не только политического, но и уголовного.

Верх юридического совершенства сталинского времени — в этом сходились две школы, два полюса уголовного права — Крыленко и Вышинского — заключался в «амальгамах», в склеивании двух преступлений — уголовного и политического. И Литвинов в своем знаменитом интервью о том, что в СССР политических заключенных нет, а есть государственные преступники, — Литвинов только повторял Вышинского.

Найти и приписать уголовщину чистому политику — и было сутью «амальгамы».

Формально же Колыма — спецлагерь, как Дахау, для рецидива — равно уголовного и политического. Их и содержали вместе. По указанию сверху. По принципиальному теоретическому указанию сверху, отказчиков-уголовников Гаранин превратил из друзей во врагов народа и судил их за саботаж по 58-й, пункт 14.

Так было всего полезней. Наиболее крупных блатарей в тридцать восьмом году расстреливали, поменьше — дали за отказы пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет. Их поместили вместе с фраерами — пятьдесят восьмой статьей, давая блатарям возможность жить в комфорте.

Гаранин вовсе не был поклонником уголовщины. Возня с рецидивом была манией Берзина. Наследство Берзина было пересмотрено Гараниным и в этом отношении.

Как в диаскопе по школьной учебной программе, перед все уже видевшими, ко всему уже привыкшими глазами начальников тюрем, подвижников лагерного дела, энтузиастов каторги, в десятилетие, приклеенное к войне, — от тридцать седьмого до сорок седьмого, — то сменяя, то дополняя друг друга, как в опыте Бича в слиянии цветовых лучей, являлись группы, контингенты, категории заключенных в зависимости от того, как луч правосудия освещал то одну, то другую группу —

не луч, а меч, который отрубал головы, самым реальным образом убивал.

В освещенном пятне диаскопа, которым управляло государство, появлялись арестанты просто — так называемые ИТЛ, не ИТР — инженерно-технические работники, а ИТЛ — исправительно-трудовые лагеря. Но часто сходство букв было сходством и судеб. Арестанты бывшие, бывшие зэка, — целая общественная группа, вечное клеймо бесправия; арестанты будущего — все, чьи дела уже заведены, но не закончены производством, и те, чьи дела еще не начаты производством.

В шутливой песне исправдомовцев двадцатых годов — первых трудовых колоний — безымянный автор, Боян или Пимен уголовного рецидива, сравнивал в стихах судьбу воли с судьбой домзака, оценивая ситуацию в пользу второго:

У нас впереди воля,
А у вас — что?

Эта шутка стала совсем не шуткой в тридцатые и сороковые годы. В высших сферах планировали отправку в лагерь из ссылок, высылок от минус одного до минус пятьсот городов, или, как это называется в инструкциях, населенных пунктов.

Три привода в милицию по классической арифметике равнялись одной судимости. А две судимости давали юридический повод применить силу решетки, зоны.

На самой Колыме в эти годы существовали — каждый со своим управлением, со своим штабом обслуги — контингенты А, Б, В, Г, Д.

Контингент «Д» составлял мобилизованных на урановые секретные рудники, вполне вольных граждан, охраняемых на Колыме гораздо секретней любого Байдемана.

Рядом с урановым рудником, куда из-за секретности не допускались обыкновенные зэка, был расположен прииск Каторжный. Там не только был номер и полосатая одежда, но стояли виселицы и вершились приговоры вполне реально, с соблюдением всех законностей.

Рядом с Каторжным прииском располагался рудник Берлага, тоже номерной, но не каторжный, где заключенный имел номер — жестянку, жетон — на спине, где водили под усиленным конвоем с двойным количеством собак.

Я сам туда ехал, да не доехал, набирали в Берлаг по анкетам. Много товарищей моих попало в эти лагеря с номером.

Там было не хуже, а лучше, чем в обыкновенном исправительно-трудовом на общем режиме.

При общем режиме арестант — добыча блатарей и надзирателей, бригадиров из заключенных. А в номерных обслуга была вольная, и в кухню и в ларек набирали тоже вольных. А номер на спине — это дело небольшое. Лишь бы у тебя не отнимали хлеб и не заставляли работать свои же товарищи, палками выбивая результат, необходимый для выполнения плана. Государство просило «друзей народа» помочь физически уничтожить врагов народа. И «друзья» — блатари, бытовики — это и делали в непосредственном физическом смысле.

Еще тут рядом прииск, где работали приговоренные к тюрьме, но каторга выгоднее — сроки были заменены на «чистый воздух» трудового лагеря. Кто пробыл срок в тюрьме — выжил, в лагере — умер.

В войну завоз контингента упал до нуля. Из тюрем всякие разгрузочные комиссии отправляли на фронт, а не на Колыму — искупать вину в маршевых ротах.

Списочный состав колымчан катастрофически падал — хотя никого на Большую землю на фронт не вывозили с Колымы, ни один заключенный не ушел на фронт, хотя, конечно, заявлений искупить вину было очень много — от всех статей, кроме блатных.

Люди умирали естественной колымской смертью, и кровь по жилам спецлагеря стала вращаться медленней, то и дело давая тромбы, перебои.

Свежую кровь попытались влить военными преступниками. В лагеря в сорок пятом, в сорок шестом завозили целыми пароходами новичков репатриантов, которых сгружали с парохода на скалистый магаданский берег прямо по списку, без личных дел и прочих формальностей. Формальности, как всегда, отставали от живой жизни. По списку на папиросной бумаге, измятой грязными руками конвоиров.

Все эти люди (их были десятки тысяч) имели вполне формальное юридическое место в лагерной статистике — безучетники.

Здесь опять-таки были разные контингенты — простор юридической фантазии тех лет еще ждет своего особого описания.

Были (очень большие) группы с приговорами-«выписками» вполне формальными: «На шесть лет для проверки».

В зависимости от поведения судьба такого заключенного решалась целых шесть лет на Колыме, где и шесть месяцев — срок зловещий, смертный. А ведь это были шесть лет, не шесть месяцев и не шесть дней.

Большая часть этих шестилетников умерла от работы, а кто выжил — были освобождены все в один день по решению XX съезда партии.

Над безучетниками — теми, кто прибыл на Колыму по списку, — трудился день и ночь аппарат правосудия, приехавший с материка. В тесных землянках, колымских бараках день и ночь шли допросы, и Москва принимала решения — кому пятнадцать, кому двадцать пять, а кому и высшая мера. Оправданий, очищений я не помню, но я не могу знать всего. Возможно, были и оправдания, и полные реабилитации.

Всех этих следственных, а также шестилетников, тоже следственных по сути дела, заставляли работать по всем колымским законам: три отказа — расстрел.

Они прибыли на Колыму, чтобы сменить мертвых троцкистов или еще живых, но уставших до такой степени, что они не могли выбить не только грамма золота из камня, но и самого камня ни грамма.

Изменники родины, мародеры наполнили опустевшие за время войны арестантские бараки и землянки. Подновили двери, переменили решетки в бараках и землянках, перемотали колючую проволоку вокруг зон, освежили места, где кипела жизнь — а правильней сказать: кипела смерть — в тридцать восьмом году.

Кроме пятьдесят восьмой статьи, большое количество заключенных было осуждено по особой статье — сто девяносто второй. Эта сто девяносто вторая статья, вовсе не замеченная в мирное время, пышным цветом расцвела с первым выстрелом пушек, с первым разрывом бомб и стрельбой автоматов. Сто девяносто вторая статья в это время поспешно обрастала, как и всякая порядочная статья в такой ситуации, дополнениями, примечаниями, пунктами и параграфами. Появились мгновенно сто девяносто вторая «а», «б», «в», «г», «д» — пока не был исчерпан весь алфавит. Каждая буква этого грозного алфавита обросла частями и параграфами. Так — сто девяносто вторая «а»,

часть первая, параграф второй. Каждый параграф оброс примечаниями, и скромная с виду сто девяносто вторая статья раздулась, как паук, и напоминала дремучий лес своим чертежом.

Никакой параграф, часть, пункт, буква не карал менее пятнадцати лет и не освобождал от работы. Работа — это главное, о чем заботились законодатели.

Всех осужденных по сто девяносто второй статье ждал на Колыме неизменный облагораживающий труд — только общие работы с кайлом, лопатой и тачкой. И все же это была не пятьдесят восьмая статья.

Сто девяносто вторую давали во время войны тем жертвам правосудия, из которых не могли выжать ни агитации, ни измены, ни вредительства.

Или следователь по своим волевым качествам оказался не на месте, не на высоте и не сумел приклеить модного ярлыка за старомодное преступление, то ли сопротивление физического лица было таким, что следователю надоело, а о применении метода номер три он не решился дать указания. Этот следовательский мир имеет свои отливы и приливы, свою моду, свою подпольную борьбу за влияние.

Приговор — всегда результат ряда действующих, часто внешних причин.

Психология творчества здесь еще не описана, даже первые камни не положены в эту важную стройку времени.

Вот по этой-то сто девяносто второй статье и был завезен на Колыму с пятнадцатью годами срока минский инженер-строитель Михаил Иванович Новиков.

Инженер Новиков был тяжелый гипертоник с постоянным высоким давлением порядка двухсот сорока в верхней цифре аппарата Рива-Роччи.

Гипертоник нетранзитарного типа, Новиков жил постоянно под опасностью инсульта, апоплексического удара. Все это знали и в Минске, и в Магадане. На Колыму запрещалось возить таких больных — для этого и существовал медосмотр. Но с тысяча девятьсот тридцать седьмого года всеми медицинскими учреждениями тюрем, пересылок и лагерей — а для этапа Владивосток — Магадан этот приказ дважды подтверждали для заключенных спецлагерей, для КРТД и вообще для контингента, которому предназначалось жить, а главное — умирать на Колыме, — все ограничения по инвалидности и по возрасту были сняты.

Колыме предлагали самой выбросить шлак обратно по той же бюрократической дороге: акты, списки, комиссии, этапы, тысяча виз.

Действительного шлака назад привезли много.

Отправляли не только слабых и безногих, не только шестидесятилетних стариков в золотые забои, отправляли и туберкулезников, и сердечников.

Гипертоник в таком ряду казался не больным, а здоровым краснорожим филоном, который не хочет работать, ест государственный хлеб. Пайку жрет без отдачи.

Таким краснорожим филоном и был в глазах начальства инженер Новиков, заключенный участка Барагон близ Оймякона дорожного управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей, летом 1953 года.

Аппаратом Рива-Роччи, к сожалению, владеет не всякий медик Колымы, хотя считать пульс-то, чувствовать его наполнение должен уметь и фельдшер, и санитар, и врач.

Аппараты Рива-Роччи завезли на все медучастки — вместе с термометрами, бинтами, йодом. Но ни термометров, ни бинтов на том пункте, который я только что принял как вольный фельдшер — первая моя работа вольным за десять лет, — не было. Был только аппарат Рива-Роччи; он не был сломан, как термометры. На Колыме списать сломанный термометр — проблема, поэтому до списания, до актировки берегут все стеклянные черепки, как будто это приметы Помпеи, осколок какой-нибудь хеттской керамики.

Врачи Колымы привыкли обходиться не только без аппарата Рива-Роччи, но и без термометра. Термометр, даже в Центральной больнице, ставят только тяжелобольным, а остальным определяют температуру «по пульсу» — так же делают и в бесчисленных лагерных амбулаториях.

Все это мне было известно хорошо. На Барагоне я увидел, что Рива-Роччи в полном порядке, им только не пользовался фельдшер, которого я сменил.

На фельдшерских курсах я был хорошо обучен пользованию аппаратом. Практиковался миллион раз во время учебы, брал поручения перемерить давление у населения инвалидных бараков. Со стороны Рива-Роччи я был подготовлен хорошо.

Я принял списочный состав, человек двести, медикаменты, инструменты, шкафы. Не шутка — я был вольным фельдшером, хотя и бывшим зэка; я уже жил

за зоной, не в отдельной «кабинке» барака, а в вольном общежитии на четыре топчана — много бедней, холодней, неуютней, чем моя кабинка в лагере.

Но мне надо было идти вперед, глядеть вперед.

Незначительные перемены в моем личном быту меня мало смущали. Спирт я не пью, а в остальном все было в пределах общечеловеческой, а значит, и арестантской нормы.

На первом же приеме меня дожидался у дверей человек лет сорока в арестантском бушлате, чтоб поговорить с глазу на глаз.

Я не веду в лагере разговоров с глазу на глаз — все они кончаются предложением взятки, причем обещанье или взятка делаются так, наугад, на всякий случай. В этом есть глубокий смысл, и когда-нибудь я разберусь в этом вопросе подробно.

Тут, на Барагоне, было что-то в тоне больного, заставившее меня выслушать просьбу.

Человек попросил осмотреть его еще раз, хотя проходил уже в общем осмотре — с час тому назад.

— В чем причина такой просьбы?

— А вот в чем, гражданин фельдшер, — сказал человек. — Дело в том, гражданин фельдшер, что я болен, а освобождения мне не дают.

— Как же так?

— Да вот, голова болит, стучит в висках.

Я записал в книгу: Новиков Михаил Иванович.

Я пощупал пульс. Пульс грохотал, частил, невероятно счесть. Я поднял глаза от минутницы-песочницы в недоумении.

— А вы можете, — зашептал Новиков, — пользоваться вон этим аппаратом? — Он показал на Рива-Роччи на углу стола.

— Конечно.

— И мне можете смерить давление?

— Пожалуйста, хоть сейчас.

Новиков торопливо разделся, сел к столу и обернул манжетку вокруг своих «манжет», то есть рук, точнее, плеча.

Я вставил в уши фонендоскоп. Пульс застучал громкими ударами, ртуть в Рива-Роччи бешено бросилась вверх.

Я записал показания Рива-Роччи — двести шестьдесят на сто десять.

Другую руку!

Результат был тот же.

Я твердо записал в книгу: «Освободить от работы. Диагноз — гипертония 260/110».

— Значит, я могу не работать завтра?

— Конечно. — Новиков заплакал. — Да что у тебя за вопрос? Что за конфликт?

— Видите, фельдшер, — сказал Новиков, избегая прибавлять «гражданин» и таким образом как бы напоминая мне, что я — бывший зэка. — Фельдшер, которого вы сменили, не умел пользоваться аппаратом и говорил, что аппарат испорчен. А я — гипертоник еще с Минска, с материка, с воли. На Колыму меня завезли, не проверяя давления.

— Ну что ж, будешь пока получать освобождение, а потом тебя сактируют, и ты уедешь если не на Большую землю, то в Магадан.

На другой же день я был вызван в кабинет Ткачука, начальника нашего ОЛПа в звании старшины. По правилам должность начальника ОЛПа должен занимать лейтенант: Ткачук очень держался за свое место.

— Вот ты освободил от работы Новикова. Я проверял — он симулянт.

— Новиков не симулянт, а гипертоник.

— Я вызову комиссию по телефону. Врачебную. Тогда и будем его освобождать от работы.

— Нет, товарищ начальник, — сказал я, повольному именуя Ткачука, мне было привычней «гражданин начальник». Всего год назад. — Нет, товарищ начальник. Сначала я его освобожу от работы, а вы вызовете комиссию из управления. Комиссия либо утвердит мои действия, либо снимет с работы. Вы можете написать на меня рапорт, но попрошу вас моих чисто медицинских дел не касаться.

На этом разговор с Ткачуком окончился. Новиков остался в бараке, а Ткачук вызвал комиссию из управления. В комиссии были всего два врача, оба с аппаратами Рива-Роччи — один с отечественным, таким же, как мой, а другой с японским, с трофейным круглым манометром. Но к манометру было легко приспособиться.

У Новикова проверили кровяное давление, цифры совпали с моими. Составили акт об инвалидности Новикова, и Новиков в бараке стал ждать инвалидного этапа или попутного конвоя для отъезда в Магадан.

Меня же мои медицинские начальники даже не поблагодарили.

Сражение мое с Ткачуком не осталось неизвестным для заключенных в бараке.

Ликвидация вшей, которой я добился по способу, изученному мной в Центральной больнице, прожарка в бензиновых баках — опыт Второй мировой войны. Ликвидация вшей в лагере, ее портативность, дезинфекция, надежность, скорость — вошебойка моей системы и примирила Ткачука со мной.

А Новиков скучал, ждал этапа.

— Я ведь могу делать что-нибудь легкое, — сказал как-то Новиков на вечернем моем приеме. — Если вы попросите.

— Я не попрошу, — сказал я. Новиковский вопрос стал личным моим вопросом, вопросом моего фельдшерского престижа.

Новые бурные события отмели в сторону драму гипертоника и чудеса вошебойки.

Пришла амнистия, вошедшая в историю как амнистия Берии. Текст ее был отпечатан в Магадане и разослан во все глухие уголки Колымы, чтоб благодарное лагерное человечество чувствовало, радовалось и ценило, кланялось и благодарило. Амнистии подлежали все заключенные, где бы они ни находились, и восстанавливались во всех правах.

Освобождалась вся пятьдесят восьмая статья — все пункты, части и параграфы — все поголовно, с восстановлением во всех правах — со сроком наказания до пяти лет.

По пятьдесят восьмой пять лет давали только на заре туманной юности тридцать седьмого года. Эти люди или умерли, или освободились, или получили дополнительный срок.

Сроки, которые давал Гаранин блатарям — он их судил за саботаж по пятьдесят восьмой, пункт четырнадцатый, — отменялись, и блатари освобождались. Целый ряд бытовых статей получал сокращение, значит, сокращение получали осужденные по сто девяносто второй статье.

Эта амнистия не касалась заключенных по пятьдесят восьмой статье, имеющих вторую судимость, а касалась только рецидивистов-уголовников. Это был типичный сталинский «вольт».

Ни один человек не мог выйти за пределы лагеря, если он был осужден ранее по пятьдесят восьмой статье. Если только не пользоваться словом «человек» в блат-

ной терминологии. Человек на блатном языке — значит, блатарь, уркаган, член преступного мира.

Таков был главный вывод из амнистии Берии. Берия принимал сталинскую эстафету.

Освобождались только блатари, которых так преследовал Гаранин.

Все уголовники по амнистии Берии были освобождены «по чистой» с восстановлением во всех правах. В них правительство видело истинных друзей, надежную опору.

Удар был неожидан не для заключенных по пятьдесят восьмой статье. Те привыкли к таким сюрпризам.

Удар был неожидан для администрации Магадана, которая ждала совсем другого. Удар был крайне неожидан для самих блатарей, небо которых внезапно делалось чистым. По Магадану и по всем поселкам Колымы бродили убийцы, воры, насильники, которым при всех обстоятельствах надо было есть четыре или по крайней мере три раза в день — и если не наваристые щи с бараниной, то по крайней мере перловую кашу.

Поэтому самое разумное, что мог сделать практик начальник, самое простое и самое разумное — это быстро подготовить транспорт для дальнейшего движения этой мощной волны на материк, на Большую землю. Таких путей два: Магадан, через море во Владивосток — классический путь колымчан со всеми навыками и терминологией еще сахалинских времен, царской еще, николаевской чеканки.

И был второй путь — через тайгу до Алдана, а там в верховья Лены и на пароходе по Лене. Этот путь был менее популярен, но и вольняшки, и беглецы добирались до Большой земли и этим путем.

Третий путь был воздушным. Но арктические рейсы Севморпути при нетвердой арктической летной погоде обещали тут только случайности. Притом грузовой «дуглас», берущий четырнадцать человек, явно не мог решить транспортной проблемы.

На волю очень хочется, поэтому все — и блатные и фраера — торопились оформить свои документы и выехать, ибо, это понимали и блатари, правительство может одуматься, изменить решение.

Грузовики всех лагерей Колымы были заняты под этапирование этой мутной волны.

И надежд не было, что наших, барагонских, блатарей отправят быстро.

Тогда их отправили в направлении Лены для самостоятельного движения вниз по Лене — от Якутска. Ленское пароходство выдало освобожденным пароход и помахало рукой, облегченно вздыхая.

В пути продуктов не оказалось достаточно. Менять что-либо у жителей никто не мог, ибо и имущества не было, не было и жителей, которые могли бы продать что-нибудь съестное. Блатари, захватившие пароход и командование (капитана и штурмана), на своем общем собрании вынесли решение: использовать на мясо фраеров, соседей по пароходу. Блатарей было гораздо больше, чем фраеров. Но даже если бы блатарей было меньше — решение их не изменилось бы.

Фраеров резали, варили в пароходном котле постепенно, но по прибытии зарезали всех. Остался, кажется, или капитан, или штурман.

Работа на приисках остановилась и не скоро вошла в обычный ритм.

Блатари спешили — ошибка могла обнаружиться. Спешило и начальство расстаться с опасным контингентом. Но это не было ошибкой, а совершенно сознательным действием свободной воли Берии и его сослуживцев.

Я хорошо знаю подробности этой истории, потому что из Барагона в этом этапе уезжал товарищ и однодelец инвалида Новикова — Блумштейн. Блумштейн поторопился выйти из колес машины, попытался ускорить ее ход и погиб.

Был приказ из Магадана — всемерно ускорить разбор, оформление дел. Были созданы специальные комиссии на манер выездных трибуналов, раздававших документы на месте, а не в управлении, в Магадане, чтобы хоть как-нибудь ослабить грозный и мутный напор этих волн. Волн, которые нельзя было назвать человеческими.

Комиссии привозили на места готовые документы — кому скидка, кому замена, кому вовсе ничего, кому полная свобода. Группа освобождения, так это называется, в лагерном учете поработала хорошо.

Наш лагерь — дорожная командировка, где было много бытовиков, — вовсе опустел. Приехавшая комиссия вручила в торжественной обстановке под тот же духовой оркестр, серебряные трубы которого играли туш после чтения каждого приказа о расстрелах в забоях тридцать восьмого года, путевку в жизнь более чем сотне жителей нашего лагеря.

Среди этих ста человек с освобождением или скидкой срока (в чем было нужно расписаться на формальной, отпечатанной и заверенной всеми гербами выписке) был у нас в лагере один человек, который ни в чем не расписался и выписку по своему делу в руки не взял.

Этим человеком был Михаил Иванович Новиков — мой гипертоник.

Текст амнистии Берии был расклеен на всех заборах в зоне, и у Михаила Ивановича Новикова было время его изучить, обдумать и принять решение.

По расчету Новикова, он должен был быть освобожден по чистой, а не с каким-то сокращением сроков. По чистой, как блатарь. В привезенных же документах Новикову только менялся срок, так что оставалось несколько месяцев до выхода на свободу. Новиков не взял документов, не расписался нигде.

Представители комиссии говорили Новикову, что ему не следует отказываться от извещения о новом исчислении своего срока. Что, дескать, в управлении пересмотрят и, если сделали ошибку, ошибку исправят. В эту возможность Новиков верить не хотел. Он не взял документов и подал встречную жалобу, ее написал юрист, земляк минчанин Блумштейн, с которым Новиков вместе прошел и Белорусскую тюрьму, и лагерь Колымы. В барагонском бараке они и спали вместе, и, как говорят блатари, «кушали вместе». Встречная жалоба со своим расчетом своего собственного срока и своих возможностей.

Так Новиков остался в опустевшем барагонском бараке с кличкой дурака, который не хочет верить начальству.

Подобные встречные жалобы, поданные утомленными, уставшими людьми в момент возникшей надежды, — крайняя редкость на Колыме и вообще в лагерях.

Заявление Новикова было переслано в Москву. Еще бы! Свои юридические познания и результат этих познаний могла оспорить только Москва. Это знал и Новиков.

Мутный кровавый поток плыл по колымской земле, по трассам, прорываясь к морю, к Магадану, к свободе Большой земли. Другой мутный поток проплывал Лену, штурмовал пристани, аэродромы, вокзалы Якутии, Восточной и Западной Сибири, доплыл до Иркутска, до Новосибирска и тек дальше на Большую землю, сливаясь с мутными, столь же кровавыми волнами магаданского, владивостокского потоков. Блатари изменили климат го-

родов — в Москве грабили столь же легко, как и в Магадане. Немало было лет потрачено, немало людей погибло, пока мутная волна не была загнана обратно за решетку.

Тысячи новых «параш» вползали в лагерные бараки, одна грознее, фантастичнее другой.

С фельдъегерской почтой из Москвы через Магадан к нам привезли не парашу — параши редко возят фельдъегерской почтой, — а документ о полном освобождении Новикова.

Новиков получил документы, опоздав даже к шапочному разбору амнистии, и ждал случайной автомашины, боясь даже подумать о том, чтобы пуститься тем же путем, что Блумштейн.

Новиков сидел ежедневно у меня на кушетке-топчане в амбулатории и ждал, ждал...

В это время Ткачук получил первое пополнение людей после опустошительной амнистии. Лагерь не закрывался, оказывается, увеличивался и рос. Нашему Барагону отводилось новое помещение, новая зона, где возводились бараки, а стало быть, и вахта, и караульные вышки, и изолятор, и площадка для разводов на работу. Уже на фронтоне арки лагерных ворот был прибит официально принятый лозунг: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Рабочей силы было сколько угодно, бараки были выстроены, но сердце начальника ОЛПа тосковало: не было клумбы, не было газона с цветами. Все было под руками — и трава, и цветы, и газон, и рейка для палисадника, не было только человека, который мог бы провешить клумбы и газоны. А без клумб и газонов, без симметрии лагерной, какой же это лагерь — хотя бы и третьего класса. Барагону было далеко до Магадана, Сусумана, Усть-Неры.

Но и третий класс требует цветов и симметрии.

Ткачук опросил поголовно всех лагерников, съездил в соседний ОЛП — нигде не было человека, имеющего инженерное образование, техника, который может провешить газон и клумбу без нивелира.

Таким человеком был Михаил Иванович Новиков. Но Новиков из-за своей обиды и слушать не хотел. Приказы Ткачука уже не были для него приказами.

Ткачук при бесконечной уверенности в том, что арестант все забывает, предложил Новикову провешить лагерь. Оказалось, что память заключенного гораздо цепче, чем думал начальник ОЛПа.

День «пуска» лагеря приближался. Провешить цветник никто не мог. За два дня до открытия Ткачук попросил Новикова, ломая свое самолюбие, не приказом, не советом, а просьбой.

На просьбу начальника ОЛПа Новиков ответил так:

— О том, чтобы по вашей просьбе мне что-нибудь делать в лагере, не может быть и речи. Но, чтобы выручить, я подскажу вам решение. Попросите вашего фельдшера, пусть он мне скажет — и все будет готово в какой-нибудь час.

Весь этот разговор с соответствующим матом по адресу Новикова был мне передан Ткачуком. Оценив ситуацию, я попросил Новикова провешить лагерь. Все было кончено в какие-нибудь два часа, и лагерь сиял чистотой. Клумбы были разбиты, цветы посажены, ОЛП открыт.

Новиков уехал из Барагона с самым последним перед зимой пятьдесят третьего-пятьдесят четвертого года этапом.

Перед отъездом мы повидались.

— Желаю вам уехать отсюда, освободиться по-настоящему, — сказал мне человек, который сам себя освободил. — Дело идет к этому, уверяю вас. Дорого бы я дал, чтобы встретиться с вами где-нибудь в Минске или в Москве.

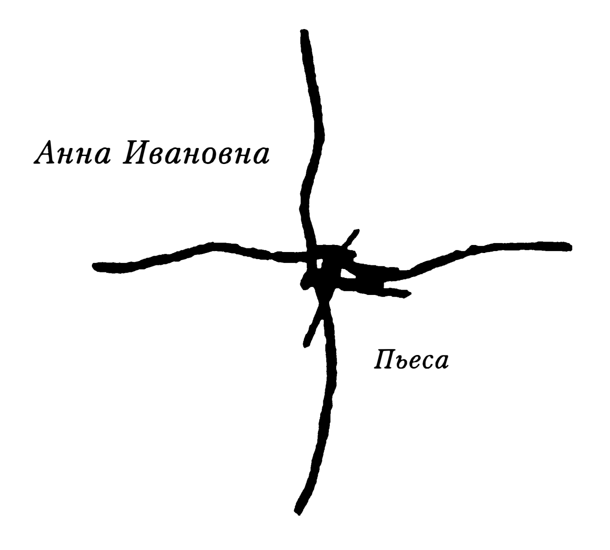
— Все это пустяки, Михаил Иванович.

— Нет, нет, не пустяки. Я — пророк. Я предчувствую, я предчувствую ваше освобождение!

. . . .

Через три месяца я был в Москве.

<1972>



Анна Ивановна

Пьеса

Памяти Г. Г. Демидова

КАРТИНЫ

I. Дорожная столовая
II. Больничная палата
III. Геологическая разведка
IV. Кабинет следователя
V. Этап

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Анна Ивановна Родина.
Прораб.
Следователь.
Врач.
Главный врач.
Санитарный начальник.
Гриша.
Блатарь.
Десятник.
Оперативник.
Дежурный.
Большой начальник.
Маленький начальник.

И другие — заключенные и вольнонаемные, мертвые и живые.

Картина первая

ДОРОЖНАЯ СТОЛОВАЯ

Вечер или ночь, все равно Зима. Дорожная столовая, где обеды только днем. Четыре столика, печка-полубочка топится. Буфетная стойка. Над стойкой, как и над тысячью других стоек, — картина Васнецова «Три богатыря». Работает буфетчица Анна Ивановна. За столиками — шоферы, проезжающие. Едят свое, берут только чай — кипяток в буфете, наливая в жестяные кружки, или спирт, который Анна Ивановна черпает жестяной меркой. Входит первый шофер.

Первый шофер. Анна Ивановна, мужик твой приехал.

Анна Ивановна. Где же он?

Первый шофер. Пошел в контору.

Анна Ивановна. Ну, уезжаем, значит. В разведку.

Первый шофер. А буфет бросаешь. Такое дело хлебное.

Анна Ивановна. Всех денег не заработаешь.

Первый шофер. Но стремиться к этому надо... *(Смеется.)* А ребенка куда?

Анна Ивановна. Пока будет в детском саду. В интернате. В тайгу не возьмем.

Первый шофер. Все обдумали, значит.

Дверь открывается и впускает облако белого пара — кто-то придерживает дверь. Когда пар рассеивается — на первом плане у раскаленной печки-полубочки оказываются четыре одинаковых человека, одетых в старые телогрейки и ношеные бушлаты, черные матерчатые шапочки «бамлаговки», заплатанные стеганые брюки и ношеные бурки, сшитые из старых телогреек. Вместо шарфов — грязные полотенца или портянки. Латаные рукавички. Все они на одно лицо — опухшие, отекшие, белокожие от долгого сидения в лагерной тюрьме. Все четверо глубоко равнодушны и к своей будущей судьбе, и к своему прошлому, и к своему настоящему. Ко всему, что они видят перед собой. Несколько сбоку — два конвоира с автоматами наперевес.

Первый шофер. В Магадан?

Конвоир. В Магадан.

Первый шофер. На следствие?

Конвоир. Нет. Это — приговоренные.

Лица заключенных не выражают ничего. Все они жмутся к печке, не расстегивая бушлатов.

Анна Ивановна. А водитель где?

Конвоир. Водитель лег спать в машине. В кабине. Больше ехать не может. Отдохнет — и поедем. Переобуйтесь в тепле, вы...

Конвоиры переобуваются по очереди.

Первый заключенный. Докурить бы, гражданин.

Конвоир. А ты видел, что я закурил, да? Вот буду закуривать, тогда и пососешь.

Анна Ивановна. По двести или по сто?

Конвоир. Нам спирт в дороге нельзя. Чаю горячего нет?

Анна Ивановна. Чай есть.

Конвоир. Налей по кружке нам и им. Нам с двойным сахаром.

Анна Ивановна. У нас весь одинаковый.

Конвоир. Ну, давай одинаковый.

Анна Ивановна приносит и раздает чай заключенным. Те с трудом держат горячие жестяные кружки в руках. Наконец одному удается отхлебнуть.

Первый заключенный. Сладкий!

Входит второй шофер.

Второй шофер. Чифирку подварим, Аня?

Анна Ивановна. Вон в печке подваривайте.

Второй шофер. А на плите?

Анна Ивановна. Плита потушена сейчас. Утром печник придет, перекладывать будет. Вот кипяток. Чай, вернее.

Шофер хлопочет с чифирем возле печки. Красноватое пламя из открытой дверцы по-новому освещает столовую. Входят третий шофер и старатель.

Третий шофер. Здравствуй, Аня.

Анна Ивановна. Здравствуй.

Третий шофер. Налей-ка нам.

Анна Ивановна. По сто граммов?

Третий шофер. По двести. Рейс кончен. Проклятый этот рейс. Получи.

Анна Ивановна. Возьми сдачу, Коля.

Третий шофер. Бери, Анька. На материк уезжаю. Полный расчет получил.

Анна Ивановна. И пропуск в кармане?

Третий шофер. Пропуск должны дать в Магадане.

Анна Ивановна. Возьми деньги.

Третий шофер. Зачем ты меня обижаешь, Аня?

Старатель. Бери! План — во! Золотишко — во. *(Вытаскивает деньги.)* Бери. Первый металл!

Анна Ивановна. Я тебя и не знаю вовсе. Коля хоть обедал здесь не один раз.

Старатель. Бери, мамаша. *(Открывает чемодан, полный денег.)*

Анна Ивановна. Я тебе не мамаша.

Старатель. Ну, дочка.

Анна Ивановна. И не дочка. Убери деньги. Так вы и до материка не доедете.

Старатель. Доедем. А если это потеряем — у нас другое есть. Мы — с понтом.

Анна Ивановна. Золото, что ли, везете? Там, говорят, на самолетах-то обыскивают всех, как в Бутырской тюрьме в Москве. Не глядят, кто вольный, кто зэка, во все дырки смотрят.

Старатель. Говорят...

Анна Ивановна. Вот и придется вам тогда снова законтрактоваться лет на десять.

Первый шофер. Больше.

Анна Ивановна. Дмитрий, довези их до Магадана.

Первый шофер. Да ведь пьяные, как я их повезу? Пусть лучше переспят здесь, а утром едут.

Входит прораб.

Прораб. Здравствуй, Аня. Уезжаем.

Анна Ивановна. Я так и поняла. Куда?

Прораб. В разведку. Начальником еду, Аня, хоть маленьким, а начальником.

Анна Ивановна. Очень рада.

Прораб. Правда, кино нет. Но будем ездить в кино в поселок. Вместе. Зато там ягоды — варенье будем варить. Голубица, брусника. Грибы там, говорят, с собаку

ростом. Гидропонным способом бог выращивает. Ружье возьму. Там кедровок и этих...

Анна Ивановна. Бурундуков?

Прораб. Нет, не бурундуков. А что тут смешного? Еврашек, вот кого. Сусликов.

Старатель. Кто это?

Первый шофер. Мужик Анны Ивановны.

Старатель. Я просто удивляюсь. На Колыме бабы на вес золота. Здесь каждая пигалица себя царицей ставит. И вдруг — такая красота. *(Прорабу.)* За что тебе такая красота досталась? За что? За большие деньги? Не верю. Деньги тут роли не играют.

Прораб. Ты пьян, проспись.

Первый шофер. Пойдем, Саша.

Первый заключенный *(расправляет подобранный окурок)*. Бывало, в райкоме этих окурков собиралось... После заседания тетя Рая, уборщица, по полведра выносила, все ругалась. А здесь и окурков-то человеческих нет. Все сосут до бумаги, до «фабрики».

Второй заключенный. А ты кем был на воле?

Первый заключенный. На воле-то? Кем я был на воле? А тебе не все равно?

Второй заключенный. Все равно.

Шум останавливающейся машины.

Первый шофер. Кто бы это?

Анна Ивановна. Рейсовый из Магадана.

Первый шофер. Нет, рейсовому рано, да и мотор не такой. Это — легковушка.

Входят трое военных. Впереди шофер, одетый вроде полярного летчика; в левой руке — большой чемодан. Сзади шофера — закутанный в тысячу одежек (огромная меховая якутская шапка, медвежья полость, тулуп, малахай, шинель, меховая телогрейка, военный китель с погонами, шерстяной свитер, высокие меховые унты) — маленький начальник, которого за оба локтя сзади поддерживает следователь. Поддерживает не только из почтительности, не только потому, что тот одет, как в капустные листы, и неуклюж от этого. Но и оттого, что маленький начальник сильно пьян. Следователь в тулупе, из-под которого видна военная шинель, он почтительно распутывает крохотного своего начальника. Место у стойки само собой очищается.

Маленький начальник *(громким голосом)*. По двести граммов, красавица.

Следователь. Я не пью, товарищ начальник.

Маленький начальник. Не пьешь? Далеко пойдешь. Один раз двести граммов, красавица. *(Пьет у стойки.)*

Следователь выбирает место начальнику и себе. Лучше всего — у печки, но печка загорожена четырьмя заключенными.

Следователь. Чьи это?

Конвоир. Это этап на Магадан, товарищ начальник.

Следователь. Отвести в сторону. Выведи на оправку, пока начальник кушает.

Конвоир. Да ведь пятьдесят градусов, товарищ начальник.

Следователь. Выполняй распоряжение.

Конвоир уводит на мороз заключенных, те — равнодушны. Лишь один из них оживает, бросаясь за окурком, который бросил шофер маленького начальника.

(Придвигает стол вплотную к печке.) Вот так будет полный порядок.

Маленький начальник. Достань-ка там закусить.

Следователь. Позвольте, я вам разверну. Колбаска, сало, ветчина.

Маленький начальник *(пьет и закусывает)*. Чего смотришь? Ешь!

Следователь. Ну, что вы.

Маленький начальник. Ешь, тебе говорят.

Следователь берет тоненький кружок колбасы и ест.

А чаю? Чаю не пьешь, какая сила будет? Знаешь эту поговорку? Не знаешь? Узнаешь. У тебя все впереди. Вот когда меня за пьянство снимут, а тебя на мое место назначат, ты уж в таких дырявых легковушках ездить не будешь. Тебе лимузин. Лимузин с электрической печкой. Поехали! Дорогу Фураеву!

Следователь закутывает маленького начальника в его многочисленные одежды. Все трое выходят. Следователь возвращается, заворачивает недоеденную колбасу (это большая редкость на Колыме) в газету и сует в карман. Потом уходит. Слышен шум отъезжающей машины.

Анна Ивановна. Никогда бы не подумала, никогда.

Конвоиры и четверо заключенных немедленно возвращаются. Заключенные окружают печку с тем же равнодушием.

Первый шофер. Дай-ка я, ребята, подшурую. *(Закладывает дрова в печку.)*

Конвоир. Кто это?

Первый шофер. Богатыри нынешние. Видишь трех богатырей? *(Показывает на картину.)* Раньше вот такие были, а сейчас — такие. Богатыри. Хозяева нашей жизни и смерти.

Конвоир. Нет, в самом деле, кто?

Первый шофер. Райотдельщики магаданские. Маленький — это Фураев. Он давно уж здесь, на Колыме, а длинного вижу впервые.

Незнакомый. Налей-ка, хозяйка, сто граммов, не больше. *(Роется в кармане и протягивает ей деньги.)*

Выдвигается оперативник, одетый точно так же, как и незнакомый человек, и стреляет в незнакомого человека в упор два раза из пистолета. Тот падает навзничь, сбивая со стойки посуду.

Оперативник. Два месяца ловил гада. Поймал все-таки.

Взволнованы все, кроме четырех заключенных.

Анна Ивановна. В больницу! Доктора! Петя!

Прораб. Не суйся ты не в свое дело.

Анна Ивановна *(первому шоферу)*. Митя, беги сейчас в больницу. Тут лагерная больница близко. Зови скорей.

Первый шофер убегает.

Второй шофер. Что же ты без предупреждения?

Оперативник. Он бы тебя предупредил. Приказ такой есть. *(Становится на колени и распахивает полушубок раненого.)*

Вываливается обрез мелкокалиберной винтовки, несколько патронов, револьвер.

Он бы тебя предупредил. У нас игра такая — или я его, или он меня.

Второй шофер. Гляди-ка. Оперативник. Вот тебе и гляди-ка.

Вбегает врач с чемоданом.

Врач. К печке его! Раздевайте его.

Анна Ивановна помогает раздеть раненого. Обнажается татуированный торс.

Первый шофер. Ишь наколки-то. *(Читает.)* «Нет в жизни счастья».

Раненого переворачивают.

А здесь: «Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок».

Врач быстро и умело осматривает и ощупывает раненого.

Прораб. Есенин. Самый любимый поэт блатарей.

Анна Ивановна *(мужу)*. Помоги же.

Врач. Мы и одни справимся. Держите руку, вот так. Два слепых огнестрельных ранения в живот. *(Слушает сердце.)* Жив еще. Тащите в больницу. Надежды немного, но все же.

Оперативник. Это я стрелял.

Врач. Пойдем, запишем там в историю болезни.

Оперативник. Сначала позвоню начальству, потом приду. Где телефон здесь?

Первый шофер. В конторе дорожной.

Прораб. Подождите. *(Наклоняется к раненому.)* Ты кто?

Все заинтересованно прислушиваются.

Ты кто? Я тебя спрашиваю, кто? *(Врачу.)* Он может слышать меня?

Врач. Может.

Прораб. Ты кто?

Незнакомец *(глухо)*. Су-ка!

Все. Су-у-ка!

Прораб *(восхищенно)*. Значит, не к нам. Это сука! А в нашем районе больница только для воров в законе. Сукам там не место. Их дорежут, только и всего.

Врач. Не слушайте его, несите в больницу. Ну, буфетчица, спасибо за помощь. Молодцом работала. Мне нужна сестра операционная в больнице. Должность вольнонаемная. Не пойдете из буфета? Подумайте.

Анна Ивановна. Я пошла бы, но я завтра уезжаю. В разведку. Бросаю это «золотое дно».

Врач. Ну что ж, прошу извинить. *(Уходит.)*

Оперативник. Меня бы спросили. Этот человек известен нам давно. Это Санька Карзубый.

Первый шофер. Из банды Ивана Грека?

Оперативник. Сам ты из банды Ивана Грека. Банда Ивана Грека — воры в законе. А это из сучьей банды Короля, из Королевской банды.

Первый шофер. А то еще какие-то «Красные Шапочки» есть, «махновцы», «беспредельщики».

Оперативник. Есть всего понемножку. Так где, ты говорил, телефон?

Картина вторая

БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА

Больничная палата. Ветхие одеяльца с вышивкой «ноги» покрывают полосатые грязные матрасы, набитые хвоей стланика. Простыней нет. На гвозде — грязный «расхожий» халат, который надевает сейчас в рукава Гриша, санитар из больных Коек двенадцать. Около крайней койки близ окна — врач Пустой шприц, разбитые ампулы лежат прямо на одеяле той койки, перед которой стоит врач. Врач ищет пульс больного, проверяет пальцами рефлекс глаз и медленно закрывает его лицо одеялом. Пустые ампулы и шприц падают у койки, их подхватывает санитар Гриша.

Гриша. Экзитус?

Врач. Экзитус, Гриша, экзитус. Архив номер три. Умер. Ну что ж. Огнестрельное ранение в живот. Пушкинская рана. И умер, как Пушкин, потому что не было пенициллина. Пенициллина тогда еще не было, Гриша, вот почему Пушкин умер. В наше время никакому Дантесу не удалось бы... Флеминг, Гриша, тогда еще не родился. Ты знаешь, Гриша, кто такой Флеминг?

Гриша. Нет.

Врач. Флеминг изобрел пенициллин. Ты знаешь, Гриша, что такое пенициллин?

Гриша. Да.

Врач. А кто такой был Пушкин?

Гриша. Вы все шутите, Сергей Григорьевич. Пушкин был писатель.

Врач. Вот-вот. Сочинитель. Сочинял стихи. Так кто же важнее для общества, для жизни — Пушкин или Флеминг?

Гриша. Я не знаю, Сергей Григорьевич.

Врач. И я не знаю, но знаю, что, если бы был пенициллин, этот, с пушкинской раной, был бы жив. Кровь надо было еще перелить. Переливание крови спасло бы. Ну, с пушкинской раной поступили мы по правилам, по правилам столетней давности, Гриша. Через два часа — в морг.

П е р в ы й б о л ь н о й. Сергей Григорьевич, а можно мне на эту койку перейти — у меня очень жестко, пролежни будут вот-вот. Заявочку, так сказать, делаю.

В р а ч. Подожди еще. Вон ты, с позвоночником, ты не хочешь лечь к окну?

В т о р о й б о л ь н о й. Мне все равно.

В р а ч. Тогда пусть ложится тот, кто просит. Температурящих нет?

Г р и ш а. Вроде нет.

В р а ч. Значит, термометр можно не давать. Береги эту колымскую драгоценность. Давай завтрак, Гриша.

Гриша снимает расхожий халат, моет руки в рукомойнике, опоясывается полотенцем и начинает раздавать завтрак. Сначала приносит хлеб, потом на фанерном подносе — порции селедки. Всеобщее оживление.

Б о л ь н ы е. Сегодня хвостики, хвостики!

В р а ч. Да, сегодня хвостики селедочные... Завтра будут головы. Столько было скандалов, даже кровавых, если одному достался хвостик, другому — голова, что был приказ: давать или всем хвостики, или всем головы. Психология! Знатоки человеческих душ. Конечно, наша больница маленькая, но приказ есть приказ.

Гриша приносит суп в жестяных мисках, раздает. Все пьют через борт.

Г р и ш а *(второму больному)*. Возьми мою ложку.

В т о р о й б о л ь н о й. На прииске не нужна ложка. И кашу и суп одинаково можно через борт выпить, пальцем, если нужно, подправить. А миску вылизывать каждый легко научится. Скорее, чем насыпать тачку. Лишняя обуза.

Г р и ш а. Нет, не скажи, а кому-нибудь поднести, бригадиру, десятнику.

В т о р о й б о л ь н о й. Десятники не обедают вместе с бригадой, а у бригадира и своя ложка есть.

Г р и ш а. А мертвецову пайку, Сергей Григорьевич?

В р а ч. Соседу отдашь, который помогал ухаживать. По закону.

П е р в ы й б о л ь н о й. Хорошо здесь умереть бы.

В р а ч. Почему это умереть? Лежать здесь неплохо для арестанта, но умереть — это уж чересчур.

П е р в ы й б о л ь н о й. Нет, Сергей Григорьевич, так. Я на прииске молился только об одном, чтоб умереть на чистой постели, не в бараке, пусть от голода, но на чистой постели, не в забое, не под сапогами, от побоев.

Врач. Мечта неплохая.

Второй больной. А я хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понял, доктор? Чтобы мной не управляло тело, трусливые руки, трусливые ноги, которые заставляют меня кричать от отморожения. Зачем мне быть обрубком? Чтобы плюнуть им в лицо, харкнуть в самую рожу.

Врач. Успокойся. До обрубка тебе еще далеко.

Третий больной. Я вот раньше на другом прииске лежал — так там у нас уколы горячие делали.

Врач. Это или хлористый кальций, или «пэпэ» — противопеллагрозный витамин.

Третий больной. Вот-вот, витамин. Мне целый курс был назначен, а у нас там эти уколы за хлеб продавали, и я весь курс этот променял и поправился. Посытел немного.

Врач. Кому же ты эти уколы продавал?

Третий больной. Блатным, доктор.

Входит главный врач.

Главный врач. Сергей Григорьевич, я посылал за вами рано утром — вы не явились. Важное известие.

Врач. Возился с больным. Огнестрельное ранение живота.

Главный врач. Это из трассовской столовой? Пойманный беглец? Напрасно возились.

Врач. Переливание крови спасло бы. Я ведь посылал к вам вечером вчера. Есть ли доноры универсальной группы. Вы мне ответили, что доноров универсальной группы нет.

Главный врач. У меня есть один донор универсальной группы. Гипертоник, так что польза была бы взаимной. И заработал бы наш донор неплохо.

Врач. Так что же вы?

Главный врач. Закавыка в том, что этот универсальный донор — один из уполномоченных райотдела. Как же его кровь переливать заключенному?

Врач. Разве это нельзя? Кровь разная? Я думаю, граммов пятьсот лучшей чекистской крови воскресили бы нашего больного.

Главный врач. Не говорите глупостей. Если бы государство смотрело на это так, как вы, то донорская кровь вольнонаемного не оценивалась бы вдесятеро дороже крови донора-заключенного. Сводить вас в бухгалтерию?

Врач. Теперь ведь все равно.

Главный врач. Вам не нужно было возиться, не спать. Написали бы заключение — операции не подлежит. Я подписал бы, и дело с концом. И шли бы спать. Ведь и так не оперировали, только время теряли да расходовали драгоценный кофеин, камфару, глюкозу даже, судя по ампулам, что я заметил в помойном ведре, вводили. На будущее время запрещаю вводить глюкозу таким больным. Глюкоза — для ЧП.

Врач. Да, конечно.

Главный врач. Ну, выбросьте из головы все это, умойтесь и принимайтесь за важное дело. Телефонограмма по линии. Большой начальник едет. Сам. Так что быстро приводите все в порядок.

Врач. Простыней-то все равно нет.

Главный врач. Я все обдумал. Пошлите Гришку ко мне домой, и жена даст пятнадцать-двадцать простыней на один час.

Врач. Но ведь вы потом на них спать не будете.

Главный врач. Продезинфицируем, и ничего. А заботу мою оценят.

Врач. Гриша!

Гриша. Слушаю!

Врач. Ты слышал разговор? Беги сейчас же к гражданину начальнику на квартиру и тащи простыни. Ваша жена знает?

Главный врач. Я ее уже предупредил. Не в первый раз.

Гриша убегает.

Врач. Надеюсь, носовым платком, как палубу корабля, наш адмирал пол вытирать не будет.

Главный врач. Не думаю. Это ведь обыкновенная приисковая больница. Истории болезни по порядку положите, обмахните пыль. Да еще санитара этого, из больных...

Врач. Гришу, что ли?

Главный врач. Не знаю, как его зовут. На койку, на койку. Санитаров нам по штату не положено.

Врач. Вот такого же приезда ждали и в той больнице, где я работал в прошлом году. Каждого больного внесли в список, записали диагноз.

Главный врач. Вот-вот.

Врач. В коридоре больной стекла вставлял, не успел уйти. Сам спрашивает: «А этот — что?» Начальник

говорит: «Этот — стеклит». Так и записали в список: диагноз — «стеклит». Воспалительное окончание «ит» — аппендицит, плеврит, стеклит...

Главный врач. Вечно вы с вашими неуместными шутками.

Вбегает Гриша

Гриша. Вот простыни...

Все, кроме двух или трех неподвижно лежащих больных и мертвеца у окна, помогают санитару, врачу и главному врачу постелить накрахмаленные, хрустящие, негнущиеся простыни, крайне нелепые в этой больничной палате. Слышен рев машины.

(Выскочив в коридор и сейчас же возвращаясь.) Начальник приехал! *(Сдернув халат, ложится на свою койку.)*

Главный врач. Ах, боже мой, боже мой! *(Убегает. Вбегает снова.)* Халаты для личной охраны начальника! *(Скрывается.)*

Врач. Пусть стоят в коридоре или входят без халатов.

Появляются телохранители без халатов. Привычно занимают нужные позиции, услужливой незаметной рукой распахивается одностворчатая низкая дверь, и в нее с трудом пролезает облаченный в лопающийся по швам белый халат большой начальник, в начищенных сапогах и кителеобразном облачении. За ним санитарный начальник, главный врач и еще какие-то лица.

Врач *(рапортует)*. В палате лагерной больницы находится больных зэка двенадцать человек. Дежурный врач зэка Платонов.

Большой начальник. Не надо говорить «зэка», надо говорить по-русски, просто: заключенный. *(Не подавая руки.)* Здравствуйте.

Нестройное приветствие больных.

Врач. Здесь всего одна палата. Хирургических и терапевтических больных приходится держать вместе. Больница, так сказать, в миниатюре.

Большой начальник. Колыма в миниатюре.

Врач. Совершенно верно, гражданин начальник.

Санитарный начальник. Показывайте больных.

Врач. Начнем с хирургического отделения. Вот этот — травматическое повреждение позвоночника. Бытовая травма. Анамнез: стрелки избили в забое.

Санитарный начальник. Лечение?

Врач. Симптоматическое. Готовим к отправке в инвалидный лагерь.

Санитарный начальник. Следующий.

Врач. Это — множественные переломы ребер. Анамнез: стрелки избили в забое.

Санитарный начальник. Следующий!

Следующий — Гриша-санитар.

Врач. Обширная трофическая язва правой голени, есть улучшение. Готовим к выписке.

Санитарный начальник. Трофическая язва — симулянт какой-нибудь, членовредитель.

Врач. Может быть, симулянт, а может быть, и нет.

Санитарный начальник. Ваша обязанность — разоблачать симулянтов.

Врач. Моя обязанность — лечить.

Санитарный начальник. Вы заключенный?

Врач. Да, заключенный.

Санитарный начальник. По какой статье?

Врач. По литерной — «пэша».

Большой начальник. Что значит — «пэша»?

Врач. Подозрение в шпионаже.

Большой начальник. Так и надо говорить: подозрение в шпионаже. Весь русский язык засорили этими «пэша», «зэка».

Все почтительно слушают большого начальника.

Санитарный начальник. Следующий.

Врач. Здесь подряд трое больных с язвой желудка. Все они получают терапевтическое лечение.

Санитарный начальник. Почему не оперируете? Не разгружаете ваш койко-день. Ваш койко-день ужасен.

Врач. Фон нехорош.

Большой начальник. Что это значит — «фон»?

Санитарный начальник. Фон — это, товарищ начальник, общее состояние больного. Он хочет сказать, что полиавитаминоз.

Врач. Да, полиавитаминоз, дистрофия и резкое физическое истощение создают этот фон, при котором нельзя рассчитывать на успех операции. Вот мы и лечим терапевтически.

Санитарный начальник. Вам нужно позаботиться о переброске этих больных туда, где их могут оперировать.

Врач. Их никто и нигде не может оперировать, гражданин начальник.

Санитарный начальник. Но они загружают койко-день.

Врач. Где бы эти больные ни лежали, они везде будут загружать койко-день.

Санитарный начальник. В инвалидный городок какой-нибудь.

Главный врач. Инвалидные городки таких не принимают.

Санитарный начальник. Следующий.

Врач. Отморожение обеих стоп. Свежий случай. Удаление стоп. Перевязка, смазывание йодом, лечение аэрацией.

Большой начальник. Аэрацией?

Врач. Чистым воздухом, гражданин начальник.

Санитарный начальник. Снимите повязки и покажите состояние раны.

Большой начальник. Симулянт?

Санитарный начальник. Все может быть. Контроль не помешает.

Повязку снимают.

(Отшатнувшись от раны, поворачивается.) Следующий.

Врач. Следующий — дизентерия, вернее — пеллагра.

Санитарный начальник. Дизентерия или пеллагра?

Врач. Дизентерия на почве пеллагры.

Санитарный начальник. В общей палате?

Врач. Других помещений у нас нет.

Санитарный начальник подходит к последней койке. Отворачивает одеяло, считает пульс, слушает сердце мертвеца.

Санитарный начальник. У вас мертвец тут. Больной умер. Пока вы тут болтали.

Врач. Он умер час тому назад.

Санитарный начальник. А вы здесь его продержали до нашего прихода, нарочно? Надо было отнести немедленно в морг.

Врач. Не немедленно. По инструкции — через два часа после смерти. Да и морга у нас нет, сарай просто.

Большой начальник. Что тут морочить голову с инструкциями Сануправления. Любую инструкцию надо толковать здраво.

Врач. Это не инструкция Сануправления, гражданин начальник. Это — медицинский учебник. Признаки смерти...

Большой начальник. Молчи, не морочь голову, первый раз вижу такую больницу, где мертвецы лежат рядом с живыми.

Санитарный начальник бросается к койкам, которые уже осматривал, и выдергивает из-под подушки первого больного дровяное полено.

Санитарный начальник. А это что? Это — тоже мертвец? Это тоже на два часа? Тоже по инструкции? Тоже признаки смерти?

Первый больной. Гражданин начальник, я хотел подголовник сделать, голову хотел повыше, полегче.

Санитарный начальник. Я тебе покажу подголовник! Выписать немедленно.

Врач. Выписать этого больного нельзя.

Санитарный начальник. Нельзя? Тогда я тебя самого выпишу, понял?

Врач. Понял.

Санитарный начальник. Надо отвечать: понял, гражданин начальник. Встань как полагается.

Врач. Понял, гражданин начальник.

Главный врач. Я уже давно хотел написать вам рапорт о замене этого врача. Работаешь, работаешь, а тут бревно под подушкой, палки в колеса.

Санитарный начальник *(большому начальнику)*. Видите, какие бывают больницы? Хрустящие простыни, а копнешь поглубже — бревно под головой. Нам очень трудно работать, товарищ начальник.

Большой начальник. Мало инспектируете. Действительно, он у вас держится слишком развязно. Отправьте его на прииск, если не хочет работать. Где главный врач?

Главный врач. Здесь, товарищ начальник.

Большой начальник. В ваши обязанности входит не только руководство, так сказать, профессиональное, но и политическое воспитание и политический контроль. При двойной, так сказать, субординации. Во-первых — это главное: он заключенный, а вы — вольнонаемный. А во-вторых: вы начальник, а он — ваш подчиненный. Надо следить, чтобы больницы не были рассадником враждебной агитации.

Главный врач. Слушаюсь, товарищ начальник. Все будет сделано.

Большой начальник. А вы лечитесь тут, поправляйтесь, возвращайтесь к трудовой жизни.

Нестройный хор прощальных приветствий Приехавшие уходят вслед за большим начальником, и наступает тишина.

Первый больной. Русский язык, говорит, засорен, господа!

Второй больной. Тут у вас, говорит, Колыма в натуре.

Первый больной. Не в натуре, а в миниатюре.

Второй больной. Сам ты в миниатюре. Таких и слов по-русски нет. «В миниатюре».

Первый больной. Нет, есть. Сергей Григорьевич, есть такое слово «в миниатюре»? Или нет?

Третий больной. Оставь его!

Гриша, который надел халат, выдергивает и быстро складывает простыни.

Гриша. Можно и не стирать, пожалуй. *(Врачу.)* Значит, и вы с нами на выписку, Сергей Григорьевич?

Врач. На выписку, Гриша.

Гриша. Сергей Григорьевич, поговорите с главным, он ведь человек неплохой. Хотя тут от близости начальства и осатанел.

Врач. Да. Дети, семья, сам скотина, как в анекдоте.

Гриша. Попросите, чтобы он с начальником прииска поговорил — вас бригадиром поставят. Все не ворочать камни, не ишачить, не пахать.

Врач. Нет, Гриша, бригадиром я быть не могу. Лучше умру. В лагере нет должности, нет работы подлее и страшнее, чем работа бригадира. Чужая воля, убивающая своих товарищей. Кровавая должность. На прииске золотой сезон начинает и кончает бригада Иванова. Через три месяца, в конце сезона, в бригаде остается только один бригадир, а остальные сменились по три, по четыре раза за эти летние месяцы. Одни ушли под сопку, в могилы, другие — в больницу, третьи стали неизлечимыми инвалидами. А бригадир жив! И не только жив, а раскормлен, получает «процент». Бригадир и есть настоящий убийца, руками которого всех убивают. Ведь это каждому ясно, кто видел забой.

Гриша. Эх, Сергей Григорьевич, своя рубашка к телу ближе. Умри ты сегодня, а я завтра.

Врач. Нет, Гриша. Распоряжаться чужой волей, чужой жизнью в лагерях — это кровавое преступление.

Руками бригадиров — если не считать блатных — и убивают заключенных в лагерях. Бригадир — это и есть исполнитель всего того, чем нам грозили в газетах. Начальник прииска ударит тебя по морде перчаткой, Гриша, да утвердит акт, а бригадир этот самый акт составит да еще палкой тебя изобьет — за то, что ты голодный, или — как он скажет начальству — ты лодырь и отказчик. Бригадир много хуже, чем боец конвоя, чем любой надзиратель. Надзиратель по договору служит, конвоир — на военной службе, исполняет приказ, а бригадир, бригадир — твой товарищ, приехавший с тобой вместе в одном этапе, который убивает тебя, чтобы выжить самому.

Гриша. А вы бы попроще на все это дело смотрели, Сергей Григорьевич.

Врач. Не могу попроще, Гриша. Характер не такой. Что делать? Любую работу буду делать в лагере: тачки возить, говно чистить. Но бригадиром я не буду никогда.

Гриша. Закон, значит, у вас такой.

Врач. Да. Закон совести.

В дверь стучат. Гриша выходит и сразу же возвращается.

Гриша. Вас женщина дожидается, Сергей Григорьевич.

Врач. Женщина? Аборт какой-нибудь подпольный. Ну, веди — кто там меня?

Анна Ивановна. Это я.

Врач. А-а-а! Буфетчица из трассовской столовой.

Анна Ивановна. Совершенно верно, Анна Ивановна.

Врач. Чем могу служить, Анна Ивановна?

Анна Ивановна. Вы говорили вчера, что вам нужна сестра в больницу. То есть операционная сестра, медицинская сестра. Я пошла бы работать сестрой. Подучилась бы.

Врач. Заключенный не имеет права загадывать далее чем на сутки, на час. Судьба зэка в руках начальства. Меня сняли с работы, Анна Ивановна, пока вы принимали решение, и посылают на общие работы. И сестра мне уже не нужна.

Анна Ивановна. Ну что ж, простите, что так получилось.

Врач. Что вы, что вы! Это я должен сказать: простите, что так получилось, случилось. Жизнь — это жизнь.

Картина третья

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА

«Закопушки» — небольшие шурфы геологической разведки, расположены этажами — ловят пласт угля. В двух верхних — лежащие на борту забоя б л а т а р и. В нижней работает в р а ч. С горы, как с неба, спускается п р о р а б в этот амфитеатр судеб — но блатари не делают ни единого движения ему навстречу. Кайло и лопата каждого стоят в углу забоя.

П р о р а б. Ну, как тут?

Б л а т а р ь. Трудимся, гражданин начальник.

Прораб в верхнем шурфе поднимает кайло и осматривает. На борту — дымящаяся огромная папироса из целой осьмушки махорки.

П р о р а б. Можешь получить премию — за бережное обращение с инструментом.

Б л а т а р ь. Так уж сразу и премию. Закурим, Пётр Христофорович.

П р о р а б. Ты же куришь.

Б л а т а р ь. Так это — махорка пролетарская, а у вас «Беломор».

П р о р а б *(достает пачку и садится на борт забоя)*. Как тебе не стыдно, Генка, бездельничать. Такой здоровый парень — «лоб», как у вас говорят.

Б л а т а р ь. Я эти кубики, кубометры эти, в буру выиграл и могу припухать до Рождества. Имею полное право.

П р о р а б. В буру... У кого?

Б л а т а р ь. У сотского.

П р о р а б. А десятник мне говорил, что и в руки не берет этих...

Б л а т а р ь. Стирок?

П р о р а б. Вот-вот. Карт. То-то я смотрю, у моей жены томик Виктора Гюго исчез бесследно. Тайга. Кому нужен здесь Виктор Гюго? Кому полезен? А книга на хорошей бумаге, толстой, блестящей.

Б л а т а р ь. На такой бумаге стирки когда мостырят, карты когда делают, листочки склеивать не надо. А если из газетной, то надо склеивать — лишняя работа.

П р о р а б. Понимаю и на будущее учту. Только у меня ведь тоже — отчеты, замеры. Тут недостаточно из Виктора Гюго колоду этих... стирок сделать. А, как ты думаешь?

Б л а т а р ь. Наверное, недостаточно.

П р о р а б. Как я буду списывать, какие наряды утверждать?

Б л а т а р ь. А на оползень, Пётр Христофорович. Оползни, и все начинай сначала. Сотский хоть и фраер, но битый и понимает жизнь. Да и вам перед начальством не захочется отвечать: еще с работы, пожалуй, снимут. Эх, Пётр Христофорович, без туфты и аммонала...

П р о р а б. Не было бы Беломорского канала. Это верно, только ведь чтобы на оползень списывать, надо кое-что сделать, самую малость хотя бы. Очертить хоть шурфы.

Б л а т а р ь. Об этом можно будет потолковать, Пётр Христофорович.

П р о р а б. А неужели тебе не надоест целый день лежать тут?

Б л а т а р ь. Мы романы тискаем. «Князь Вяземский», «Шайка червонных валетов». Не интересуетесь, Пётр Христофорович?

П р о р а б. Нет, не интересуюсь. К совести твоей я, Генка, не обращаюсь.

Б л а т а р ь. И правильно делаете. На месте совести у нас рог вырос.

П р о р а б. Я просто удивляюсь — ведь за целый день... просто от скуки. Если бы я работал в твоем шурфе... *(Берет кайло и начинает работать.)*

Гора у шурфа быстро растет.

Вот — за какую-нибудь минуту.

Б л а т а р ь. У вас — талант, призвание к этой работе.

П р о р а б. Призвание не призвание, а работать физически я могу. Только на кой черт мне это надо...

Б л а т а р ь. Вот и я так же думаю, Пётр Христофорович. На кой черт мне это надо.

П р о р а б. За такую работу я тебе дам штрафное блюдо.

Б л а т а р ь. Ты мне дай хоть полблюда, только чтобы блюдо было с конное ведро.

Прораб переходит в следующий забой, где на борту неподвижно лежит в т о р о й б л а т а р ь. В забое такая же зеркальная чистота.

П р о р а б. А у тебя как, Снегирёв?

В т о р о й б л а т а р ь. Замер покажет.

П р о р а б. Получишь штрафную пайку.

В т о р о й б л а т а р ь. Эх, гражданин начальник. Есть такой закон таежный: в лагере убивает большая пайка, а не маленькая.

П р о р а б. Действительно, без оползня не обойтись. *(Переходит в следующий забой, где работает врач.)* Ну, как ты себя чувствуешь? После больничного халата?

В р а ч. Я, гражданин начальник, могу работать на всякой работе. Могу быть даже прорабом разведки.

П р о р а б. Помолчи лучше. Какая у тебя статья?

В р а ч. Вы про статью спрашиваете меня не первый раз.

П р о р а б. Не твое дело, отвечай, как положено отвечать начальнику.

В р а ч. Пятьдесят восьмая, гражданин начальник.

П р о р а б. А подробнее?

В р а ч. Литерная, гражданин начальник, «пэша».

П р о р а б. Ты «литерка», значит?

В р а ч. «Литерка», гражданин начальник.

П р о р а б. Это плохо.

В р а ч. Плохо, гражданин начальник.

П р о р а б. А скажи мне — почему мне лицо твое так знакомо? Мы уже встречались где-то?

В р а ч. Нет, гражданин начальник, это ошибка. У меня самое обыкновенное лицо. Меня разные люди часто принимают за своего знакомого. А припомнят получше — никакой я им не знакомый.

П р о р а б. Нет, у меня хорошая память на лица. А в дорожной столовой, во время убийства в прошлом году, не ты был? Помощь раненому оказывал.

Б л а т а р ь. Уличают тебя, лепила?

В р а ч. Право, вы ошибаетесь, гражданин начальник. Такие убийства там каждый день.

П р о р а б. Ну, вот — честно работай, трудись, перевыполняй норму, и я тебя снова поставлю врачом.

В р а ч. Спасибо, гражданин начальник.

Входит д е с я т н и к.

П р о р а б. А, господин сотский. Я получил сведения, что вы опять кубики в буру проиграли.

Д е с я т н и к. Врут, Пётр Христофорович, брешут, я к вам вот зачем — там, в дальних шурфах, после вчерашнего дождя борта осыпались и все заплыло. Оползень... Надо бы актик.

П р о р а б. Вчера и дождя-то не было.

Д е с я т н и к. Или позавчера, что ли, шел.

П р о р а б. И позавчера не шел. Посмотрим сейчас твой оползень, и если верно — вот эти шурфы *(показывает)* под акт прихватишь тоже.

Д е с я т н и к. Ну, ясное дело!

Бьют в рельс.

П р о р а б *(смотрит на ручные часы)*. Кто это в рельс ударил, сотский?

Д е с я т н и к. Анна Ивановна, наверное.

Входит А н н а И в а н о в н а.

П р о р а б. Зачем ты бьешь в колокола? Ты еще не на материке.

А н н а И в а н о в н а. Обед ведь...

П р о р а б. Нет, кроме шуток, не смущай работяг. У нас ни звонков, ни часов нет, работаем по солнцу.

А н н а И в а н о в н а. Мне надо поговорить с тобой.

П р о р а б. Сотский, отойди. Отпусти работяг на обед, раз ударили в рельс.

Работяги и десятник уходят.

А н н а И в а н о в н а. Зачем ты снял на общие работы нашего доктора? Ведь он-то никакого отношения к тому разговору, о котором тебе Фома докладывал, о колымских порядках, не имеет. Ты разобрался бы получше.

П р о р а б. Тут, Аня, есть тысячи причин. Первая — доктор спецуказанец, «литерка». На него из самой Москвы бумажка есть, чтобы использовать только на тяжелых физических работах в условиях Крайнего Севера. Значит, я, разрешая ему работать по специальности, нарушаю не только приказ, но и высшую государственную политическую линию. Это — раз.

А н н а И в а н о в н а. Но ведь его прислали для работы врачом.

П р о р а б. Кто-нибудь по блату устроил. Я, правда, знаю, что такие случаи в отношении пятьдесят восьмой статьи бывают, но все-таки надо держать ухо востро, и ты мне не порть политику.

А н н а И в а н о в н а. Понимаю.

П р о р а б. Нет, ты еще не понимаешь. Вторая причина: настоящий начальник должен всех своих помощников из заключенных иметь по два — не по одному, а по два, поняла?

А н н а И в а н о в н а. Нет.

Прораб. Два повара, два бухгалтера, два врача, два десятника, два дневальных. Один работает, а другой — на общих, в забое вкалывает, поняла?

Анна Ивановна. Нет.

Прораб. Тот, кто работает «придурком», — вкалывает изо всех сил, чтобы удержаться на должности. Работал «придурком» — уцелел. На все подлости пойдет, только чтобы жить и работать на этой легкой работе. Почему у меня осведомительское дело поставлено всегда отлично? Потому что всех «придурков» — по два, по два. Никто не чувствует себя незаменимым. Чуть оплошал — на общие, на общие...

Анна Ивановна. Ты не такой... Ты умнее, чем я думала.

Прораб. И это еще не все. Второй — тот, что на общих работах, — выбивается из сил, чтобы опять попасть в «придурки». Перевыполняет норму. Поняла? Работяги сообщают мне еще больше, чем «придурки», и производство выигрывает! Закон! Порядок! Кто лучший прораб в Дальстрое? Пётр Христофорович Кузнецов — прораб-психолог.

Анна Ивановна. Знаток человеческой души, любитель Джека Лондона.

Прораб. Джек Лондон — это вчерашняя романтика. Чужая романтика, Аня. А то, что я тебе говорю, — жизнь.

Анна Ивановна. Ты знаешь, ведь у меня не все в порядке по женским. А этот Фома Троицкий, которого ты поставил врачом, — ведь он травматические болезни называет драматическими болезнями.

Прораб. Неплохо. Он просто философ, наш Фома. Нет, Аня, чтобы ты не думала, что я зверь какой-нибудь, я поставлю этого доктора опять врачом. Так лучше. Если мне когда-нибудь скажут — у вас в штате обслуги фашист, — я докажу, что этот фашист больше работал на общих с кайлом и лопатой, чем со скальпелем и шпателем, больше пахал, одним словом. Поняла?

Анна Ивановна. Ты вполне можешь быть начальником управления.

Возвращаются с обеда работяги и десятник.

Прораб. Господ уркачей поставь на другую работу, сотский, а доктор пусть добивает норму. Пойдем, я покажу, где их поставить.

Уходят десятник, блатари.

Ну, вот, Платонов, завтра твоя каторга кончится. Отработаешь до вечера, а завтра можешь выходить на старую работу. Только приемо-сдаточный акт с Фомою составьте.

Врач. Спасибо, гражданин начальник.

Прораб. Благодари Анну Ивановну. Она тут слезы развела. Ну я, как человек слабый...

Врач. Спасибо, гражданин начальник.

Прораб уходит.

Спасибо вам, Анна Ивановна.

Анна Ивановна. Не за что. Я вам очень многим обязана.

Врач. Мне? Вы?

Анна Ивановна. Я пришла к вам по делу.

Врач. Вот как?

Анна Ивановна. Да. На той неделе, даже не верится, я уезжаю на материк. Вместе с сыном улетаю. Ведь у меня сын здесь в детсаде, в интернате. Не знали?

Врач. Не знал. Но почему у вас не должно быть сына?

Анна Ивановна. Мы тогда с мужем — я тогда была с другим, его бревном убило — мы жили в глухой-глухой тайге. Я и рожала одна — без всякой человеческой помощи. Муж был в отъезде, в командировке. Я хочу вам сказать, Сергей Григорьевич, вы так много сделали для меня. Может быть, вам нужно отвезти письмо родным? Я отвезу.

Врач. Родным? Впрочем, адрес у меня, кажется, есть. Я ничего не сделал для вас, Анна Ивановна. Ни хорошего, ни плохого.

Анна Ивановна. Я не умею выразить. Я так мало видела людей, и на материке тоже. Иногда мне кажется, что все, что с нами делается, только сон, зловещий сон. Или что раньше с нами было — сон. А настоящая жизнь — вот это: кровь, грязь... Так пишите письмо.

Врач. Да, у меня есть письмо. Большое письмо в нескольких тетрадках. Самородок в восемьсот граммов весу. Восемьсот граммов стихов.

Анна Ивановна. Лагерных стихов?

Врач. Нет, заоблачных. Отвезете, Анна Ивановна? Я приготовлю. На самолете ведь каждый грамм дорог.

Анна Ивановна. Это не имеет значения. Приготовьте к субботе, и я возьму. Стихи — я в этом ничего не понимаю...

В р а ч. Рискуете многим. Ваш муж...

А н н а И в а н о в н а. Ну, какой он мне муж? Колымский. На Эльгене меня подобрал, когда я освобождалась. Высмотрел на знаменитой ярмарке невест, возле эльгенской конбазы. Ярмарка невест с испытательной пробой в кустах. Женщине с ребенком очень трудно на Колыме.

В р а ч. Вы разве бывшая зэка?

А н н а И в а н о в н а. Конечно. Хлябаю за вольняшку. Не без успеха.

В р а ч. Сколько же лет?

А н н а И в а н о в н а. Восемь. По сто тридцать восьмой. «Убийство из ревности...

В р а ч. ...и прочих низменных побуждений». Мужа?

А н н а И в а н о в н а. Нет, его подружку. Из мужнина пистолета. Мой муж был летчиком военным. Мы хорошо жили. Сначала служили на Дальнем Востоке. Помню как счастье. Тайга. Снег. Солнце. Мы на лыжах все ходили. Там снег не такой, как здесь — рыхлый, зловещий, предательский. Там снег свежий, как жизнь. А потом мужа перевели. Поближе к Черному морю. Подружку завел. Майора нашего жену. Вот я ее и застрелила. На вечеринке.

В р а ч. Вот какие дела...

А н н а И в а н о в н а. Да. Так готовьте, передам от вас привет. Узнают самое главное — что вы живы.

В р а ч. Я умер давно. Позабыл себя.

А н н а И в а н о в н а. Все вернется. Даже у меня все вернется.

В р а ч. Жизнь не вернуть. Ну, спасибо вам, я приготовлю письмо. *(Уходит.)*

Входит п р о р а б.

П р о р а б. О чем ты тут толковала с доктором?

А н н а И в а н о в н а. Письмо просил взять на материк.

Картина четвертая

КАБИНЕТ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Тесный кабинет северного следователя. Вошедшему с л е д о в а т е л ю помогает раздеться д е ж у р н ы й

С л е д о в а т е л ь. Автобус из тюрьмы пришел?

Д е ж у р н ы й. Давно уж пришел, с полчаса.

Следователь. Я немного запоздал, экспертиза из Москвы вернулась. Ты и при Фураеве дежурил?

Дежурный. Дежурил и при Фураеве. Тот, бывало, с утра опохмеляться начинает. Тут у него аптечка первой помощи на стене. Сливает все валерьянки, все настойки в одну стопку и немножко веселеет. А шкафчик этот аптечный подвешен высоко, Фураев росточка-то маленького. Значит, тащит стул, на стул влезает и со стула достает. Я его спрашивал: «Как вы не боитесь все мешать вместе, ведь отрава?» А он мне говорит: «Во-первых, это называется коктейль и во всех зарубежных странах принято. А во-вторых, говорит, вспоминаю свою маму — она заболела, а этикеток на порошках нет, смешала все вместе, перекрестилась и выпила». — «Ну что, говорю, мама?» — «Да вырвало, говорит, и легче стало».

Следователь. А ты, однако, разговорчивый. У Фураева научился?

Дежурный. Да, развлекал его с похмелья, ему всегда было скучно.

Следователь. Ну, нам не будет скучно. Вот тебе список, и там у меня номера сбоку стоят, в этом порядке и давай.

Дежурный уходит. Входит Анна Ивановна.

Садитесь, гражданка Ушакова.

Анна Ивановна. Я не Ушакова.

Следователь. Это я пошутил. Садитесь, гражданка Кузнецова.

Анна Ивановна. Не ожидала я тебя в этой шкуре встретить.

Следователь. Любовь двигает горами. Вот я и приехал.

Анна Ивановна. За полярным пайком да за длинным рублем. Видела я тебя в прошлом году на трассе, не поверила своим глазам — думаю, ошибка, как это в школе называлось...

Следователь. Оптический обман.

Анна Ивановна. Оптический обман...

Следователь. Выглядишь неплохо.

Анна Ивановна. За что меня арестовали?

Следователь. Вот об этом мы сейчас и потолкуем. *(Протягивает анкету.)* Я заполнил твою анкету по памяти. Посмотри, проверь. Думаю, что не ошибся. Кроме последних десяти лет, конечно.

Анна Ивановна *(просмотрев анкету)*. Все правильно. Так за что же меня арестовали? И сына...

Следователь. Сын твой в интернате — там, где и был. Можешь не беспокоиться.

Анна Ивановна. Так все же — за что?

Следователь. Ты не догадываешься? За попытку передать военную тайну за рубеж. Смягчающие обстоятельства можно найти — может быть! — в том, что ты не знала, что это военная тайна.

Анна Ивановна. Ничего не понимаю. За рубеж? И что это за военная тайна такая?

Следователь. Вы брали поручение от врача зэка Платонова переправить на материк этот документ?

Анна Ивановна. Да, это тетрадки со стихами.

Следователь. Брала, но думала, что это тетрадки со стихами. Видите, мы действуем без всякого нажима. Что вы говорите, то мы и записываем.

Анна Ивановна. Тетрадки со стихами — военная тайна?

Следователь. Для тебя это — тетрадки со стихами, а для Москвы — план колымских крепостей.

Анна Ивановна. Да на Колыме и крепостей никаких нет.

Следователь. Об этом ты знать ничего не можешь.

Анна Ивановна. Что за бред, господи.

Следователь. Ты ведь бывшая жена военного — должна понимать и знать, что такое секретный код, шифр, расшифровка. Эти стихи мы посылали в Москву, вчера пришел ответ и расшифровка кода. Это план колымских крепостей, предназначенный для зарубежной разведки. Сейчас я посмотрю, для какой именно разведки. *(Смотрит в столе.)* Для японской. Нам удалось обезвредить опасного врага, вырвать вражеское жало. Я горжусь, что способствовал поимке такого зверя... А тебе нужно как можно лучше отгородиться от этого преступления, помочь государству. Говорю тебе это по старой дружбе. Мы ведь, кажется, не ссорились.

Анна Ивановна. Что же я должна сделать, чтобы закрыть это дело?

Следователь. Во всем, что касается только тебя самой?

Анна Ивановна. Ну да.

Следователь. Ты сама знаешь, не маленькая.

А н н а И в а н о в н а. Переспать с тобой — дело не трудное по старой дружбе.

С л е д о в а т е л ь. Переспать? Это ты могла мне говорить на Дальнем Востоке или в Ялте, а не на Дальнем Севере.

А н н а И в а н о в н а. Вон как. Значит, я ошиблась. Ты стал взрослым. Стал хорошо понимать жизнь.

С л е д о в а т е л ь. Помоги государству разоблачить врагов. Смягчи свою вину.

А н н а И в а н о в н а. Я ни в чем не виновата.

С л е д о в а т е л ь. Я мог бы тебя заставить. Есть такой метод номер три — не слыхала?

А н н а И в а н о в н а. Слыхала.

С л е д о в а т е л ь. Но не буду. Отдавая должное мужеству твоего мужа, который дал нам все сведения, необходимые для ареста кадрового врага советской власти.

А н н а И в а н о в н а. Кто же враг и кто друг...

С л е д о в а т е л ь. Короче говоря — бить тебя не будут. Но пеняй на себя, не обижайся. *(Звонит.)*

Входит д е ж у р н ы й.

В тюрьму.

Анну Ивановну уводят. Следователь ходит по комнате. Лицо его безмятежно. Входит б л а т а р ь.

Садись! Заключенный Кораблёв!

Б л а т а р ь. Фёдор Иванович.

С л е д о в а т е л ь. Еще!

Б л а т а р ь. Орлов Геннадий Иванович.

С л е д о в а т е л ь. Еще!

Б л а т а р ь. Козлов Фёдор Поликарпович.

С л е д о в а т е л ь. Он же, он же! Какое же правильное?

Б л а т а р ь. Орлов Геннадий Иванович.

С л е д о в а т е л ь. Статья тридцать пять, сто шестьдесят два, пятьдесят девять — три. Одной статьи что-то я не вижу.

Б л а т а р ь. Какой же, гражданин начальник?

С л е д о в а т е л ь. Пятьдесят восемь — четырнадцать, двадцать пять и пять. Контрреволюционный саботаж.

Б л а т а р ь. Мне эту статью дрюкали на прииске, гражданин начальник. Хотели сделать политиком, приобщить к ангельскому лику, да потянули пустой номер.

С л е д о в а т е л ь. Мы не смотрим на вас как на политиков. Не считаем вас врагами народа. Напротив, к борьбе с подлинными врагами хотим привлечь вас.

Б л а т а р ь. Ага.

С л е д о в а т е л ь. Тебе многое прощалось, Кораблев, он же Орлов. Вот актов об отказах целая пачка. Полное собрание сочинений Фёдора Ивановича Кораблева, он же Орлов, он же, он же. Ты не думаешь, что тебе пора получить пятьдесят восемь — четырнадцать: контрреволюционный саботаж?

Б л а т а р ь. К чему вы ведете этот разговор, гражданин начальник?

С л е д о в а т е л ь. А вот к чему. Ты человек неглупый — дураков в тюрьме нету! Можно обойтись без намеков. У нас есть данные, что ваш врач зэка Платонов готовил убийство начальников. Подговоры террористические и прочее. Нужно показать, что он готовил убийство вместе с вами. Сомкнулся, так сказать, с уголовным миром. Амальгама — слышал такое слово? — самое модное.

Б л а т а р ь. Нет, не слышал. Я в институте не вращался. Предложение это мне не подходит.

С л е д о в а т е л ь. Почему? Мы гарантируем свободу.

Б л а т а р ь. Я скажу, гражданин начальник. Мне черт с ним, загнется этот врач, лепила Платонов, или не загнется, расстреляют его или душа из него вон. Умри ты сегодня, а я завтра. Тут вопрос в другом. Вы ведь человек вроде взрослый, а меня за фраера покнацали. Если Платонова за террор повесят или там срок весом выдадут — девять граммов свинца! — то мне ведь, как соучастнику, тоже не меньше двадцати пяти — как вы думаете? Вы одним выстрелом двух зайцев хотите убить. Сказал бы я вам, как это называется на нашем языке, — есть такая поговорка, да стесняюсь, — казенное помещение.

С л е д о в а т е л ь. Знаю я ваши поговорки.

Б л а т а р ь. Ну и стало быть — я вам партнер в этом деле неподходящий. Давайте что-нибудь другое — где бы не было террора. Что-нибудь вроде «аса».

С л е д о в а т е л ь. Что это за лезгинка такая?

Б л а т а р ь. Это не лезгинка, а литер, «аса» — «антисоветская агитация».

С л е д о в а т е л ь. Интересно. Можно плясать под эту штуку, значит.

Б л а т а р ь. Можно. Я вообще-то, гражданин начальник, человек веселый, могу и чечетку отбивать. Могу плясать что угодно, хоть передовую статью из «Магаданской правды».

Следователь. Передовую статью выплясывать не нужно. А надо мне помочь!

Блатарь. Мы ж вам помогали. Ксиву послали. Сообщили, что тот лепила Платонов письмо послал на материк. И что передал жене прораба. Доказали, стало быть, преданность.

Следователь. Действительно, насчет письма от вас был сигнал. Насчет этого письма было несколько сигналов. Моральное политсостояние лагеря, стало быть, находится на должной высоте. А помочь мне не хочешь.

Блатарь. Помогали и поможем, гражданин начальник. Мы ценим доверие. Только не запутывайте в разные «организации», «группы» и так далее. Трудно потом нашему брату выкручиваться из таких неводов. Вы ведь не маленький, гражданин начальник.

Следователь звонит. Входит дежурный.

Следователь. Уведите его.

Блатарь с дежурным уходят.

(В дверь.) Давай следующего.

Входит десятник-зэка и останавливается у двери.

Ты работаешь десятником в разведке Кузнецова?

Десятник. Там, гражданин начальник.

Следователь. Ты знаешь, зачем я тебя вызвал?

Десятник. Нет, гражданин начальник.

Следователь. Кто написал вот это письмо? Садись и смотри.

Десятник. Это я написал, гражданин начальник.

Следователь. Ты правильно сделал. Ты сообщил, что жена прораба везет на материк письмо от зэка Платонова. Ты выполнил свой долг. Только об этом ты мне сказал десятый. А? Почему ты сказал мне об этом десятый, а не первый? Вот за этим я тебя и вызвал. Почему?

Десятник. Не знаю, гражданин начальник.

Следователь. Не знаешь? Ты обязан знать раньше всех. Узнать от тебя — это значит узнать из десятых рук. Пора, пора на общие работы.

Десятник. Воля ваша, гражданин начальник.

Следователь. Рассказывай обо всех безобразиях.

Десятник. Шестнадцатого приезжали якуты, и прораб взял якутскую шапку меховую и дал им сменку — из ларька мужскую шапку-ушанку матерчатую.

Следователь *(записывая)*. А якутскую меховую взял женскую?

Десятник. Нет, тоже мужскую. У них ведь разницы нет.

Следователь. Еще что?

Десятник. Сгущенное молоко со склада все забрал к себе на квартиру.

Следователь. Еще что?

Десятник. Блатари не работают, день и ночь играют в карты, обыгрывают заключенных.

Следователь *(записывая)*. Кого, например?

Десятник. Да разных. Разве всех упомнишь.

Следователь. Ваш поселок невелик, можно бы помнить и всех. Еще что?

Десятник. Блатарям выписывают стахановский паек за ударную работу на разведочных канавах.

Следователь. Кто же выписывает наряды?

Десятник. Выписываю я, а утверждает прораб.

Следователь. Почему же у блатарей такие стахановские заработки? Ведь существуют обмеры, замеры.

Десятник. Все списывается на оползень.

Следователь. На оползень?

Десятник. На оползень.

Следователь. А что это такое?

Десятник. В воображаемую канаву воображаемо оползает воображаемый грунт. Силы природы. Завал. Работы нет, и в то же время работа есть.

Следователь. Полная диалектика. Это интересно. Понимаю. А кто же за это отвечает? За силу природы?

Десятник. Прораб Кузнецов.

Следователь. Это — экономическое преступление.

Десятник. По-нашему, просто туфта.

Следователь. А о вашем враче, заключенном Платонове, ты что можешь сказать?

Десятник. Я его еще с прииска знаю. Там начальник прииска был на руку дерзкий.

Следователь. Дерзкий?

Десятник. Да. Как даст, как даст, так с ног. Другой, у кого сердце мягкое, перчатками норовит, а этот — кулаком. Понавык, понимаешь.

Следователь. Я тебя о враче спрашиваю.

Десятник. Я о враче и отвечаю, гражданин начальник. Толковали в бараке об этом начальнике. Платонов говорит: «Надо такому начальнику, как только прие-

дет высшее, дать публично по морде. Перчаткой или кулаком, все равно. Пощечина, говорит, по всей Колыме прогремит, и начальника снимут». И что бы вы думали...

Следователь. Ну, хватит болтать. Я тебе прошлый раз говорил — на бумагу все коротко записывать, вроде памятной записки.

Десятник. Да я не против. Я приготовил вот. *(Достает записку.)*

Следователь *(проглядывает).* Ты тут не записал кое-что. Жена прораба Анна Ивановна жила с врачом зэка Платоновым.

Десятник. Этого я не знаю. Платонов никогда к вольным палаткам не подходит, живет в бараке, и амбулатория его в бараке. Анна Ивановна у нас в бараке ни разу не была, я ведь там безотлучно.

Следователь. Ну, значит, в тайге где-нибудь встречались. Установи и — запиши. *(Возвращает записку.)*

Десятник *(дописывает тут же и возвращает следователю).* Готово, гражданин уполномоченный.

Следователь звонит. Входит дежурный.

Следователь *(отпуская десятника).* С этим все.

Десятник и дежурный вышли. Входит прораб.

Прошу садиться, товарищ Кузнецов.

Прораб. Спасибо.

Следователь. Анкету заполните, пожалуйста, сами.

Прораб. С удовольствием. *(Пишет.)* Готово.

Следователь. У меня вопрос к вам вот какой. Вы помогли обезвредить важного преступника. Настолько важного, что нам понадобилась более подробная беседа на этот счет, чем прошлая.

Прораб. Я к вашим услугам.

Следователь. Скажите, товарищ Кузнецов, вы когда познакомились с заключенным Платоновым?

Прораб. Заключенного Платонова ко мне на участок в разведку прислало Сануправление на должность фельдшера — врача у нас по штату нет.

Следователь. А не можете ли вы вспомнить, кто в Сануправлении подписывал направление к вам Платонова?

Прораб. Вспомнить я не могу, но в архивах должны быть следы.

Следователь. Ах, архивы, архивы. Сегодня это архивы, а завтра — дым, звук пустой.

Прораб. Платонов начал работать фельдшером, но ввиду его крайне вызывающего поведения я вскоре был вынужден снять его на общие работы.

Следователь. В чем выражалось вызывающее поведение зэка Платонова?

Прораб. Ну, всякие суждения *(показывая вверх)* и вообще. *(Как будто крутит воображаемый ус.)*

Следователь. Абсолютно ясно.

Прораб. Я помнил все время о том, что зэка Платонов — это литерник, враг народа, и не спускал с него глаз. Он возвращался на врачебную работу, но ненадолго. Я опять его снимал на общие работы.

Следователь. Это вы сейчас так говорите, когда мы арестовали Платонова.

Прораб. Что вы, товарищ следователь, вот тут со мной *(вынимает из кармана)* копии моих приказов по участку, своевременно заверенные в нотариальной конторе. В них отражается, как в капле воды, деятельность Платонова — и мое к ней, вполне официальное, отношение.

Следователь *(просматривая бумаги)*. Вы — предусмотрительный человек.

Прораб. Жизнь учит.

Следователь. Однако и вы будете поражены, когда я вам скажу, что у меня в руках доказательство, что Платонов — зарубежный шпион.

Прораб. Не сомневаюсь в этом. Заявление об изъятии письма у моей жены сделано мной.

Следователь. Да, вы очень помогли следствию. Вот вы говорили, что Платонов — то *(показывает вверх)* и это *(крутит воображаемый ус)*. Можете вы дать характеристику Платонова, освещающую именно эту сторону дела?

Прораб. Такая характеристика у меня готова. *(Роется в кармане и вынимает документ.)*

Следователь. Удивительно предусмотрительный человек.

Прораб. Жизнь учит, товарищ следователь.

Следователь. Отлично, отлично. А вы не хотите помочь следствию еще в одном вопросе? Еще в одном направлении.

Прораб. Дело идет об Анне Ивановне?

С л е д о в а т е л ь. Нет, не об Анне Ивановне. Хотя и об Анне Ивановне надо будет поговорить. Скажите, товарищ прораб геологической разведки, что значит слово «туфта»?

П р о р а б. Туфта — это обман, очковтирательство.

С л е д о в а т е л ь. Не расскажете ли вы нам, что такое оползень в ваших геологических канавах и с чем его кушают. Когда грунт после дождя сползает в канаву, и канав как будто и не копали. Месяц или два месяца, например?

П р о р а б. Ах вот что! У вас есть сведения, что на участке, которым я руководил, работа списывалась на оползень, на стихию, на силу природы?

С л е д о в а т е л ь. Вроде того.

П р о р а б. Я предвидел возможность такого разговора — все это ложь, клевета. *(Роется в кармане.)* Вот акты, составленные в присутствии специально вызванного мной главного инженера и других высших начальников. После каждого дождливого дня все работы осматривались и в нужных случаях составлялись акты. Тут комар носу не подточит, товарищ следователь.

С л е д о в а т е л ь. А если я покажу вам показания вашего десятника?

П р о р а б. Десятника не касаются такие вопросы. Акты об оползнях подписаны главным инженером, начальником участка.

С л е д о в а т е л ь. Осторожный вы человек.

П р о р а б. Жизнь учит.

С л е д о в а т е л ь. Теперь последняя просьба. Мы бесконечно благодарны вам за помощь в разоблачении столь важного преступника. Ему грозит высшая мера. В плане нашей сегодняшней беседы дайте характеристику вашей жене Анне Ивановне.

П р о р а б. И такая характеристика у меня есть. Даже две — положительная и отрицательная. Сколько я могу судить — для пользы дела требуется отрицательная. *(Подает бумагу.)*

С л е д о в а т е л ь. Благодарю вас.

П р о р а б. Я могу идти?

С л е д о в а т е л ь. У меня есть еще один вопрос. Вам известно, что ваша жена жила с заключенным Платоновым?

П р о р а б. Не думаю. Думаю, что нет. Уверен, что нет.

С л е д о в а т е л ь. Откуда у вас такая бодрая уверенность? Ведь вы часто уезжали в командировку. Для та-

кой опытной женщины, как Анна Ивановна, много времени на такой роман не нужно.

П р о р а б. Видите, у меня очень надежная информация. Тоже система самозащиты. Вроде самбо. Добровольные осведомители, так сказать.

С л е д о в а т е л ь. Ах, вот что. Ну, а наши осведомители говорят, что Анна Ивановна жила с этим врачом.

П р о р а б. Ну, что ж, вашим, наверное, лучше знать.

С л е д о в а т е л ь. Не задерживаю больше вас. Позвольте ваш пропуск, я подпишу. Если уж случится что, понадобится ваша квалифицированная помощь...

П р о р а б. В любое время дня и ночи. До свидания, товарищ полковник.

С л е д о в а т е л ь. Я еще не полковник.

П р о р а б. Простите за ошибку, до свидания.

Следователь звонит. Входит д е ж у р н ы й.

С л е д о в а т е л ь. Выпусти товарища прораба.

Дежурный и прораб вышли. Входит в р а ч.

С л е д о в а т е л ь. Садись, Платонов. Твое дело близко к окончанию.

В р а ч. Я очень рад.

С л е д о в а т е л ь. Пришел ответ от наших московских «литературоведов». Экспертиза твоих стихов.

В р а ч. Нашли, что не хуже Пушкина?

С л е д о в а т е л ь. Не умничай. Ты разоблачен.

В р а ч. Разоблачен — как последователь акмеистов, как жалкий эпигон Гумилева?

С л е д о в а т е л ь. Не хвастай своей грамотностью, не поможет. Маску долой!

В р а ч. К какому же выводу пришли ваши московские «литературоведы»?

С л е д о в а т е л ь. Что ты — зарубежный шпион.

В р а ч. Зарубежный? Какой же именно «рубеж»?

С л е д о в а т е л ь. Японский.

В р а ч. Очень прошу вас, давайте говорить серьезно.

С л е д о в а т е л ь. Я и говорю серьезно. Это ты паясничаешь здесь, оскорбляешь советскую власть. Но оскорбляешь в последний раз в жизни!

В р а ч. Вот как.

С л е д о в а т е л ь. Твои стихи — это шифр, которым ты пытался передать сведения, составляющие военную тайну государства. Мобилизационные планы колымские, расположение воинских частей... Где ты получил

эти сведения? С кем ты связан, назови — и ты останешься жив. Мы умеем прощать.

Врач. Что за бред, страшный сон. В моем прошлом следственном деле было немало нелепицы, но до такой чудовищной провокации я еще тогда не дорос, очевидно.

Следователь. Хватит. Вот результат экспертизы, читай, эпигон акмеистов. Подумай и напиши откровенно — имена, фамилии, даты! Заявление с указанием всех людей, с которыми ты был связан по своей черной работе. Садись вот за тот столик и пиши. Ты зашел далеко. Единственное, что может тебя спасти, — это полное признание.

Врач. Не понимаю, не хочу понимать.

Следователь. Не притворяйся дураком. Пиши, и пока ты будешь писать — ты будешь жить! От протокола до протокола, от допроса до допроса — ты будешь жить. Писатель. Сочинитель. И напиши, кстати, все о твоей ближайшей помощнице — об Анне Ивановне Кузнецовой, с которой ты жил и которую сделал своим агентом, исполнителем твоих чудовищных планов. И для нее спасение, смягчение, уменьшение вины — в твоем чистосердечном признании. Тонешь — не тащи ее за собой!

Врач. Я еще раз говорю. О содержании пакета Анна Ивановна не знала. В моем пакете были стихи.

Следователь. Японские поэмы.

Врач. Вы ошибаетесь.

Следователь. Мы никогда не ошибаемся. Пиши показания.

Врач. Нет.

Следователь. Еще раз — будешь писать? Нет?

Врач. Нет.

Следователь звонит три раза. Входят четыре человека

Следователь. Экспертиза само собой, но собственное признание лучше всего.

Картина пятая

ЭТАП

Двор тюрьмы или лагерной «пересылки».

Первый конвоир *(усаживаясь и закуривая)*. Картину вчерашнюю видел?

Второй конвоир. Видел. Первую часть дали два раза подряд. Начальник опоздал. Ждали, ждали, его все нет. Начали крутить. Две части прокрутили, когда он пришел. Ну, механик перемотал назад и снова...

Первый конвоир. Житуха здесь. Кино, клуб. А нам опять в наряд, в поездку.

Второй конвоир. Списки этапа смотрел?

Первый конвоир. Нет еще, у старшого списки.

Второй конвоир. Бегает где-то.

Первый конвоир. С этой партией отправляют одну вольняшку, бывшую зэка, прораба нашего бабу. Ее недавно осудили.

Второй конвоир. За что же?

Первый конвоир. За то, что американцам передала планы всех крепостей.

Второй конвоир. Откуда же у нее такие планы?

Первый конвоир. Зэкашки дали. Говорят, муж разоблачил, спас Родину.

Второй конвоир. Молодчик прораб.

Первый конвоир. Уж, говорят, на самолет садилась. Вместе с ребенком, сыном — для маскировки. Контролер говорит: «Одну минуточку, вас просят вот в ту комнату». И — обыск! Она говорит: «Я золото не везу». Они говорят: «Мы золото и не ищем». Раздевают ее догола и находят план колымских крепостей. Судят и — на всю катушку!

Второй конвоир. Двадцать пять и пять?

Первый конвоир. Двадцать пять и пять.

Второй конвоир. А тем, кто план давал?

Первый конвоир. Тех на луну. Весом выдали срок! Сухим пайком. Девять граммов и на луну.

Второй конвоир. Правильно действуют.

Первый конвоир. Ее Аней звать, Анной Ивановной. Ты ее должен знать. Сколько раз мимо ездили. Буфетчицей она была в трассовской столовой.

Второй конвоир. Нет, не помню.

Входят лейтенант и старший конвоир.

Старшой *(со списком в руках)*. Опять какой-то смешанный этап. И бытовики и пятьдесят восьмая. И блатарей полно. И большесрочники. Нет, товарищ лейтенант, конвой маловат.

Лейтенант. Так ведь это — бабы.

Старшой. С бабами-то еще больше работы. Вон, прошлым летом, одна женщина, зэка, у бойца автомат

вырвала и — очередь по нему. Пополам разрезала. Повел ее в столовую.

Лейтенант. Знаю я эту историю. Не в столовую он ее повел, а в кусты. Словом, увеличивать конвой не будем. Обойдетесь. Поедешь с Сидоровым, а Гусарова я перепишу в другой наряд. За старшего. А то этапы день и ночь, а людей не дают. Обойдетесь.

Старшой. Слушаюсь.

Лейтенант и первый конвоир уходят.
Слышен шум автомашины.

Второй конвоир. Машину подают.

Старшой. Давайте запускать. Я стану здесь, перекличка — и на машины, а там уж ты, Сидоров, руководи. Сам станешь у кабины и сажай всех спиной к себе. *(Кричит.)* Давай людей!

Кулисы слева заполняются женщинами с многочисленными узлами, мешками, чемоданами. Их останавливают и не пускают дальше. Справа появляются несколько родственников с передачами в руках и среди них следователь в штатском и прораб.

Разберись. Стройся. Слушай мою команду. Кого буду вызывать — обзывайся: имя-отчество, статью, срок. *(К родственникам.)* А вы зачем, вы как здесь? Посторонним здесь не место.

Следователь. Мы не посторонние.

Старшой. А кто же вы? Родственники? Передачу принесли? Освободите место.

Входит лейтенант.

Следователь. Я тебе говорю, мы не посторонние.

Лейтенант. Виноват, товарищ уполномоченный, боец не узнал.

Следователь. Ничего, ничего. Я обязан быть в форме. Начинайте посадку.

Старшой. Обзывайся имя-отчество! Агаева!

Блатарка. Ксения Ивановна!

Старшой. Порфирьева!

Та же блатарка. Мария Сергеевна.

Старшой. Рамишвили!

Та же блатарка. Тамара Ивановна!

Старшой. Григорьянц!

Та же блатарка. Обратно Ксения Ивановна!

Старшой. Верно. Селиверстова!

Та же блатарка. Не помню имя-отчество.

Старшой *(делает аккуратно отметку в списке)*. Иди!

Блатарка двигается к машине налегке, и вслед за ней из-за кулис плывут ее многочисленные чемоданы и узлы.

Стой! Стой!

Узлы останавливаются.

Чьи это вещи?

Блатарка. Это мои вещи!

Старшой. Клади на землю!

Узлы кладутся на землю, а блатарка отходит назад.

Садись в машину. Потом получишь свои тряпки. Сидоров, принимай!

Блатарка уходит к машине. Гора узлов на сцене.

Хрусталева!

Этапная. Жанна Васильевна, сто сорок вторая, восемь лет.

Старшой. Иди!

Этапная, проходя, хватает один из узлов блатарки и уходит к машине. Так же сделают и остальные, когда их вызовут

Коломкарова!

Вторая этапная. Софья Павловна, пятьдесят восемь — десять, одиннадцать-пятнадцать лет.

Старшой. Иди!

Вторая этапная уходит.

Галлиулина!

Третья этапная. Айша! Сто шестьдесят вторая, пять лет.

Старшой. Второй инициал?

Третья этапная. У нас нет вторых инициалов.

Старшой *(сверяет со списком)*. Верно, нет, иди.

Третья этапная уходит.

Грачёва!

Четвертая этапная. Здесь Грачёва! Вот я! Только не пойду я! Пусть отправляют вместе с ребенком — я и начальнику так говорила.

Лейтенант. Дура! Здесь его будут кормить искусственно. А ты должна работать. Работать. А где у тебя молоко?

Четвертая этапная. Не пойду! Не оставлю ребенка! Знаю я, как искусственников кормят.

Л е й т е н а н т *(старшому)*. Вычеркни ее пока! До выяснения.

С т а р ш о й *(вычеркивает)*. Грачева! Иди назад.

Ч е т в е р т а я э т а п н а я *(лейтенанту)*. Спасибо, начальник! *(Улетает.)*

С л е д о в а т е л ь. Порядка у вас тут не много.

Л е й т е н а н т. Обычная этапная картина.

С т а р ш о й. Воробьёва-Капельмейстер!

П я т а я э т а п н а я. Здесь!

С т а р ш о й. Инициал?

П я т а я э т а п н а я. Евгения Павловна, сто девяносто два — дэ, срок — шесть.

С т а р ш о й. Иди!

Пятая этапная уходит.

Зеленцова!

Ш е с т а я э т а п н а я. Софья Павловна, сто шестьдесят два, пять.

С т а р ш о й. Иди!

Зеленцова не уходит, но старшой не замечает этого.

Петерсон!

С е д ь м а я э т а п н а я. Римма Ивановна, пятьдесят восемь — четырнадцать, десять лет.

С т а р ш о й. Иди!

Петерсон и Зеленцова, обнявшись, двигаются не спеша к машине.

Л е й т е н а н т. Наши молодожены.

С л е д о в а т е л ь. Это еще что за безобразие?

Лейтенант говорит что-то на ухо следователю.

(Плюет с отвращением.) Могли бы отправить в разные места.

Л е й т е н а н т. Пробовали с другими. Таких ведь много. Скандал, покушение на начальника, отказ от работы... Так проще.

С т а р ш о й. Родина!

А н н а И в а н о в н а *(с хозяйственной сумкой в руках)*. Анна Ивановна! Пятьдесят восемь — семь, восемь, одиннадцать — двадцать пять и пять.

С т а р ш о й. А вещи твои где?

А н н а И в а н о в н а. Все со мной.

Л е й т е н а н т *(подходя)*. Родина, тебе посылочка. *(Передает сверток.)*

Анна Ивановна. Отдайте назад тому, у кого взяли. У меня нет родных. *(Уходит.)*

Восьмая этапная. Шальная, право, шальная. Позвольте, я возьму.

Лейтенант. Вам я не имею права вручить передачу. *(Кладет сверток на землю.)*

Старшой. Дьячкова!

Восьмая этапная. Лилия Петровна!

Старшой. Лидия Петровна!

Восьмая этапная. Нет, Лилия.

Старшой. Верно, Лилия. Иди.

Восьмая этапная уходит.

Лейтенант. Распишись за этап. (*Раскрывает книгу.)*

Старшой. Где тут?

Лейтенант. Вот здесь.

Старшой расписывается.

Эх, и роспись у тебя геройская!

Старшой. Роспись что надо. До свиданьица. *(Уходит.)*

Сразу же шум отъезжающей машины. Шум стихает.

Прораб. Уехала наша Анна Ивановна.

Конец

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

В пьесе не много арготизмов. Автор надеется, что подлинная, страшная душа блатного мира и ее растлевающее влияние раскрыты здесь и без блатного языка. Если жаргонные слова и применяются, то почти всякий раз автор дает объяснение тем самым способом, который впервые применил Бунин, переводя «Гайавату», — ставил рядом с чужестранным словом его перевод в живой стихотворной строке.

Суть первой картины — ее обыкновенность. Убийство не должно никого удивлять. Во второй картине показано «арестантское счастье» — больничная койка для работяги и работа по специальности для зэка-врача. Но это счастье хрупко, непрочно, и его разрушает столкновение с «высшими силами», которые судорожно, тороп-

ливо играют роль начальства — всевозможного начальства.

Третья картина — центр пьесы. Здесь рассказано все о прошлом, предсказано будущее. Всем.

После лабиринта «геометрических чертежей» в кабинете следователя (четвертая картина) — шутовской карнавал этапа. В пятой картине все делают свое дело весело и равнодушно. Никто — ни начальники, ни заключенные не задумываются над смыслом того, что происходит. Все — люди и в то же время не люди.

Разумеется, автор знает, что ни пенициллина, ни автоматов не было в том году, к которому он относит действие своей пьесы. Эта пьеса — довоенная.

ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты печатаются по изданиям:

Шаламов В. Очерки преступного мира. Воскрешение лиственницы. Перчатка, или КР-2. М., Русская книга, 1992.

Шаламов В. Анна Ивановна. Пьеса. — Театр, 1989, № 1.

ОЧЕРКИ ПРЕСТУПНОГО МИРА

Впервые: Дон, 1989, № 1.

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

Тропа. Впервые: Московский комсомолец. 1988. 7 янв.

Графит. Впервые: Знамя. 1990. № 7.

Причал ада. Впервые: Сельская молодежь. 1988. № 11.

Тишина. Впервые: Литературная Россия. 1988. 29 янв.

Две встречи. Впервые: Сибирские огни. 1989. № 4.

Термометр Гришки Логуна. Впервые: Знамя. 1989. № 6.

Облава. Впервые: Воскрешение лиственницы. М.: Худож. лит., 1989.

Храбрые глаза. Впервые: Сибирские огни. 1989. № 4.

Марсель Пруст. Впервые: Знамя. 1989. № 6.

Смытая фотография. Впервые: Вечерняя Москва. 1988. 17 дек.

Начальник политуправления. Впервые: Сибирские огни. 1989. № 4.

Рябоконь. Впервые: Московский комсомолец. 1989. 19 янв.

Житие инженера Кипреева. Впервые: Смена. 1988. № 88.

Прототип инженера Кипреева — Г. Г. Демидов (см. примеч. к пьесе «Анна Ивановна»).

Боль. Впервые: Неделя. 1988. 25 июля.

Сюжет был взят В. Шаламовым из автобиографического рассказа Ю. О. Домбровского.

Безымянная кошка. Впервые: Колымские рассказы. М.: Современник, 1991.

Чужой хлеб. Впервые: Московский комсомолец. 1988. 7 янв.

Кража. Впервые: Воскрешение лиственницы. М.: Худож. лит., 1989.

Город на горе. Впервые: Каскад, 1989, окт.–ноябрь

Экзамен. Впервые: Волга. 1989. № 7.

За письмом. Впервые: Знамя. 1989. № 6.

В рассказе описана поездка В. Шаламова за письмом Б. Пастернака в 1952 году.

Золотая медаль. Впервые· Подъем. 1990. № 3.

Рассказ «Золотая медаль» В. Т. Шаламов писал совсем по-особому, необычно для себя· собирал материалы, изучал документы и письма Натальи Сергеевны Климовой (1885–1918), героини рассказа, которая принадлежала к когорте русских революционеров. Вторая героиня — Наталья Ивановна Столярова (1912–1984), переводчица, женщина высоких нравственных качеств, в иных исторических обстоятельствах проявившая не меньший героизм, чем ее мать, Н. С. Климова, которая участвовала в подготовке взрыва на Аптекарском острове.

В. Т. Шаламов писал Н. И. Столяровой в 1966 году: «Было чересчур смело с моей стороны предложить написать повесть о Вашей матери — “Повесть наших отцов”. И не потому, что мне не близко это. Напротив, только эта тема близка мне с юности, с раннего детства. Физический герой, физические люди одни и те же для Вас и для меня.

Соколов-“Медведь” с детства привлекает мое внимание. И до сих пор помню строки из романа Савинкова: ...“Потом Володя увидел высокую вороную лошадь и встревоженное лицо Елизара. А потом закачались рессоры и один за другим замелькали фонари и дома. А уже на Невском, где исхлестанный Елизаром рысак, теряя пену, замедлил бешеный бег, Володя понял, что Елизар спас ему жизнь...”

Не бог весть какая проза, не бог весть какая поэтичность. Но в жизни каждого человека есть какая-то своя книга, сыгравшая большую роль в жизни.

Такой книгой для меня была “То, чего не было” Савинкова <...>.

Я хочу написать не биографию, но по-своему — рассказ в своей обычной манере <...>. Я напишу рассказ сам для себя о великой преемственности, о тех живых Буддах, которыми живет земля, о личных связях поколений, о безымянных героях...»

У стремени. Впервые: Воскрешение лиственницы. М.: Худож. лит., 1989.

Берзин Эдуард Петрович (1894—1938) участвовал в раскрытии заговора Локкарта в 1918 г., в 1930—1931 гг. возглавлял строительство Вишерского химического завода, в ноябре 1931 г. направлен на Колыму, с 3 декабря — директор

Дальстроя; 19 декабря 1937 г. арестован в городе Александрове; 1 августа 1938 г. расстрелян.

Медведь Филипп Демьянович (1890—1943) — начальник Ленинградского ОГПУ

Овидий Публий Назон (43 до н.э. — ок. 18 н.э.) — римский поэт, около 10 лет провел в изгнании и умер в г. Томы (Констанца).

Хан-Гирей (вариант: «Тамарин-Мерецкий»). Впервые: Советский воин. 1989. № 1.

Тамарин Александр Александрович (псевд. Мерецкий; 1882—1938), служил в царской армии, с 1917 г. — в Красной гвардии, демобилизовался в 1925 г., в конце 20-х годов арестован и отбывал срок в Вишерском лагере. В 1932 г. вместе с Э. П. Берзиным уехал на Колыму. В 1938 г. арестован и расстрелян.

Вечерняя молитва. Впервые: Сибирские огни. 1989. № 4.

Борис Южанин. Впервые: Колымские рассказы. М.: Современник, 1991.

Южанин Борис Семенович — создатель и руководитель «Синей блузы» (1923 — нач. 1930-х гг.), жанра острополитических, злободневных эстрадно-театральных представлений. Для коллективов «Синей блузы» работали В. В. Маяковский, В. Е. Ардов, М. И. Блантер, В. И. Лебедев-Кумач, Л. Б. Миров, Б. М. Тенин, Б. Р. Эрдман и др. поэты, композиторы, художники.

Визит мистера Поппа. Впервые: Волга. 1989. № 7.

Белка. Впервые. Колымские рассказы. М.: Современник, 1991.

Водопад. Впервые: Сибирские огни. 1988. № 3.

Укрощая огонь (вариант: «Огонь и вода»). Впервые: Воскрешение лиственницы. М.: Худож. лит., 1989.

Воскрешение лиственницы. Впервые: Сельская молодежь. 1987. № 7 (под названием «Воскрешение»)

Шереметева-Долгорукова (Долгорукая) Наталья Борисовна (1714—1771) — дочь Б. Н. Шереметева, жена опального князя И. А. Долгорукова, последовавшая за мужем в ссылку в 1730 г. сначала в Касимовские деревни, затем в Березов. Известны ее «Записки» (1767).

ПЕРЧАТКА, ИЛИ КР-2

Перчатка. Впервые: Волга. 1988. № 11.

«Пер ос» — мед. термин (от лат. *per os* — через рот).

Галина Павловна Зыбалова. Впервые: Новый мир. 1989. № 12.

Леша Чеканов, или Однодельцы на Колыме. Впервые: Новый мир. 1989. № 12.

Триангуляция III класса. Впервые: Перчатка, или КР-2. М.: Орбита, 1990.

Тачка I. Впервые: Новый мир. 1989. № 12.

Тачка II. Впервые: Новый мир. 1989. № 12

В ноябре 1936 года Колыма отмечала юбилей — пять лет Дальстроя. К этой дате развернулось «стахановское движение» за право подписи на рапорте И. В. Сталину. Отрывок из этого рапорта, опубликованного в газете «Советская Колыма» 7 ноября 1936 года, приводится ниже. В 1970 году именно эту газету прочитал В. Шаламов и написал «Тачку».

«Вождю народов, организатору наших побед
товарищу Сталину

...Осуществляя твою директиву по развертыванию золотодобычи, мы построили порт и дорогу, прочно связывающие побережье Охотского моря с основными районами золотопромышленности. Это дало нам возможность, ликвидировав сезонность золотодобычи путем зимней вскрыши торфов, удваивая из года в год количество добытого металла, внести свою посильную лепту в осуществление твоего указания о необходимости учетверить добычу золота в нашей стране.

Развертывая стахановское движение и зорко следя за нашими врагами, за троцкистско-зиновьевским охвостьем, мы будем бороться за новые успехи, за новые, более высокие показатели стахановского труда, за право называть коллектив трудящихся Колымы стахановским коллективом...

Спасибо за счастливую и радостную жизнь! Да здравствует наш мудрый, любимый вождь товарищ Сталин!

Рапорт подписан лучшими стахановцами Колымы».

На втором слете стахановцев Колымы в докладах ее руководителей были приведены такие цифры: количество рабсилы с 1932 по 1936 год увеличилось в 9,4 раза. Земляных работ сделано «почти 19 млн кубометров — это почти Беломорстрой».

«...Наступила новая эра. Впервые здесь сказалась по-настоящему большевистская напористость, железная настойчивость и уверенность..

Казалось бы, в условиях Колымы, где морозы достигают семидесяти градусов, а вечная мерзлота грунта повсеместна, нечего и думать об открытых горных работах в зимнее время.

Но преподанная правительством Дальстрою программа золотодобычи не вязалась с таким положением...

Задача была нелегкая...

И она была разрешена.

Результаты оказались блестящими: упразднена сезонность на открытых горных работах в условиях Крайнего Севера. Использован излишек рабсилы зимой...» («Как мы добыли золото». 7 ноября 1936 г.)

Цикута. Впервые: Новый мир. 1989. № 12.

Доктор Ямпольский. Впервые: Литературная Армения. 1989. № 5.

Подполковник Фрагин. Впервые: Перчатка, или КР-2. М.: Орбита, 1990.

Вечная мерзлота. Впервые: Новый мир. 1989. № 12.

Иван Богданов. Впервые. Литературная Армения 1989. № 5

Яков Овсеевич Заводник. Впервые· Новый мир. 1989. № 12

Шахматы доктора Кузьменко. Впервые· Новый мир 1989 № 12.

Человек с парохода. Впервые: Знамя. 1989. № 6.

Александр Гогоберидзе. Впервые: Перчатка, или КР-2 М.: Орбита, 1990.

Гогоберидзе Леван Давидович (1896—1937) — член ВКП(б) с 1916 г., видный партийный деятель.

Уроки любви. Впервые· Перчатка, или КР-2. М.: Орбита, 1990.

Афинские ночи. Впервые: Новый мир. 1989. № 12

Добровольский Аркадий Захарович (1911—1969) — киносценарист, работал с И. А. Пырьевым, был репрессирован в 1937 г., повторно осужден в 1944 г.

Португалов Валентин Валентинович (1913—1969) — поэт, переводчик.

Путешествие на Олу. Впервые: Новый мир. 1989. № 12.

Подполковник медицинской службы. Впервые· Перчатка, или КР-2. М.: Орбита, 1990.

Военный комиссар. Впервые: Перчатка, или КР-2. М.· Орбита, 1990

Рива-Роччи. Впервые: Новый мир. 1989. № 12.

АННА ИВАНОВНА
Пьеса

Впервые: Театр, 1989, № 1.

Пьеса «Анна Ивановна» тесно связана сюжетом с «Колымскими рассказами». В ней действуют легко узнаваемые герои этих рассказов, в том числе и автор. Пьеса посвящена Георгию Георгиевичу Демидову, одному из самых достойных людей, по словам В Шаламова, которых он знал на Колыме, прототипу главного героя рассказа «Житие инженера Кипреева». Сохранилась переписка В Шаламова с Г. Демидовым и набросок воспоминаний о нем. Пьеса помогла им найти друг друга в 1965 году. К знакомой В. Шаламова, которой он дал экземпляр пьесы на прочтение, заглянула вечером соседка и, прочитав посвящение, сказала. «А я ведь знаю этого человека».

Г. Г. Демидов писал В. Шаламову 27 июля 1965 года из Ухты: «На Колыме я именно с 38-го, правда, с осени... Несколько лет я пробыл на Бутугычаге, был на золоте... из 14 колымских лет на “общих” провел почти 10. получил в 46-м второй срок... Я десять раз “доходил” и дважды умирал от “переохлаждения”»..

СОДЕРЖАНИЕ

ОЧЕРКИ ПРЕСТУПНОГО МИРА

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

ПЕРЧАТКА, ИЛИ КР-2

Варлам Тихонович
Шаламов

Собрание сочинений в шести томах
+ том седьмой, дополнительный

ТОМ ВТОРОЙ

Редактор *Ю Григорьян*

Художественный редактор *А Балашова*

Технический редактор *Л Платонова*

Корректор *Н Кузнецова*

Компьютерная верстка *А Деева*

Подписано в печать 30.07.13 г.
Гарнитура «Журнальная» Формат $84x108^{1}/_{32}$.
Печать офсетная Усл. печ л 26,88. Уч.-изд. л 29,51.

Книжный Клуб Книговек
127206, Москва, Чуксин тупик, 9
www.terra su

Отпечатано BALTO print
www.balto.lt
www.baltoprint.ru

Литературное приложение

ОГОНЁК

www.terra.su

ISBN 978-5-4224-0697-5

9 785422 406975